

Александр
ГАЛИЧ

«...Я вернусь...»

КИНОПОВЕСТИ

ПЬЕСЫ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

Александр ГАЛИЧ

Александр
ГАЛИЧ

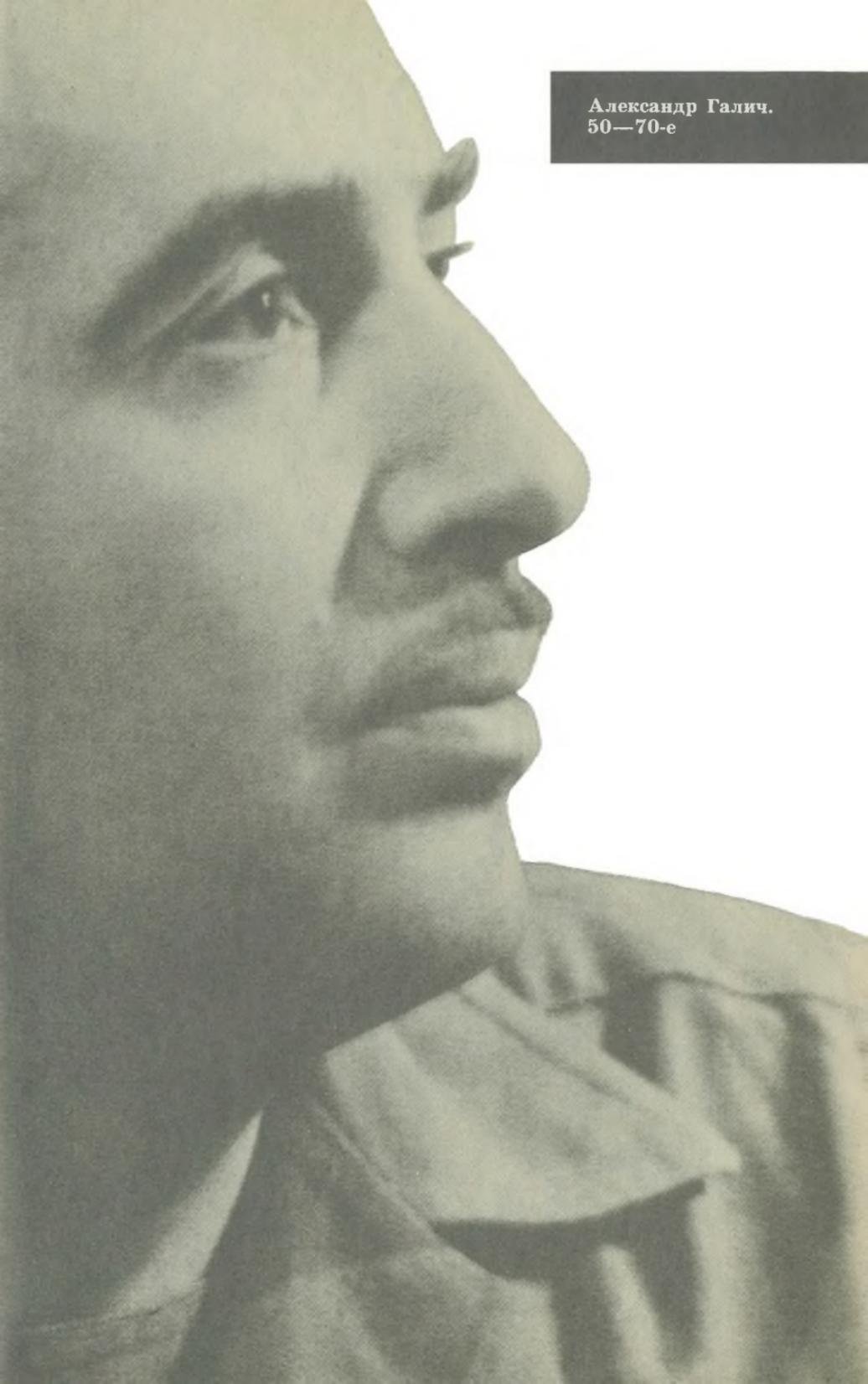
«...Я вернусь...»

Александр Галич.
50—70-е









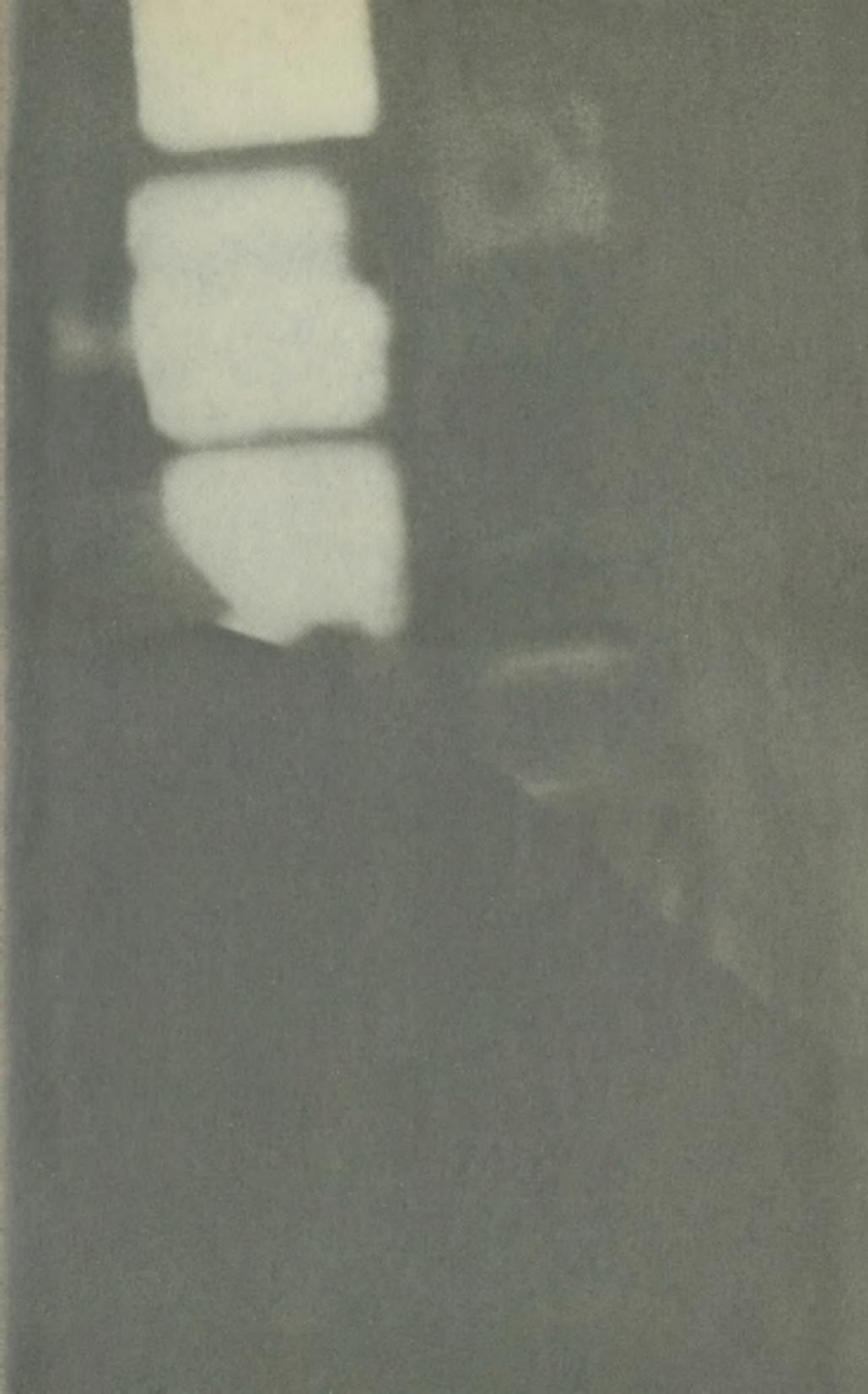
Александр Галич.
50—70-е

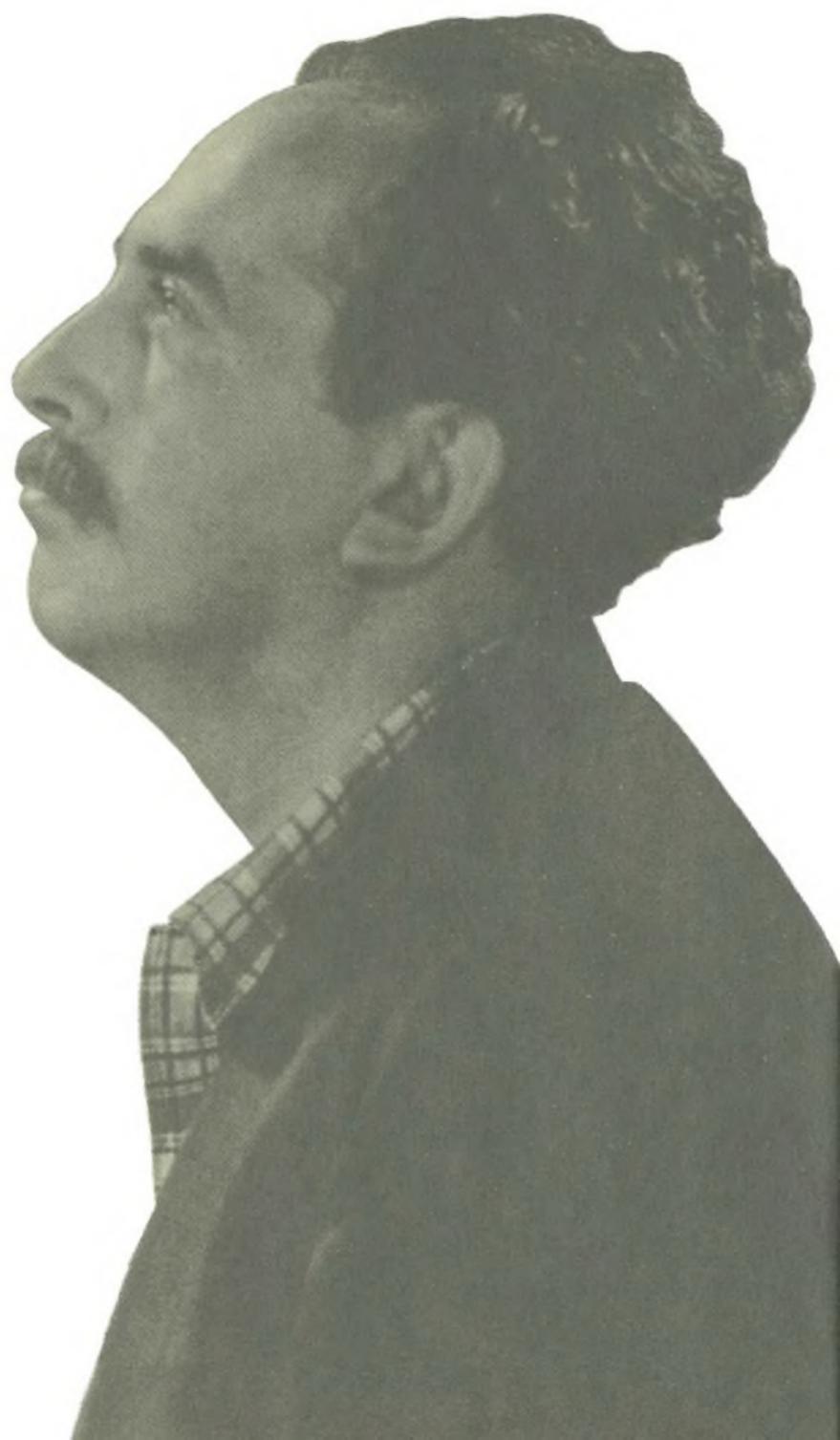


Александр Галич.
50—70-е



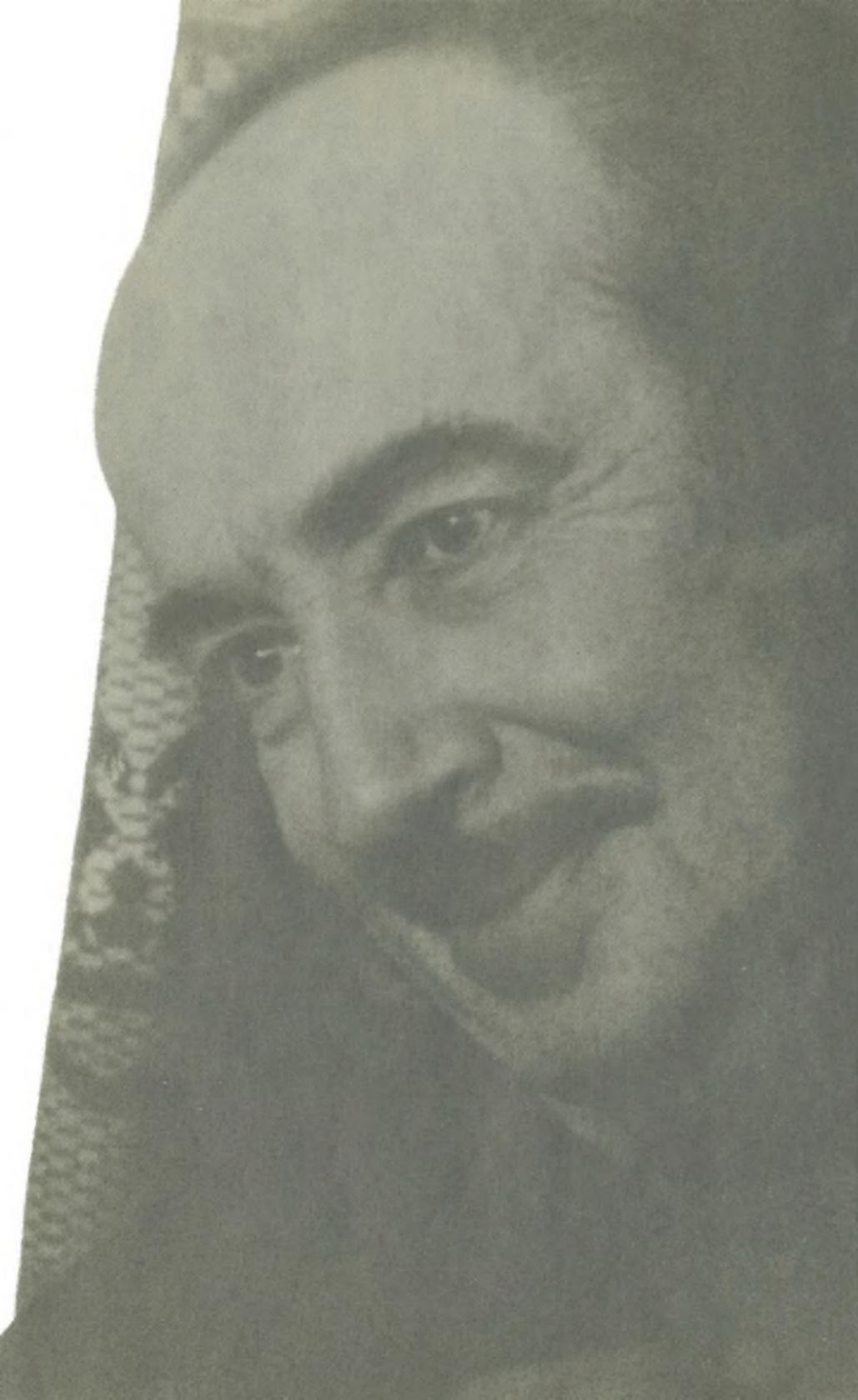


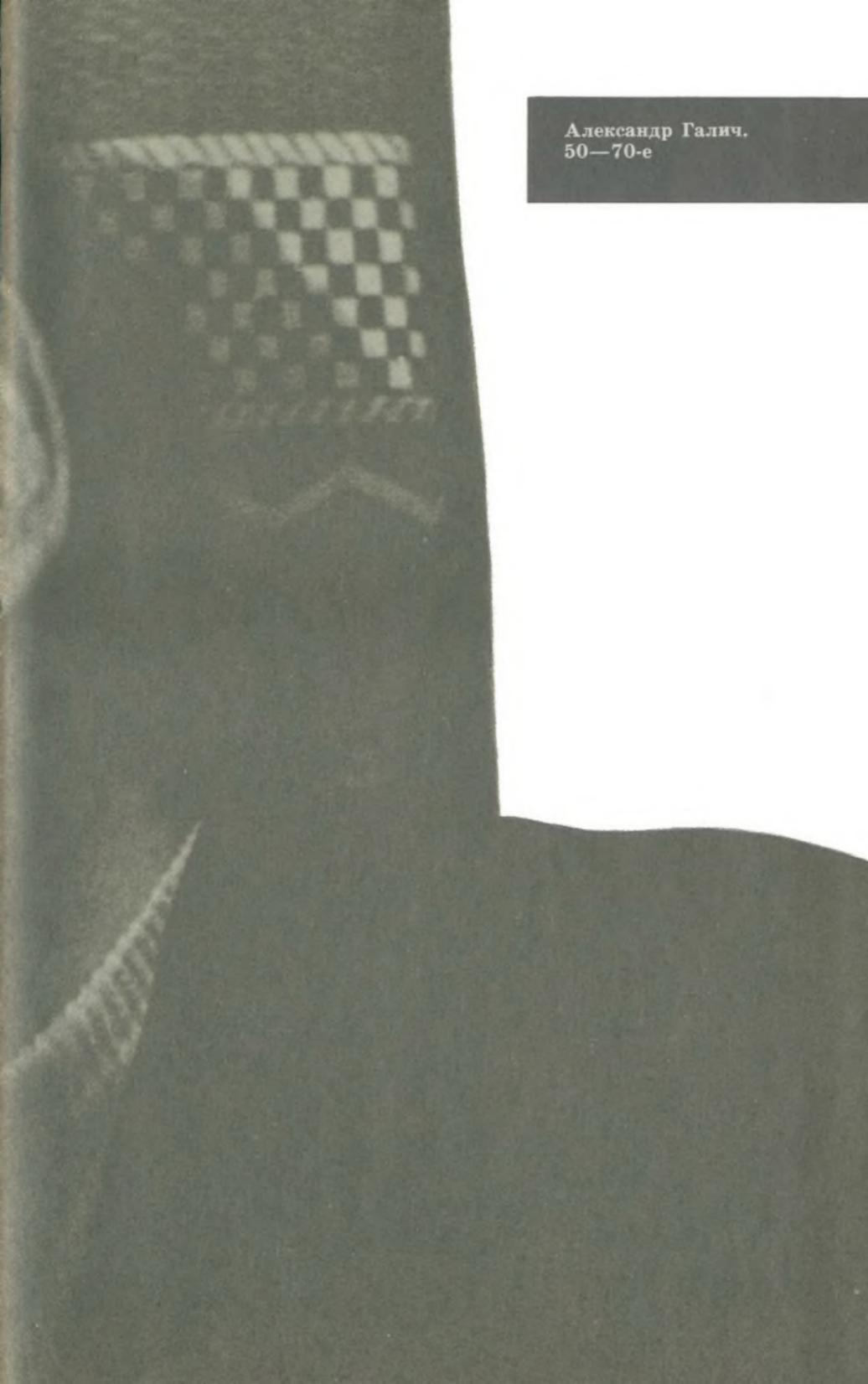




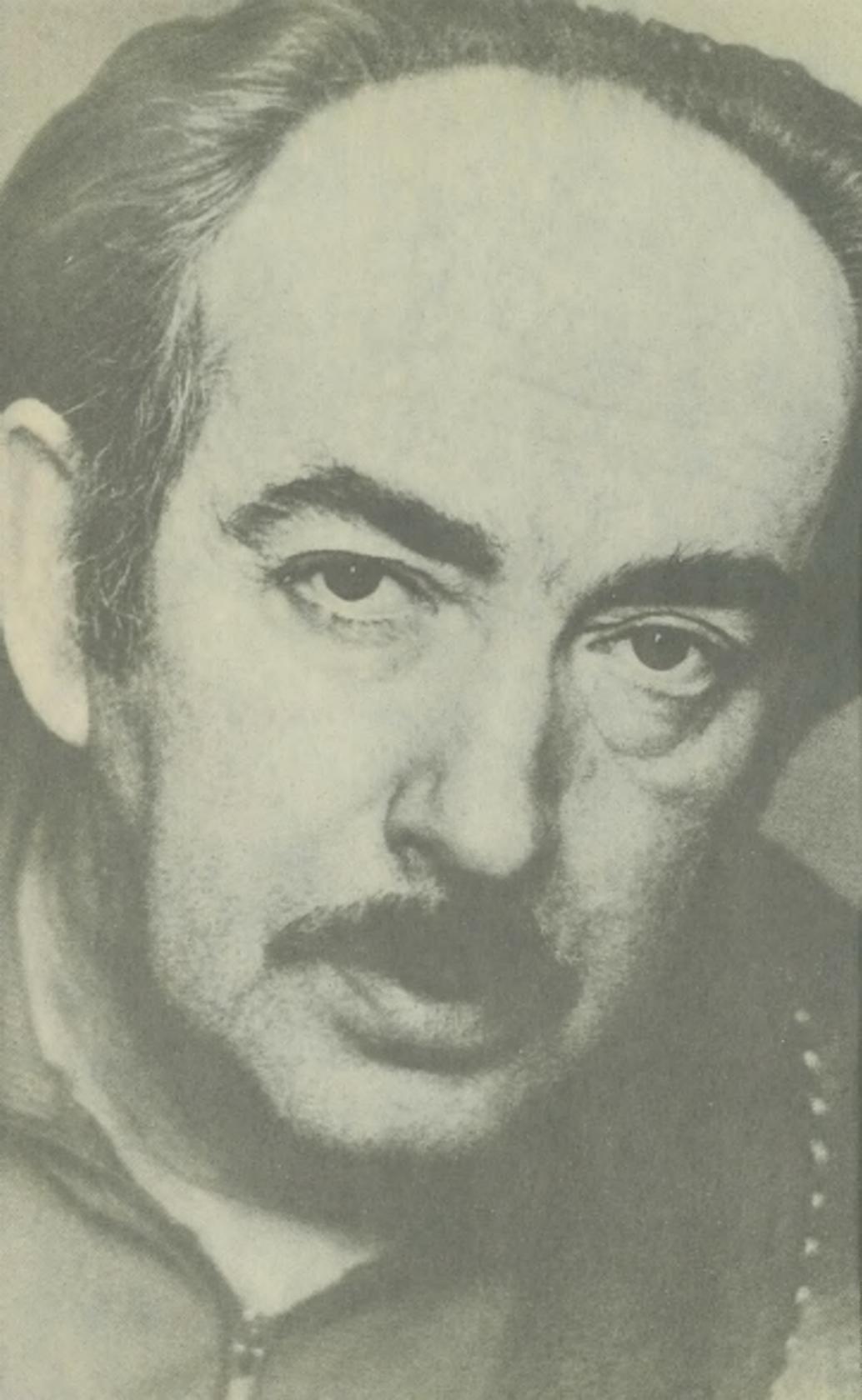
Александр Галич.
50—70-е

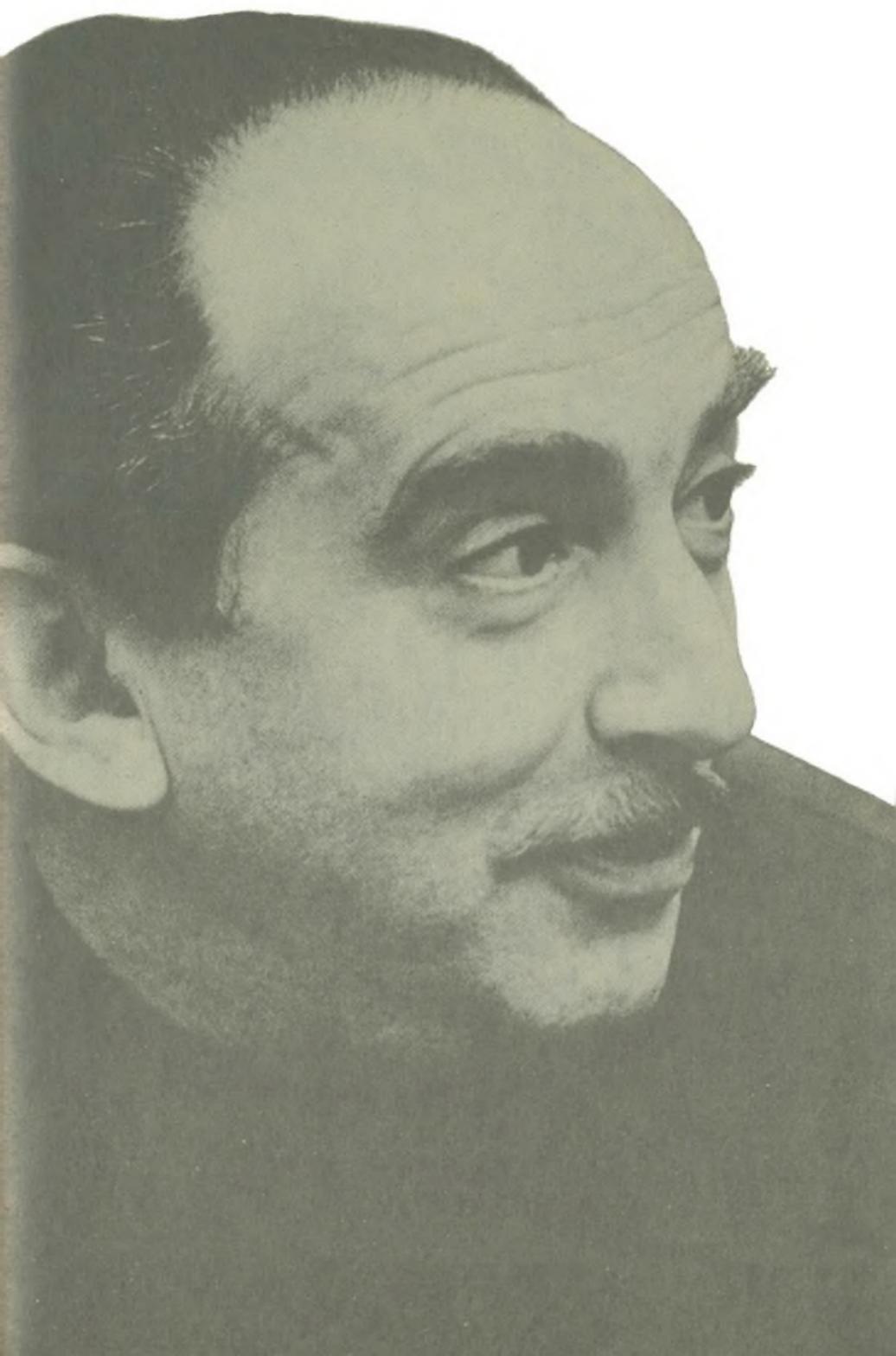


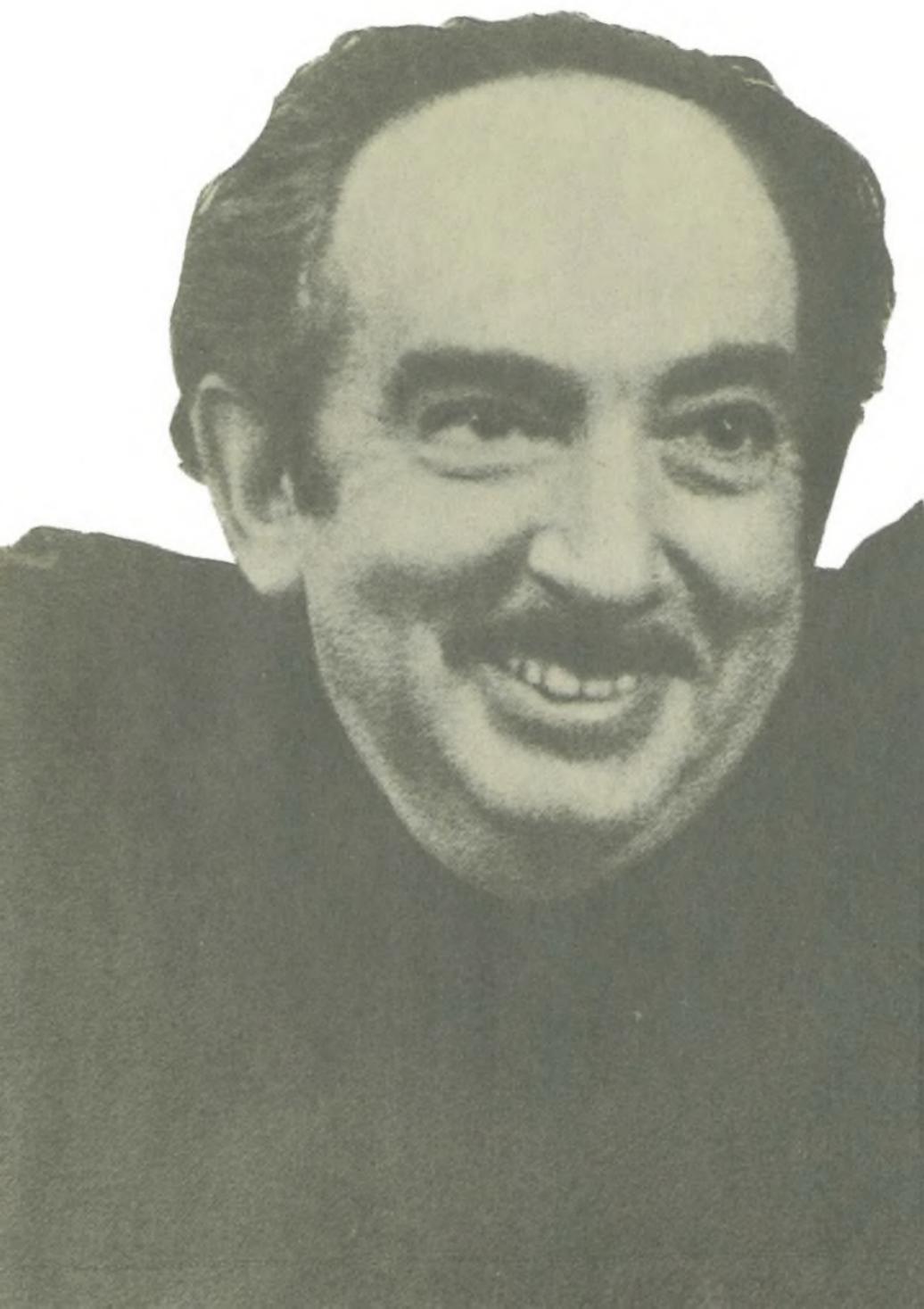




Александр Галич.
50—70-е







Александр
ГАЛИЧ

«...Я вернусь...»

КИНОПОВЕСТИ

ПЬЕСЫ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ



Москва
«Искусство»
1993

ББК 84Р
Г15

Составитель
А. А. Архангельская-Галич

Вступительная статья
В. Р. Волина

Художник *Н. В. Мельгунова*

В книге использованы фотографии
из семейного архива *А. Галича*,
подготовленные *Ю. Решетниковым*

Стихотворные фрагменты
к альбому иллюстраций
подготовлены *И. Кукиным*

Издание осуществлено
совместно с фирмой «Самсон»
(г. Днепропетровск, Украина).

Галич Александр Аркадьевич
Г15 «...Я вернусь...»: Сборник. — М.: Искусство,
1993. — 400 с., [24] л. ил.
ISBN 5-210-02424-5

Творчество популярного поэта и драматурга А. Галича впервые целостно предстает в этой книге. Известные его пьесы «Вас вызывает Таймыр» и «Матросская тишина» соседствуют здесь с наиболее удачными киносценариями — «Верные друзья», «На семи ветрах», чтобы таким образом читателю стал понятен Галич-драматург. Представленные в сборнике драматические произведения, выражая характер поэта и передавая его дух, дополняют его же автобиографическую прозу «Генеральная репетиция», воскрешают перед читателем яркую многогранную личность художника.

Г $\frac{4702010206-078}{025(01)-93}$ 38-92

ББК 84Р7

- © А. Архангельская-Галич (составление), 1993 г.
- © Н. В. Мельгунова, художественное оформление, 1993 г.
- © Издательство «Искусство», подбор иллюстраций, 1993 г.

ISBN 5-210-02424-5

ВСПОМИНАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ ГАЛИЧА

Работа Александра Галича в театре и кино — это особая, большая тема. В предисловии к этой книге нет необходимости останавливаться на актерской молодости Галича, его театральных дебютах, знакомстве со Станиславским и Качаловым, — обо всем этом он сам подробно рассказал в автобиографической прозе «Генеральная репетиция», которая публикуется в данном сборнике. Но кое-что о его пьесах и фильмах, хотя бы основных, все же нужно сказать. Без этого и образ Галича-поэта будет неполным.

Откроем первый том «Театральной энциклопедии». Прочтем короткую, в несколько строчек справку. После перечисления пьес — резюме: «Центральная тема творчества Галича — романтика борьбы и созидательного труда советской молодежи». Что ж, было и это. Пройдя через соцреализм, отдав дань водевилям и мелодрамам, наивности и сентиментальности, отобразив «созидательный труд советской молодежи», Галич постепенно избавлялся от иллюзий, пока не пришел к себе подлинному — тому, кого знают теперь читатели и зрители.

Многим пьесам Галича, к сожалению, не повезло на театральных подмостках. Чем они не угодили властям?.. Так и не увидели света рампы и «Август» и «Матросская тишина». Больше даже, пожалуй, не повезло в театре «Матросской тишине» — пьесе, которой должен был открыться молодежный «Современник» Олега Ефремова, наряду с «Вечно живыми» Виктора Розова. Но вместо двух премьер состоялась одна: прекрасную розовскую пьесу начальство скрепя серд-

це проглотило, хотя и там были подводные камни и рискованные места. Видимо, двух запретов показалось слишком много.

Галич вспоминает, как во время генеральной репетиции «Матросской тишины» одна из двух ответственных дамочек из «большого дома» сказала сокрушенно и громко, на весь зрительный зал: «Никакой драматургии... Ну совершенно, совершенно никакой драматургии!»

И это — о его лучшей пьесе, вошедшей ныне в Золотой фонд отечественной театральной литературы, о пьесе, в которой мастерство автора поднялось на такую высоту, где драматургия — не только в каждом действии, но в каждом маленьком эпизоде, едва ли не в каждой реплике! И не просто драматургия, а подлинный драматизм.

Достаточно вспомнить хотя бы ночной разговор в санитарном вагоне тяжелораненого Давида со своим отцом, убитым эсэсовцами. То ли сон, то ли бред, то ли воспоминания... Поразительной силы сцена! Увы — мы можем лишь вообразить, гадать, догадываться, как играли ее прекрасные актеры «Современника» — Евгений Евстигнеев в роли старика Абрама Шварца и Игорь Кваша — Давид. И как играл тогда совсем молодой Олег Ефремов в ролях Чернышева и рассказчика от автора (он же был режиссером спектакля, за спасение которого бился отчаянно, как лев).

Кстати, этот прием — разговор на сцене с человеком, ушедшим из жизни, — был известен и раньше в драматургической практике. Галич, конечно, знал великолепную пьесу Карела Чапека «Мать», где убитый в бою Отец появляется дома и беседует с Матерью, а потом к ней приходят, один за другим, трое тоже погибших сыновей. Но Галич внес в свой эпизод такие глубокие мысли и ассоциации, такое пронзительное настроение, что сцена эта становится одной из кульминаций всей пьесы, ее стержнем и обнаженным нервом. А для номенклатурной дамочки — «Никакой драматургии!»

Любопытно, что подобный же прием использовал впоследствии кинорежиссер Марлен Хуциев в лучшем своем фильме «Мне двадцать лет». Там тоже отец, убитый на войне, навещает своего сына, но не знает, что посоветовать ему в жизни — ведь он, отец, моложе собственного сына! И как же досталось тогда режиссеру и сценаристу Г. Шпаликову за эту сцену от малограмотного, но всесильного партийного властителя Хрущева, в чем только не обвинял он авторов! «Даже звери, и те учат своих детенышей!» — распинался генсек, размазывая по стене талантливейших ху-

дожников. И как это похоже на то, что вытворяли с Галичем заместники партии в искусстве — Солодовников и прочие охранители. Все тот же тяжелый, с нажимом почерк, та же беспепелляциянная уверенность в своей правоте, и — то же невежество профанов и выскочек.

Очень точно сказал об этом явлении театральнй критик Александр Свободин в предисловии к журнальному варианту «Генеральной репетиции».

«Да, конечно, потрясает на редкость спокойно написанная бесчеловечная, затхлая атмосфера казни спектакля, называвшаяся в те времена „приемкой“ или „сдачей“ („как города сдают спектакли“... — помню строку из чьего-то стихотворения). А портреты двух сановных дам, одну из которых я знал, как и многие театральные люди Москвы, и которая, будучи изгнанной из „большого дома“, предстала в миру полным ничтожеством... Те, кто сохранился, „дети двадцатого съезда“, как называли себя актеры молодого „Современника“, сделали себя сами, пройдя через частоккол ошибок, паллиативов и компромиссов. Они подошли к той черте, переступив которую перестаешь быть человеком. Альтернативой совести может быть только бессовестность, альтернативой правды — только ложь».

Точно и исчерпывающе сказано критиком, хорошо знавшим Галича и «изнутри» знакомым со столичной театральной и околотеатральной жизнью, в том числе и с неприглядными ее сторонами...

«Матросская тишина» репетировалась не только в театре-студии МХАТа, будущем «Современнике»; в те же месяцы (и тоже с участием автора) работа над спектаклем шла и в Ленинграде, в Театре имени Ленинского комсомола. И даже была принята там к постановке худсоветом театра в конце мая 1957 года. Прогон пьесы в Ленинграде состоялся 29 мая, а уже в январе следующего года спектакль был снят и запрещен к показу зрителям. Были и другие попытки поставить «Матросскую тишину». По свидетельству Александра Жовтиса (в алма-атинском журнале «Простор»), Галич трижды приезжал в столицу Казахстана в надежде поставить там «Матросскую тишину» на сцене Театра имени Лермонтова. Но и в Алма-Ате пьесу, задевавшую самые болевые точки нашей истории, постигла все та же фатальная неудача — зрители ее так и не увидели.

«Театрам запретили ставить его пьесы, — пишет Юлий Ким. — Кинорежиссерам запретили снимать фильмы по его сценариям. Клубам, институтам, различным организациям запретили приглашать его на свои сцены. «Обложили меня,

обложили!» — это Галич мог спеть о себе с большим правом, чем Высоцкий.

Нет, далеко не случайно запрещались эти две пьесы, не зря снимались они со сцен московских, ленинградских, периферийных театров страны! При всем своем дремучем невежестве, при всей неандертальской тупости партийные дуболомы — цензоры и церберы сумели разглядеть и в «Августе», и в «Матросской тишине» опасность для себя, для своей античеловечной идеологии, для своего бездушного, мертвяще-затхлого режима. Поистине, к этим пьесам можно бы применить слова композитора Листа, сказанные им о шопеновских мазурках: «Это — пушки, спрятанные в цветах!»

Люди, запрещавшие «Матросскую тишину», среди прочих обвинений предъявляли и такое, как «возвеличивание роли евреев в войне». Для этого абсурдного обвинения им достаточны были имена главных героев пьесы — мужчин: Давид и Абрам Ильич Шварцы, Мейер Вольф. Трудно найти что-либо более далекое, чем эта клевета. Прочтите потрясающие по силе страницы «Генеральной репетиции», посвященные так называемому национальному вопросу, — и вы убедитесь, что Галич был подлинным интернационалистом и при этом — горячим патриотом своей родины.

Прочтите его «Песню о Тбилиси», прочтите «Балладу о чистых руках» с ее чеканными строками: «А танки идут по вацлавской брусчатке, и наш бронепоезд стоит у Градчан», прочтите «Русские плачи» с их щемящей, надрывной болью за Россию — и вы увидите, как отзывалась в сердце Галича любая несправедливость к любой нации, будь то раздавленная «пражская весна», или стонущая под сталинско-бериевскими сапогами охранников благословенная грузинская земля, или плачущая от лихолетья, от ложных мессий, от тысячелетних страданий Россия.

В этом сборнике драматургия Галича представлена только двумя пьесами: «Матросская тишина» и «Вас вызывает Таймыр». Это как бы две разные ипостаси творчества Галича-драматурга. Нет нужды пересказывать содержание «Таймыра», этой веселой, искрометной комедии положений, в буквальном смысле слова сделанной по грибоедовской формуле из «Горя от ума»: «Шел в комнату, попал в другую». Не хочется лишать читателя удовольствия самому распутывать хитросплетения сюжета, всю эту чехарду с гостиничными номерами и постоянными ошибками и розыгрышами.

В «Таймыре» можно увидеть и излюбленные мотивы старинного русского водевиля, и безупречную конструкцию американских комедий, и жизнерадостную легкость (но не

легковесность!) французского фарса. А все вместе — это Галич, неисчерпаемый и остроумный выдумщик, впитавший в своем комедийном творчестве лучшее из отечественной и западной драматургии.

Действие в «Таймyre» закручено с ошеломляющей скоростью, не «провисая» ни на секунду. На сцене нет места ни скуке, ни унылой дидактике, каждый эпизод, каждый сюжетный поворот выверен филигранно, с математической точностью. И так всегда у Галича-драматурга, будь то водевиль или мелодрама, рассказ для театра или драматическая хроника. Всюду чувствуется рука мастера. Ясность замысла, точное ощущение жанра, живые человеческие характеры, насыщенные диалоги без пустых, проходных реплик — все это характерно для его пьес (как, впрочем, и для киносценариев). Ну разве что за исключением самых первых, учебных, где автор только еще набирался опыта.

Но даже на безобидный «Таймyre» обрушивался державный гнев! В самый разгар всесоюзного успеха пьесы в официозе партии — газете «Правда» была помещена разгромная статья, «мощный залп из всех бортовых орудий», как назвал ее в своих воспоминаниях Юрий Нагибин. Предоставлю слово этому писателю, другу Галича и свидетелю тех событий:

«И что-то загадочное было в этой статье: стрельба из пушек по воробьям, мрачно-безжалостный, предельно грубый тон, будто речь шла не о легкой, непритязательной комедии, но о сотрясении государственных основ, и все это — при совершенной бездоказательности разносного текста. Наивные и довольно беззубые шутки персонажей преподносились как угроза общественному вкусу, традиционная комедийная путаница трактовалась как попытка дезориентировать советских людей перед лицом капиталистической опасности. Из статьи становилось ясно: если порочная пьеса останется в репертуаре, то нечего и думать о построении коммунизма.

Словом, это был сталинский маразм на высшем уровне, когда отбрасываются все моральные запреты, приличия, вежливость, дневной разум и чувство реальности. И на что потрачен весь этот неимоверно боевой арсенал? На уничтожение милой театральной шутки».

Да, можно сказать и так — «милая театральная шутка». Но не случайно же шла эта шутка по всей стране, в десятках театров, неоднократно показывалась по тогда еще черно-белому телевидению, был даже снят телефильм с Евгением Весником в главной роли. Зрителей Московского театра сатиры радовала увлеченная игра Николая Доронина, Георгия Тусузова и других прекрасных комедийных актеров.

И это естественно, это вполне понятно! Страна только еще встала из руин, война то и дело обжигала своим ледяным дыханием: то вдруг обнаруженной неразорвавшейся бомбой, то смертельными ранами фронтовиков, и людям, пережившим Великую Отечественную, хотелось веселого, радостного, яркого зрелища. Именно таким зрелищем и был «Таймыр», отсюда его всенародная популярность, с которой могла сравниться в те годы разве что только софроновская «Стряпуха» (оставляю в стороне сравнение литературных достоинств обеих комедий).

За пределами нашего однопомника остались многие галичевские пьесы — «Москва слезам не верит» («Положение обязывает»), написанная совместно с Г. Мунблитом еще в 1949 году, «Под счастливой звездой» (1954), поставленная одновременно Московским театром сатиры и Ленинградским театром имени Ленсовета, «Походный марш» («За час до рассвета»), увидевшая свет ramпы в ленинградском Новом театре, «Пароход зовется „Орленок”» в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, уже упоминавшаяся «Много ли человеку надо» (все — пятидесятых годов). А в шестидесятые годы во МХАТе выдержал около двух десятков представлений спектакль «Будни и праздники», написанный Галичем совместно с И. Грековой по ее первой повести «За проходной».

И все это было сделано профессионально, без малейших признаков небрежности и тем более халтуры, так характерных для многих сценических конъюнктурных, ремесленных подделок тех лет.

Не меньшее место, чем театр, занимает в творчестве Галича кино. Его сценарии, сделанные с крепким профессиональным мастерством, без «киношных» штампов и фанерных персонажей, не случайно привлекали первоклассных режиссеров, операторов, композиторов, собирали целые созвездия лучших актеров Москвы и Ленинграда.

Вот один из наиболее известных сценариев Галича, написанный им в 1954 году в соавторстве с К. Исаевым, — веселая лирическая комедия «Верные друзья» (первоначальное название — «На плоту»). Читатель прочтет ее в этом сборнике, вспомнит популярнейший когда-то фильм.

Почему взялся за этот сценарий маститый режиссер Михаил Калатозов, которого мы знаем главным образом по мощным кинофрескам «Летят журавли» и «Неотправленное письмо», по фильмам о Чкалове и других героях-летчиках? Да потому, что он увидел здесь живые, полнокровные характеры, подлинную жизнь. Режиссер, тяготеющий к монумент-

тальности и героике, показал себя в этом фильме комедийным мастером, умеющим сочетать лирику и поэтичность с острой сатирой, даже гротеском. А опытный кинооператор Марк Магидсон в полном соответствии со сценарием изобразил поэтичные среднерусские пейзажи, наполнил ленту лирическим колоритом (особенно хороши были кадры ночной реки и «взбунтовавшегося» лошадиного табуна).

В центре фильма — прекрасное актерское трио: народные артисты СССР Борис Чирков, Александр Борисов и Василий Меркурьев, «трое на одном плоту» (почти как трое в одной лодке у Джером К. Джерома). Спокойный, романтический Лапин (А. Борисов), надежный крепыш Чижов (Б. Чирков), то и дело зарывающийся хвастливый архитектор Нестратов (В. Меркурьев) — все они словно были выхвачены из окружающей жизни. Так же, как и красавица Лилия Гриценко в роли Натальи Сергеевны, Людмила Шагалова (Катя), Юрий Саранцев (Сережа). А рядом с ними — люди другого склада: подхалим и бюрократ Нехода в остром шарже прославленного мхатовца Алексея Грибова, показавшего здесь сатирическую грань своего таланта, комедийные актеры Михаил Пуговкин (зав. клубом) и Георгий Георгиу (референт).

Что же до мелодичных песен Тихона Хренникова — «Плыла, качалась лодочка», «Что так сердце, что так сердце растревожено» и других, — то их помнят и поют до сих пор.

В этом же сборнике публикуется киносценарий «На семи ветрах». Те, кто застал эту черно-белую картину режиссера Станислава Ростоцкого, когда она еще шла на экранах, помнят ее романтическую приподнятость, помнят простых наших людей на страшной войне, их неброский героизм и самоотверженность в тяжелейших условиях. В открытом всем ветрам доме на окраинном пустыре располагаются по очереди фронтовая редакция, походный госпиталь, боевое подразделение. Сменяют друг друга временные обитатели дома: сначала военные журналисты, среди которых любимец женщин и душа общества Слава Суздаев (незабываемый Вячеслав Тихонов), главный редактор Петерсон (Михаил Трояновский), сотрудница редакции в интеллигентном исполнении Софьи Пилявской; затем — фронтовые медики (яркие образы создали здесь Людмила Чурсина и Светлана Дружинина) и, наконец, обороняющие боевую позицию солдаты (особенно запомнился тут зрителям прекрасный актер Леонид Быков). Не покидает дом на семи ветрах одна только Светлана Ивашова, чью роль исполнила дебютировавшая в кино Лариса Лужина: она ждет здесь своего любимого, обещавшего в записке скоро вернуться, помогает и журналист-

там, и врачам, и солдатам, а заодно сторожит доверенный ей секретный сейф. Лирико-романтический талант Галича развернулся в этом фильме в полной мере.

И с композитором картине повезло: это Кирилл Молчанов (тот самый, чью прекрасную патриотическую песню «Вот солдаты идут» на слова поэта Михаила Львовского когда-то на целые десятилетия запретили из-за схожести первых слов с песней белой армии, исполнявшейся Петром Лещенко, — еще один пример цензорского идиотизма!). А в «Семи ветрах» звучит проникновенная мелодия песни о разведчиках, которую поет, сопровождая себя на рояле, обаятельный В. Тихонов. И как великолепно снял этот фильм оператор многих лент Ростоцкого Вячеслав Шумский, тонко почувствовавший романтическую тональность галичевского сценария.

Здесь нет возможности рассказать о всех киносценариях Александра Галича — как о реализованных на экране, так и не поставленных. А ведь были еще, в пятидесятые годы — «Сердце бьется вновь» и «Трижды воскресший», в шестидесятые — комедия Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» с Олегом Борисовым, Анатолием Папановым и Ларисой Голубкиной в главных ролях и музыкой Анатолия Лапина, приключенческо-детективный фильм «Государственный преступник», роли в котором мастерски исполнили С. Лукьянов, П. Кадочников, К. Лучко, был совместный советско-французский фильм «Третья молодость» — о великом балетмейстере Мариусе Петипа, с Олегом Стриженовым в роли Петра Ильича Чайковского. А еще — самый первый фильм Галича, «В степи» (1951), сценарии к мультфильмам, песни для кино... И был сценарий биографического фильма о гениальном русском певце Федоре Шаляпине, над которым уже начал работать режиссер Марк Донской (в главной роли должен был выступить артист Игорь Охлопкин). К сожалению, этот замысел не был осуществлен, а ведь предполагалась целая трилогия — о Чайковском, Петипа и Шаляпине, а состоялась только вторая часть этого грандиозного по объему триптиха.

Таков Александр Галич — киносценарист.

Характерно, что почти все пишущие о Галиче-поэте отмечают очень важную особенность его творчества, а именно то, что в большинстве своих песен он продолжает оставаться драматургом и сценаристом. «Что за парадокс: в его песнях — очень много театра, может быть, даже больше, чем в пьесах! Конечно, больше — потому что театра трагического!» — замечает Юлий Ким в статье «Две музы А. Галича» (журнал «Аврора»). «...У многих Галич-драматург

до сих пор ассоциируется с Галичем-поэтом. А как раз самые интересные песни Александра Аркадьевича те, в которых его поэтический талант проецируется на талант драматурга. Получаются песни-пьесы. Острые, смешные, социальные... Недаром один московский театр предложил Галичу написать сатирическую комедию по его песне «Баллада о прибавочной стоимости». В самом деле, чем не сюжет?» — пишет в статье «Странные люди заполнили город» в сборнике «Избранные стихотворения» А. Галича присутствовавший на памятном новосибирском концерте в Академгородке тогда еще молодой журналист и сатирик Виктор Славкин, автор смешной переписки Галки Галкиной с читателями в журнале «Юность». Тот самый Славкин, который писал в те годы свои пьесы «в стол» и лишь спустя десятилетие однажды «проснулся знаменитым», когда увидели свет рампы сначала у нас, а потом и за рубежом его пьесы «Взрослая дочь молодого человека» и «Серсо»...

Эту же мысль о единстве поэтических и драматических жанров у Галича подчеркивает А. Зверев в предисловии к «совписовскому» однотомнику «Генеральная репетиция»: «А все-таки настоящий театр Галича — это написанное им не для сцены, а для гитары. Я не оговорился: именно театр, не в переносном, а в самом буквальном смысле понятия. Театр одного актера, бесконечно перевоплощающегося, словно ему это ничего не стоит сделать».

И еще о неразрывном единстве, сочетании в одном творце драматурга и поэта-певца пишет тот же Виктор Славкин: «Галич считает, что пение барда — не музицирование, не наговаривание стихов, а театр. В этом театре только один актер, а раз так, надо уметь быть на сцене долго».

Да, песни Галича — это тоже театр, и театр высокопрофессиональный. Посмотрите, как он строит, например, свои баллады по канонам драматургии: тут есть и завязка, и развитие действия, и кульминация, и финальная развязка, видна логика характеров, порой слышно даже нечто вроде «греческого хора».

И все театральные жанры представлены в его песнях: так, баллады о прибавочной стоимости и о директоре антикварного магазина (из цикла «О разных психах») — это законченные трагикомедии, трагифарсы; «Рассказ, услышанный в привокзальном шалмане» — о некоем незадачливом майоре, потерявшем на пьяной рыбалке свой «документ» и попросивший кадровичку Клавку записать ему в пятом пункте нового удостоверения еврейскую национальность, не подозревая, чем это для него обернется, — это, конечно,

сатирическая комедия, гротеск; «Песня-баллада про генеральскую дочь» — драма, «Тонечка» («Городской романс») — мелодрама, поэма «Кадиш», посвященная Янушу Корчаку, — высокая трагедия. В песнях цикла о Климе Петровиче Коломийцеве явственно видны черты водевиля и бурлеска, ну а «Ночной разговор в вагоне-ресторане» — о том, как зеки по приказу начальства рушили на железнодорожной станции каменный сталинский «статуй», который к тому же еще и оживает, — это уже откровенный гиньоль, данс-макабр — пляска мертвецов (и, кстати, другую песню — о папаше, повесившемся из-за того, что не мог прокормить свою многодетную семью, — Галич так и назвал «Фарс-гиньоль»).

А такая песня, как «Композиция № 27, или Троллейбусная абстракция», — это уже похоже на театр абсурда... Впрочем, если быть точным, прием абсурдизма, доведения до полного нонсенса Галич использует и в других сатирических песнях-фельетонах. А как же иначе? Какова жизнь — таковы и песни! Или, как писал Андрей Вознесенский о другом великом барде 60—70-х годов Владимире Высоцком, — «Какое время на дворе — таков мессия».

Порой Галич выстраивает свои песни по принципу открытого в кино Эйзенштейном «монтажа аттракционов», в других — отчетливо виден как бы музыкальный контрапункт, как, например, в песне «Летят утки», «Аве Мария», где действие происходит одновременно в разных местах и разных временах, многопланово, разноголосно.

Так же написан «Отрывок из радиотелевизионного репортажа о футбольном матче между сборными командами Великобритании и Советского Союза», где стихи перемежаются с прозой, монолог футболиста Володи Лялина чередуется с текстом спортивного комментатора. Но вчитайтесь, вслушайтесь в этот комментаторский «наболт» — и вы безошибочно узнаете интонации, речевые акценты, даже паузы Николая Николаевича Озерова — бывшего театрального артиста МХАТа, ставшего потом спортивным журналистом (и очень хорошим!). Даже читая этот текст про себя, невольно подражаешь его манере. Не говорю сейчас об остро-сатирической направленности «Репортажа», о так хорошо узнаваемых реалиях нашей вконец заполитизированной спортивной жизни тех лет, но с какой ювелирной точностью, с каким абсолютным слухом надо было писать, чтобы так похоже спародировать не только содержание, но и саму форму подачи текста!

Таков «театр песни», театр одного актера — Александра Галича.

Владимир Волин

КИНОПОВЕСТИ

«Верные друзья»

«На семи ветрах»

Верные друзья

...Тридцать лет назад на реке Яузе, за московской заставой Лефортово, жили три закадычных друга...

По Яузе, какой она была тридцать лет назад, — мутной, с захлавленными берегами, с приросшими к ним маленькими косыми домишками, — плывет лодка, такая дырявая и заплатанная, что просто непонятно, как она держится на воде.

Ведут лодку по Яузе три дружка: Сашка Лапин, голубоглазый, взлохмаченный паренек, степенный и серьезный, прозванный за любовь к животным «Кошачий барин», Боря Чижов — «Чижик», с такими же, как у Лапина, голубыми глазами, но озорным и лукавым лицом, и худенький, длинноногий и длиннорукий Васька Нестратов, за важность и хвастовство именуемый «Индюком».

Вместе с лодкой выплывает песня, которую друзья орут истошными голосами:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар горит,
Буржуазия дрожит!..
Во! И боле ничего...

На руле, исполненный чувства собственного достоинства, сидит Васька. Он держит в левой руке замусоленную ученическую тетрадь, на обложке которой корявыми буквами написано: «песильник», поглядывает на яркое июльское солнце и командует:

— Прямо на борт! Пошевеливайся!..

Саша Лапин бросает весло.

— Чего он командует все время?! — И, повернувшись к Ваське, сердито говорит: — Не ты один здесь капитан!

— А кто ж будет командовать? — снисходительно спрашивает Васька. — Ты, что ли?

— Задаешься, Васька! — угрожающе произносит Саша и поворачивается к Борису: — Опять он задается! Макнем? В глазах у Бориса прыгают весело искорки:

— Макнем!

— Не надо! Не надо, дьяво...

Но уже поздно.

Саша и Борис, едва не перевернув утлый корабль, хватают отчаянно барахтающегося Ваську за руки и за ноги и окунают в Язу.

— Будешь задаваться?! Будешь задаваться?!

— Не... не... буду...

Ваську водружают обратно в лодку. Потоками течет с него мутная вода.

— Вот индюк! — с искренним возмущением говорит Чижик. — Сколько его ни макай, он все за свое!

— Ладно! — бормочет Васька. — Этого я вам не забуду! Но тут же, разумеется, забывает.

С берега, из-за невысоких покосившихся заборов городской окраины, из-за полуразвалившихся стен и темно-бурых нагромождений шлака и мусора летит песня:

Недаром утром будит вас
Походный марш, товарищ!
Еще Царицын и Донбасс
Лежат в дыму пожариц!
И мы идем в последний бой,
Вперед — сквозь непогоду,
За отчий дом, за край родной,
За счастье и свободу.

Друзья, насторожившись, прислушиваются.

Протяжно гудит заводской гудок.

— Комсомольцы на субботник идут! — кивает Борис.

— А хорошо, ребята... — задумчиво улыбается Сашка. — Хорошо, что опять гудок гудит, верно?

Медленное течение тащит лодку. Песня на берегу затихает. Ребята переглядываются и подхватывают:

Ну что ж, друзья,
Споем, друзья.
Споем про дальние края,

Про битвы и тревогу,
Про то, как он, и ты, и я.
Про то, как вышли мы, друзья,
Как вышли мы в дорогу.

— А здорово у нас получается, честное слово! — вдруг восхищается Васька. — На всю Яузу слышать!

Стоят покосившиеся домишки на берегу, течет мутная вода.

— Да, хороша у нас Яуза, — вздыхает Чижик, — только вот берега видать... простора нет...

— А есть реки, говорят... — Саша мечтательно смотрит вдаль, — ни конца, ни краю...

Васька самоуверенно встряхивает нечесаной головой.

— погоди, поплывем еще туда! Поплыве-ем...

И друзья, переглянувшись, снова затягивают:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...

С ТОЙ ПОРЫ ПРОШЛО ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Весна. Дальние горы на горизонте. Степь в цветах и травах. По некошенным травам бешеным карьером мчится конь. У всадника — Лапина — кудрявая, разбойничья борода и веселые, голубые, слегка навывкате глаза.

За холмом сразу открывается одиноко стоящее среди степи красивое белое здание. Это Экспериментальный институт животноводства. Всадник проскакивает арку и оказывается на круглом дворе. Земля здесь плотно убита копытами. Денники окружают двор.

Навстречу Лапину выбегают две девушки в белых халатах и седой поджарый человек в ловко пригнанных сапогах и кожаной короткой куртке.

— Он! — вскрикивает одна из девушек отчаянно. — Александр Федорович! Ну что же это?.. Ведь самолет через пятьдесят минут!..

— Тише, тише, Олечка, — смущенно бормочет Лапин, — я на минуточку. Взгляну только — и обратно. Чего ты шумишь? Вон, гляди, Вера ведь не кричит!

— Я не кричу, я доктору все расскажу! — мрачно говорит вторая девушка.

— Не успеешь! — Лапин подмигивает и оборачивается к старику. — Федор Иванович, выведи-ка побыстрее. А то видишь!..

Старик понимающе кивает и бежит к денникам.

— Вот какие дела, девушки, — говорит Лапин, — и нечего в кулаки хихикать!..

И, замолчав на полуслове, он замирает.

Весенние лучи солнца вспыхивают на ярко-гнедом, горящем, как вычищенная бронза, коне. Конь сторожко ставит тонкие уши, косится на Лапина, перебирает точеными ногами.

— Повыше, повыше его ставь! — Лапин едва дышит от восторга. — Голову отпусти, пусть свободно держит... Ну что ты скажешь! Ну что за совершенство! Сила, мощь, грация, красота — все в нем есть! Разве не стоило ночи недосыпать, искать, мучиться, ставить тысячи опытов, чтобы такая красота появилась на земле?!

— Александр Федорович, самолет!

— Все в нем есть — и сухость краба, и нервность, и спокойствие формы... Вы поглядите на линию спины, на мягкость перехода, на бабки. Совершенство... Пусть не скульптура, пусть не вечное, зато живое совершенство.

— Двадцать минут осталось, Александр Федорович! — в голосе девушки слезы.

— Сейчас, сейчас! Никуда твой самолет не денется.

Конь пляшет, тянется к Лапину, высовывает розовый язык.

— Сахару просит, — восхищается Лапин, — ну не умница, сладстена? Ты, Олечка, небось не догадаешься высунуть язык, когда сахару захочешь.

— Куда уж мне! Господи боже мой, семнадцать минут осталось! Опоздаете... А вас ждут в Москве... Вы же сами рассказывали...

Лапин прощается с конем, нежно его гладит, что-то шепчет. Потом резко поворачивается и, бормоча под нос: «Нужен мне этот отпуск» и «Пристали как банные листья», — прыгает на своего коня и стремительно уносится со двора.

— Расстроился, — говорит старик, прислушиваясь к стуку копыт.

— Двенадцать минут осталось! — охает девушка. — Столько лет он не отдыхал. А его друзья детства ждут, он ведь рассказывал... Сколько раз улавливались вместе отпуск провести. А теперь он на самолет опоздает.

Москва.

Аудитория университета.

Просторный зал, залитый солнечным светом. Полукруг-

лым амфитеатром поднимаются скамьи к потолку. Юноши и девушки внимательно слушают профессора Чижова.

— И под конец мне хочется сказать вам вот что... — Чижов хмурится, его подвижное лицо становится сосредоточенным. — Тем из вас, кто собирается стать нейрохирургом, то есть человеком, проникающим в мозг, самый сложный орган живого существа, в центр нервной деятельности, должно помнить: осторожность и еще раз осторожность! Вам доведется проникать за твердую оболочку мозга, и путеводителем будут ваши пальцы, пальцы хирурга. Прикосновение их должно быть легче лепестка, падающего в безветренный день, чуткость большая, чем чуткость пальцев скрипача-виртуоза... — Взглянув на часы, профессор улыбнулся. — Однако мы заболтались, я и вас и себя задержал. Мы расстаемся на несколько месяцев. До свиданья, товарищи, желаю вам доброго отдыха!..

Чижов неторопливо спускается с кафедры и идет к дверям.

Любимого профессора окружают студенты, и вся группа выходит в коридор. В коридоре — торжественная тишина, паркетный блеск, лестница, двумя маршами устремляющаяся вниз. Чижов в сопровождении студентов приближается к лестнице, серьезно о чем-то с ними беседа.

И вдруг снизу раздается веселый возглас:

— Чижик! Эй!

Чижов широко открывает глаза, перегибается через перила.

— Саша! Кошачий барин! Ах ты, черт побери!

И остолбеневшие студенты видят, как их уважаемый профессор кубарем скатывается с лестницы, обнимает, тискает и тычет кулаком в бок невысокого человека с разбойничьей кудрявой бородой и лауреатским значком на лацкане скромного пиджака.

Архитектурное управление.

В приемную руководителя одного из отделений гражданского строительства — академика Василия Васильевича Нестратова — входят Чижов и Лапин. В комнате находятся человек двадцать с альбомами и рулонами чертежей в руках. По их лицам видно, что долгое ожидание приема здесь обычное дело. Кто-то из «новичков» негодует и возмущается, но большинство с унылым и скучающим видом слоняются по приемной.

Возле референта стоит тоненькая темноглазая девушка с

планшетом через плечо и говорит взволнованно и торопливо:

— Товарищ референт, вы поймите, седьмой день сюда хожу. Через день командировка кончается, а я не могу добиться товарища Нестратова...

У референта измученное и надменное лицо.

— Дорогой товарищ, я каждый раз спрашиваю, что у вас за дело к Василию Васильевичу, и вы регулярно отказываетесь отвечать!

— А если мне поручено с ним лично поговорить? Лично! Неужели нельзя?

— Я не говорю «нельзя», каждый трудящийся может быть принят Василием Васильевичем, но... согласитесь, что ж это получится, если к Василию Васильевичу Нестратову пойдет всякий кому не лень. Ну, зайдите денька через четыре...

Лапин переглядывается с Чижевым.

— Не могу я! — для убедительности девушка прижимает обе руки к груди. — Я ведь из Тугурбая, вы поймите... издалека, с Камы... Мы строим город животноводов... Ну хорошо, я вам скажу, если нельзя иначе... Но даже странно... Мне комсомольская организация поручила лично... У нас есть предложение: заменить силикатный кирпич, который нужно везти за четыреста километров на наше строительство, первоклассным розовым туфом. У нас его сколько угодно! Но начальство наше уперлось! Раз подписано, говорит, значит подписано. А проект вами подписан, Нестратовым! Так легче же проект изменить, чем баржами силикат таскать...

У референта перекашивается лицо.

— Послушайте, товарищ... девушка, — он старается говорить спокойно, — вы, очевидно, не совсем понимаете, где находитесь. В нашем ведении десятки проектных мастерских. И если Василий Васильевич Нестратов начнет принимать и выслушивать всех представителей комсомольских организаций, у которых рождаются свои, так сказать, архитектурные идеи, то...

— Будет совсем не дурно, — сумрачно вставляет Лапин.

Референт быстро оборачивается, чтобы осадить непрошеного советчика, но в хмуром взгляде Лапина и безмятежной улыбке Чижова есть что-то, заставляющее референта сдержаться.

— Вы из горкома, товарищи? — спрашивает он, перестав обращать внимание на девушку, которая затаив дыхание смотрит на нежданных заступников.

— Отнюдь! — Чижов смешливо морщит нос. — Мы не из горкома и мы не комиссия!

— И не ревизия, — добавляет Лапин.

— В таком случае по какому делу, товарищи? — высокомерно осведомляется референт.

— Представьте себе, у нас тоже личное дело к товарищу Нестратову, — говорит Чижов, — и, предупреждаю, вы нам его заменить не сможете!

— Лучше не скажешь, — усмехнулся Лапин.

— В таком случае, товарищи, ничем помочь не могу, — произносит референт ледяным тоном. — Василия Васильевича нет, и не знаю, когда он будет.

Он делает паузу, давая понять, что пора оставить его в покое. Чем сдержаннее говорит референт, тем вежливее становится Чижов. Интонации у него такие благодные, что кто-то рядом радостно хихикает. Референт, видимо, не пользуется популярностью.

— Поразительно! — говорит Чижов. — Неужели так-таки и не знаете?

— Не знаю!!!

— Может быть, приблизительно?

— Приблизительно он на одном из объектов.

— Приблизительно на каком именно?

— Это и мы бы дорого дали, чтобы выяснить, — басит кто-то из-за спины Лапина.

Референт поднимает глаза к потолку.

— Возможно, на одной из высотных строек. А быть может, на выставке... Или на площадке университета... Также он может быть на набережной у семьдесят второго объекта и в Лефортово.

— Есть такая детская игра, — хмурится Лапин, — тепло, теплее, горячо, еще горячее...

— Большое спасибо! — любезно кланяется Чижов. — На сегодняшний день нам этих адресов хватит. Мы еще увидимся!

Лапин спохватывается:

— А где же девушка эта? Из Тугурбая? Захватить бы ее...

Лапин и Чижов оглядываются, но девушки из Тугурбая уже нет в приемной.

На углу улицы, на стоянке такси, стоят два машины — «Победа» и «Зис».

Когда к стоянке торопливо подходят Чижов и Лапин,

«Победа» разворачивается и отъезжает. Мелькает в открытом окне кабины взволнованное лицо девушки из Тугурбая.

— Поедем, граждане? — равнодушно, без надежды в голосе обращается пожилой шофер «Зиса» к Лапину и Чижову.

— Непременно поедем! — весело кивает Лапин, подталкивает Чижова и, отворив дверцу, садится в машину.

Несколько мгновений длится молчание.

Мчится по шумным московским улицам открытый «Зис».

— Приезжие будете? — спрашивает наконец шофер.

— Заметно? — улыбается Лапин.

— Само собой, — пряча усмешку, говорит шофер. — Да разве ж москвича в «Зис» затащишь? Москвич «Победу» предпочитает!

— Почему?

— Экономическая политика... — туманно отвечает шофер.

Машина пересекает площадь Свердлова.

Мелькают мимо Большой театр, здание гостиницы «Москва», зеленые купы Александровского сада, университет.

— Обратите, граждане, внимание, — говорит шофер, — проезжаем старое здание университета. Приезжие, конечно, больше новым зданием интересуются — на Ленинских горах. Но, между прочим, Герцен, Огарев, а также Лермонтов Михаил Юрьевич учились именно здесь.

«Зис» сворачивает на улицу Герцена, проскакивает шумные Никитские ворота, мчится дальше и наконец останавливается у высокого деревянного забора, за которым виднеются мощные краны строительства.

— Вы нас подождите, — бросает Лапин шоферу.

Друзья выходят из машины и, осмотревшись, решительно направляются к открытым воротам проходной.

И в это же мгновение мимо них проезжает «Победа».

В открытом окне кабины показывается на секунду печальное лицо девушки из Тугурбая, Лапин машет ей рукой, но она не замечает.

Сторож, дед, распаленный, видимо, недавней ссорой, глядя вслед ушедшей «Победе», продолжает ворчать:

— Которые с комиссией, тем я и слова не скажу! А коли ты не с комиссией — хода нет! Нет хода — и все тут... Стойте, граждане, вам куда? — останавливает он друзей. — Вы с комиссией, что ли?

— С комиссией, с комиссией, — не замедляя шага, деловито отвечает Чижов.

Строительство.

Длинные деревянные мостки проложены над котлованом фундамента. Могучие краны легко поднимают на воздух грузы. Пофыркивают грузовики, с трудом пробираясь среди нагромождений строительного мусора и штабелей деталей. Пляшет, осыпая искры, пламя электросварки.

— Скажите, товарищ, — обращается Чижов к какой-то девушке в парусиновом комбинезоне, — вы не видели тут академика Нестратова?

— Такого не видела, — отвечает девушка и задирает голову к небу. — Вон какая-то комиссия на кране, — так, может, он там.

На огромной высоте, на площадке, венчающей кружевной перелет крана, видна группа людей.

— Ну и ну... — тяжело вздыхает Чижов. — Придется лезть.

Лапин и Чижов карабкаются наверх.

— Черт возьми! — с трудом переводя дыхание, восклицает Лапин. — Я начинаю уважать нашего Индюка. Если ему хотя бы раз в неделю приходится проделывать такие путешествия...

Внезапно раздаются негромкие звоночки, кран начинает медленно поворачиваться, и друзья видят панораму лежащего внизу, залитого солнцем чудесного города.

Серебрится одетая в гранит Москва-река, зеленеют сады и парки, поблескивают шпили высотных зданий.

— Здорово, — сдавленным голосом, вцепившись обеими руками в перекладину лестницы, произносит Лапин.

— Эй, товарищи, товарищи! — окликает друзей высунувшийся откуда-то сверху загорелый человек в фетровой шляпе и вышитой украинской рубашке. — Вы, собственно, куда? — он удивленно смотрит на Чижова и Лапина.

— Мы, собственно, к вам, если вы тут начальство, — коротко отвечает Лапин, — мы Нестратова ищем.

— Нестратова?!

Человек в фетровой шляпе горько улыбается.

— Ах, Нестратова... Только и всего? А секретом вечной молодости не интересуетесь?

— В каком смысле? — настораживается Чижов.

Кто-то из членов комиссии говорит со смешком:

— Нам хоть бы подпись его увидеть — и на том скажем спасибо.

Лапин и Чижов переглядываются.

— Все ясно, — заключает Чижов, — можно спуститься на грешную землю.

Лапин и Чижов медленно идут к воротам проходной.

— Да-а, Чижик, что-то с нашим многоуважаемым другом... — задумчиво говорит Лапин, но его перебивает истошный крик:

— Поберегись!

Сверху с грохотом опрокидывается огромный ковш, осыпая Чигова и Лапина обильным известковым дождем.

Мчится по шумным московским улицам открытый «Зис».

Откинувшись на кожаные подушки, хмурые, перемазанные известкой, сидят Лапин и Чижов.

— Проезжаем, граждане, площадь Пушкина, — сообщает шофер. — Бывший, извините, Страстной монастырь. Теперь памятник Александру Сергеевичу стоит. И лихачи там же стояли. Как говорится, извозчики.

Мчится по шумным московским улицам открытый «Зис».

И снова высокая ограда строительства, за которой виднеются подъемные краны, слышится звон, грохот, пофыркивание грузовиков.

И снова перед самым носом Чигова и Лапина отъезжает «Победа» с девушкой из Тугурбая.

Маленький, совершенно круглый человек, потрясая сжатыми кулаками и возбужденно блестя глазами, наступает на Лапина и Чигова:

— Вам нужен Нестратов?! А мне не нужен Нестратов?!

— Послушайте, — пытается вставить слово Чижов, но маленький человек продолжает наступать:

— Я его ждал осенью, зимой и весной! А теперь я его больше не жду! Может быть, его вообще не существует, этого вашего Нестратова?! Может быть, он просто фикция, а?!

Медленно и мрачно идут друзья по строительству к воротам проходной.

— Что ж, — хмуро говорит Лапин, — картинка понемногу начинает вырисовываться... Ты не находишь?

Мчится по шумным московским улицам открытый «Зис».

Молча сидят друзья, перемазанные известкой и краской, в продранных на коленях брюках и мятых пиджаках.

Мчится машина по широким набережным Москвы-реки, пролетает по гулкому мосту, сворачивает и останавливается.

И снова — строительство, строительная контора.

Пожилая женщина, постукивая по столу карандашом, печально говорит Чигову и Лапину:

— Видите ли, юридически, конечно, Василий Васильевич руководит нашим строительством, но фактически, конечно, Василий Васильевич не руководит нашим строительством.

Сумерки.

Загораются рубиновые звезды на башнях Кремля.

Мчится по улицам открытый «Зис».

Чижев, поглядев с опаской на счетчик, который уже нащелкал внушительную сумму в двести сорок восемь рублей, решительно говорит шоферу:

— Ну а теперь обратно! Назад! В Архитектурное управление!

И вот друзья снова в приемной Нестратова. Вечер. Тишина.

Обстановка резко изменилась. Посетителей нет. Окна зашторены. Сияют под потолком матовые шары. За маленьким столиком референт вполголоса что-то диктует стенографистке. Попутно, очевидно, говорит нечто приятное, так как стенографистка кокетливо ежится.

Чижев и Лапин вваливаются в комнату, своим появлением и видом сразу разрушая уют обстановки: с пиджаков при малейшем движении угрожающими облаками вздымаются следы известки. Волосы взлохмачены. Выражение лиц не предвещает ничего доброго.

Референт на миг каменеет, потом бросается вперед:

— Куда?! Куда, товарищи?! Здесь не строительная площадка!

— Где Нестратов? — хрипло спрашивает Лапин. — Дайте мне его.

Референт узнает их. В его голосе появляется утренняя надменность.

— Сейчас не приемное время, товарищи.

— Послушайте, молодой и гордый человек, — вкрадчиво говорит Чижев, — моя специальность — починять человеческие головы, но никогда в жизни я не был так близок к обратному процессу...

— Где Нестратов? — упрямо спрашивает Лапин, и референту чудится, что он засучивает рукава.

— Товарищи! Уверю вас...

В это мгновение открывается тяжелая, обитая ватой и дерматином дверь, ведущая в кабинет, и на пороге появляется высоченная, облаченная в великолепный костюм фигура Нестратова.

Нестратов провожает пожилого человека начальственного вида, и бархатный его басок раскатывается по приемной:

— ...Да не верьте вы строителям, друг мой дорогой. Они, друг мой дорогой, люди сезонные, а мы с вами строим на века!

— Что ж, разберемся, разберемся, Василий Васильевич! — Человек начальственного вида пожимает руку Нестратову и уходит.

Только теперь друзья обретаюТ дар речи.

— Все ясно. Он и не уезжал отсюда, — тихо говорит Лапин. — Можешь не сомневаться... Он целый день просидел в кабинете, пока мы рыскали по всей Москве!

Нестратов, заметив, что в приемной кто-то есть, обращает скучающий и величественный взор на смятые, пыльные фигуры посетителей.

— Откуда, товарищи? — спрашивает он, посмотрев куда-то между друзьями и референтом.

Референт, ринувшись вперед, захлебывается торопливой скороговоркой:

— Я неоднократно пытался объяснить товарищам, Василий Васильевич...

Но Нестратов движением руки останавливает словоизвержение референта. Он глядит во все глаза на молча стоящих Лапина и Чигова.

— Господи! — вскрикивает он. — Господи боже мой... Вы... Дорогие мои... Когда?.. Откуда?.. — И вдруг, опомнившись, Нестратов оглядывается, видит знакомую приемную, референта и стенографистку и вновь преобразается. — Пройдемте ко мне в кабинет. Прошу. Пожалуйста. Давно жду вас! Поговорим...

— Ну нет, — свирепо отвечает Чигов. — Здесь, в этом помещении, лично я могу только убивать, а не разговаривать! Не мы с тобой, а ты с нами уйдешь отсюда!

— Ладно, ладно. Пойдемте, раз уж так вам приспичило. Нестратов оглядывается на референта.

— Я на совещании, — говорит он и, подхватив друзей под руки, выходит.

Шофер такси ждет их не в машине — он тревожно прогуливается перед подъездом.

— Размяться захотелось? — приветливо спрашивает Лапин.

— Да нет, — смущенно отвечает шофер, — садитесь, граждане. Счетчик, знаете, стучит, он — машина серьезная, а вас все нет и нет.

— Готово, — говорит Лапин, усаживаясь поудобнее, — нас из-за твоих порядков приняли за жулье!

Нестратов снисходительно улыбается:

— А зачем нам в такси ехать? Отпустите. Поедем на моей.

— Нет уж, усаживайся.

— На Язу! — командует Лапин.

— Подальше, — добавляет Чижов, — туда, где удобнее совершить преступление.

«Зис» пролетает по московским улицам, украшенным гирляндами фонарей. К вечеру, как всегда, Москва похорошела. Нестратов, раскинув длинные руки, обнимает друзей за плечи.

— Ну, рассказывайте. Тысячу лет мы не виделись!

— Погоди, — Лапин усмехается, — время исповедей еще впереди.

Машина выходит на набережную, и перед ней иллюминированным утесом вырастает высотное здание на Котельнической.

— А вот и Язу, — тихо говорит Лапин. — Стой! Стой! Здравствуй, милая моя...

Он выскакивает из машины и бежит к низенькой ограде. За оградой катится темная тихая вода.

Чижов и Нестратов вылезают из машины.

— Спасибо вам, товарищ, — Чижов снимает шляпу и кланяется шоферу. — Теперь мы с вами расстаемся, чтобы обойтись без свидетелей... — Он поворачивается к Нестратову: — Василий Васильевич, взглянув на счетчик, вы легко обнаружите, во что обходятся обыкновенному советскому человеку поиски академика Нестратова.

Он отходит и запевает приятным баритоном:

— ...Итак, мы начинаем!..

Нестратов, поглядев на счетчик, с тоскливым выражением в глазах лезет в карман.

Чижов и Лапин стоят на берегу и восхищенно глядят на узенькую полоску воды. Нестратов подходит и становится рядом. Вид у него оскорбленный.

— Свиньи! — произносит он прочувствованно. — На триста тридцать восемь рублей наездили!

— В первый раз за долгое время услышал человеческую интонацию от этого Индюка! — с удовлетворением отмечает Чижов. — Это наводит на некоторые мысли.

— Вникните! — радостно говорит Лапин. — Вот она, Язу, а вот мы. Все трое. Стоим на берегу. Не кажется ли вам, что сейчас, вот из-за этого поворота, выплывет наше счастье, — дырявая лодочка.

Чижов смотрит на него, любуясь. Нестратов снисходительно улыбается. Но постепенно радостное настроение Лапина передается и ему. Прожитые годы уходят куда-то, время отодвигается.

— Кошачий барин, Кошачий барин! — нежно говорит он. — Только борода тебя и изменила... Да ты погляди вокруг. Разве наша это Луза?

Лапин оглядывается. Каменные громады домов окружают маленькую речку. Розовое небо — отражение электрического зарева — висит над городом.

— Наша, наша! — подмигивает он. — Ну, оделась в каменную набережную, приукрасилась, но все равно течет из тех же подземных ключей...

— Все равно? — оскорбляется Нестратов. — Кому все равно? Строили-то мы, архитекторы, строители! Сколько это мне крови стоило, ты знаешь? Здоровья, сил!

— Бедняга, — вздыхает Чижов, — он один, бедняга, и строил. Все — он!

— Простите — да! — Нестратов начинает говорить приподнято. — Это тебе не животы пороть. Извини, я говорю серьезно.

— Серьезно?

— Вполне.

— Ну и Индюк. Расхвастался. Понесло его, — глаза Чижова озорно блестят. — Расхвастался он, Саша? Как ты считаешь?

— Расхвастался, — кивает Лапин.

— Тогда, может быть, старым способом? Макнем? Не возражаешь?

— Давай!

И не успевает Нестратов опомниться, как два старых друга, проявив незаурядную силу, подхватывают его дородное тело за локти и приподнимают над парашетом.

— Братцы! — вопит Нестратов, отчаянно отбиваясь. — Вы с ума...

Но Лапин и Чижов, не обращая на его вопли ни малейшего внимания, дружно затягивают:

Мы пойдем к буржуям в гости,
Поломаем им все кости,
Во!.. И боле ничего!..

На противоположном берегу собираются любопытные. Какой-то старик грозит друзьям зонтиком:

— Хулиганство!

— Братцы! — молит Нестратов. — Не пьяные же вы! Ведь мы не мальчишки!

— Скажи, что больше не будешь, — неумолимо требует Чижов.

Нестратов, воспользовавшись тем, что его на мгновение

перестали раскачивать, произносит, вися вниз головой, внушительно и строго:

— Сию же минуту отпустите меня. Есть граница всему!

— Понятно. Давай, Саша.

И друзья снова принимаются петь:

Мы пойдем к буржуям в гости...

— Больше не буду! — кричит наконец Нестратов.

Его отпускают. Он задыхается от негодования.

— Выскажись, выскажись, — советует Чижов, — тебе легче станет.

Но Нестратов, повернувшись, собирается уходить. Лапин хватается его за рукав.

— Стой! — говорит он добродушно. — А то потом будет стыдно.

Нестратов что-то недовольно бормочет. Чижов наблюдает за ним почти с профессиональным интересом.

— Глупейшее мальчишество, — сердито сопит Нестратов, — можно и пошутить и подурачиться, я не против, но есть же мера...

— Тяжелый случай, — как бы про себя произносит Чижов, — запутанный. Я и не думал...

— Чушь какая! — Нестратов вынимает платок и отряхивается. — Так я ждал вас, думал: вот наконец встретимся, поедем вместе отдыхать, сколько лет собирались... Поговорим по душам, старину вспомним.

— Эх, хороша наша Яуза, — вздыхает Чижов, — только берега видать!

— И поедем, и вспомним, — кивает Лапин. — И очень я, други мои, доволен, что не поедем мы ни в Гагры, ни в Сочи, ни в Кисловодск, а поедем мы по тихим нашим широким русским рекам, как мечталось когда-то, поглядим на неведомые берега, да и вообще есть на что посмотреть и на Чусовой, и на Каме, и на Белой...

— Подлечиться бы надо, — морщится Нестратов, — совсем я измотался, ежели хотите знать. Энфизема легких от выступлений всяких, от речей. Поверите ли, вот ездил за границу с делегацией, так за месяц — семьдесят выступлений. Не падят. А ведь я еще нужен! Задыхаюсь при малейшем... По ночам повернусь на другой бок и задыхаюсь, устал... Тромбофлебит, и сердце стало пошаливать. Беречь, беречь себя надо! Для дела, для государства. Поверьте, не о себе беспокоюсь. Хотя на пароходе тоже хорошо. Воздух, вода... Если, конечно, достаточно комфортабельно.

— Нашел! — восклицает вдруг Чижов с торжеством.

— Что такое? — Нестратов подозрительно смотрит на него.

— Ты погоди, постой! — отмахивается Чижов. — Мы сейчас с Сашей пошепчемся немного. Вроде консультации. Тебе как больному нельзя слушать.

Он наклоняется к Лапину и что-то негромко и оживленно шепчет.

Нестратов следит за ними с плохо скрытым беспокойством.

— Опять ерунду какую-нибудь затеаете? — спрашивает он. — И откуда у вас силы берутся? Забот, видно, мало.

— Не беспокойтесь, — улыбается Лапин, — Чижик надумал прекрасную штуку.

— Какую?

— Узнаешь! — сурово отвечает Чижов. — Только для этого потребуется время. Сил надо не пожалеть и отдыхом своим пожертвовать... Так что для тебя это дело не годится...

— Как это понять? Мы не едем, значит?

— Обязательно едем! — говорит Лапин.

— Встреча на вокзале! — командует Чижов. — Форма одежды парадная летняя. И поскольку ты потратился на такси, билеты берем мы!

Вокзал.

На круглых вокзальных часах стрелки показывают шестнадцать часов двадцать минут. На перроне, у готового к отправке поезда, обычная предотъездная толчея.

Проходит с котомками и рюкзаками веселая компания студентов. Какая-то пожилая женщина, окруженная детьми, громко считает:

— Оля, Петя, Женя, Наташа... А где Вова?

И все ребята принимаются хором кричать:

— Вова! Вова! Вова!..

Пробегает с чемоданчиком уже знакомая нам девушка из Тугурбая. Останавливается, покупает у продавщицы палочку эскимо и, подхватив чемоданчик, устремляется дальше — разыскивать свой вагон.

У выхода на перрон стоят Чижов и Лапин.

Их трудно узнать. На Лапине брезентовая куртка, высокие охотничьи сапоги, за плечами вещевой мешок армейского образца и чехол с удочками. А Чижов и вовсе в самом затрапезном виде — в примятой, блином, кепке, в парусиновых брюках, в повидавшем лучшие времена пиджаке с короткими рукавами. И только гитара, висящая у него за спиной, украшена кокетливым розовым бантом.

— А ты не боишься, — спрашивает Лапин, — что первый, так сказать, эффект может оказаться слишком уж сильным?

— Ерунда! — весело говорит Чижов. — В таких случаях нужны не пилюли, а хирургическое вмешательство.

Лапин хмыкает:

— Это все так. Но я почему-то слегка волнуюсь. Ты не думаешь, что...

— Смотри! — перебивает Чижов.

На перроне появляется Нестратов.

В светло-серой мохнатой шляпе, в белом пыльнике, он шагает медленно и важно, на голову возвышаясь над толпой. Рядом с ним семенит его жена — маленькая, вертлявая, на тоненьких высоких каблучках, в широчайшем модном пальто и зеленой шляпе с торчащим красным перышком. Ее бережно, под локоток поддерживает референт.

За ними следуют человек шесть провожающих, которые выражают свое отношение к происходящему только жестами и мимикой. А сзади, тяжело отдуваясь, носильщик тащит огромный, апельсинового цвета фибровый чемодан.

— Василий Васильевич! Индюк!

— Что?! — Супруга Нестратова оглядывается с испугом и негодованием.

Нестратов медленно поворачивает голову, удивленно смотрит на друзей:

— Вы?

— Мы!

— Нда! — усмехается Нестратов. — Воистину форма одежды парадная летняя. Уж не на маскарад ли мы едем?

— Все может быть, Вася! — загадочно отвечает Лапин и любезно раскланивается с женой Нестратова. — Здравствуйте, Елена Вячеславовна! И вы нас не узнали?

— Здравствуйте, Елена свет Вячеславовна! — подхватывает Чижов. — Охотники за приключениями приветствуют вас!

— Здравствуйте, здравствуйте! — щебечет супруга. — Как мило — вы совсем охотники, я даже видела где-то такую картину... — И тут же, отвернувшись, шепчет референту: — Странные фантазии у Василия! Я всегда, всегда была против... Какие-то воспоминания, какое-то детство... Они приличные люди, я не спорю, но это же все-таки не наш круг... А Василий забывает, что в его положении...

— Я поражаюсь, Елена Вячеславовна! — сочувственно отвечает референт. — Другого слова нет: я поражаюсь!

— Гражданин! — тоненьким от натуги голосом говорит носильщик. — Куда чемодан-то нести? Вагон какой?

— У кого билеты, товарищи?

Лапин спокойно достает из кармана куртки конверт с железнодорожными билетами. Нестратов берет конверт не глядя, кивает головой:

— Ага, отлично. Пошли!

Все тем же размеренным шагом, негромко и шутливо, разговаривая с провожающими, Нестратов направляется к международному вагону. Следом носильщик тащит апельсиновый чемодан, а сзади, с загадочными улыбками на лицах, идут Лапин и Чижов.

— Прощу! — говорит Нестратов и величественным жестом протягивает усатому проводнику международного вагона конверт с билетами.

Женский голос по радио объявляет:

— Граждане пассажиры, через три минуты от первой платформы отправляется скорый поезд номер двадцать четыре «Москва — Уфа». Просьба к отъезжающим занять места. Повторяю...

— Виноват, гражданин начальник! — неожиданно говорит усатый проводник, с удивлением смотрит на Нестратова и возвращает ему билеты. — У вас жесткий будет вагончик.

Лапин и Чижов замирают.

На лицах людей, провожающих Нестратова, ужас и изумление.

— Как — жесткий?! Что за вздор?! Кто брал билеты? — растерянно оборачивается Нестратов к друзьям.

— Я брал, — умильно говорит Лапин. — А что тебе не нравится, Василий? Отличные, по-моему, билеты, хочешь — нижнее место возьмешь, хочешь — верхнее. А в международном — духота, скука, купе двухместное, а нас трое.

Супруга Нестратова, потерявшая на время дар речи, взвизгивает:

— Только через мой труп! Сию же минуту домой. Я все время предчувствовала это! Больного человека... — Но ее никто не слушает.

— Я не поеду в жестком! — дрожащим голосом произносит Нестратов.

— Поедешь!

— Нет, не поеду! — в отчаянии восклицает Нестратов и в знак протеста садится на свой апельсиновый чемодан.

— Поедешь, милый, поедешь. Теперь уже глупо возвращаться домой.

Громко и протяжно гудит паровоз.

Высунувшись из окон, пассажиры жесткого вагона — пожилой колхозник с седыми усами, степенная женщина с малышом, две девчушки в цветастых платках, — с интересом наблюдая за разыгравшейся на перроне сценой, подают советы:

— Эй, с бородой, ты давай вещички его запихивай — он тогда влезет!

— Дяденьки, дяденьки! Опоздаете, дяденьки!

Соединенными усилиями Лапину с Чижовым удастся втолкнуть Нестратова на площадку вагона.

Свисток — и поезд трогается.

Проплывают мимо вагоны с надписью: «Москва — Уфа».

На опустевшем перроне молодая женщина в железнодорожной форме спрашивает у дежурного по станции:

— Что тут за шум был?

— В девятый вагон ненормального сажали, — спокойно отвечает дежурный. — Видать, привезли лечить и не долечили!

Ужас, почти отчаяние на лице супруги Нестратова.

Гудит паровоз.

Ровно, неторопливо постукивают колеса.

Остались позади пригородные строения, заводские заборы, подмосковные дачные места, и вот уже пошли мелькать перед окнами леса и перелески, быстрые безымянные речки, зеленеющие поля.

Начинается веселая и хлопотливая жизнь жесткого вагона поезда дальнего следования. В тамбуре проводник уже гремит стаканами в больших металлических подстаканниках. Распаковываются чемоданы и сумки с нехитрым дорожным довольствием — крутыми яйцами, холодными котлетами и жареной курицей. Проходит по вагону добродушный военный в расстегнутом кителе, предлагая желающим «заложить добрую пулечку». Уже любитель громкого пения, выкрутив до отказа усилитель репродуктора, слушает с блаженной улыбкой радостные излияния тенора:

Хороши весной в саду цветочки,

Еще лучше девушки весной...

Лапин, закулив, добродушно обращается к Нестратову:

— Ну, вот и поехали. Нешто водочки выпить за исполнение желаний? А, Вася?

Нестратов, угрюмо забившись в угол, гудит в ответ что-то неопределенное.

— Сердится! — говорит Лапин доверительным шепотом, слышным на другом конце вагона. — А чего, спрашивается, сердиться? Исполняется мечта юности. Впереди — степи, реки, мели-перекаты...

Усмехнувшись, он затягивает приятным баритоном:

Ну что ж, друзья!.. Споем, друзья,
Споем про дальние края...

— Веселый человек! — одобрительно говорит, свешиваясь с верхней полки, пожилой колхозник и слезает вниз. — Веселый человек! — повторяет он. — Поработал, теперь можно и погулять, так?

— Так, именно так! — смеется Лапин. — Подсаживайся, отец. Прямо ты как в воду глядишь. Поработали на совесть, а теперь гулять едем.

Пока идет эта беседа, Чижов действует. Он вытаскивает из маленького чемодана какие-то свертки и подозрительно булькающую бутылку, расставляет все это на откидном столике и, полюбовавшись, принимается колдовать над консервной банкой.

Колхозник, оживившись, подсаживается поближе к друзьям.

— Будто и рано для обеда. — Он рассматривает содержимое свертков и скептически улыбается. — Эх, товарищи дорогие, разве ж это колбаса? Вот я вам, дозвоьте, домашнего изготовления предложу!

Он лезет под полку и добывает из деревянного чемодана увесистый, в руку толщиной, круг колбасы. Чижов, весело облизываясь, разливает водку по пластмассовым стаканчикам:

— Прошу, папаша!

— Ну, со свиданьем, за знакомство!

Колхозник бережно поднимает стаканчик:

— Пить да гулять — дела не забывать!

— Поехали!

Пьют, крикают, осторожно выбирают закуску и тотчас же, почувствовав себя старыми знакомыми, рассаживаются поудобнее.

Дорога, стук колес, паровозный дым, цепляющийся за ветви деревьев.

— Вы, товарищи, извините, конечно, — любопытствует колхозник, приглядываясь к Лапину, Чижову и Нестратову, — кто же такие будете, ежели не секрет?

Лапин, указывая на Чижова, охотно отвечает:

— Вот он — доктор. Этот, — кивает на Нестратова, —

знаменитейший архитектор, а я животноводством занимаюсь.

— Животновод? — радостно переспрашивает колхозник. — Так ведь и наш председатель, Семен Петрович Кузьмин, тоже по этому делу! — Он высовывает голову в проход вагона: — Семен Петрович, товарищ Кузьмин! Давай-ка сюда!

Приходит Семен Петрович и с ним двое парней, степенных, немногословных, с темными, загорелыми лицами. Следом за ними заглядывает в купе огромный усатый дядя, которого колхозник представляет:

— Наш колхозный водяной! Мелиоратор то есть.

Воздух синее от густого табачного дыма. Разговор становится общим.

— Еще два года назад, — рассказывает пожилой колхозник, — до объединения, мы о таких итогах и мечтать не мечтали! А нынче у нас один неделимый фонд до двух с лишним миллионов дотянул...

Лапин, постукивая кулаком по колену, втолковывает Кузьмину:

— Мы потому и добились некоторых успехов, что использовали ценнейший опыт казахстанских животноводов — Бальмонта, Исенжулова, Большаковой...

— Стойте! — Кузьмин неожиданно вскакивает. — Стойте, товарищ, как ваша фамилия?

— Лапин.

— Александр Федорович? — расплывается в счастливой улыбке Кузьмин. — Ну как же это я сразу не догадался? Слышал про вас, Александр Федорович. И статьи ваши читал. И вообще, как говорится, следил за ростом. Очень приятно лично познакомиться!

Чижев разливает водку в пластмассовые стаканчики и предлагает:

— Ну, по последней?

— А что это товарищ архитектор такой невеселый? И водки даже с нами не пьет? — осведомляется пожилой колхозник, и все, словно по команде, оборачиваются к Нестратову, который с обиженным видом одиноко сидит в углу купе.

— Ты, может, заболел, Василий? — участливо спрашивает Лапин.

— Да, да, заболел! — отрывисто отвечает Нестратов, еще глубже забиваясь в свой угол.

— Простыли, не иначе, — сочувственно качает головой пожилой колхозник.

— Лечь надо и укрыться потеплее! — веско говорит усатый мелиоратор. — Сейчас я кожух принесу. Тут первое дело — пропотеть!

И, грохоча сапогами, он убегает за кожухом.

— Вы ложитесь, товарищ дорогой, ложитесь! — настойчиво уговаривает пожилой колхозник Нестратова.

— Да я не хочу! Мне не надо! — пытается протестовать Нестратов, но Чижов обрывает его сердитым шепотом:

— Ложись, ложись! Назвался больным — так ложись. Люди о тебе заботятся, а ты...

И Нестратов покорно забирается на верхнюю полку и ложится.

Чьи-то заботливые руки накрывают его теплым кожухом.

Кто-то решительно говорит:

— А ну, граждане, берите свои пожитки и пошли к нам. А то накурили — дышать нечем. Тут и здоровый человек болеет. Пошли.

Все поднимаются и осторожно, стараясь не потревожить «больного», уходят.

Только усатый мелиоратор, задержавшись, поправляет сползающий с Нестратова кожух и наставительно произносит:

— Первое дело — пропотеть!

Нестратов лежит неподвижно, с закрытыми глазами.

Гудит паровоз, стучат колеса.

Смеркается.

Внезапно слышится певучий голос:

— Граждане, имеются бутерброды с сыром, колбасой, икрой зернистой, печенье, пирожные... Кто желает, граждане, выпить и закусить?

Вдоль вагона с подносом, уставленным бутербродами, пачками с печеньем, бутылками с пивом и фруктовой водой, идет миловидная девушка в белой наколке и белом фартуке.

Нестратов, привскочив на койке, окликает ее громким шепотом:

— Девушка, побыстрее — сто... Нет, лучше полтора. Два бутерброда с колбасой, два с сыром. Пожалуйста, скорей!

Он торопливо рассчитывается, поспешно опрокидывает стаканчик и с жадностью набрасывается на бутерброды.

— Больной сам себе назначил диету?! Так!

Нестратов, поперхнувшись, испуганно смотрит вниз — в проходе стоят Чижов, Лапин и Кузьмин.

— Как тебе, Василий, полегче? — серьезно спрашивает Чижов.

— Полегче, полегче, — с набитым ртом сердито бормочет Нестратов.

Гудит паровоз.

Мелькает за окном ярко освещенное здание железнодорожной станции, врывается на секунду нестройный гул голосов, переборы баяна.

Лапин неожиданно вскакивает:

— Грачевка! Честное слово, Грачевка!

— Она самая, — подтверждает Кузьмин. — Знакомые места?

Лапин взволнованно и смущенно улыбается:

— Хорошо знакомые. В тридцатом году по путевке райкома комсомола я ездил сюда проводить коллективизацию.

— Вот что, — негромко произносит Кузьмин и оборачивается к Чижову. — Вот вы сейчас, Борис Петрович, рассказывали нашим ребятам, как вы ездили Комсомольск строить. А я в Комсомольске не был, не довелось. Ну, конечно, коллективизацию — это и я хорошо помню... На Днепрострое два года работал, потом воевал, учился, а теперь вот в колхозе председательствую. Но, удивительное дело, как скажут при мне: Комсомольск, Магнитка, так меня прямо волнение охватывает. И не был я там, а как будто был. И вот я иногда думаю: а может ли быть где-нибудь еще, чтобы жизнь и судьба страны, такой огромной, такой разной, была жизнью и судьбой каждого живущего в ней человека?

Нестратов, свесившись вниз, внимательно слушает.

Ровно и неторопливо постукивают колеса.

Гудит паровоз.

И снова гудок.

Гудит стоящий у пристани большой красивый речной пароход с надписью на борту: «Ермак».

Идет погрузка.

Цепкие лапы могучих кранов легко несут по воздуху огромные тюки, ящики с сельскохозяйственным оборудованием и деталями машин. Отъезжают и подъезжают грузовики, бегают по скрипучим мосткам шумливые загорелые грузчики.

Десяток барж у причала возле «Ермака» ждут своей очереди.

Лапин, Чижев и Нестратов стоят на высоком обрывистом берегу городского сада.

Внизу широко и вольно течет река.

Чижов вдыхает полной грудью:

— Хорошо! Честное слово, хорошо! Хорошо, Василий, а?

С грохотом подъезжает к пристани колонна грузовиков.

— Ладно, отдыхайте, братцы, — говорит Лапин, — а я пойду добывать средства передвижения.

— Минутку! — останавливает его Чижов. — Сколько у тебя с собой денег?

— Тысячи две.

— Давай сюда. Все! В общий котел! — решительно говорит Чижов, берет у Лапина пачку денег, пересчитывает, отмечает что-то карандашом в записной книжке и оборачивается к Нестратову. — Сколько у тебя, Василий?

— Три тысячи, — отвечает Нестратов и покорно протягивает деньги Чижову.

— Прекрасно, — кивает головой Чижов, — и у меня две с половиной. Так вот, — говорит он тоном лектора, обращаясь к огромной аудитории, — прошу следить за ходом рассуждения! Путешествие займет дней двадцать, не больше. Учитывая новое снижение цен, кладем на каждого по две сотни.

— Позволь! — всплескивает руками Нестратов, и Чижов неумолимо продолжает:

— Пятьсот рублей — прошу следить за ходом мысли — мы выделяем на средства передвижения, остальные...

— Погоди, погоди, профессор, — обеспокоенно вмешивается Лапин. — Ты что-то уж больно круто. Оставь, милый друг, толику на непредвиденные расходы.

— Какие еще непредвиденные расходы? Что это такое? Карточный проигрыш? Подкуп должностных лиц?

— Ну, мало ли что!

— Ладно, — подумав, милостиво соглашается Чижов. — Выделим на непредвиденные расходы еще сто рублей. Итак, прошу — пятьсот, — он с поклоном протягивает Лапину пять сотенных бумажек, — на организацию транспорта. В общей кассе путешествия остается неслыханная сумма в семьсот рублей на трех человек.

Лапин молча, с некоторой укоризной качает головой.

— Ну, хорошо, Чижик, — с хрипотцой в голосе произносит Нестратов, — а где будут остальные деньги?

— За ними мы поплывем! — загадочно отвечает Чижов и затягивает во весь голос:

Мы поплывем, товарищ мой,

За тридевять земель,

Поскольку, трум-пурум-пум-пум,

Прекрасна наша цель!..

Почта.

Чижов четко и старательно выводит на бланке почтового перевода:

«Куйбышев. Почта. До востребования. Василию Васильевичу Нестратову шесть тысяч триста рублей».

— Ты сошел с ума! — восклицает Нестратов и пытается вырвать у Чижова почтовый бланк. — Я думал, что это шутка, но ты...

— Не хватай меня за руки, — деловито говорит Чижов, — на тебя обращают внимание!

Пристань.

Кончается погрузка.

У трапа, неторопливо поглядывая на беготню грузчиков, стоят трое: девушка из Тугурбая, высокий молодой паренек в форме речника — помощник капитана парохода «Ермак» Сергей Петровых и светловолосая, очень красивая женщина лет тридцати — руководитель отдела краевого Института животноводства Наталья Сергеевна Калинина.

— Ну и нечего, Катюша, расстраиваться, — говорит, видимо уже в сотый раз, Сергей, обращаясь к девушке из Тугурбая.

— Тебе хорошо говорить — нечего, — угрюмо усмехается Катя, — а вот мне вынесут выговор — тогда будет дело.

— Выговор объявить нужно, — сердито сдвинув брови, говорит Наталья Сергеевна, — но только не вам, Катюша! Странно получается: строится город животноводов, идет большое строительство, а хозяина настоящего, головы — нет. Нехода ваш без указания сверху чихнуть боится! Чуть что — ссылается на Москву, на Нестратова.

— А Нестратов про нас и думать не думает, — печально заключает Катя.

— Ну и нечего расстраиваться, — повторяет Сергей.

— «Нечего», «нечего»! — вскипает неожиданно Катя. — Много ты понимаешь!

— Да уж побольше тебя!

— Ах, побольше меня?

— Ну-ну-ну, бросьте ссориться, ребята, — улыбается Наталья Сергеевна. — А то уж и так по всей трассе идет про вас слава: не видятся — скучают, а видятся — ссорятся.

Она поднимает с земли маленький чемоданчик, негромко спрашивает:

— Вы нас вместе поместили, Сережа?

— Да, Наталья Сергеевна, вместе с Катей, в одной каюте.

— Хорошо. Я тогда пойду устраиваться.

Она кивает Кате и Сергею, медленно поднимается по трапу на пароход.

Катя смотрит ей вслед.

— Красивая она.

— Красивая, — соглашается Сергей. — Говорят, ее директором Института животноводства назначают у вас в Тугурбае.

Катя усмехается:

— Сперва еще надо построить Тугурбай...

Наверху, на площадке широкой деревянной лестницы, ведущей к причалу, появляются Лапин, Чижов и Нестратов. Они останавливаются и смотрят на пароход. Нестратов, который держит на плече знаменитый апельсиновый чемодан, тяжело отдуваясь, спрашивает:

— Ну-с, места, надо полагать, у нас палубные?

— Еще чего! — презрительно отзывается Лапин. — Кто же это ездит на палубе? Шум, суета... Нет, не об этом мы мечтали.

Друзья спускаются вниз, подходят к трапу.

— Давай билеты! — говорит Нестратов.

— А зачем билеты? — удивляется Лапин. — Нам билеты не нужны.

Он кивает головой, как старому знакомому, курносому матросику, проверяющему возле трапа билеты, весело говорит:

— А вот и мы! Эти товарищи со мной — разрешите?

Матрос улыбается:

— Пожалуйста, пожалуйста! Все готово, товарищ начальник!

— За мной!

Лапин первый идет вперед по шатким мосткам, за ним с чемоданом на плече следует Нестратов, а усмехающийся Чижов замыкает шествие.

Ступив на борт парохода, Нестратов нерешительно останавливается:

— Куда теперь — вверх, вниз?

— Все прямо и прямо, — командует Лапин.

Он ведет друзей сквозным трюмным проходом с правого борта парохода на левый, останавливается у перил и торжественно простирает руку.

— Внимание! Прошу любоваться, но не нужно оваций! Красив, а?

Внизу, на воде, пришвартованный к борту парохода, чуть покачивается широкий рыбацкий плот с шалашом, сплетенным из толстых ивовых прутьев.

— Красив, а? — повторяет Лапин и подталкивает локтем ухмыляющегося Чижова.

— Чудо! — говорит Чижов.

Нестратов, лишившийся от растерянности и возмущения дара речи, мычит что-то невнятное:

— Это?!.. Ты хочешь сказать, что это... Мы поплывем на этом?!..

— Именно! — серьезно подтверждает Лапин. — Это, товарищ действительный член Академии архитектуры, называется плот. И потом, на реке не говорят «поплывем», а говорят «пойдем».

— Точно! — произносит появившийся за спиной Чижова курносый матросик и становится рядом с Лапиным. — Эх, и прекрасное же это дело — на плоту ходить. Не трясет, не качает, хочешь — пристал, хочешь — дальше пошел. Жизнь! Конечно, и потонуть недолго, так ведь волков бояться...

— Слышал? — Лапин смотрит на Нестратова и, перебравшись через перила борта, спрыгивает на плот. — Давайте вещички!

Чижов передает ему гитару, вещевой мешок, апельсиновый чемодан Нестратова, спускается сам и помогает спуститься все еще находящемуся в состоянии столбняка Нестратову.

— Что ж мы имеем? — тоном экскурсовода говорит Лапин. — Мы имеем прекрасный плот с шалашом. В шалаше три великолепнейших ложа. Мое, кстати, крайнее — прошу не занимать! Вот это, — он поднимает рулевое весло, — техническое усовершенствование — рулевое весло. А засим, как уже было сказано выше, не трясет, не качает, ветер, небо, жизнь! Капитан! — хлопает он по плечу Нестратова и подмигивает Чижову. — Можете командовать — полный вперед!

— Артисты! — не то одобрительно, не то насмешливо говорит матросик и осведомляется: — Чалку отвязывать?

— Отвязывай, брат, отвязывай!

Матросик быстро и ловко распутывает чалку, бросает конец Лапину, и плот, подхваченный течением, медленно отходит от парохода.

Чижов подбрасывает в воздух шляпу Нестратова:

— Ура!

Шляпа падает в воду.

Матросик, сложив руки рупором, кричит вслед:
— Попутного ветра!

Кама.

Заходящее солнце рябит на зеленоватой воде. Проплывают мимо заводские строения, подъездные пути железнодорожной ветки, нарядная, словно игрушечная вышка спортивной речной станции.

Нестратов в пальто и без шляпы сидит на своем апельсиновом чемодане и молча смотрит вдаль. Чижов возится с рыболовным снаряжением, а Лапин, настроенный благодушно, насвистывает, то и дело насмешливо поглядывая на Нестратова.

— Ваше мнение, профессор? — Лапин заговорщически наклоняется к уху Чиждова. — Как наш больной?

Чижов пожимает плечами:

— Процесс развивается нормально. — Подумав, он добавляет: — Но должен сказать откровенно, что идея с плотом — не самое лучшее, что могло тебе прийти в голову. Недурной отдых!

— А твоя дурацкая шутка с деньгами?! — тихо и сердито отвечает Лапин и встает. — Не будем считаться, Чижик! У нас же, милый мой, не увеселительная прогулка, а серьезное научно-психологическое мероприятие. Так сказать, испытание огнем и железом!

Он подходит к Нестратову, спрашивает:

— Грустим?

— Красиво! — неожиданно и совершенно не в тон заданному вопросу отвечает Нестратов, и Лапин, даже поперхнувшись, восторженно кричит:

— Красиво?! Ах ты, пропади ты пропадом! Профессор, вы слышите, что говорит академик? Он говорит, что ему здесь нравится...

Нестратов тычет носком ботинка в настил плота:

— Мне не здесь нравится. Мне — вон где нравится! — И он обводит широким жестом руки гладь Камы, высокое небо с быстрыми и легкими вечерними облаками, зеленые берега.

Наступает молчание.

За деревьями на берегу открываются палатки пионерского лагеря. Стайка голоногих ребят с визгом и хохотом мчится к воде. Звучит отчетливый и звонкий сигнал пионерского горна.

Лапин произносит нараспев:

— Спать, спать по палаткам!..

— Тьфу ты, какая вдруг старина примерещилась, — медленно, со странной улыбкой говорит Чижов, — лефортовская окраина, речка Яуза...

— Наш дырявый фрегат, — подхватывает Лапин.

— А это помните? — спрашивает Нестратов. Расстегнув ремни чемодана, он открывает ключом замысловатый замок, поднимает крышку и достает с самого дна затрепанную ученическую тетрадь, на обложке которой корявыми буквами написано: «песильник».

— Песенник! — благоговейным шепотом произносит Лапин. — Честное слово, это же наш, тот самый, лефортовский песенник! А я ведь думал, что ты все позабыл, капитан.

— Как видишь, не все, — усмеяется Нестратов.

Чижов после паузы торжественно предлагает:

— Что ж, братцы, споем, раз такое дело?

Лапин листает тетрадь.

— Которую?

— Открывай пятнадцатую страницу.

— Там же дырка прожженная, — задумчиво улыбается Лапин.

Чижов берет гитару, настраивает ее и, закинув голову к небу, начинает:

В тот год еще будила нас
Походная тревога,
Царицын, Фастов и Донбасс,
Военная дорога...

Чистым баритоном вступает Лапин:

И шли полки в последний бой,
Вперед — сквозь непогоду,
За отчий дом, за край родной,
За счастье и свободу.

И низким, как рокочущий гром, басом подхватывает песню Нестратов:

Ну что ж, друзья! Споем, друзья!
Споем про дальние края,
Про битвы и тревогу,
Про то, как он, и ты, и я,
Про то, как вышли мы, друзья,
В нелегкую дорогу!

Смеркается.

Вдалеке, за речным перекатом, появляется ярко освещенная

щенный, ослепительно белый на фоне потемневшего неба пароход «Ермак». Он быстро нагоняет плывущий по течению плот.

Несется над водой песня:

Припомним славные года
Работы и ученья,
Мы возводили города,
Меняли рек течение.
Турксиб, Донбасс и Днепрострой,
Овеянные славой!
Как много дел для нас с тобой —
Для паренька с заставы.

Громовой бас Нестратова перекрывает голоса Лапина и Чижова:

Ну что ж, друзья! Споем, друзья!
Споем про синие моря
И вдохновенья ветер...

Пароход подходит близко. Уже становятся отчетливо видны освещенные бортовыми огнями фигуры людей, стоящих на верхней палубе и внимательно слушающих песню.

Про то, как он, и ты, и я,
Про то, как жили мы, друзья,
На этом белом свете!

Люди на палубе аплодируют.

Последние лучи заходящего солнца ярким пламенем освещают корму, на которой стоят Наталья Сергеевна Калинина и Катя.

Нестратов толкает Чижова:

— Ты взгляни, Чижик, какие красавицы, а?!

— И верно! — искренне восхищается Чижов. — Взгляни, Александр Федорович!

Лапин медленно поднимает голову и вдруг, вздрогнув, стремительно вскакивает.

Все дальше и дальше уходит по реке пароход.

— Что ты? — смотрит на Лапина Нестратов.

— Что с тобой?

Лапин отвечает не сразу:

— Да нет. Почудилось.

И, потянувшись за гитарой, он трогает пальцами струны, усмехается и с внезапной силой начинает петь:

На заре туманной юности
Всею душой любил я милую,

Был у ней в глазах небесный свет,
На лице горел любви огонь...

На палубе парохода темная женская фигура, метнувшись к борту, стискивает руками перила, вслушивается.

Плот кажется неясным пятном на воде.

В туманном вечернем воздухе отчетливо слышны слова песни:

Что пред ней ты, утро майское,
Ты, дубрава, мать зеленая,
Степь-трава — парча шелковая,
Заря-вечер, ночь-волшебница?

Все дальше и дальше уходит по реке пароход.

У борта, кутаясь в пуховый оренбургский платок и как-то странно, напряженно улыбаясь, стоит Наталья Сергеевна. Рядом с нею Катя.

Издали из вечернего сумрака доносится песня:

Хороши вы, когда нет ее,
Когда с вами делишь грусть свою,
А при ней вас хоть бы не было,
С ней зима — весна, ночь — ясный день...

— Ой, Наталья Сергеевна! — Катя испуганно смотрит на Наталью Сергеевну. — Вы плачете?!

Наталья Сергеевна улыбается сквозь слезы:

— Нет, ничего, причудилось... Песня... Я давно ее не слышала.

И совсем уже издали долетают последние слова:

Не забыть мне, как в последний раз
Я сказал ей — прости, милая!
Так, знать, бог велел — расстанемся,
Но когда-нибудь увидимся...

Песня смолкает, и теперь становится слышно, как работают в трюме парохода машины, как с шумом расходится за кормой вода, как хрипло кричит стоящий с лагом матрос:

— Семнадцать... Семнадцать с половиной... Семнадцать...

Наталья Сергеевна неторопливо достает из сумочки пачку папирос, спички, закуривает.

— Наталья Сергеевна, — огорченно говорит Катя и заглядывает Наталье Сергеевне в лицо, — вы же бросили курить!

Наталья Сергеевна грустно усмехается:

— Расстроилась... Глупо! — И, помолчав, продолжает: — Эту песню восемь лет назад пел один человек. Я про-

ходила практику под его руководством, и вот... Ну, мы с ним дружили. И вот он пел тогда эту песню.

Катя с заблестевшими глазами придвигается к Наталье Сергеевне, берет ее за руку, спрашивает шепотом:

— Вы любили его, да? Ну, Наталья Сергеевна, вы скажите, вы любили его?

— Я его люблю, Катенька, — просто отвечает Наталья Сергеевна и резким движением отбрасывает папиросу. — Не хочу курить. Я его люблю, Катенька, — повторяет она после паузы. — И хоть я уже много лет не видела его и не писала ему, но когда у меня радость, когда мне удастся сделать что-нибудь хорошее, настоящее, я всегда вспоминаю о том, что есть на земле чудесный человек, которого я люблю.

— А он? — затаив дыхание, наклоняется Катя к Наталье Сергеевне.

— Он? Он, разумеется, ничего не знает. Сейчас уже поздно об этом говорить. А тогда я была девчонкой. Сама сказать не сумела, а он не догадался. Ну а сейчас поздно!

Катя, сдвинув брови, на секунду о чем-то задумывается, потом говорит грустно:

— Это настоящая любовь! Вот у нас с Сережкой, у нас как-то не так — и он все знает, и я все знаю, и на всей трассе знают. А у вас настоящей!

Наталья Сергеевна с задумчивой улыбкой качает головой:

— Нет, Катюша, любовь — чувство смелое, сильное. Ее не нужно бояться и не надо скрывать.

Она зябко передергивает плечами, плотнее запахивается в пуховый платок, смотрит на небо:

— Гроза собирается. Пойдем-ка в каюту.

И, уже совсем собравшись уходить, она вдруг произносит медленно и растерянно:

— И ведь что удивительно — голос тот же. Голос — не только песня!

А на плоту при свете керосинового фонаря, подвешенного на палках у входа в шалаш, тоже идет негромкий, неторопливый разговор.

Лапин, все еще задумчиво перебирая струны гитары и неподвижно глядя куда-то в темноту, рассказывает:

— И вот тогда дурак, о котором я говорю, понял, что он ее полюбил. Понял — и растерялся. Она студентка, приехала к нему на практику, он старше ее лет на пятнад-

цать, и вдруг — такая оказия... Естественно, с этой минуты он постарался встречаться с ней пореже. Даже провожать ее не пошел, когда она уезжала. Так это все и кончилось.

Нестратов, покосившись на замолчавшего Лапина, усмеяется:

— Да ты прав — большой дурак был этот твой добрый знакомый.

Чижов утвердительно кивает головой.

— Выражаясь научно, клинический случай шизофрении! Начинается с трусости и ханжеских теорий — «любовь от сих и до сих», «любовь не должна мешать», а кончается всевозможными душевными расстройствами, с которыми приходится возиться врачам! Хотел бы я знать, где, когда и кому помешала настоящая любовь?

— Теоретики! — свирепо огрызается Лапин.

Он откладывает в сторону гитару и обхватывает руками колени.

Наступает молчание.

— Между прочим, Саша, — невинным тоном спрашивает Чижов, — а как звали твою практикантку? Такую светловолосую? Помнишь, вы приезжали вместе в Москву и ты меня с нею знакомил?

— Наташа. Наталья Сергеевна Калинина... — быстро отвечает Лапин и, запнувшись, подозрительно смотрит на Чижова. — А ты почему о ней вспомнил?

— Просто так.

Нестратов наставительно замечает:

— Душевная робость делает людей несчастными чаще, чем это принято думать.

И снова наступает молчание.

Лапин сидит, обхватив руками колени, вглядывается в темноту. Потом произносит тихо, без всякой, казалось бы, видимой связи с предыдущим:

— Но ведь мне уже сорок два года!

Чижов значительно смотрит на Нестратова, берет его под руку, и они вдвоем уходят в шалаш.

Лапин остается один, закуривает. Слабый красноватый огонек освещает его необычно суровое, взволнованное лицо.

И вдруг в темном ночном небе вспыхивает молния, раскатывается гром, и дождь, словно он только этого дождался, со стремительной силой, яростно обрушивается на плот.

— Эгей, братцы!

Из шалаша выскакивают полураздетые Чижов и Нестратов.

— Вещи, вещи в шалаш!

— Гитару! Скорей!

Лапин, Чижев и Нестратов мечутся под дождем, лихорадочно собирая разбросанные вещи. Внезапно Чижев вскрикивает:

— Человек, человек за бортом!

— Где, где?

— Да не может быть!

— А я вам говорю...

Яркая вспышка молнии.

Теперь, действительно, становится виден совсем рядом с плотом не то плывущий, не то барахтающийся в воде человек.

Чижев мгновенно сбрасывает рубашку, брюки, ботинки и бросается в реку.

Несколько секунд слышны только затихающие перекаты грома, шум дождя, всплески воды. Затем доносится задыхающийся голос Чижева:

— Да ты не отбивайся... О, черт! Слушай, погоди, погоди...

Всплески воды становятся громче.

Лапин и Нестратов, мешая друг другу, вместе с появившимся Чижевым втаскивают на плот, видимо, потерявшего сознание худощавого загорелого паренька в спортивных трусах.

Чижев, приплясывая от возбуждения, объясняет:

— Я его по голове стукнул — сопротивлялся... Мог сам утонуть и меня утопить. Ничего, сейчас очнется.

Друзья, захопотавшись над бесчувственным пареньком, не замечают, как из темноты, из дождя, к правому борту плота подходит лодка. В ней несколько едва различимых человеческих фигур.

Неприятный голос спрашивает:

— Что здесь происходит?

Паренек, очнувшись, вскакивает, расталкивает друзей, кричит:

— Иван Кондратьевич! Я здесь, Иван Кондратьевич, на плоту! Меня какой-то псих утопить хотел!

— Что-о-о?! — высокий человек в лодке приподнимается, освещает фонарем оторопевших Лапина, Чижева и Нестратова. — Кто такие?

— Мы... Мы из Москвы... — путается Нестратов. — Думали, человек тонет. И мы...

— Да вы понимаете, что наделали? У нас тренировочный заплыв на побитие рекорда дальности в трудных усло-

виях. Мы эту грозу целый месяц ждем, а вы пловца с дистанции снимаете?!

Паренек свирепо кричит:

— Он меня, леший, кулаком по башке стукнул, а то бы я ему показал!

Кто-то из людей в лодке спрашивает:

— Ты дальше-то плыть сможешь? Отдышался?

— Поплыву, — говорит паренек. — Я поплыву, Иван Кондратьевич, ладно? Будем отсюда считать дистанцию. Можно, Иван Кондратьевич?

— Ну, плыви.

Паренек, даже не поглядев на Лапина, Чижова и Нестратова, делает глубокий вздох, взмахивает руками и бросается в воду. Еще мгновение — и лодка и пловец скрываются за сплошной стеной дождя.

Лапин хохочет:

— Ай, Чижик! Не везет человеку... Совсем уже была в руках медаль за спасение утопающего, и вот — на тебе!

Сконфуженный Чижев подбирает брюки, рубашку, долго шарит руками по мокрым доскам плота, бормочет:

— А где же ботинки? Братцы, куда вы мои ботиночки задевали? Где мои ботиночки?

— Они утонули, — хмуро сообщает Нестратов.

— То есть как «утонули»?

— А вот когда мы этого «утопленника» втаскивали, ты их сам и столкнул.

— Братцы! — Чижев патетически воздевает руки к небу. — Я ж в одних ботинках поехал, у меня ж нет других... И домашние туфли я забыл. Караул, братцы!

— Ничего, Борис, — философски замечает Лапин, — ты потерял ботинки, но зато спас человека.

Снова прорезает небо от края и до края яркая вспышка молнии, гремит гром.

— Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали! — с удовольствием говорит Лапин. — Все как в песне! Все правильно!

После ненастной ночи наступает солнечный, но холодный и ветреный день.

Бегут по Каме белые барашки волн. С боку на бок качается плот. Полощутся на ветру повешенные для просушки брюки, пиджаки и рубашки.

Из шалаша доносится мирное похрапывание. Лапин стоит в позе бессменного часового, картинно опершись на весло.

Внезапно он закладывает два пальца в рот, пронзительно свистит и кричит:

— Все навверх! Город!

Из шалаша вылезает, волоча за собой географическую карту, сонный Нестратов. Он расстилает карту и наставительно говорит:

— Это не город, а населенный пункт. Здесь пополним запасы продовольствия.

Плот причаливает к маленькой, очень нарядной и чистой пристани.

— Кошайск! — торжественно провозглашает Лапин и первым спрыгивает на берег. Следом за ним прыгает Нестратов, а босой Чижев смотрит на друзей жалостливыми глазами и горестно бормочет:

— Друзья... И этих людей я любил... Ни сочувствия, ни доброго взгляда! Купите мне туфли!

— Нет денег, — бессердечно отвечает Нестратов. — Ты сам ограничил наш бюджет.

— Купите! — безнадежным голосом повторяет Чижев и неожиданно оживляется. — А то вообще не дам ни копейки. Я — казначей.

— Ты общестственный казначей. Если не дашь, отыдем силой, — предупреждает Лапин. И, обращаясь к Нестратову, говорит: — Заходи, Василий!

Чижев, сообразив, что сейчас ему придется худо, вытаскивает из кармана деньги:

— Черт с вами, вот шесть рублей.

— Что же мы можем купить на шесть рублей? — разводит руками Лапин. — Семечек? Не дури, друг! Нам надо чаю, газет, колбасы любительской, сахар кончается...

— Ах, так? — Чижев становится в позу короля Лира, ограбленного дочерьми. — Хорошо! Берите все, пейте кровь!

Он швыряет на землю несколько бумажек, затем ложится, заворачивается с головой в одеяло, а его бессердечные друзья хладнокровно подбирают деньги и, посвистывая, удаляются.

Чижев некоторое время лежит неподвижно.

Наконец это ему надоедает. Он высовывает из-под одеяла голову, осматривается, вылезает, берет самодельный веник и начинает подметать плот.

За этим занятием его и застают три загорелых широкоплечих человека в парусиновых штанах и фуражках речников.

— Здравствуйте, — очень вежливо говорит один из них, — мы к вам.

— Ко мне?

— К вам, — повторяет пришедший, деликатно стараясь не смотреть на босые ноги Чижова. — Нам, понимаете, команда «Ермака» про вас рассказывала. Очень они хвалили вашу бригаду, даже восхищались.

— Исполнением. Песню вы исполняли. Высоко, говорят, художественно. Ну а мы, так сказать, делегаты от клуба нашего — речников. У нас нынче торжественный вечер. Мы годовой план в полгода выполнили. Так что большая к вам, товарищи, просьба — выступить на нашем вечере. Понимаете?

— Выступить?

— Ну да! Концерт дать.

Чижов, прищурившись, смотрит на моряка, и лицо его освещается необыкновенно лукавой усмешкой.

— Знаете что, — медленно и почти с восторгом говорит он, — я, вероятно, выступить не смогу. По состоянию здоровья. Но мои два друга выступят обязательно.

— Слово?

— Слово! — твердо отвечает Чижов и протягивает моряку руку.

— Как объявить концерт? — деловито осведомляется моряк.

Чижов, секунду подумав, говорит:

— Объявите так: вечер русской песни.

Обувной отдел универсального магазина в Кошайске. Сверкающие глянцем туфли, ботинки, галоши.

— Вы только посмотрите товар, граждане! — любезный продавец гнет туфлю, щелкает ногтем по подошве. — Два года гарантия. Фасон прекрасный, удобный...

— Дорого, дорого, — решительно заявляет Нестратов.

— А нет ли на резине, — стыдливо спрашивает Лапин, — или на какой-нибудь там пластмассе, подешевле? Нам, знаете ли, для мальчика. Ужасно рвет. Каждый день ему покупай — не накупишься.

— Мальчику? Сорок второй номер? — удивляется продавец. — Какой же это мальчик? Это юноша, молодой человек. Ему ухаживать за девушками пора... Вот, порекомендую тогда ленинградский «Скорород», нет износу.

— Сколько? — осторожно осведомляется Лапин.

— Сто тридцать семь. Выписывать?

— Не подойдет! — решительно говорит Нестратов и, откашлявшись, спрашивает: — А нет ли у вас на деревянной

подошве? Я как-то раз видел такие. И прочно и, наверное, недорого.

— Что вы, — разводит руками продавец. — Это же спецобувь. Ее производства прямо с баз получают.

Нестратов и Лапин грустно переглядываются.

Помолчав, Лапин снова начинает:

— А нет ли у вас...

Вечереет.

Нестратов и Лапин, нагруженные незамысловатыми покупками, весело переговариваясь, спускаются с пригорка к плоту.

Чижев лежит на спине, завернутый в одеяло.

— Распеленаем? — шепотом спрашивает Лапин.

— Распеленаем!

Друзья, ухватив с двух концов одеяло, вытряхивают из него Чижева.

— Человек должен... — наставительно говорит Лапин и внезапно умолкает, изумленный выражением лица Чижева, которое светится тихим счастьем.

— Здравствуйте, здравствуйте! — улыбается он. — Как прогулялись?

— Отлично, — осторожно отвечает Нестратов. — А как ты?

— Лучше быть не может.

Чижев с сожалением оглядывает измятый костюм Нестратова.

— Здорово ты измялся, Василий. Беда! Нет в тебе прежнего лоска. Разве в таком костюме пойдешь на концерт... А как раз, понимаешь, нынче вечером тебе костюм очень понадобится.

— Зачем? — встревоженно спрашивает Чижева Нестратов.

Чижев, усаживаясь поудобнее и умильно улыбаясь, говорит:

— Дело в том, что сегодня вечером...

На стене небольшого белого здания два паренька в фуражках речного флота вывешивают плакат:

«Сегодня вечером, по случаю торжественного окончания планового года, бригада артистов-туристов дает концерт «ВЕЧЕР РУССКОЙ ПЕСНИ».

На плоту — крошечный ад.

Нестратов бушует как одержимый, Лапин рвет на себе бороду.

— Позор! — кричит Нестратов. — Ты не имел на это права!.. Это не шутка!.. Я не мальчишка!.. Мы взрослые люди!.. Пожалуйста!..

— Послушай, Борис, — от волнения Лапин заикается, — согласишься, что ты позволил недопустимое...

— Друзья мои! — Чижов умильно улыбается. — Зачем пустые разговоры? Дело сделано, пути отрезаны, люди ждут. И какие люди! Прекрасные люди, которые закончили годовой план в полгода. Если вы хотите огорчить этих людей, — что ж, я умываю руки. Могу только прибавить: будь у меня возможность — я бы выступил на этом концерте с наслаждением.

— И выступишь, — злобно шипит Нестратов.

Чижов пожимает плечами:

— И рад бы! Но согласитесь, что выступать босым — значит проявить элементарное неуважение к аудитории.

И тут наступает его очередь встревожиться — по лицу Лапина медленно расплывается улыбка.

— Нет, нет, — торопливо говорит Чижов, — я в твоих ботинках не пойду, они жмут.

— Зачем же в моих? — нежно говорит Лапин. — Ты не ценишь своих друзей. Они купили тебе прекрасные матерчатые тапочки за восемнадцать целковых. На лакированные, к сожалению, денег не хватило. Так что готовься, мой друг, к выступлению.

Клуб речников.

Переполненный зрительный зал. Люди стоят в проходах, расположившись на подоконниках, толпятся в дверях. В первых рядах, рядом с начальством, сидят жены речников и держат на коленях детей.

Несмотря на то, что занавес еще закрыт, на лицах ребятшек, облепивших окна с улицы, сияет полный восторг. Иногда из общего гула голосов вырываются отдельные реплики:

— У нас тоннаж превосходит...

— А это из Куйбышева артисты?

— И теперь грузы пойдут из Москвы водой...

Но вот наконец дернулся и открылся занавес.

Посередине ярко освещенной сцены стоят три стула. В центре сидит Чижов, Лапин и Нестратов, держась руками за

спинки стульев, стоят по бокам и растерянно улыбаются.

Гремят аплодисменты.

Нестратов делает шаг вперед, поднимает руку, судорожно глотает воздух и застывает.

— Давай! — раздается сзади энергичный шепот Лапина.

— Дорогие товарищи!.. — от неловкости Нестратов говорит срывающимся голосом и заискивающе улыбается. — Разрешите мне от всех нас поздравить вас...

Чижов хихикнул, и Лапин сердито ткнул его кулаком в бок.

— ...поздравить вас, — уже тверже продолжает Нестратов, — с вашими замечательными производственными успехами. Мы с огромным удовольствием выступим сегодня на вашем вечере, но мы должны вам признаться заранее — произошла ошибка. Мы не артисты. Я, например, архитектор...

По залу прокатывается взрыв хохота. Какой-то веснушчатый матросик, прижав к груди фуражку, восторженно восклицает:

— Ох, дает! Вот это дает!

Нестратов, пожав плечами, продолжает:

— Вот он — врач, а третий наш товарищ — животновод. Смех в зале становится громче.

Лысый толстяк, утирая мокрые глаза от слез, стонет тоненьким голоском:

— Ох, не могу! Я, говорит, архитектор... А то еще, бывает, пожарными представляются... Ох, комик!

Нестратов, обернувшись к Чижову, яростно цедит сквозь зубы:

— Это все твои дурацкие шутки... Что делать?

Чижов подходит ближе.

— А я откуда знаю, что делать? Что я — конференсье, что ли?

Лапин тоже подходит. Он очень напуган. Растерявшись окончательно, друзья забывают, что на них смотрит зал, и сбиваются в кружок.

— Скандал, — бормочет Лапин.

— Надо быстро что-то придумать! — шепчет Чижов и, обернувшись, посылает залу обаятельную улыбку. — Ей-богу, намнут нам шею и будут глубоко правы.

На сидящих в зале зрителей все происходящее на сцене производит впечатление заранее отрепетированного номера.

Разыгрывается довольно сложная пантомима, из которой явствует, что Нестратов негодует. Он вне себя. Он даже показывает Чижову кулак.

— Ох, дает! — восхищается матросик.

В это мгновение Нестратов, махнув рукой, пытается удрать со сцены. Но попытка покинуть друзей в тяжелом положении не удается — Лапин и Чижов перехватывают его по дороге и тащат обратно.

Смех в зале усиливается.

Чижов с мужеством отчаяния выходит вперед, к рампе.

— Друзья мои! — кричит он. — Я один во всем виноват! Вязжите меня, но дайте рассказать правду...

Гром аплодисментов прерывает его речь.

— Ладно, — свирепо говорит Чижов, — тем хуже для вас. — Он обращается к Лапину: — Следи за Василием, чтобы не сбежал! — И скрывается за кулисами.

Воцаряется полная тишина.

Лапин и Нестратов стоят окончательно растерянные. Через секунду появляется Чижов. В руках у него гитара. Он лукаво подмигивает Нестратову и передает гитару Лапину:

— Вспомним-ка молодость! Авось пронесет!

И Чижов запевает:

Мы вам расскажем, как мы засели,
Как мы однажды сели на мели,
Плыли,плыли, вдруг — остановка,
Скажем прямо: очень неловко.

Нестратов выступает вперед, подбоченивается и важно, с укоризной, по-нестратовски, смотрит на друзей:

Хуже на свете нет положенья,
Чем человеку сесть без движенья.
Ох ты, ух ты, — скучно и сыро,
Ох ты, ух ты, — ждать нам буксира.

Лапин грустно поет:

С этого места, как говорится,
Вверх не подняться, вниз не спуститься,
Ох ты, ух ты, — некуда, братцы,
Ох ты, ух ты, — с мели податься.

Слушает, затаив дыхание, веснушчатый матросик. Лысый толстяк цокает языком.

— Хороши артисты!

Чижов выхватывает гитару из рук Лапина и с азартом продолжает:

Чайки над нами весело вьются,
Рыбы под нами громко смеются.

Лапин взмахивает рукой, и зал подхватывает:

Ха-ха, ха-ха,
Плещется речка,
Ха-ха, ха-ха,
Ну и местечко!

Друзья заканчивают песню:

Если придется плыть вам по свету,
Не забывайте песенку эту.
В каждом деле, двигаясь к цели,
Надо всюду видеть все мели¹.

Пристань.

Луна над Камой.

Окруженные шумной толпой провожающих, друзья стоят у готового к отплытию плота.

— Огромное вам спасибо!

— Приезжайте к нам!

— Обязательно приезжайте!

Захмелевший Нестратов, обнимая за плечи седоволосого речника, говорит несвязно, но торжественно:

— А знаете ли вы, дорогой мой Иван Ильич, что такое архитектура? Это музыка, застывшая в камне! Да, да! Что может быть прекраснее человеческой мысли, воплощенной в точном, великолепном здании?

Друзья пытаются унять расходившегося Нестратова, но он, увлеченный собственными мыслями, уже не говорит, а почти кричит в полный голос:

— И не верьте вы этим болтунам, этим горе-новаторам — Ллойду, Гропперу и прочим. Они, видите ли, выдумали теорию о распаде города. Они мечтают о том, чтобы человек, как одинокий затравленный волк, строил себе жилище вдали от других людей... А мы говорим, что это чепуха!

Веснушчатый матросик так же, как и на концерте, глядя прямо в рот Нестратову, шепчет:

— Вот дает! Вот это дает!

Нестратов взмахивает рукой и торжественно заканчивает:

— Вся наша советская наука о градостроительстве утверждает, что это чепуха! Мы мечтаем о великолепнейших белых городах в зеленом кольце садов, которые украсят нашу землю...

— Василий Васильевич! — очень вежливо, но с металлическими нотками в голосе, говорит Лапин. — Нам пора.

¹ Текст песни поэта Н. Матусовского.

То есть я хочу сказать — пора и честь знать.

И снова слышится со всех сторон:

— До свидания, товарищи!

— Спасибо вам!

Плот медленно отчаливает от пристани Кошайска. Нестратов, сложив ладони рупором, кричит:

— Товарищи, вы меня поняли? Прекрасные города на прекрасной земле — вот наша цель!

Отдышавшись, он садится, благодушно смотрит на Лапина и Чижова:

— По-моему, они остались очень довольны нашим концертом. Вы не находите?

— О концерте и о поведении некоторых его участников мы поговорим после, — холодно отвечает Лапин. — А сейчас мы с Чижиком идем спать. Ты сегодня дежуришь, капитан. Не вздумай нас будить раньше, чем... А где, кстати, у нас следующая остановка?

Нестратов достает из кармана пиджака географическую карту, потертую на сгибах, испещренную какими-то стрелками, крестиками и кружочками. Лапин с карандашом в руке склоняется над картой:

— Кошайск, стало быть, мы проехали... — Он ставит на карте кружочек. — Затем следует Гарусино — зерносовхоз, там задерживаться нет смысла. — На карте появляется крестик. — А вот в Тугурбае...

— А вот в Тугурбае... — перебивает Чижов и неожиданно замолкает.

— Что — в Тугурбае? — вопросительно смотрит на него Нестратов.

— Приплывем — поглядишь! — загадочно усмехается Чижов. — Пошли спать, Александр Федорович!

Чижов и Лапин уходят в шалаш.

Нестратов смотрит им вслед.

— Братцы! А братцы! А что будет в Тугурбае?

Лапин и Чижов не отзываются.

— Эх! — горестно вздыхает Нестратов. — И поговорить-то человеку не с кем!

Он ложится, закинув руки под голову, вытягивает длинные ноги и не замечает, как сталкивает в воду новые тапочки Чижова. Тапочки булькают, переворачиваются и камнем идут ко дну.

Медленно плывет по течению плот.

Вывеска:

«УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУГУРБАЯ»

За окном громяют мощные землеройные машины, гудят механические пилы, перекликаются в лесах звонкие голоса.

В конторе строительства, несмотря на ранний час, полно народу.

Как и в приемной Нестратова, люди ожидают терпеливо и безнадежно, курят, снова и снова перечитывают развешанные по стенам плакаты с тоскливыми изречениями:

«Без дела — не входи», «Излагай вопрос ясно и четко», «Экономь свое и чужое время».

Все эти плакаты написаны от руки, и только один, отпечатанный типографским способом, злобно предупреждает:

«Ходи тихо — здесь работают!»

Надменная секретарша с тонкими поджатыми губами, в очках, стучит на пишущей машинке.

Пожилой человек в высоких резиновых сапогах, по виду прораб, взглянув на часы, подходит к столику секретарши и спрашивает:

— Мария Ивановна, голубушка, где же все-таки товарищ Нехода? Ведь он мне к шести часам назначил, а сейчас уже восемь... Ведь у меня вся работа стоит.

— Не знаю, не знаю! — рассеянно отвечает секретарша. — Нам начальство не докладывает, где оно. Потерпите — придет!

— Когда?

— Своевременно, — сухо говорит секретарша.

Человек в резиновых сапогах тяжело вздыхает и, безропотно приготовившись ждать, садится.

Тикают стенные часы-ходики. Стучит пишущая машинка.

В стороне, у окна, кружком расположились комсомольцы.

Секретарь комсомольской организации, Алеша Мазаев, в круглой тюбетейке на стриженной голове и синей спецовке, из нагрудного кармана которой торчат всевозможные линейки и карандаши, с выгоревшими добела на солнце бровями, тихо говорит, сердито поглядывая на Катю:

— А мы тебе не верим, Синцова. Мы тебе, понимаешь, просто не верим! Не может этого быть, чтобы один советский человек не принял другого советского человека, который за тысячу километров приехал к нему по важному делу. И лучше бы ты нам честно сказала — я, ребята, у Нестратова не была.

— Была я у него, Леша, — уныло говорит Катя.

— Ну? Что же он тебе сказал?

— Ничего не сказал — он меня не принял.

— Не может этого быть!

Худенькая девушка с короткими торчащими косичками поднимает руку.

— Ты что, Пономарева?

— Я к порядку ведения, — отвечает девушка и озабоченно хмурит брови.

— Какого еще ведения? — ворчит Мазаев. — У нас же не собрание. Говори, что такое?

— Пускай наши не курят, — говорит девушка. — И так все кругом курят, а наши пускай не курят. Во-первых, вредно, а во-вторых, сушь и жара такая, что искра одна упадет, и готово — пожар.

— Так вот, Синцова... — после паузы продолжает Алеша Мазаев, — придется, понимаешь, на комсомольском собрании ставить о тебе вопрос...

За окном раздается автомобильный гудок, слышны голоса...

Секретарша торопливо вскакивает, скалывает скрепками какие-то бумаги.

Отворяется дверь, и на пороге появляется начальник строительства Виталий Григорьевич Нехода — пожилой квадратный человек, совершенно лысый, с резкими складками в углах рта и неопределенного цвета чахлыми, точно выщипанными усами.

Человек в резиновых сапогах бросается к нему:

— Товарищ Нехода, я жду вас... И вчера к вам заходил, и позавчера... И нынче с шести утра сижу. Очень вы мне нужны!

— А я всем нужен, — усмехается Нехода, — всем! Но я же не могу... Что? Разорваться? С шести утра, говорите, ждете меня? А я с пяти объекты объезжаю. Если я не интересуюсь, как рабочий класс живет, — никто этим не интересуется! Все на мне... Ездил в общежитие, в баньку...

Он снисходительно-начальственно смеется, но, заметив группу комсомольцев, внезапно мрачнеет, что-то негромко говорит секретарше и проходит к себе в кабинет.

— Товарищи, — железным голосом произносит секретарша, — сегодня у товарища Неходы приема не будет — у товарища Неходы важное совещание.

И, не слушая возмущенных, огорченных и протестующих возгласов, она приотворяет дверь кабинета Неходы и кивает Алеше Мазаеву:

— Идите...

Кабинет Неходы.

Маленькая комната с непомерно большим столом, добрую половину которого занимает чугунный чернильный прибор, изображающий каюра и бегущую собачью упряжку.

Нехода сидит за столом, помешивая ложечкой сахар в стакане чая, и перелистывает бумаги, положенные перед ним секретаршей.

Когда в кабинет входят комсомольцы, он, не поднимая головы и словно не замечая их появления, открывает ящик письменного стола и достает ручку с пером. Затем внимательно разглядывает перо на свет, придвигая бумаги, обмакивает перо в чернильницу и пишет на докладной записке: «Утверждаю». Потом, секунду подумав, приписывает перед «утверждаю» «не», закрывает крышку чернильного прибора, прячет перо в стол, вытирает платком голову и, взглянув наконец на комсомольцев, начинает.

— Так что же это получается, товарищи комсомола? — говорит он, постукивая ребром ладони по краю стола. — Некрасиво, дорогие товарищи, получается! Выходит, через голову партийной организации и мою как начальника строительства...

— Мы с партийной организацией советовались, — вставляет Мазаев, но Нехода не обращает внимания на его слова.

— ...через голову, говорю я, партийной организации и мою как начальника строительства, посылали кого?.. Кого? Комсомолку, техника-строителя Катерину Синцову... К кому? К академику Нестратову! Шуточка! — Он усмеяется. — А зачем? Мы ваше предложение насчет местного материала взяли, как говорится, на заметку, пошлем в свое время письмо в Архитектурный надзор. Архитектурный надзор свяжется с Москвой...

— Дедка за репку, бабка за дедку, — фыркает Катя.

— Смешки отставить! — говорит Нехода и вдруг багровеет, встает и начинает кричать. — Не дедка за репку, а должно быть... Что? Порядок! Проект утвержден? Утвержден! Наше дело строить — и точка, а вы... Меня и так со всех сторон тянут, ночи, как говорится, недосыпаю! Сердце себе к чертям собачьим срываю, а тут еще вы... Ну, сунулись вы к товарищу Нестратову?! Он вас... Что? Принял? Нет-с, шалишь! И правильно! Потому что товарищ Нестратов — государственный человек, он на всякого не станет время терять. А моего времени вам не жалко! Для вас тут я — Нестратов!

Резко хлопает дверь из приемной, и в кабинет Неходы

входит Наталья Сергеевна. Она ничем не напоминает маленькую женщину на пароходе, которая куталась в уютный пуховый платок. Сейчас на ней пиджак, брюки, заправленные в короткие сапоги, в руках монгольская плетель — камча. Она быстро и решительно подходит к столу Виталия Григорьевича, резко ударяет кулаком по запыленным бумагам:

— Долго будет продолжаться это безобразие?

— О чем речь, товарищ Калинина? — спрашивает Нехода. — Я занят в надлежащий момент. А горячиться — это всякий может. Нам государство поручило не горячиться, а... Что? Строить! И если мы с вами, товарищ Калинина, начнем вместо этого горячиться и важные бумаги раскидывать, то дело так... Что? Не пойдет!

Нехода снова аккуратно раскладывает бумаги, наводит на столе порядок, нарушенный Натальей Сергеевной.

— Да вы в своем уме, Виталий Григорьевич? — удивленно спрашивает Наталья Сергеевна. — Мы с вами будто только сегодня увиделись...

— А как бы полегче? — огрызается Нехода. — Ведь не такой уж маленький человек товарищ Нехода, чтобы с ним этак разговаривать. Роняете, понимаете... Что? Авторитет! Со мной сам секретарь, ежели угодно знать, райкома такие разговоры не ведет. Только работать мешааете, товарищи дорогие! — Нехода расправляет плечи, чуть склоняет голову набок и становится в эту минуту чем-то очень похож на Нестратова. — Забыли, куда попали! Государство поручило руководство строительством... Кому? Мне!

— Ладно, не будем ссориться. — Наталья Сергеевна ищет убедительные слова, но голос ее звучит безнадежно, как у человека, который в тысячный раз повторяет одно и то же. — Вы строите... Государство поручило вам, как вы любите говорить, построить...

Здесь Нехода одобрительно кивает головой.

— ...построить город животноводов, — продолжает Наталья Сергеевна. — Так?

Нехода безмолвствует.

Комсомольцы, которые затаив дыхание прислушивались к разговору, хмуро и виновато опускают головы.

— К августу вы должны были все закончить? Так?

Нехода безмолвствует.

— Мы, — стукнув кулаком о ладонь, почти кричит Наталья Сергеевна, — мы начали к августу стягивать сюда стада! Вы вдумайтесь в это! Знаете, что это значит? С зимы работали над маршрутами, над стоянками, кормовыми ме-

стами, водопоями. Мои табуны стоят полукольцом у города... Мы-то успели все. А вы, товарищ Нехода?

— Потребительски рассуждаете, товарищ Калинина, — важно роняет Нехода. — В общем масштабе нужно, а вы... Но только я на вас не... Что? Не обижаюсь. Мне не обиды строить, а ответственный объект! Как вышестоящей инстанцией подписано — так и строим, как не подписано — так и не строим.

Нехода разглагольствовал бы еще очень долго, но за стеной раздаются какие-то возгласы, слышится перестук копыт, и в кабинет влетает пропыленный до самой макушки, загорелый паренек лет семнадцати.

— Наталья Сергеевна! — выкрикивает он, задыхаясь. — Степь горит, пожар в степи... Табуны на город пошли... Сюда... Табунщики их сбивают, не могут сбить — они, понимаете, к реке прорываются... Попадут на стройплощадку, побьются, перекалечатся, жеребят помнут...

— Дождались! — с глухой яростью бросает Наталья Сергеевна и бежит к дверям.

Комсомольцы устремляются за нею.

— Помочь надо! — на ходу кричит Катя. — Помочь надо, Леша! Созывай ребят!

Нехода остается один.

— Как это так — табуны на город идут? Это ж получается... Что? Непорядок! Они мне тут побьют все, поломают... А отвечать... Кому? Неходе? Нет, дорогой товарищ Калинина, вам отвечать, вам!

Наталья Сергеевна, подхватив повод, отводит от коновязи длинноногую кобылу, вскакивает в седло.

— Людей предупреди! — приказывает она пареньку. — Люди пусть прячутся! Никого чтоб не было на дороге! Ах, беда, беда!

Кобыла, рванувшись вперед, перемахивает через груды балок.

В степи над горизонтом поднимается синевато-багровая, похожая на горную цепь пелена дыма.

А впереди, быстро приближаясь, катится огромное облако пыли, вздымаемой тысячами лошадиных копыт. Солнечные лучи, с трудом пробиваясь сквозь дым и пыль, придают всему сказочный и зловещий характер.

Наталья Сергеевна низко пригибается к бьющейся по ветру гриве.

Кобыла идет бешеным карьером — сухим и растянутым. Временами кажется, что она висит над степной травой.

— Вперед, Ленточка, вперед!

Все ближе и ближе пыльное облако.

Нарастает глухой гул, распадаясь на сотни и тысячи drobных стуков. Табуны несутся прямо на Наталью Сергеевну. Она сворачивает в сторону и сдерживает бег лошади. Напряженно оглядывается.

И вот, вырвавшись из облака пыли, появляется лавина коней. Впереди идут жеребцы. Они мчатся, всхрапывают, кося ошалелыми, налитыми кровью глазами, задрав морды, не замечая препятствия. Это бег безумия, и кажется, что нет такой силы, которая способна была бы его остановить.

— Что ж будем делать, Ленточка? — Наталья Сергеевна низко пригибается к шее лошади. — Попробуем закружить табун!.. Другого выхода нет! Стой, стой, не бойся!

Кобыла, чуя смертельную опасность, рвет повод. Наталья Сергеевна изо всех сил сдерживает ее.

Все ближе и ближе головные кони.

— Теперь пора!

Наталья Сергеевна круто натягивает повод, пригибается, ударяет кобылу плетью. Ленточка приседает, прыгает вперед. Наталья Сергеевна ведет ее, прижимая к головным коням.

— За мной, за мной! Ап-па! Ап-па! Ап-па!.. Ап-па!..

На строительной площадке комсомольцы с лихорадочной поспешностью стараются расчистить завалы балок, досок, бочек. Алеша Мазаев пытается организовать работу, но что можно поделывать в такой спешке? Все кричат одновременно:

— Бочку опрокидывай! Давай, давай!..

— Тут в два дня не разберешься!..

— Не зевай, друзья, поворачивайся!

— Двух человек сюда!

Катюша Синцова в сбитой набок косынке старается поспеть всюду.

— Ребята, ребята, как Наталья Сергеевна убиваться будет, если кони покалечатся!.. — Она задирает голову и кричит дозорному, залезшему на леса: — Ну, как? Блиско кони?

Дозорный не отвечает. Как зачарованный, он смотрит вдаль, в степь. И вдруг подпрыгивает и кричит так, что работы останавливаются:

— Наталья Сергеевна табун пошла кружить! Ой, сомнут ее!.. Нет, вон она!.. Сбивает! Кружит! Пошел за ней табун! Ай молодец!..

Табун в степи пошел по кругу. Наталья Сергеевна осторожно сдерживает бег Ленточки.

— Ап-па!.. Ап-па!..

Отчаянный крик дозорного на лесах:

— Косяк голов в тридцать оторвался! Сюда идут...

Все ближе и ближе кони. Стук копыт, храп, повизгивание. Стучат копыта по брусчатке, трещат мостки. Лавина гнедых, рыжих, пегих коней со вздыбленными гривами, развевающимися на ветру хвостами, обезумевшими глазами летит по притихшей улочке.

Торопливо карабкаются на деревья и заборы комсомольцы, прибежавшие на помощь.

Дымная туча наползает на город.

В темном багровом небе, усиливая смятение и тревогу, гудят самолеты противопожарной авиации.

— Самолеты тушить пожар вышли, — кричит Алеша Мазаев, взобравшийся на телеграфный столб.

Летит косяк.

— А где же Катька? — кричит худенькая девушка. — Товарищи, Катьку Синцову никто не видел?

Гудят самолеты. Храпят и ржут кони.

Катя выбежала далеко вперед.

— Ох, — шепотом произносит Катя и, сорвав с головы косынку, бросается вперед. Машет.

Огромный вздыбленный светло-гнедой жеребец надвигается на нее. Катя закрывает лицо руками. Падает.

Над неподвижно лежащим телом проносятся кони.

Качается плот на широкой камской волне.

Проплывают мимо пустынные берега. Одинокие деревья склоняются к воде, расстилается ковыльная степь.

Лапин, вытянувшись во весь рост, лежит посредине плота, негромко напевая какую-то мелодию.

Нестратов грустно разглядывает большую дырку на прекрасных серых штанах.

Чижов сидит на краю плота с удочками в руках, болтает босыми ногами в воде и время от времени голосом, лишенным всяких интонаций, произносит все одну и ту же фразу:

— Отдайте мои новые тапочки...

Лапин мычит песню.

Нестратов рассматривает штаны.

— Куда вы дели мои тапочки?

— Отстань, — отвечает наконец Лапин. — Не брали мы твоих тапочек. Наверное, сам их продал или подарил кому-нибудь.

Нестратов тихо, счастливо смеется.

— Дал бы себе отрубить палец, чтобы посмотреть, как босой профессор входит в операционную.

— Оба вы хороши, — примирительно заключает Лапин и сочувственно смотрит на Чижова. — Ну как, Чижик, не клюет? Может быть, рыбе неприятно, что ты все время болтаешь в воде ногами?

— Скорее всего, — свирепо отвечает Чижов, — она не клюет оттого, что ей противно попасть на обед человеку с такой неряшливой бородой.

— Оскорбить всякий может, — смиренно вздыхает Лапин, — а вот поймать рыбу может не всякий!

И снова все умолкают.

Солнечная рябь бежит по воде, маленькие волны неторопливо катятся рядом с плотом.

Нестратов, потянувшись, оглядывается.

Необыкновенная тишина вокруг.

— Хорошо, братцы! — неожиданно говорит Нестратов. — До чего же хорошо! Ей-богу, кажется, вы правы. Никогда я еще так не отдыхал. Сегодня ночью у меня даже было желание встать и поработать. Понимаете, пришли в голову какие-то идеи...

— Ура, — холодно замечает Чижов. — Начинается психологический перелом. Поразительное зрелище: действительный член Академии архитектуры, всеобщий консультант Василий Васильевич Нестратов обратил внимание на простые, так сказать, мирские дела.

— Да ну тебя! — отмахивается Нестратов и вдруг вскакивает так стремительно, что Чижов едва не падает в воду.

— Земля! — с видом Христофора Колумба торжественно кричит Нестратов. — Слева по борту населенный пункт.

Все трое вглядываются.

На высоком берегу виднеется город Тугурбай.

Собственно, только очень привычный глаз может определить в этом нагромождении строительных лесов, железобетонных перекрытий, темных гор земли и щебня очертания города.

— Приставать или не приставать? — торопливо спрашивает Лапин. — Хлеб еще есть, соль есть, рыба будет... — Он подмигивает Чижову. — Какой это город, капитан? Что говорят ваши навигационные карты?

Нестратов, приосанившись, достает свою географическую карту, надевает очки.

— Ну?

— Это... Тугурбай, — помолчав, произносит Нестратов.

Лапин и Чижов переглядываются.

— В Тугурбае приставать обязательно! — негромко и значительно говорит Лапин. — Здесь поблизости расположены животноводческие базы, мне интересно взглянуть. Но не это главное. В Тугурбае работает девушка, которую ты, Василий, отказался принять в последний день перед отпуском. Можешь не называть себя в строительном управлении — дело твое, но повидать эту девушку ты должен.

Строительное управление.

Из продолговатых окон, прорезанных под самой крышей, валит густой дым, слышится гул голосов.

— Пожар, что ли? — щурится Лапин.

Нестратов качает головой:

— Строители совещаются. Обычная картина.

Они открывают скрипучую дверь, входят.

Большая комната управления полна людьми.

На чисто выструганных опорных столбах висят объявления. В глубине стоит стол, покрытый традиционным сукном. За столом сидит хмурый Виталий Григорьевич Нехода и, пощипывая кустики редких усов, угрюмо слушает высокого худощавого человека в темном костюме.

— Прямо надо тебе сказать, товарищ Нехода, спокойно прожить хочешь, ссориться не любишь, — говорит он, ладонью рассекая воздух, — все как бы бочком, бочком, чтобы и начальство не обидеть и своих не обойти...

Нехода вскакивает.

— Опять, значит, Нехода? Неправильно, товарищи дорогие! Критикуй Неходу, пожалуйста, он это... что? Любит! Но сейчас не про Неходу надо говорить, а во всем объеме... Широко надо ставить вопрос, государственно!

Худощавый человек качает головой.

— Вот и получается, что вопросы мы ставим широко, а деньги-то государственные плывут, сроки преступно увеличиваются.

Нехода звякает колокольчиком:

— Демагогию, демагогию разводишь!

Худощавый человек, не слушая Неходу, продолжает:

— Животноводов подвели... чуть до беды не допрыгались! Кто виноват в этом?

Нехода вскакивает:

— Кто виноват — тот и ответит! Будьте покойны — мы по товарищей животноводов куда следует сообщим...

— А мы, значит, не виноваты? — сурово спрашивает

худощавый. — Лежит под боком свой строительный материал — туф, гипс, а мы за триста километров силикатный кирпич везем — время проводим!

Нехода отваливается на спинку стула, разводит руками:

— Ну, уж тут и слушать тебя смешно! Я не против критики, критику лично я люблю, но тут... Да ты знаешь, кем подписан проект? Он самим академиком Нестратовым подписан!

— Подумаешь, подписан Нестратовым, так уж закон божий! А если он ошибся? А если бюрократ твой Нестратов?

Лапин весело, так что блеснули зубы в разбойничьей бороде, улыбается и, подталкивая Нестратова, шепчет:

— Интересное собрание!

— Как это: Нестратов — и бюрократ? — зловеще спрашивает Нехода. — Ты, знаешь, поаккуратней, Иван!

Девичий голос выкрикивает:

— А пускай ваш Нестратов не подмахивает проекты не глядя! Пускай сперва подумает и познакомится с местными условиями!

— Пойдем, — цедит сквозь зубы Нестратов и тянет Лапина за рукав.

— погоди, — хладнокровно отвечает Лапин. — Ты-то, конечно, все знаешь, а мне очень полезно послушать.

Собрание гудит. Одновременно говорят человек двадцать. Нехода тщетно стучит карандашом по графину и звякает колокольчиком. Всех перекрикивает высоченный парень с лихим чубом:

— Комсомольская организация правильно поставила этот вопрос! А если в Архитектурном управлении не выслушали Катю Синцову, то это только говорит о стиле руководства.

Лапин наклоняется к соседу — пожилому мастеру в си-ней спецовке:

— Катя Синцова здесь?

— Нету ее, — нетерпеливо отвечает сосед.

— А где ее можно увидеть?

Сосед обернулся к Лапину:

— Да вы что, не знаете? В больнице она. — Он хмурится и тут же принимается кричать: — Правильно! Правильно!

Лапин понимает, что больше от него уже ничего не добьешься.

— Пошли, — говорит он Нестратову. — Имя и фамилия известны — Катя Синцова. Она в больнице. Можем идти. Здесь тебе ничего не нужно?

Он испытующе смотрит на Нестратова.

— А что мне здесь может понадобиться? — обиженно и зло отвечает Нестратов.

Они выходят, спускаются с крылечка, шагают рядом по деревянным мосткам.

Оба молчат.

— Чепуха! Невежественный лепет и чепуха! — не слишком уверенно заявляет Нестратов и искоса поглядывает на Лапина.

Лапин не отвечает.

Он по-прежнему молчит, тяжело вздыхает, ерошит бороду.

Больница.

Нестратов и Лапин стоят с молодой девушкой-врачом в приемном покое.

— Очень тяжелый случай, товарищи, — девушка сурово сдвигает брови. — Мы вызвали из Уфы нейрохирурга.

— Из Уфы? — задумчиво спрашивает Лапин. — Далеко!

— Я... я не решаюсь, — после паузы честно признается девушка и сжимает руки. — Я еще не делала трепанаций, я...

— А если не прилетит хирург из Уфы? — смотрит на нее Лапин. — Всякое ведь случается — нелетная погода, то, другое...

— Тогда мне придется взять на себя ответственность за операцию. И я возьму ее. Другого выхода нет!

Девушка вдруг совсем по-ребячьи вздыхает:

— Ну почему такая беда должна была случиться, когда главный врач уехал? Ужасно, когда так мало опыта, просто ужасно!

Лапин медленно поднимает на нее глаза:

— Стало быть, нужно вмешательство нейрохирурга? Вот что — погодите и ничего не предпринимайте. Погодите минут двадцать.

Лапин кивает Нестратову, и они быстро выходят, оставив врача в полном недоумении.

Пристань. Плот.

Чижев лежит вытянувшись, неподвижно глядя в небо. Он не пошевелился даже тогда, когда с высокого берега с шумом сбежали Нестратов и Лапин.

— Скорей! — еще издали возбужденно кричит Нестратов. — Вставай, Чижик!

— Я больше не встану никогда, — мрачно отвечает

Чижов. — Вы опять отправились в город, а меня оставили одного!

— Борис, — голос Лапина звучит непривычно серьезно. — Вставай, друг. Вот тебе мои туфли. Девушка, которую мы ищем, тяжело ранена. Молодой врач одна в больнице и совершенно растерялась. Вставай, Нестратов тебя проводит.

Лапин быстро снимает башмаки и бросает их Чижову.

Чижов, обуваясь, ворчит:

— Вот уж не думал, что мне придется во время отпуска оперировать.

— Врач говорит, что надежды мало, — испуганно смотрит на него Нестратов.

— Надежда есть всегда, — резко отвечает Чижов. — Пошли!

Больница.

По длинному коридору в развевающемся белом халате стремительно бежит дежурная сестра, сталкивается с врачом.

— Мария Николаевна! — захлебываясь, говорит она. — Вас спрашивают. Один такой длинный, а другой, поменьше, говорит, что он профессор Чижов.

Девушка-врач смотрит на нее во все глаза.

— У вас случайно не температура, Даша? — спрашивает она. — Откуда здесь может взяться профессор Чижов?..

Но внезапно на ее лице появляется необычайное удивление, и она бросается мимо сестры в приемный покой.

— Господи, — говорит она почти шепотом, — Борис Петрович, вы? Вы?

— Я, — Чижов всматривается в нее. — Я, конечно, я. Что-то я вас не припомню, голубушка.

— Была у вас, Борис Петрович, в прошлом году. На трехмесячных... На переквалификации... Какое счастье! — Врач путается, сама себя перебивает, говорит невпопад. — И я даже подумать не могла, что здесь... Так далеко... Каким образом?

Чижов усмехается:

— Каким образом — лучше не спрашивайте. Приплыл на плоту. — Он покачал головой. — А вот волноваться хирургу перед операцией не полагается! Разве я не говорил вам этого? Плохо же учил я вас, молодежь! Пойдемте!..

Чижов и молодой врач в белых халатах склоняются над Катей.

Она без сознания. Глаза закрыты.

Чижев осматривает ее быстро и внимательно.

У дверей — длинный, нелепый, нескладный в белом халате, Нестратов.

Чижев, окончив осмотр, выпрямляется, и все присутствующие, даже Нестратов, не узнают его лица: оно стало тверже, резче обозначились складки у рта. Темные глаза смотрят необыкновенно уверенно, холодно и спокойно.

— В операционную, — коротко говорит он.

Чижев проходит в операционную.

У него даже походка изменилась — прямая, твердая, уверенная.

Дальше каждое слово, произнесенное Чижевым, отрывисто, спокойно, почти лишено интонации.

Профессор подходит к столу, на котором лежит Катя, и, наклонившись, одобрительно кивает.

— Свет!

Мягкий свет заливает операционное поле. Вспыхивает налобная лампа. За спиной Чижева открывается дверь, на носках входит Нестратов в белом халате и маске. Он слышит голос Чижева.

— Скальпель!

Нестратов прижимается к стене. Глаза его испуганны. Блестит сталь инструмента в руке Чижева. Отрывистый голос произносит:

— Зажим... Зажим... Еще зажим!..

Быстрые руки сестры подают инструменты. Вторая сестра сидит на маленькой скамеечке у изголовья Катюши Синцовой, лицо которой восково-бледно. Ресницы плотно сжаты.

Спокойный голос Чижева:

— Пульс?

— 110...

— Трепан!

Мертвая тишина. Характерный сверлящий звук. Нестратов шарит рукой по стене и пятясь выходит из операционной.

Голос Чижева:

— Давление?

— 180...

Лицо Кати бледно, спокойно. И вдруг ресницы дрогнули. Сдавленный голос сестры:

— Большая открывает глаза!

Глаза Чижева блестят над белой маской.

— Как чувствует себя больная?

— Хо-ро-шо... — голос Кати еще совсем слаб.

— Молодцом... Иглу... Скоро будет прыгать по-прежнему! Ну, вот и все!

Несколько быстрых движений, и Чижов отходит от стола.

Чижов улыбается, и его спокойное, строгое лицо вдруг снова преобразается:

— А дружок-то мой убежал? Нервочки!..

Молодой врач бережно помогает снять Катю со стола.

За суетой в операционной никто не замечает, как Чижов выходит.

Чижов и Нестратов стоят на крылечке больницы.

Чижов уже снова похож на лихого путешественника, каким мы его привыкли видеть на плоту.

— Что, Василий Васильевич, — он широко улыбается, — консультировать проекты небось спокойнее, чем резать живых людей?

Нестратов почти нежно обнимает Чижова за плечи.

— Можешь мне говорить теперь все, что угодно. Можешь мне даже говорить «ты». Я проникся к тебе глубоким уважением!

— То-то, — наставительно говорит Чижов. — Ну а теперь — бежим!

— Как — бежим? — удивленно смотрит на него Нестратов.

— Бежим, бежим, Василий! А то сейчас спохватятся, начнут меня искать, благодарить, то-се, пятое-десятое, а по мне, — он воровато оглядывается, — нет ничего хуже жалких слов. Боюсь до смерти! Бежим! Только вот туфли Александра сниму — жмут невозможно.

Он снимает туфли и, таща все еще растерянного Нестратова за руку, сбегает с крыльца, и оба скрываются за углом.

И в то же мгновение распахиваются двери, и на пороге больницы появляются девушка-врач в расстегнутом халате, две сестры, какая-то старушка с градусником в руке.

— Где же он? — растерянно бормочет девушка-врач. — Просто чудеса! Борис Петрович! — кричит она во весь голос. — Борис Петрович, где вы, отзовитесь!

И все принимаются кричать:

— Борис Петрович! Борис Петрович!

Взметнулось облако пыли.

Вынырнув из-за угла, у больницы останавливается запыленная таратайка. Из нее выпрыгивает Наталья Сергеевна.

— Ну что? — хрипло спрашивает она. — Как Катюша? Почему вы все стоите? Что случилось?

— Все хорошо, Наталья Сергеевна, не волнуйтесь, — врач все еще растерянно озирается, — Катюше сделана операция. На наше великое счастье, здесь каким-то чудом оказался Чижов!

— Чижов? — машинально повторяет Наталья Сергеевна. — Какой Чижов?

— Батюшки! — всплескивает руками врач. — Борис Петрович Чижов! Хирург, который заслуживает, чтобы с его рук сняли золотой слепок. Неужели вы никогда о нем не слышали? Профессор Чижов!

— Профессор Чижов! — снова повторяет Наталья Сергеевна. — Нет, о нем я слышала. — Голос ее звучит все тише, она проводит рукой по лбу, с трудом улыбается.

— Когда же он приехал? Где он?

— Не знаю, — в отчаянии говорит врач. — Ничего не знаю! Когда он приехал, зачем и куда он сейчас вместе со своим другом деваляся, ничего не знаю...

— Вместе со своим другом, — еле слышно произносит Наталья Сергеевна.

— Ой, Мария Николаевна! — вскрикивает неожиданно медицинская сестра. — А я знаю, где он. Честное слово!.. Он же сам сказал... Ну только мы тогда не в себе были и запамтовали... А профессор сказал, что они по реке приехали — на плоту!

— На плоту?..

Поднимается луна.

Кама плавно катит свои воды, величественная и широкая. От берега до берега вытянулась серебряная лунная дорожка. Далеко видна пустынная гладь реки.

Ни плота, ни людей.

Наталья Сергеевна стоит на берегу, вглядывается в даль и вдруг медленным, бесшумным жестом заламывает руки. Сгущаются сумерки.

Одинокая женская фигура стоит на берегу широкой реки.

Рассвет.

По искрящейся, радужной воде плывет плот. Вокруг — степь, пустынные берега.

Нестратов, поджав под себя ноги, угрюмо сидит на краю плота — идет разговор, видимо, не слишком для него прият-

ный. Чижов с размаху ударяет кулаком по рулевому веслу.

— Как ты мог оттуда уехать? — почти кричит он. — Как тебя ноги унесли после того, что ты там выслушал?

— «Выслушал», «выслушал»... Сказать все можно, — хмуро ворчит Нестратов. — А вообще-то я решил так: с первой же оказией вернусь в Тугурбай и займусь проектом.

Лапин обрадованно сжимает руку Нестратова у локтя.

— Я верил, Василий, хотел верить, что, по существу, с тобой все в порядке. Но, не скрою, в Москве испугался. Ты забыл что-то очень важное, важнее чего и быть не может: ты забыл, что работаешь для людей...

— Ну, это уж неправда! — сердито качает головой Нестратов. — Вы не хотите, друзья мои, понять, что когда человек завален работой сверх головы, то ему бывает некогда оглянуться...

— Чепуха! — перебивает Чижов. — Вранье! Каждый из нас, в чем-нибудь провинившись, подбирает себе этикие утешеньца.

— Это я знаю, — бормочет Нестратов.

— Все ты знаешь, — маленький Лапин, присев, обнимает длинного Нестратова за талию, — все ты знаешь, все помнишь, а вот про людей ты все-таки забыл. Аплодисменты. Почет. Фимиа. «Пожалуйте в президиум, дорогой Василий Васильевич!», «Возьмите еще одну мастерскую, уважаемый Василий Васильевич!», «Не примете ли участие в работе журнала, Василий Васильевич?!»... И пошло, и пошло! И день уже начинается с приглашения на совещание: одно в три часа, другое — в пять, третье — в девять... И на жизнь, с горестями ее и радостями, приходится смотреть только уже из окна кабинета, машины, международного вагона. И постепенно забываются те самые простые люди, ради которых работаешь...

— А ведь мы не имеем права забывать! — с силой произносит Чижов. — Мы-то ведь слесарята с Лефортовской окраины. Деды наши кто? Молотобойцы, железных дел мастера. Рядом трубили на одних и тех же заваливающих станках. Отцы с дробовичками ходили на Красную Пресню...

И, увлеченные этим разговором, друзья не замечают, как плот медленно подходит к острову, втягивается в узкую протоку между островком и берегом и со страшным треском садится на мель.

Нестратов и Чижов удерживаются на ногах, но Лапин падает в воду.

Отплевываясь и отфыркиваясь, он весело рывкает:

— Кораблекрушение! Наконец-то дождались! Наконец-то

сбылись мечты сумасшедшие! Стойте, не шевелитесь, тут какие-то коряги, сейчас я вас спихну.

Нестратов, с плота глядя на бесплодные усилия Лапина, задумчиво говорит:

— Нет, Саша, бурлак из тебя не выйдет!

И он, не сгибаясь, бултыхается в воду. Следом за ним прыгивает Чижов. Они толкают плот объединенными усилиями, но безуспешно.

Плот засел прочно.

Не помогают даже старинные выкрики:

— Эй, ухнем!

— Еще разик, еще раз!

От холодной воды у друзей начинают стучать зубы. Они выбираются на островок и, стараясь согреться, отплясывают какой-то невероятный танец.

— Есть хочется до ужаса, — ворчит Чижов.

Внезапно раздается низкий протяжный гудок парохода.

Друзья, не сговариваясь, бегут через невысокий кустарник на противоположный конец острова и начинают кричать, стараясь привлечь внимание на пароходе.

Но поздно.

Пароход величественно и равнодушно проплывает мимо.

Волны, бегущие из-под винта парохода, бьются о берег. Одна из таких волн, подобравшись под застрявший плот, упруго приподнимает его снизу, и плот — сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее — втягивается в течение.

— Опоздали! — сокрушенно говорит Чижов.

Они стоят и молча смотрят вслед уходящему пароходу.

— Караул! — вдруг, обернувшись, шепотом произносит Нестратов. — Смотрите!..

Чижов и Лапин смотрят сначала на его протянутый палец, потом на реку и разом хватаются за головы — плот, их уютный маленький плот, с шалашом, с дробовиками, удочками, гитарой и одеждой, медленно уплывает вниз по течению.

— Вот теперь только все и началось! — хрипло и торжественно говорит Чижов. — Мы на необитаемом острове. Костлявая рука голода протянута к нам. Мы — Робинзоны.

— Это я Робинзон! — быстро говорит Лапин. — У профессора, поскольку он хирург, безусловно черная душа, и, стало быть, он — Пятница. На долю академика остается роль попугая. Господи, как хочется есть!

— Шутки шутками, — вздохнув, говорит Нестратов, — а как все-таки слезть с этого острова?

Больница в Тугурбае.

Ночь.

Забинтованная голова девушки на подушке.

У кровати молча и неподвижно сидит Наталья Сергеевна.

В палату заглядывает девушка-врач.

— Пойдите отдохните, Наталья Сергеевна. Право же, за Катюшей хорошо смотрят.

Наталья Сергеевна не оборачивается.

— Не сердитесь, Мария Николаевна. Мне просто приятно около нее подежурить. Я здесь отдыхаю. Тишина. И она так спокойно дышит...

Врач машет рукой и уходит.

Тишина.

— Понимаешь, Катюша, — едва слышно, одними губами произносит Наталья Сергеевна, — теперь уж я не сомневаюсь — мне не почудилось... Он был здесь... Опять прошел рядом со мной и ушел. Я думала, что теперь уж мне не будет так тяжело, а мне... Такой у меня глупый характер — однолюбка... Завтра на «Ермаке» попробую его нагнать, но...

Забинтованная голова на подушке слабо шевелится.

— Что? Кто?

— Это я, Катюша, Наталья Сергеевна. Больше никого нет. Все тихо. Все хорошо. Спи.

Утро. Пароход у пристани Актау. У борта стоят Наталья Сергеевна, помощник капитана — Сережа Петровых и толстый, благодушный, очень спокойный начальник пристани.

Наталья Сергеевна сжимает руки.

— Где же они? Значит, мы проплыли мимо...

Сережа решительно машет рукой.

— Отпадает!

Начальник пристани пожимает плечами.

— У меня они не проплывали! Удивляюсь!..

— Но не могли ведь пропасть бесследно на спокойной реке плот и три взрослых человека?

— Найдем! — успокоительно говорит Сережа. — Не беспокойтесь, Наталья Сергеевна!

— Эй, — раздается окрик.

Все трое перегибаются через борт.

Вдоль берега ползет катер, волоча на буксире злополучный плот. Моторист машет рукой.

— Начальник пристани здесь? Такое дело: плот перехва-

тили! Вещички есть, документы есть, даже гитара есть... А людей нету...

Наталья Сергеевна глухо вскрикивает, перегибается через борт еще ниже, с отчаянием смотрит на плот.

Сережа вполголоса говорит начальнику пристани, хмурия брови:

— Надо прочесать реку... И сообщи Тугурбаю, чтобы выслали со своей стороны катера!

Попугай и Пятница — Чижов и Нестратов — печально сидят на берегу острова.

Вид у обоих нахохленный, голодный и несчастный.

— Да-а, — задумчиво говорит Нестратов, — не так-то это просто — заменить силикатный кирпич местным строительным материалом. Другой материал — другая форма, другие задачи, другой ансамбль... В самом проекте придется много менять.

— Я тоже, признаться, не очень спокоен, — негромко замечает Чижов. — Как там моя пациентка?..

Лапин — Робинзон в стороне, не обращая внимания на друзей, ожесточенно выдирает из куска трухлявого дерева сучок, вставляет в образовавшееся отверстие сухую палочку, садится и, зажав палочку между ладонями, начинает ее вращать.

— Александр Федорович, — торжественно говорит Нестратов, — снимаю перед тобой шляпу. Ты единственный практик среди нас. Добывать огонь трением, конечно, не новая выдумка для человечества и в наши дни выглядит несколько старомодной, но применительно к обстоятельствам ты — гений!

— Да-а-а, — глубокомысленно заключает Чижов. — Как пещерный человек Саша ушел далеко вперед! Давай и я покручу немного...

Несколько минут проходит в напряженной работе.

— Она нагрелась! — шепотом сообщает Нестратов.

— Кто — она? — сухо спрашивает Чижов.

— Палочка.

— А где же огонь?

— Огня нет, — сумрачно говорит Лапин, — и, очевидно, не будет. Отрекаюсь. Как наши предки выкручивали из этой палочки огонь — ума не приложу.

— Хилые потомки! — вздыхает Чижов. — А который сейчас может быть час?

Лапин смотрит на солнце из-под ладони:

— Часов около двенадцати...

— А не дурно бы сейчас, — мечтательно произносит Нестратов, — стаканчик кофе горячего...

— Салфеточку, — подхватывает Лапин, — подстаканничек, бутерброд со шпротиком...

— Сырочку, — продолжает Чижов, — яичек, буханочку хлебушка...

— Перестаньте! — стонет Нестратов. — В противном случае на этом острове будет отмечен первый случай людоедства!

Несмотря на голод, Нестратов чувствует себя великолепно, но друзья делают вид, что не замечают этого.

— Слушай, Чижик, — бородатое лицо Лапина абсолютно серьезно, — давай съедим академика, а?

— Так жарить же не на чем, — озабоченно говорит Чижов, — а в сыром виде его не прожухешь.

Нестратов собирается ответить, но слова замирают у него на губах. Он настораживается, как охотничья собака на стойке, поднимает палец:

— Слушайте, слушайте!

С реки доносится отрывистое чихание мотора.

Друзья, словно по команде, мгновенно бросаются в воду и плывут. Плывут молча, ожесточенно взмахивая руками, и только когда показывается наконец грузовой катер, ведущий на буксире огромную плоскодонную баржу, Лапин сдавленно кричит:

— Эй, люди! Товарищи! Ура!

— Караул! — поддерживают его Нестратов.

Баржа.

Лапин, Чижов и Нестратов сидят на каких-то ящиках, окруженные шумными, веселыми пассажирами баржи — строителями, бетонщиками, сварщиками, монтажниками.

На чистых платках разложены колбасы, аппетитные ломтики сала, крутые яйца, холодная баранина.

— Замечательная у вас река! — разглагольствует Лапин с набитым ртом. — И народ тут у вас хороший, приветливый народ. Ох, до чего ж мы обрадовались, когда вас увидели!

— Еще бы не обрадовались, — с ядовитым сочувствием говорит какой-то старичок, — небось денька три не ели?

— Два, — сообщает Нестратов, откусывая огромный кусок колбасы, — точнее, сорок часов.

— Ученый человек, — шепчет соседу Чижов, — любит точность.

— О-о, ученый? — сосед с сомнением покосился на длинные голые ноги Нестратова. — Хотя, конечно, все может быть.

— Куда путь держите? — спрашивает кто-то.

— Да в разные места, — отвечает Лапин. — А вы куда, друзья?

— В Тугурбай!

Лапин, Чижов и Нестратов переглядываются.

— Беды кончились! — говорит Лапин. — Начались удачи!

Человек в аккуратной спецовке, по виду механик или монтер, с нависающим на лоб седым чубом, присаживаясь возле них на корточки, говорит:

— Мы на строительство. Большое строительство в Тугурбае. Работать туда едем и вот кирпич везем. Силикатный кирпич.

Лапин и Чижов, усмехаясь, смотрят на Нестратова.

— И правильно делаете, — нахально заявляет Нестратов, — каким бы материалом строительство ни пользовалось, немного кирпича всегда понадобится.

Мимо плывут зеленые берега. Жарко светит солнце.

— Хороша у нас река — красавица! — вздыхает монтер. — Вы к нам лет через пяток приезжайте, она еще краше будет.

— Приедем! — кивает Чижов. — Нам только втроем собраться...

— Приезжайте, приезжайте, милости просим! — говорит ядовитый старичок. — Только уж на тот раз — в штанах.

Взрывы смеха то и дело раздаются в ясном воздухе, эхом возвращаются от берегов.

Баржа плывет по тихой воде.

Впереди трудолюбиво пытит маленький катер, и моторист, высунувшись из люка, с завистью смотрит на веселую баржу.

Вечер.

За крутым поворотом реки показались огни Тугурбая.

— Ну, вот и приехали!

Нестратов, поглядев на друзей, растерянно и смущенно говорит:

— Это все, конечно, хорошо. Но вот только... — И он с таким комическим недоумением разводит руками, что всем сразу становится понятно, что он имеет в виду.

— Нда, — бормочет Лапин, — вещички-то наши уплыли. Любопытно, как мы в этаким виде сойдем на берег?

Снова все смеются.

Пожилой монтер, порывшись в вещевом мешке, вытаскивает холщовые штаны, растягивает их в руках, произносит со вздохом:

— Ну, одному кому-нибудь могу временно поспособствовать.

Послышались голоса:

— У меня рубашка имеется.

— Могу тапочки предложить.

— Тапочки — это для профессора, — говорит Лапин, — это его любимая обувь!

Друзей общими усилиями кое-как приводят в человеческий вид.

Сложнее всего обстоит дело с Нестратовым.

На него натягивают промасленный комбинезон, брюки которого кончаются чуть ниже колен, а рукава едва прикрывают локти.

— Ничего, сойдет, — критически оглядев Нестратова, говорит Лапин. — Подсучи рукава, будто тебе жарко. Прекраснейший вид. Такой, знаешь, деловой, озабоченный...

Гудок.

Баржа медленно разворачивается и останавливается у пристани Тугурбая.

Тугурбай.

По шатким сходням, провожаемые поощрительными возгласами вроде: «ничего», «пойдет» и «конечно, костюмчики не выходные, но бывают и хуже», — друзья спускаются на берег.

Нестратов растерянно оглядывается, норовя стянуть пониже короткие рукава. Лапин пытается пригладить волосы. И только Чижов независимо посматривает вокруг.

Прямо за их спинами, неподалеку от сходен баржи, снаряжается катер. Второй катер уже отошел. Оттуда кричат:

— А Наталью Сергеевну где встретим?..

С первого катера отвечают:

— Она уже близко, наверно!

Лапин поворачивается, застывает. Потом бросается к катеру.

Чижов и Нестратов переглядываются.

— Ну, я пошел в стройуправление! — говорит Нестратов. — Пора делами заняться!

— Да и мне в больницу нужно.

Оба не смотрят в ту сторону, куда убежал Лапин.

Лапин стоит у готового к отправке катера.

В катере суетятся два паренька в тельняшках.

— Братцы, — спрашивает Лапин хрипло, — какая это Наталья Сергеевна?

— Как — какая? Калинина!

— Братцы, — вскрикивает Лапин. — Возьмите меня, братцы!

— Мы спасать едем!

— И я буду спасать! — захлебывается Лапин. — Кого угодно буду спасать! Я плавать могу, нырять могу, что хотите! Возьмите меня!

Пареньки переглядываются:

— Возьмем, чего там!.. Садитесь, гражданин, сейчас трогаем!

Катер уходит.

Спасательные катера, прочесывая реку, медленно движутся против течения, от пристани Актау к Тугурбаю.

На длинных тросах волочатся багры, ощупывая дно у берегов.

Наталья Сергеевна, с искусанными почти до крови губами, сидит на носу райкомовского катера и неотрывно смотрит в воду.

Моторист, высунувшись из люка, утирает тыльной стороной ладони вспотевшее лицо, сочувственно говорит:

— А может, и нет ничего, Наталья Сергеевна, на этом участке? Вон от Тугурбая заготзерновский катер идет — может, они что обнаружили?

Катера сближаются.

Расходятся и бьются о берега невысокие волны.

На катере Заготзерна — только моторист и рулевой.

Вся команда, в том числе и Лапин, ныряет, разыскивая утопленников.

— Что?! — кричит Наталья Сергеевна. — Нашли?

— Ищем! — отвечает рулевой. — Нам бы знать, Наталья Сергеевна, кого ищем, мы бы, может, скорее нашли!

— Вам не сказали? — удивляется Наталья Сергеевна. — Мы ищем...

Наталья Сергеевна не успевает договорить.

Из воды, у самого райкомовского катера, с выпученными глазами и открытым ртом, выныривает Лапин, хватается, чтобы передохнуть, рукою за борт катера.

— Вот он! — вскрикивает не своим голосом Наталья Сергеевна.

Лапин, растерянно и изумленно помаргивая, смотрит на Наталью Сергеевну.

— Вот же он! — снова кричит Наталья Сергеевна.

Моторист и рулевой подпрыгивают, хватаются за багры.

— Наташа! — тихо говорит Лапин. — Не может быть! — Он протягивает к ней руки и, захлебнувшись, уходит под воду.

Несутся над рекой возбужденные голоса:

— Сюда, сюда!

— Здесь он!

— Багры давайте, багры!

Управление строительства.

Кабинет Неходы.

Посредине комнаты в промасленном комбинезоне стоит Нестратов, с обычным для него в Москве снисходительно-барственным видом.

— Я понимаю, — усмехаясь, говорит он, — что все это звучит не слишком убедительно — плот, уплывший с чемоданами и вещами... Но я действительно — Нестратов.

— Академик Нестратов? — с глубокой иронией спрашивает Нехода.

— Академик Нестратов, — кивает головой Нестратов и безуспешно пытается застегнуть ворот комбинезона.

Нехода смеется.

— Академик Нестратов! Да вы, гражданин, знаете, какой это человек? Это... Кто? Государственный деятель! Я вот тоже, можно сказать, лицо не маленькое, три раза по делам строительства был в Москве — так меня Нестратов ни разу не принял. И правильно — не лезь! А теперь вы хотите меня... Что? Убедить, что будто вы... То есть не вы, а он — сам к нам приехал...

— Ни разу, говорите, не принял? — задумчиво смотрит Нестратов на Неходу, и что-то в его вопросе заставляет Неходу насторожиться. Помолчав, он снова поднимает глаза на Нестратова:

— А документы, извините, товарищ, у вас есть?

Нестратов привычным движением лезет в карман и, нащупав какое-то удостоверение, протягивает его, тут же спохватывается и хочет забрать обратно, но поздно — документ уже в руках у Неходы.

— Так, — ухмыляется Нехода и с нескрываемым презрением смотрит на Нестратова, — вот, значит, какая история, гражданин Сичкин...

— Я сейчас, объясню, — подавленно бормочет Нестратов.

— Здесь сказано, что вы — Сичкин Семен Окович, работали монтажником на Гидропроекте и в мае месяце уволились по собственному желанию.

— Это не мои документы! Я просто машинально... Не мой комбинезон и не мои документы!

— Ах, и комбинезон тоже не ваш?..

— Послушайте, товарищ, — говорит, оправившись от смущения, Нестратов, — я приехал не один. Со мной два друга. Лапин — животновод и профессор Чижов — хирург. Чижов сейчас в больнице. Вам врач может подтвердить, что он действительно профессор Чижов. А Чижов вам скажет, что я — это я. Тогда вы поверите?

— Нет! — категорически заявляет Нехода и хлопает кулаком по лежащему на столе удостоверению. — Я, гражданин, на слово никому не верю. Я документам верю... Печати я верю... А вас тут, может быть, целая... Что? Шайка! Вы и будете друг про дружку сказки рассказывать! Не пойдет!

— Значит, круглой резиновой печати вы верите, а человеческому слову нет? — улыбается Нестратов.

Нехода, не отвечая, проходит в приемную, оставив дверь в свой кабинет открытой.

В приемной среди посетителей находятся Алеша Мазаев и худенькая девушка с косичками.

— Постерегите-ка этого типа! — кивает им Нехода на дверь своего кабинета.

В комнате наступает зловещая тишина. Нехода снимает телефонную трубку, негромко произносит: «Милицию!»

— Товарищ начальник, — говорит в телефон Нехода, — это Нехода на проводе. Тут, знаешь, надо нам одного гражданина того... Самозванец, как полагаю... Здесь, в управлении... Жду!

Нехода вешает телефонную трубку.

Девушка с косичками шумно и взволнованно глотает воздух — и снова в приемной воцаряется тревожная тишина.

Нехода останавливается в дверях своего кабинета и, взглянув на часы, вытирает платком голову, разводит руками:

— Вот, пожалуйста, целый час... Что? Потеряли! Тут, понимаете, горишь на работе, везешь на плечах ответственнейшее государственное дело, ночи недосыпаешь, а тебя, понимаете, каждый, кому не лень, отрывает... У меня уж и так энфизему легких находят... Сердце колотит: бух, бух... А ведь я еще нужен... Я еще очень... Что? Нужен!

— Скажите, а когда вы ложитесь спать и поворачиваете-

тесь с боку на бок — вы задыхаетесь? — неожиданно серьезно осведомляется Нестратов.

— Задыхаюсь, точно, — кивком головы подтверждает Нехода.

Нестратов весело усмежается:

— И вы уверены, что никогда не встречались с Нестратовым? — И вдруг он, непонятно для всех окружающих, говорит: — Ну, ничего! Я тебя породил, я ж тебя, милый, и убью!

— Как это — убью? Как это — убью? — восклицает Нехода, но в это мгновение открывается дверь, и входит младший лейтенант милиции. Придерживая кобуру, он еще с порога спрашивает у Неходы:

— Тут задержанный?

Нестратов встает.

— Будьте любезны, — говорит Нехода, указывая на Нестратова.

Лейтенант очень вежливо козыряет.

— Попрошу всех выйти! — Он оборачивается к Нестратову: — Садитесь, гражданин.

Нестратов садится.

Нехода выходит в приемную, самодовольно говорит секретарше:

— Неходу не проведешь! Нехода... что? Под землей видит!

Он закуривает, выпускает дым и вдруг, округлив глаза, тихонько сам себя спрашивает:

— А если это — Нестратов? Что тогда? А?

Кабинет Неходы.

— Случиться, конечно, все может, гражданин, — говорит лейтенант, — отчего же, туризм — это мы понимаем, но зачем чужим именем называться? Какой же тут, извините, туризм?

— Да я же вам в сотый раз объясняю, — начинает Нестратов страдальческим голосом, — документ этот попал ко мне случайно. В конце концов, все это легко проверить...

— А мы и проверим, — успокоительно говорит лейтенант. — Вы не волнуйтесь!

— Я абсолютно не волнуюсь! Я абсолютно спокоен!

— Да? — с тонкой улыбкой спрашивает лейтенант. — Не волнуетесь?

— Абсолютно! Уверю вас! Только поражаюсь...

— Поражаться тут нечему, — строго говорит лейте-

нант. — Наше дело за порядком наблюдать, гражданин. Товарищ Нехода в наших местах человек известный, и если он нам сообщает, что появился самозванец, должны мы это взять на заметку или не должны?

— Прохвост ваш Нехода! — возмущается Нестратов. — Очковтиратель и бюрократ, подхалим и чинодрал...

— Вы полегче, гражданин, — сурово останавливает лейтенант. — Про вас еще неизвестно, что вы за личность, а Неходу обзываете... — Помолчав, он неожиданно заканчивает: — Хотя Нехода, конечно, бюрократ! Это весь район знает. — Тут лейтенант снова тонко смотрит на Нестратова: — Однако, если вы и есть лицо, за которое себя выдаете, то как же вы Неходе такое дело доверили? Бюрократу, чинодралу — и доверили? А? Неувязочка...

Необыкновенно довольный своей пронизательностью, лейтенант улыбается, и сразу становится заметно, что он молод.

— Правда, голая правда! — глухо говорит Нестратов. — Каждое слово правда!

— Значит, сознаетесь? — лейтенант решает ковать железо, пока горячо.

— Да как же не сознаться? — отчаянно вскрикивает Нестратов. — Ведь каждый факт вопиет...

Лейтенант быстро придвигает бланк, обмакивает перо в чернильницу.

— Давайте. Все по порядку. Вам сразу легче станет.

— По какому порядку? — кричит Нестратов. — Где тут порядок? Вы поймите, что со мной сегодня случилось! Ведь я самого себя увидел. Увидел и ужаснулся!

— Кого увидел? — переспрашивает лейтенант.

— Самого себя. В отвратительном кривом зеркале!

— Какое еще зеркало? — строго спрашивает лейтенант. — Не путайте, гражданин. Кого вы и где увидели?

— Себя, друг мой, — грустно отвечает Нестратов, — себя в Неходе. Я и есть Нехода!

Лейтенант привстает.

— Кто вы?!

— Нехода, — грустно улыбается Нестратов, — как ни отвратительно это признание, но нужно иметь мужество: я — Нехода...

Лейтенант дрожащей рукой наливает из графина воду и жадно пьет.

Больница.

У постели Кати стоит Чижов. Рядом с ним девушка-врач.

— Молодец, Катюша, — шепчет Чижов, — теперь полный покой, и все будет хорошо. Никого к ней не пропускайте. Имейте в виду, будет к ней пробиваться друг мой Нестратов, длинный такой, — не допускать ни в коем случае. Кстати, куда он подевался? Не заходил сюда?

— Нет, Борис Петрович, никого не было.

— Странно. Ну-ка, давайте пойдем. Вам пора отдохнуть! Он берет девушку за локоть и выводит из палаты.

Они в дежурной комнате.

— Странно, — говорит Чижов, — куда же они все девались? Собственно, Нестратов, конечно, в строительном управлении. Где телефон? Как звонить?

— Начальнику строительства Неходе? Первый номер.

— Ну конечно! Мог бы и сам догадаться. У начальника всегда первый номер. Девушка?.. Дайте первый. Стройуправление?.. У вас там должен быть академик Нестратов... Что?.. Как — не знаете?.. Что?.. Странно... Допрашивает?.. Почему?.. Жулик?

Чижов вешает трубку, некоторое время удивленно глядит на телефон и, вдруг фыркнув, принимается хохотать. Девушка-врач смотрит на него в изумлении.

— Академика допрашивают! — изнемогая от смеха, говорит Чижов. — Воображаю... Нет, даже вообразить не могу... Однако что-нибудь следует предпринять! Он там от огорчения может заболеть.

— Допрашивают? Вашего друга? — возмущается девушка-врач. — Это недоразумение! Надо объяснить...

— А как вы можете объяснить? Заверить личность? Ведь документов-то у него нет!

— Но вы-то его знаете!

— Я-то знаю. Но... и мои документы уплыли на плоту!.. Конечно, рано или поздно дело разъяснится само, но когда это будет? А выручать Нестратова надо немедленно!

— Как?

Чижов на мгновение задумывается.

— Придется стать на скользкий путь... Вас замешивать в это похоронное дело я бы не хотел, но... Есть у вас машина неотложной помощи?

— Есть.

— Вызывайте. Я поеду за пациентом.

— Борис Петрович!..

— Вызывайте, вызывайте. Я вас выручил, теперь выручайте меня.

Девушка-врач пожимает плечами, улыбается, берет телефонную трубку.

По улицам Тугурбая, гудя тревожной сиреной, проносятся белая машина с красными крестами на окнах.

Управление строительства.

Кабинет Неходы.

Лейтенант и Нестратов сидят в полном изнеможении и пьют чай из больших пиал. Пьют вприкуску, и, видимо, не первую чашку. С обоих катится пот.

— Так мы с вами не договоримся, гражданин, — произносит дежурный безнадежным голосом, — получается: поп — свое, черт — свое.

Распахивается дверь, и в кабинет вбегает Нехода. Вбегает с твердо сложившимся решением признать свою ошибку. Но при виде неприглядной фигуры Нестратова его снова начинают одолевать сомнения.

— Значит, такое дело... Что? Получилось! — Он обращается к лейтенанту, но смотрит на Нестратова, который при появлении Неходы оставляет пиалу и хмурится. — Значит, сложилось у меня убеждение, что должны мы приветствовать в лице этого товарища знаменитейшего нашего академика товарища Нестратова, который прибыл к нам с секретной ревизией, на что — милости просим!

Сомнения оставляют его. Лицо Нестратова как раз настолько сурово и начальственно, насколько ему и надлежит быть по представлению Неходы. Нехода обольстительно улыбается. Лейтенант смотрит на него, приоткрыв рот от изумления.

— Должны мы принести... Что? Глубочайшие извинения товарищу Нестратову Василию Васильевичу.

— Значит, вы теперь уверяете, товарищ Нехода, — спрашивает, придя в себя, лейтенант, — что гражданин этот — Нестратов?

Нехода делает широкий утверждающий жест.

— А от этого гражданина, — продолжает лейтенант, — недавно было заявление, что он — Нехода.

У Неходы что-то булькает в горле.

— Как?

— Потом гражданин взял свое показание обратно и заявил, что уже не знает, как его фамилия — Сичкин, Нестратов или Нехода, или, может быть, он — Иванов, или еще кто-нибудь...

— Сил у меня больше нет, — подает голос из своего угла Нестратов, — третий час выясняем, как моя фамилия... Тысячу раз я говорил, что Неходой назвал себя в переносном смысле.

— А протокол мне в каком смысле писать? — голосом, в котором слышатся безнадежные нотки, спрашивает лейтенант. — В переносном запрещено протоколы писать. Милицию тоже пожалеть надо. Она тоже не каменная... Если вы Нехода, так и говорите...

— То есть как это — Нехода? — кричит Нехода не своим голосом. — Почему допускаете? Жулик он, а не Нехода! Я — Нехода...

— А я — Нестратов! — заявляет Нестратов.

За окном слышится сирена «скорой помощи». Хлопает дверь, и в управление строительства бодрым шагом входит Чижов в белом халате. Нестратов вскакивает, но Чижов предостерегающе сдвигает брови и едва заметно подмигивает ему.

— Извините, дорогие товарищи, — важно говорит он, — нам сообщили, что к вам попал наш больной из психиатрического отделения... Ах, вот он!

Лейтенант хлопает себя ладонью по лбу:

— С самого начала... С самого начала были у меня подозрения!

— Это я — сумасшедший? — шепотом спрашивает Нестратов.

— От таких волнений, — обиженно говорит Нехода, — у самых ценных работников удар может приключиться. Работать надо как следует, товарищи врачи! А если б он убил кого-нибудь? А?

— Разрешите забрать? — очень вежливо, даже вкрадчиво осведомляется Чижов.

— А вот сейчас мы оформим, — отвечает лейтенант, — и берите!

— А может, позже оформим? — еще вкрадчивее спрашивает Чижов.

— Зачем же? Мы сейчас... У вас, товарищ доктор, справочка какая-нибудь есть?

— Ах, справочка? — растерявшись, говорит Чижов. Он усердно шарит по карманам, бормочет:

— Сейчас... сейчас...

Тучи снова начинают сгущаться.

Но в это время появляются Лапин и Наталья Сергеевна. Они приходят, собственно говоря, немножко раньше, и Лапин успевает оценить ситуацию. Поняв, в чем дело, и едва

сдерживая смех, он ждет окончания сцены. Но вот наступает момент, когда необходимо вмешаться. И Лапин вмешивается.

— Товарищи, товарищи, не горячитесь! — говорит он. — Произошло маленькое недоразумение. Документы этих товарищей отсутствовали, но теперь их привезли. Можно все проверить. Пожалуйста.

Он вручает паспорта Нестратову и Чижову. Царственным жестом Нестратов протягивает свой паспорт лейтенанту. Нехода переводит взгляд с одного на другого. Он понимает, что опростоволосился. Но, может быть, еще возможно спасти положение. Он бросается к Нестратову.

— Товарищ Нестратов! Василий Васильевич! Ну, что вы скажете, чепуха какая? Я-то ведь с самого начала...

Лейтенант глядит в развернутый паспорт, переданный ему Нестратовым, в полном ошарашении.

— Что ж это? Паспорт вы мне даете... Это же гражданина Чижова паспорт! Это кто же Чижов? Вы же?

Лапин бросается вперед.

— Ах, батюшки, я им второпях паспорта перепутал... Это вот его паспорт...

— Гражданин, — говорит лейтенант без всякого выражения, — я сейчас стрелять буду!

Нехода стоит посредине комнаты и смотрит на всех безумными глазами.

Тихий закатный час над Камой.

Вода как зеркало, ветра нет, но бледно-зеленые листочки плакучих ив, склонившихся к самой реке, беспрестанно дрожат.

Наталья Сергеевна как зачарованная следит за игрой листьев.

Она идет над берегом рядом с Лапиным и крепко держит его за руку, точно боится, что он сейчас исчезнет. И слушает. Лапин поет вполголоса старую песню Дениса Давыдова:

Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливого,
Ты дай руку мне, недостойному,
Милый друг ты мой, моя душечка.

Я люблю тебя, без ума люблю,
Об одной тебе думу думаю,
Для тебя одной в жизни радуюсь,
Для тебя одной сердцем чувствую...

И Наталья Сергеевна шепотом повторяет:

— Для тебя одного сердцем чувствую!

Лапин поет:

Ты узнай, мой друг, про любовь мою
И улыбкою, словом ласковым
Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливого...

Наталья Сергеевна улыбается:

— Как я тосковала по этой песне... Как ждала!

Наталья Сергеевна и Лапин останавливаются.

— Нет человека счастливее меня, — шепотом говорит Лапин и вдруг кричит так, что эхо отдается за рекой: — Эй, я самый счастливый!

Где-то далеко, точно в ответ, гудит сирена.

Идет по реке пароход.

Больница.

В приемном покое, перекинув плащ через руку, в тщательно отутюженных брюках, при галстукке, стоит Чижов. А на него с молчаливым обожанием смотрят столпившиеся вокруг девушка-врач, сестры и санитарки.

— Ну-с, родные, признавайтесь, — шутиливо говорит Чижов, — чего вам не хватает для полного счастья?

Все по-прежнему молчат.

Только пожилая хирургическая сестра решается произнести:

— Нам бы нейрохирурга, Борис Петрович... Ну, если нельзя постоянного, то чтобы консультировал хотя бы!

— По четным дням! — вставляет девушка-врач.

— А по нечетным нельзя? — серьезно обращается к ней Чижов.

— Можно и по нечетным.

И тут, точно испугавшись, что не успеют высказаться, все принимаются говорить разом:

— Нам кардиограф обещали прислать, как в прошлом году...

— Машина санитарная нужна, с одной не справляемся.

— Дежурку, дежурку для нянечек.

Чижов машет рукой и смеется.

— Тише, тише, красавицы, не все сразу...

Отворяется дверь, и на пороге появляется Нестратов, довольный, сияющий, в съехавшем набок галстукке и перемазанном кирпичом и известкой плаще.

— Здравствуйте. Я за вами, Борис Петрович. Пора. Лапин ждет.

— Я готов, — говорит Чижов и смотрит на девушку-врача. — Ну, вот что... Быстро составьте мне список самого для вас необходимого и принесите на пристань! Попробую вам помочь! — Он улыбается. — Только не зарывайтесь. Пишите действительно самое необходимое.

Он оборачивается к Нестратову:

— Идемте, Василий Васильевич.

Но Нестратов, не трогаясь с места, неуверенно произносит:

— Я бы хотел хоть на три минуты... Мне бы повидать Катюшу Синцову!

— Нельзя, товарищ Нестратов! — сухо отвечает девушка-врач.

Нестратов улыбается Чижову:

— Посодействуйте, Борис Петрович.

— Не могу, — пожимает плечами Чижов, — не я тут хозяин.

— Значит, не пустите? Наотрез? — прищурившись, смотрит Нестратов на девушку-врача.

— Наотрез не пуцуй! — качает головой врач. — Вот выздоровеет Катюша, тогда пожалуйте!

Нестратов усмехается:

— Да-а, времена меняются! Никак не могу добиться приема у товарища Синцовой... Ну, хорошо! Передайте ей тогда следующее...

Палата.

Белая постель. Катя с блаженной и недоумевающей улыбкой выздоравливающей лежит в подушках.

Руки неподвижно покоятся под одеялом. За Катиной спиной в полуоткрытом окне с букетом цветов в руках томится Сережа Петровых.

— Катя! Ну! Катя же...

Но Катя, не оборачиваясь к Сереже (она, собственно, и не может обернуться), прислушивается к могучему басу Нестратова, который доносится из коридора.

— Передайте ей, что предложение комсомольцев насчет использования местного строительного материала я принял и утвердил...

Катя счастливо улыбается.

— Катенька, — снова тихо зовет Сережа.

— Не мешай!

— Ах вот как! Я... мешаю? — Сережа мрачнеет, швыряет букет на подоконник, исчезает и тут же появляется снова.

— Катенька, слушай, давай не ссориться!

В палату заглядывает девушка-врач, и Сережа быстро приседает, так что над подоконником остается торчать только фуражка с речным крабом.

Девушка-врач улыбается, подходит к окну, произносит необыкновенно вежливо:

— Будьте добры, Сережа, пройдите в приемный покой, вам дадут белый халат, и вы сможете помочь дежурной сестре — посидеть часок на стуле в коридоре, у дверей Катинной палаты.

Сережа, растерянный, смущенный и очень довольный, появляется в окне.

Катя хитро щурится:

— А вы куда, Мария Николаевна?

— А я, Катенька, на пристань — провожать.

Пристань. У готового к отплытию плота, пришвартованного к грузовому причалу, стоят друзья, окруженные шумной, говорливой толпой провожающих. Здесь и строители, и девушка-врач с сестрами, и санитарки, и веселые пассажиры баржи, снабдившие в свое время друзей едой и одеждой. Они сейчас принесли им на дорогу арбузы, дыни, яблоки, цветы.

— До свиданья, счастливого пути!

— Приезжайте к нам! Обязательно приезжайте!

— Спасибо вам за все, Борис Петрович!

А в стороне, глядя друг на друга, смущенные и счастливые, стоят Лапин и Наталья Сергеевна.

— До скорого свиданья, Наташа, — шепчет Лапин.

— До скорого, до очень скорого свиданья! — тихо отвечает Наталья Сергеевна.

Алеша Мазаев, секретарь комсомольской организации строительства, протягивая Нестратову огромный букет цветов, увлеченно говорит:

— Если бы вы знали... если бы вы только знали, Василий Васильевич, что значит для нас ваш приезд! Ведь за одну неделю все прямо как в сказке переменялось: присылают нового начальника строительства, проект утвержден, все основные вопросы решены...

И Нестратов голосом, в котором звучат подозрительно снисходительные нотки, произносит:

— Ничего, ничего, голубчик! Мне, слава богу, и не такие вопросы приходилось решать.

— Взгляните-ка, друзья, на Индюка, — негромко говорит Чижов, пробравшись сквозь толпу провожающих к Лапину и Наталье Сергеевне. — Вам не кажется, что его опять понесло?!

Действительно, Нестратов, окруженный строителями, улыбается, раскланивается и даже едва ли не порывается посылать воздушные поцелуи.

— Нда-а! Душка-тенор! — усмехается Лапин и, внезапно обозлившись, хватая лежащий на краю плота топорик, рубит причальный канат и, в последний раз шепнув Наталье Сергеевне: «До скорого свидания, Наташа», кричит во весь голос: «Полный вперед!».

Медленно отходит от пристани плот.

Следом по берегу двинулись провожающие. Взлетают на воздух шапки и платки. Наталья Сергеевна идет вместе со всеми, машет рукой, улыбается сквозь счастливые слезы.

— Работайте, други, работайте! — напутственно гремит Нестратов, потрясая над головой сжатыми ладонями. — Я свое сделал, теперь дело за вами!

Лапин и Чижов за спиной Нестратова сумрачно переглядываются.

Плывет по течению плот. Скрылись из глаз провожающие.

Нестратов, отдышавшись, оборачивается наконец к друзьям, гордо произносит:

— Да-а, доложу я вам, запомнят они тут академика Нестратова.

— Как ты думаешь, Саша? — невинным тоном осведомляется у Лапина Чижов.

— Макнем, пожалуй! — кивает Лапин.

— Что значит «макнем», что значит «макнем»? — отступая на всякий случай, сердито смотрит на друзей Нестратов. — Размакались, понравилось... Надо понимать, каких я тут дел натворил: добился снятия Неходы, утвердил предложение комсомольцев...

— А кто виноват в том, что предложение это не было утверждено? — взрывается Лапин. — Кто виноват в том, что начальником строительства сидел этот гусь Нехода? Чем хвастаешься? Тем, что исправил собственные ошибки?

— Ты, милый друг, только еще на пути к выздоровлению, говорю это как врач, — серьезно замечает Чижов. — И не хвастайся! А то, действительно, возьмем да и макнем, если понадобится!

Лапин смеется:

— И не здесь, не в речной водичке... А отправимся на плоту в Баренцево море, например, и макнем тебя, дружок, в ледяную крупу!

Нестратов обиженно молчит, потом усмехается.

— Ладно, черти! Макайте! Черт его знает, как это со мной происходит. Сам не замечаю!

Несколько мгновений длится молчание.

Лапин задумчиво говорит:

— Кончается наш отпуск. А жаль. Жалко снова расставаться, друзья... Однако пора ужин готовить...

Он вешает чайник над огнем и тихо запекает:

Шел ли дальней стороною, плыл ли морем я —
Всюду были вы со мною, старые друзья...

Нестратов чистит картошку и подтягивает басом:

И, бывало, в час тревоги, в сумрачный денек
Освещал нам все дороги дружбы огонек!

Чижов, разматывая катушку спиннинга, тихо затягивает припев:

Эх, наша дружба, всего дороже ты для нас...

Плывет плот. В прозрачном вечернем небе отчетливо рисуется впереди кружевной переплет огромного разводного моста...

...Ехидный старик, старый знакомый с баржи, взглянув из-под ладони на реку, командует подручному пареньку:

— Живо! Развести мост!

С громким и торжественным гулом расходятся фермы моста, пропуская, точно в знак уважения, маленький плот.

— Это кому же, дядя Петя, такое почтение? — с интересом спрашивает подручный паренек. — Кто такие?

— Друзья! — внушительно отвечает ехидный старик. — Наши с тобой друзья!..

Все дальше и дальше плывет плот, все тише и тише доносится песня:

Впереди большие реки, путь лежит большой.
Если дружим мы — навеки, любим — всей душой!
И цветет весенним садом Родина моя,
И идут по жизни рядом старые друзья!..

На семи ветрах

Глава первая

Диктор по радио говорит:

— Сегодня, шестнадцатого ноября, на энском направлении под натиском превосходящих сил противника и в целях выравнивания линии фронта наши войска оставили города...

И почти сразу же следом за этими словами, неожиданно и как-то на удивление не к месту, музыка начинает играть громкий и торжественный марш.

...Под звуки этого марша еще совсем недавно, в дни первомайских праздников и октябрьских годовщин, мы шагали по центральным улицам города, и поднимали над головами плакаты и лозунги, и несли на плечах малышей, и пели задорно и самоуверенно:

Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
А мы тоже не сидели —
Того дожидалися...

...Тихо. Темно.

Хрипловатый голос в темноте задумчиво произносит:

— «А мы тоже не сидели — того дожидалися...». Да-а-а, дожидалися и дождалися!

Чиркает спичка, загорается зыбкий, дрожащий на ветру огонек, плывет снизу вверх, гаснет, и в настороженной тишине внезапно раздается звонкий, неправдоподобно веселый девичий смех.

И снова чиркает спичка.

Резкий окрик:

— Стой! Кто здесь?

Слабый синеватый свет фонарика комендантского патруля освещает тоненькую фигурку девушки в ватнике и шапке-ушанке, с коробкой спичек в руке.

— Комендантский патруль, предъявите документы!

Девушка как-то неопределенно пожимает плечами.

— Документы? Пожалуйста!

Она лезет за пазуху ватника, достает замызганную, давно потерявшую всякий цвет бумажку, протягивает патрульному.

Первый патрульный сержант, прикрывая фонарик полбй шинели, негромко читает вслух:

— «Справка. Дана гражданке Ивашовой Светлане Андреевне, что она с третьего августа сего года находилась на излечении в Новосибирской областной больнице по поводу сыпного тифа и выписана четырнадцатого сентября по ее личной просьбе в удовлетворительном состоянии»!..

Сержант в недоумении смотрит на девушку, морщит курносый нос.

— Ты что же это мне за липу даешь? Документы.

— Других нет.

Патрульные значительно переглядываются.

— Ты почему смеялась? — помолчав, грозно спрашивает сержант.

Светлана молчит.

— Почему смеялась, спрашиваю? — повышает голос сержант и, не дождавшись ответа, горько усмехается: — Не желаешь говорить? Ну ничего, в комендатуре скажешь! Пошли!

Второй патрульный, поправив на груди автомат, легонько ладонью подталкивает Светлану в спину.

— Давай, гражданочка, следуй!..

Шагают по центральным улицам города две пары кирзовых сапог и драные мальчишечьи ботинки с облупленными носками и отстающими подошвами, завязанные вместо шнурков грязными бинтами.

Сержант, косясь на Светлану, говорит презрительно и угрюмо:

— Смеется! Тут народ страдает, эвакуация, женщины с детьми плачут, а она смеется, нахальство какое!..

— И спички жгет! — робко напоминает второй патрульный.

— Точно!

Сержант в порыве негодования даже останавливается.

— Ты зачем спички жгла?

— Название улицы хотела прочесть! — очень спокойно отвечает Светлана.

Патрульные снова переглядываются.

— Сама, говоришь, откуда? — быстро спрашивает сержант.

— Из Владивостока.

— Прямо?! А может, из Берлина? — ехидно щурится сержант. — И давно приехала?

— Час назад. А выехала давно! — вздыхает Светлана. — Еще войны не было. Двадцатого июня выехала, в пятницу... А потом, в пути уже, война началась. Под Читой. А потом чемодан у меня украли. А потом и заболела. Потом поправилась и дальше поехала... Где ехала, где шла... Всяко... Понимаете?

— Нет, гражданка, не понимаю! — строго и недружелюбно говорит сержант. — Очень удивительно, как это вы сумели доехать — больная, без вещей, без денег, без документов?!

И опять вздохнув, спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, Светлана отвечает:

— Надо было доехать — я и доехала!..

В разрыв облаков безмятежно выплывает круглая луна, и почти в ту же секунду взывает сирена воздушной тревоги, взлетают в небо шарящие лучи прожекторов, и женский голос по радио говорит:

— Граждане, воздушная тревога!.. Граждане, воздушная тревога!.. Граждане, воздушная тревога!..

Бомбоубежище.

Оно помещается в тире. Висят на стенах выпиленные из фанеры и лихо размалеванные, такие знакомые и даже чем-то трогательные фигурки: оскаливший зубы капиталист в цилиндре, с золотой цепью на круглом брюхе, седовласый дьякон с кадилом, красноносый пьяница и неопределенного вида человек с крылышками и пояснительной надписью: «Я летун!»

Когда наверху, на воле, ухает особенно близкий разрыв, фигурки разом, точно от прямого попадания снайперской пули, переворачиваются вниз головой, и какая-то худая женщина в темном платке неизвестно для чего, просто, наверное, от любви к порядку, с домовитой неторопливостью водворяет их по очереди на место.

Светлана и второй патрульный сидят у самого выхода

из убежища, возле дверей, на обгоревшем снаряжном ящике.

Очень тихо и доверительно, будто она разговаривает с добрым знакомым, Светлана спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а как мне пройти отсюда на Слободскую улицу?

Патрульный молчит.

Светлана задумчиво оттопыривает губы.

— Нет, вообще-то я примерно представляю себе: надо перейти через мост на ту сторону и затем по автобусной линии до самого конца... Правильно?

Патрульный молчит.

— Игорь мне писал, что их дом самый последний... их домом как бы кончается город... Смешно, верно? Слободская улица, дом тринадцать... А вы как думаете, автобусы еще ходят сейчас?

Патрульный молчит.

— Или уже не ходят?

— Слушай, ты отвяжешься от меня? — не выдерживает наконец патрульный и в отчаянии звонко шлепает себя по голенищу сапога. — Как же я могу давать тебе сведения, когда я вообще, ежели ты желаешь знать, не имею права с тобой разговаривать?!..

С улицы с шумом, с грохотом вваливается в убежище сержант. Становятся отчетливо слышны трескотня зениток и по временам низкие, могучие раскаты бомбовых разрывов.

— За мостом, гад, охотится! — возбужденно сообщает сержант. — Всю цельную неделю за мостом охотится!..

Он крутит головой, озирается, смотрит на Светлану, неодобрительно поджимает губы.

— Ты что ж это, гражданочка, в шапке сидишь?! Неудобно! Тут, понимаешь, дети спят и вообще — население... А ты в шапке!

— А вы сами?!

— Ты себя с товарищем сержантом не равняй! — строго говорит второй патрульный и, наклонившись к Светлане, шепчет ей в самое ухо яростным шепотом:

— Сними шапку, тега, раз начальство приказывает!..

И тогда, усмехнувшись и сузив глаза, Светлана медленно, обеими руками стягивает теплую шапку-ушанку с круглой, детской, наголо обритой головы.

Молчание.

Второй патрульный фыркает, но, увидев ставшие вдруг бешеными глаза сержанта, принимается судорожно и естественно кашлять.

— Товарищи! Тут военные есть?..

В проеме двери, тяжело отдуваясь, в измазанной кирпичной пылью шинели стоит пожилой лейтенант.

Патрульные торопливо подходят к нему, козыряют.

— Идемте!

Сержант, поглядывая на Светлану, что-то негромко говорит лейтенанту.

Лейтенант смотрит, улыбается, пренебрежительно машет рукой.

— Да будет вам, Костромин, что за чушь?! Идемте, идемте!

Лейтенант в сопровождении патрульных уходит. Светлана растерянно смотрит им вслед, вскакивает, нагоняет сержанта.

— А я как же?

— А как хочешь! — говорит на ходу сержант и, понизив почему-то голос, добавляет: — Ты надень шапку-то — застудишься!..

Серый день.

Светлана, сторбившись и нахмурившись, идет через мост. Поднимаются к низкому небу дымь пожара. На свинцовой реке закипают и мгновенно гаснут белые гребешки волн. Ветер гудит в стропилах моста, раскачивает маскировочную сеть, а где-то в отдалении, но и не так уж далеко — глухо и монотонно, и из-за монотонности этой особенно страшно бахают дальнобойные орудия.

Мост кончается.

Светлана проходит несколько шагов по набережной, уставленной бетонными надолбами, сворачивает в какой-то проулок, испуганно отщатывается от плеснувшего ей внезапно в лицо гама, свиста, плача, хохота и уже через мгновение, помимо собственной воли, оказывается втянутой в невероятнейшую, густую, как каша, людскую толчею.

...Здесь под открытым небом на небольшом сравнительно пространстве, огороженном двумя рядами дощатых барачков и в просторечии именуемом «Симеоновой лужей», вьется, кипит, ходит ходуном военной поры вещевого рынок или, говоря точнее, барахолка.

...Вот какой-то мальчуган раскрыл перед румяной бабицей толстый плюшевый альбом с пожелтевшими чужими семейными фотографиями.

— Это кто ж такой будет, с усами?

— Дедушка!

— А чего он такой сердитый?

— Он помер.

— А, ну тогда, конечно, веселого мало! Сколько хочешь за всю компанию?

— Полста.

— А как отдашь? Ты настоящую говори цену, я бы взяла для мальчонки, пушай полюбуется, как люди жили!..

...Вот какой-то невысокий мужчина с заплаканными глазами вытащил из бумажного пакета теплое зимнее пальто, и вокруг него немедленно закружился бешеный водоворот, замелькали руки, азартно заботились и заспорили перекупщики, кого-то, воспользовавшись случаем, съездили по уху, заскорюзлые пальцы полезли в потные глубины тайников за смятыми заветными сторублевками.

...Светлана, стиснув зубы, отчаянно пробирается сквозь толпу и вдруг останавливается.

Привалившись спиной к стене барака, в легоньком не по сезону пыльнике с оторванными пуговицами стоит молодая женщина — одних примерно со Светланой лет — и держит в руках белое вечернее платье.

Оно по-настоящему красиво, без оборочек и финтифлюшек, скромное, строгое и вместе с тем необыкновенно нарядное платье. Для какого торжественного случая шито было оно? Для свадьбы? Для встречи Нового года? Для выпускного студенческого бала? И довелось ли его хозяйке хоть раз надеть это платье, кто знает?!

Молодая женщина молча смотрит на Светлану.

Светлана молча смотрит на платье.

Вокруг них кипит и кружится барахолка, кричит, кланется, ссорится, спорит, а они стоят друг против друга, две молодые женщины, очень разные и в чем-то неуловимо похожие, словно отделенные от всей этой копеечной суеты какими-то своими, им одним понятными воспоминаниями.

Светлана разводит руками и печально улыбается.

Молодая женщина вопросительно сдвигает брови.

И тогда с внезапной, отчаянной решимостью Светлана достает из-за пазухи буханку черного хлеба, разламывает ее на две половины, снимает с себя ватник и, по-прежнему ни слова не говоря, протягивает все это молодой женщине.

А молодая женщина протягивает Светлане белое вечернее платье.

И еще раз грустно улыбнувшись, так и не сказав друг другу ни единого слова, они навсегда расходятся в разные стороны и уже через секунду теряются в людской толчее — две маленькие одинокие фигурки в галдящем водовороте рынка.

Слободская улица, дом номер тринадцать.

Этим двухэтажным, сложенным из грубого красного кирпича приземистым домом действительно как бы кончается город.

Дом стоит на возвышении, точно сторожевой пост. Уже много лет встречает он мужественно, грудью, все бури и непогоды, и местные жители недаром прозвали его «На семи ветрах».

Сразу же за невысокой оградой, сделав вокруг дома крутую петлю с северо-востока на запад, бетонированное шоссе устремляется вперед — через поле, изрытое буграми и оврагами, через оловянные озера к дальнему лесу, темнеющему на горизонте.

Светлана медленно, перекинув через руку белое платье и зябко поеживаясь, проходит двором, останавливается возле могучей старой березы, проводит рукой, точно здороваясь, по зарубкам — пронзенным сердцам и метам на коре, — потом поднимается по ступенькам кирпичного крыльца, толкает парадную дверь, над которой висит непонятно к кому обращенная надпись «Добро пожаловать!», переступает через порог, и разыгравшийся ветер швыряет ей вслед, в спину, в темноту парадного вороха бумаги, тряпок и облетевший осенней листвы...

Лестничная площадка на втором жилом этаже.

Светлана стоит перед дверью, обитой черной клеенкой, и внимательно изучает маленькую табличку, на которой тушью четко выведено: «И. Корнеев — один звонок».

Светлана, улыбнувшись, дергает за ручку звонка. Дребезжит колокольчик — три коротких звонка и один длинный, три коротких и один длинный.

Тишина.

«М. П. Епифанцев — два звонка».

Светлана звонит два раза.

Тишина. Никто не откликается.

Светлана звонит три раза, четыре раза, пять раз и наконец просто берет за ручку двери, чуть отжимает ее книзу. Незапертая дверь послушно распаивается, открывая длинный, кажущийся бесконечным полутемный коридор.

По обе стороны коридора — двери в комнаты, и двери эти сейчас тоже не заперты. Из них, как из распоротых перин, с наивным бесстыдством вываливаются в коридор дражные простыни и грязное белье, сношенная обувь и поломанные детские игрушки, и какие-то баулы и плетенки, и бу-

маги, бумаги, целые горы бумаги всяческого рода и назначения, и снова белье, стулья, стульчики — весь тот домашний хлам, что накапливается годами и даже бывает чем-то мил сердцу своих владельцев и вдруг сразу становится ненавистен в минуту бегства и смертельной опасности.

И только на одной-единственной двери, в самом конце коридора, висит аккуратный замок и прищиплена кнопкой записка:

«Сегодня, десятого августа, опять плохая сводка. Пошел исправлять. Если кому надо — мой ключ у Готлибов, это в шестой комнате, напротив. Подождите меня. Возьму Берлин и вернусь! Игорь...»

Светлана дважды перечитывает записку, смотрит на распахнутую дверь шестой комнаты, где царит все тот же хаос и нет никаких Готлибов, улыбается, вскидывает голову и с деланной бодростью громко говорит:

— Ну, ладно уж, Игорь, ладно, я тебя подожду!

Комната Готлибов. Ранний вечер.

Уже вымыт пол, застелена постель, заклеено бумагой окно.

Светлана с усталой и довольной улыбкой вешает в шкаф свое новое вечернее платье, тщательно расправляет его на самодельных плечиках, включает найденную среди мусора электрическую плитку и со смешным любопытством наблюдает за тем, как накаляются и становятся красными тонкие витки спирали.

Светлана стоит во дворе у колодезной колонки и по-хозяйски запасливо набирает воду в ведра, в ковшик, в кастрюлю, в чайник.

Красноватое солнце опускается за верхушки дальнего леса. Утих ветер, посинела река.

Автомобильный гудок.

У края дороги, выплеснув на обочину жидкую грязь, останавливается открытая машина. Какой-то кругленький штатский человек спрыгивает на землю и, размахивая толстенным портфелем, не глядя на Светлану, бежит к дому. Высокий военный, оставшийся в машине, улыбается Светлане, окликает мягким тенорком:

— Хозяюшка, водицей не угостите?

Светлана набирает в ковшик прозрачной воды, подходит к машине, подает ковшик военному.

— А почему это у вас написано «Добро пожаловать»?

— Это кому же «Добро пожаловать»? Немцам, что ли?! — раздается скрипучий, неприязненный голос, и Светлана только теперь замечает, что рядом с военным сидит, откинувшись на кожаное сиденье, еще один штатский — человек лет сорока, седой, с загорелым лицом, на котором странно выделяются прозрачные, точно выцветшие, светло-голубые шалые глаза.

— Здесь клуб внизу. И почта. И сберкасса. Вот и написали! — объясняет Светлана.

Но седой человек, не слушая ее и глядя куда-то вверх, в небо, задумчиво усмехается:

— У нас очень любят вешать две надписи: «Добро пожаловать» и «Посторонним вход воспрещен». Почему это, товарищ командарм?

— Для порядка, Иван Николаевич! — миролюбиво отвечает военный, не отрывая губ от ковшика.

— Для порядка?! — насмешливо и протяжно переспрашивает седой человек. — Не знаю, не знаю... В мире на сотнях тысяч дверей написаны эти слова: «Посторонним вход запрещен». А много ли порядка? — Он внезапно резко поворачивается к Светлане. — Ты чего на меня, красotka, уставилась?

Светлана, рассердившись, отводит глаза.

— А я и не уставилась, очень нужно!

— Вот и напрасно! — вдруг весело, вне всякой логики говорит седой. — Ты гляди на меня и запоминай! Таких, как я, может, и нет больше, единственный в своем роде! Верно, товарищ командарм?

— Я не командарм, Иван Николаевич, — улыбаясь, как улыбаются, сдерживая ярость, капризному ребенку, говорит военный. — Я всего лишь комдив, неужто вы никак не можете это запомнить?

— Запомню! — кивает седой. — Непременно запомню. Потом! После. Когда голова не будет занята ничем другим, — он стискивает зубы. — А все эти дни и ночи я должен был думать о том, как это сделать. Сегодня в двадцать ноль-ноль. И как это сделать быстрее и лучше. И как это сделать так, чтобы ничего нельзя было исправить. И как сделать так, чтобы все-таки можно было исправить, когда нам понадобится... Видите, как много было всего, о чем мне приходилось думать? Почему вы так много пьете?

— Я ел селедку.

Седой человек всплескивает руками в порыве неудержимого веселья.

— Дивно, дивно! За что я люблю военных, так это за умение мыслить прямыми связями. Хочу пить, потому что ел селедку. Отступаю, потому что слабее. Наступаю, потому что сильнее...

Толстенький человек в кожаной куртке, отдуваясь и пыхтя, выбегает из дома.

— Ну, что там, Лаврентьев? — сердито окликает его военный. — Ехать пора!

— Ни черта не выходит! Такой, понимаете, сатанинский несгораемый шкаф — его и вдесятером с места не сдвинешь.

— А ключа у вас нет?

— Ключи есть, а мешков нет. А ведь там сумма!

Он смотрит на Светлану, расставив ноги и наклонив голову, будто собирается боднуть, отрывисто, строго спрашивает:

— Здешняя? Как фамилия?

— Ивашова.

Военный постукивает пальцем по часам.

— Время, товарищ Лаврентьев.

— Держи ключи, Ивашова! — отчаянно говорит Лаврентьев. — Под твою ответственность. С тебя спрошу, учти. Я тебя хоть под землей разыщу! У меня глаз вострый! Приедет грузовик, предъявит тебе записку от меня лично, от товарища Лаврентьева, ну, тогда и сейф и ключ отдай. А без моей записки никому ни-ни... Усвоила? Лаврентьев моя фамилия, усвоила?

— Усвоила.

Лаврентьев с ног до головы оглядывает Светлану, с сомнением качает головой и, тяжело вздохнув, лезет в машину.

— Поехали!

Военный вежливо улыбается Светлане.

— Спасибо за ковшик!

Седой человек приветственным жестом поднимает руку.

— Прощайте, красавица! Боюсь, что вы еще вспомните обо мне! Вернее, услышите. И не далее как сегодня! И не позднее, чем в двадцать ноль-ноль!

Вечер.

Светлана лежит на постели в комнате Готлибов, закинув руки за голову, о чем-то думает, хмурится, улыбается.

Уютно поет на электрической плитке закипающий чайник. Горит лампочка. Тикают часы-будильник. Стрелки приближаются к восьми вечера. Неожиданно свет почти гаснет. Светлана поднимает глаза к потолку. Проходит несколько

мгновений, и лампочка загорается с прежней силой, даже еще ярче. И снова начинает медленно гаснуть. И снова разгорается.

Тикают часы.

Светлана смотрит — ровно восемь.

Лампочка, разгоревшись и мигнув в последний раз, гаснет.

И в ту же секунду по земле, по небу, по воде прокатывается могучий, оглушительный, ни с чем не сравнимый взрыв, как воющий вопль, усиленный эхом земли, неба, воды, повторенный стократ всеми голосами и подголосками, всем живым и мертвым.

И вот тогда уже действительно наступает полная, крошечная темнота.

И тишина. И в этой тишине вдруг становится отчетливо слышно, как бахают дальнобойные орудия и как вновь поднявшийся ветер громыхает железом на крыше и пытается сорвать с окна неплотно пригнанный ставень.

Глава вторая

Диктор по радио говорит:

— Сегодня, пятнадцатого декабря, на энском направлении под давлением превосходящих сил противника наши войска оставили населенные пункты Маслолку, Воробьево, Кыз, Стрепетово и отступили с боями на заранее подготовленные позиции...

Мимо дома «На семи ветрах» по грязновато-серому скрипучему декабрьскому снегу медленно движется по направлению к городу бесконечный поток: искалеченные тягачи тащат разбитые орудия; переваливаются через сугробы покореженные и смятые, словно старые консервные банки, опаленные в боях бронетранспортеры; инвалиды-грузовики с откинутыми бортами провозят инвалидов-солдат, и солдаты в бинтах и лубках, в обожженных шинелях, свесив ноги и болезненно помаргивая, крикливыми голосами поют, и, как это ни странно, довольно весело:

На горе-то калина,
На горе-то малина,
Калина-малина-калина,
Чубарики-чубчики калина!..

А им навстречу новенькие тягачи тащат новенькие зачехленные орудия; сурово припечатывают снег бронетранс-

портеры и легкие танки; едут на грузовиках солдаты с переформировки, из госпиталей, новички, резерв, пополнение. Им уже успели выдать зимнее обмундирование: полушубки, валенки, теплые шапки.

И теперь они сидят в грузовиках, неуклюжие, суровые, степенные, молчаливые. Хмурятся. Держат на коленях автоматы. Поглядывают на небо. И не поют.

Только изредка кто-нибудь с наигранным безразличием кликает сидящих во встречной машине и задает все один и тот же неопределенный и вместе с тем хорошо понятный вопрос:

— Ну как он там?

И в ответ — с коротким смешком:

— Фриц-то? А ничего, дает прикурить!

Светлана стоит на крыльце. Она в своей неизменной шапке-ушанке, в какой-то немислимой, прабабкиной бархатной кацавейке, в стареньких, но аккуратно подшитых валенках, в пестром шарфике, — бог весть где она сумела все это раздобыть!

Скрестив на груди изябшие руки, она стоит и молча, неотрывно смотрит на дорогу, на серый снег, на проезжающие мимо грузовики, на хмурые лица солдат.

...Пусть стоит она всегда где-нибудь на краю дороги, на одном из тысяч перекрестков, над которым гремела и кружила война, пусть стоит одинокая женская фигура — памятник нашим женам, матерям и невестам! И не надо бы ей никаких постаментов, никаких мраморных или, того пуще, чугунных подножий, никаких символических венков, никакой героической позы... Ничего это не надо! Пусть она просто стоит, эта женщина, и смотрит на дорогу, скрестив на груди изябшие рабочие руки. Пусть она стоит, как стояла в те ужасные дни. Провожает ли она? Ждет ли? Все равно! Пусть она стоит как памятник и напоминание. Она заслужила это скорбное право!..

...Две легковые машины — «эмка» и «виллис» — и четыре больших крытых грузовика выворачивают в сторону из общего потока машин, идущих к городу. Съезжают с дороги и останавливаются перед домом «На семи ветрах».

Из «виллиса» выходят двое: пожилой, сухонький, маленького роста, с белесыми бровями и очень желтым большим лицом полковник Петерсон и высокий, широкоплечий капитан Зубарев, полноватый, с румянцем во всю щеку. Полковник остается у машины, а Зубарев подходит ближе, не спеша, внимательно оглядывает дом, встречается глазами со Светланой.

— Здравствуйте! — очень важно говорит Светлана. Зубарев кивает головой и, оттопырив губы, играя бровями и чуть пришепётывая, спрашивает:

— Чье хозяйство?

Светлана, не понимая, растерянно улыбается.

— Кем занят дом? — как-то сразу и неизвестно почему раздражаясь, продолжает допытываться Зубарев. — Ну? Кто здесь стоит?

— Никто.

— Ага! Ну-ка, пройдемте!

Первый этаж.

Не разговаривая и даже не глядя друг на друга, Светлана и Зубарев проходят наискосок полутемное клубное фойе, останавливаются в дверях зрительного зала.

На пустой сцене с оборванным бархатным занавесом почти у самой рампы стоит бутафорское кресло с позолоченными подлокотниками и гнутыми ножками; висит задник, изображающий украинскую хатку в окружении неправдоподобно больших подсолнухов и неправдоподобно красных маков.

— Клуб? — не то утверждая, не то спрашивая, отрывисто произносит Зубарев.

— Клуб! — кивает Светлана.

— Понятно, пошли дальше!

И опять в молчании Светлана и Зубарев пересекают полутемное фойе и проходят через площадку в помещение сберкасс и почты.

Посредине небольшой комнаты, перегородженной на две половины деревянным барьерчиком, стоит старинный, огромный, как дом, несгораемый сейф. Видно, что его пытались вытащить на улицу, но не смогли или не успели, а теперь он стоит, загораживая проходы и выходы, сияя никелированными ручками, загадочным секретным замком и надраенной медной дощечкой с надписью: «Страховое общество «Россия».

— Сберкасса? — спрашивает капитан.

— Сберкасса! — подтверждает Светлана.

По скрипучим ступеням Зубарев и Светлана поднимаются вверх, во второй этаж.

— А здесь что было?

— Здесь люди жили.

Зубарев почему-то усмехается:

— Ах люди?! Гражданское население! Где же они? Эвакуировались?

— Уехали!

— А вы? — небрежно осведомляется Зубарев.

— А я приехала.

— Понятно.

Зубарев, покачивая головой, идет по коридору, заглядывает в комнаты, останавливается у той единственной запертой двери, дергает ее несколько раз, внимательно изучает табличку, на которой обозначено имя хозяина, читает вслух:

— «И. Корнеев»!

Он оборачивается к Светлане.

— А почему гражданин Корнеев заперся?

— Он не заперся, он на фронте!

— Ах на фронте?!

Зубарев снова усмежается, шагает к приоткрытым дверям комнаты номер шесть, удивленно поднимает брови, снова внимательно изучает табличку с именем хозяев, снова читает вслух:

— «М. Готлиб».

И вдруг, глядя в упор на Светлану, Зубарев спрашивает быстро и резко:

— А здесь кто живет?

— Я.

— Одна живете?

— Одна.

— Понятно.

Зубарев поворачивается к Светлане спиной и уже на ходу, все с той же странной усмешкой бросает через плечо:

— Что же, спасибо, гражданка Готлиб, мне все понятно!

...Посасывая пустую трубку, щуря маленькие, под белесыми бровями, колючие серые глаза, молча стоит у машины полковник Вольдемар Янович Петерсон — ответственный редактор армейской газеты «Вперед».

Он стоит неподвижно, спиной к дороге и лицом к дому. Но он не смотрит на дом и не оглядывается на дорогу. Он только слушает, как скрипит снег под колесами машины, как ворчат и ухают грузовики, как у моста, на переправе, ругаются регулировщики и поют солдаты:

Там девица гуляла,
Цветы калины ломала,
Ломала, ломала, ломала,
Чубарики-чубчики ломала!

— Товарищ полковник, разрешите доложить?! Дом пустой и вполне пригодный! Прикажете разгружаться?

Полковник, точно вопрос этот обращен не к нему, кивает

головой в сторону дороги, поднимает руку с растопыренными сухими пальцами, медленно говорит:

— Слышите?! Все отступаем, капитан, все отступаем! Туда едем — молчим, оттуда едем — поем! — Он усмехается. — Вот и извольте-ка для армии, которая от самой границы отступает на восток, назад, делать газету, которая называется «Вперед»! Нелегкая задача, капитан, а?!

Зубарев изображает на лице сочувственную улыбку и с нажимом повторяет вопрос:

— Так как же будет, Вольдемар Янович? Прикажете разгружаться?

Полковник, помолчав, машет рукой.

— Да-да, конечно! Распорядитесь, Зубарев!..

Вот так в хмурый декабрьский день, после очередного отступления и перегруппировки тылов, въезжает в дом номер тринадцать по Слободской улице, в дом «На семи ветрах», редакция армейской газеты «Вперед», или, как значится на стрелке, которую приколачивают связисты к дорожному столбу: «Хозяйство полковника Петерсона».

Поздний вечер.

Комната Готлибов, которую делят теперь вместе со Светланой хорошенькая редакционная машинистка ефрейтор Зиновья и старший лейтенант Долли Максимовна Петрова — корректор.

Тарахтит во дворе движок, стучит пишущая машинка, помаргивает лампочка, в коридоре слышны голоса и шаги, внизу, в клубном зале, кто-то наигрывает одним пальцем на рояле.

Долли Максимовна — худая, горбоносая, похожая на цыганку — сидит на своем топчане, длинными желтыми пальцами небрежно и ловко сворачивает самокрутку, лениво цедит:

— Учитите, девочки, что я очень много курю. И не собираюсь бросать. И не намерена выходить курить в коридор! Так что привыкайте!

— Привыкли уже, слава богу! — говорит Зиновья, сосредоточенно разглядывая свое изображение в осколке зеркала.

Долли Максимовна заклеивает языком самокрутку, закуривает, сбросив сапоги, ложится на топчан поверх одеяла.

— Я имею в виду не вас, Зиновья, вы-то ко всему привыкли!

Зиночка обидчиво поджимает губы.

— На что это вы намекаете, Долли Максимовна?!..

— Ну, я за чаем! — быстро, с откровенным желанием разрядить обстановку говорит Светлана, берет чайник, накидывает на плечи бархатную кацавейку, но в это мгновение без стука распаивается дверь и в комнату входит Зубарев.

— Добрый вечер! Не спите? Как устроились?

Светлана в нерешительности останавливается. Долли Максимовна продолжает курить, и только Зиночка, невольно подражая Зубареву — играя бровями и пришепетывая, — отвечает громко, с военной лихостью:

— Добрый вечер, товарищ капитан! Спасибо, хорошо!

Зубарев кивает головой, улыбается Зиночке, переводит взгляд на застывшую посредине комнаты с чайником в руках Светлану, сдвигает брови.

— А скажите, пожалуйста, гражданка Готлиб, что за фамилия: Готлиб? Еврейская или немецкая?

— Не знаю.

— Как это — не знаете?! Ну вы сами кто?

— Я русская, — отвечает Светлана и, понизив голос, отчеканивая каждое слово, значительно произносит: — И фамилия моя совсем другая! И нахожусь я здесь потому, что... Можете спросить у товарища Лаврентьева, почему я здесь!

— У кого?!

— У товарища Лаврентьева! — повторяет Светлана и показывает Зубареву висящий у нее на шее на шнурке ключ. — Видите? — И, считая разговор на этом исчерпанным, Светлана быстро поворачивается спиной к ошеломленному Зубареву, с независимым видом выходит из комнаты, оглушительно грохает дверью.

Зубарев растерянно смотрит ей вслед, хмыкает:

— Ну-ну!

Помолчав, стараясь не встречаться глазами с Долли Максимовной и Зиночкой, он спрашивает с наигранной веселостью:

— Значит, все в порядке, товарищи? Ничего больше не надо? Никаких желаний не имеется?

— Желания имеются! — отвечает неожиданно Долли Максимовна. — И даже целых три. Как в сказке.

— А именно?

— Хочу, чтоб кончилась поскорее война! Хочу вернуться домой! Хочу, чтоб вы, капитан, покинули нашу комнату! Извините, я уже сплю... Спокойной ночи!

Зубарев с окаменевшим лицом идет к двери, задерживается на пороге.

— А победить, товарищ Петрова, такого желания у вас нет?

Долли Максимовна насмешливо щурится.

— Я верю, что наше дело правое и что победа будет за нами! А вы разве не верите в это?

Зубарев, с трудом сдерживая ярость, сухо говорит:

— Рекомендую вам, лейтенант Петрова, не забывать, что вы служите в армии!

Хлопает дверь.

Долли Максимовна, потянувшись, закидывает руки за голову.

— Господи, какая тоска! Хоть бы уж Славочка Суздалев поскорее вернулся!..

День. Солнце.

Светлана, загребая валенками пушистый, выпавший за ночь снег, с охапкой дров в руках поднимается на крыльцо, входит в сени.

Мимо, едва не сбив ее с ног, пулей пронесится долгоязыый и длинноносый секретарь редакции Лапин, влетает в комнату, где помещались прежде сберкасса и почта и где теперь в сизых клубках махорочного дыма сидят литсотрудники и корректоры, и кричит, потрясая над головой огромными, похожими на портновские ножницами:

— Эй, Гомеры! Срочно нужны факты героизма — на всю полосу, по десять-пятнадцать строчек! Давайте, орлы, быстренько!..

Он стучается плечом со всего размаха об угол несгораемого сейфа, вопит:

— Черт вас возьми! Вы когда-нибудь уберете эту проклятую бандуру?!

И, провожаемый насмешливыми изъяснениями сочувствия, охая и потирая ушибленное плечо, Лапин мчится назад, в клубный зал, догоняет в полутемном фойе Светлану, замедляет шаги, улыбается:

— Светлана Андреевна, голубчик! Говорят, вы не разрешаете трогать сейф! Может, можно его хоть куда-нибудь в угол задвинуть?

— Нельзя, товарищ Лапин! — мягко и вместе с тем чрезвычайно категорически отвечает Светлана. — Ну просто никак нельзя. За ним скоро должны приехать.

Помолчав, она говорит, словно извиняясь:

— А гимнастерку я вашу заштопала и в комнату к вам повесила!

— Спасибо, спасибо, вы добрый гений! Сводку слышали? Замер фриц! Начинается великое стояние. А нашему старику приспичило — подавай факты героизма!..

Зрительный зал.

Выглядит он весьма странно: стулья убраны, сдвинуты к стенам, и посередине зала стоит невероятных размеров самодельный, на козлах стол, за которым воинственно соседствуют заведующие отделами редакции.

За маленьким отдельным столиком стучит на пишущей машинке ефрейтор Зиночка.

А на сцене на фоне украинской хатки и маков с подсолнухами сидит в старинном позолоченном кресле полковник Петерсон и, похлопывая ладонью по краю стола, говорит монотонно, не повышая голоса:

— Мне нужны факты, факты и только факты...

Заведующий отделом информации, толстый, с голубыми навыкате глазами майор Сотник, сокрушенно вздыхает:

— Так ведь затишье у нас, Вольдемар Янович, бои местного значения.

— Чепуха, майор Сотник! — сердито трясет головой Петерсон. — Ну а где материал о разведчиках?

Лапин, машинально пощелкивая ножницами, говорит:

— У разведчиков Суздаев. Вот вернется и...

Петерсон вздергивает острые плечи и усмехается:

— Опять Суздаев. Материала о разведчиках нет — не вернулся Суздаев! Отдел юмора помещает какие-то дурацкие старые анекдоты тоже потому, что не вернулся Суздаев! Так, может, мы все пойдем на передовую, а газету будет делать один Суздаев?!

Телефонный звонок.

Петерсон снимает трубку.

Зубарев грозно рывкает в зал:

— Потихе там!

Перестает стучать пишущая машинка, и Зиночка, воспользовавшись передышкой, немедленно достает из ящика стола зеркальце.

Замирает Светлана, сидящая на корточках возле печки-временки.

— Слушаю! — говорит в телефон полковник и кивает. — Привет!.. Ну, какое же новоселье, когда мы тут целую неделю уже... Так, слушаю!.. — Он придвигает к себе блокнот, что-то записывает. — Знаю его. Молодец Бородин!.. Понимаю, да!.. Послать человека? Конечно, непременно пошлем!..

Кого? — Он насмешливо смотрит на постные лица Сотника, Лапина и Зубарева, фыркает. — Суздаев на задании и еще не вернулся! Мы к Бородину майора Сотника пошлем, ему полезно будет проветриться!.. Есть!

Петерсон опускает трубку на рычаг, поджимает губы и снова насмешливо фыркает:

— Бои местного значения! А вот батальон Бородина в бою местного значения поджег шесть немецких танков! Ну, что шесть, это, возможно, им показалось, но три наверное! Поедете к Бородину, Сотник, и дадите к вечеру информацию! Поняли?

— Слушаю, товарищ полковник!

— Ступайте. — Петерсон кивает Зубареву: — И закройте меня, Юрий Петрович!..

Зубарев задергивает с двух сторон бархатный занавес и вместе с Лапиным и Сотником спускается в зал.

Полковник Петерсон остается на сцене один, отгороженный от всех и вся тяжелым пыльным бархатным занавесом.

Он сидит молча — очень маленький в очень большом позолоченном кресле, — думает о чем-то, посасывает пустую трубку, покачивает головой.

Гудят внизу, в зрительном зале, громкие голоса, звякают ножицы, стучит пишущая машинка.

Лапин, священнодействуя, выклеивает на рояле макет очередного номера. Рядом стоит щеголеватый, весь в молниях, фотокорреспондент Аркадий Киселев и недовольно бубнит:

— Если вам не нужны мои снимки, вы так и скажите! У меня их в «Красной звезде» с руками оторвут!..

— Отстань, Аркаша!..

Трудолюбиво, как дятел, стучит на пишущей машинке ефрейтор Зиночка. Светлана сидит на корточках перед печкой-временкой, греет озябшие руки. Постреливают в печке сырые поленья, пляшут невысокие языки пламени, освещают усталое лицо Светланы с обветренным лбом и полузакрытыми глазами.

Гулко хлопает входная дверь.

Мягкий тенорок произносит нараспев, громко и весело:

— Здравия желаю, товарищи редакция! Насилу вас нашел на новом месте!

— Гаркуша! — радостно кричит Зиночка. — Товарищи, Гаркуша! Здравствуйте, миленький!

Светлана прислушивается, не вставая, не поднимая глаз и не оборачиваясь.

— Министру почт и телеграфа пламенный литератур-

ный привет! — произносит голос Лапина. — Давненько вас не было! С чем пожаловали?

— Ну-ка, ну-ка, выкладывай! — это пыхтит Сотник.

— Спокойно, товарищи, все в порядке! — это, разумеется, говорит Зубарев.

— Вот — прошу.

— Ну-ка, ну-ка, ну-ка!..

...Худенький невысокий солдатик, в нескладной шинели и сапогах бутылками, с удивительно добрым курносым лицом, вручив Зубареву пачку писем, подходит к времянке, опускается на корточки рядом со Светланой.

— Разрешите погреться?

— Пожалуйста.

Солдатик искоса смотрит на Светлану, улыбается.

— А вас я вроде бы раньше не видел! Новенькая? Вольнонаемная?

— Нет, я просто... живу здесь.

Беспрерывно хлопает дверь — это спешат за письмами корректоры, литературные сотрудники, наборщики, печатники.

— Мне есть? — быстро и взволнованно спрашивает Долли Максимовна. — Мне что-нибудь есть?

И снова слышен рассудительный голос Зубарева:

— Товарищи, товарищи, все по порядку! Киселев!

— Да?

— Прошу... Письмо в редакцию... в редакцию... в редакцию газеты «Вперед»... Возьмите, Лапин!.. Майор Сотник!

— Я.

— Держите! Ефрейтор Фомичева!

Звенящий голос Зиновки:

— Ой, от мамы!

— Суздалеву... Суздалеву... Суздалеву... Караул!.. Еще Суздалеву и еще Суздалеву!..

Солдатик с хитрой усмешкой подмигивает Светлане.

— Ох уж и пишут капитану Суздалеву! Пишут и пишут! И все дамочки, между прочим!

— Коновалов!

— В госпитале.

Чей-то угрюмый бас:

— Помер он.

— А мне? — это снова голос Долли Максимовны. — Вы не пропустили меня?

Зубарев вертит в пальцах маленький смятый треугольничек фронтального письма. На конверте размашистым, почему-то знакомым почерком написано: «Слободская улица.

Дом номер тринадцать, комната номер шесть, Готлибам».

И чуть пониже — обратный адрес: «Полевая почта ПШ 0347, Корнеев Игорь...»

— Братцы, братцы, это колоссально! — врывается в общий гул захлебывающийся от смеха голос Лапина. — Очередное послание от неизвестного защитника родины. Просит напечатать новый стих... Сейчас получите огромное художественное наслаждение...

На лице солдатика — почтальона Гаркуши — появляется странное, жалкое, виновато-испуганное выражение. Он снова искоса бросает взгляд на Светлану, ежится и с какой-то растерянной суетливостью принимается запихивать в печку обгоревший березовый чурбачок.

Лапин с глубоким чувством, подвывая, как старый провинциальный трагик, читает:

Ужасная мина мне стукнет в колено,
И кровью горячей уж я изойду,
Но знайте же, фрицы, что, хоть и
калека,

Я все-таки в ваши Берлины приду!
С своим автоматом до рейхстага
дойду я.

И Гитлеру пулю всажу я в живот
За нашу страну, за Сосновку родную,
Где мама моя дорогая живет!..

Хохот.

И почтальон Гаркуша тоже смеется вместе со всеми безжащим тоненьким смехом и все поглядывает на Светлану, точно приглашая ее принять участие в общем веселье.

Но Светлана по-прежнему молчит, хмурится, смотрит не отрываясь на пляшущие языки пламени.

Внезапно над самой ее головой раздается голос Зубарева:

— Так вы утверждаете, что ваша фамилия не Готлиб?

— Нет! — резко, не оборачиваясь, отвечает Светлана.

— А может быть, все-таки Готлиб?

— Нет.

— А где Готлиб?

— Не знаю. Уехали.

— Понятно!

Зубарев швыряет на стол смятый треугольник фронтального письма, берет красный карандаш и крупно надписывает на конверте:

«Адресат выбыл».

Потом, секунду помедлив, он снова принимается разбирать почту.

— Журавлев!

— Здесь!

— Получайте... И пишите ответы, товарищи, не задерживайте!

— Ивашова... Здесь есть Ивашова?

Это спрашивает не Зубарев и не Лапин. И Светлана впервые оборачивается, встает, вопросительно озирается. Зубарев наблюдает за ней с насмешливым любопытством.

— Товарищ Ивашова?!

На авансцене, раздвинув обеими руками бархатный занавес, точно конферансье, объявляющий очередной номер, стоит полковник Петерсон и смотрит вниз, в зал, на Светлану.

— Это вы?

— Да.

Петерсон делает рукой приглашающий жест.

— Прошу. Вас к телефону. Срочно. Из облисполкома.

Светлана стоит у стола полковника Петерсона, прижимает к уху телефонную трубку.

На другом конце провода, растрепанный, похудевший, с перевязанным горлом, кашляет и хрипит Лаврентьев.

— Значит, говоришь, порядок? Ладно, допустим. Теперь слушай, Ивашова... Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Ты меня слушай... Такое дело — завтра утречком, часов с восьми, подежурь, дорогуша, на шоссе, возле моста... Приедет машина... Но там такой, понимаешь, шофер — лопух... Сто раз я ему адрес втолковывал — ни черта он, по-моему, не понял. Так уж ты его встреть — полуторка номер сорок два шестьдесят два, у шофера к тебе от меня записка... Усвоила?

— Усвоила!

— Ну, привет, дорогуша! Бывай здорова!

Светлана опускает телефонную трубку.

Петерсон грустно улыбается.

— Такая тут сейчас в городе неразбериха: и гражданские власти, и военные... и у всех дела, и все командуют... Вас зовут Светлана Андреевна?

— Да.

Петерсон пододвигает Светлане табурет.

— Садитесь, Светлана Андреевна.

Светлана, настороженно взглянув на полковника, садится, устало кладет руки на колени.

— Видите ли,— помолчав, мягко говорит Петерсон,— я хотел бы задать вам один нескромный вопрос: что вы едите? Светлана, растерявшись, смущенно пожимает плечами.

— Как — что ем? Ну, что все...

— Нет, это неправда! Все получают военное довольствие. Паек. А вы стираете, топите печи, убираете, носите воду, дрова — я вижу, вижу — и не получаете ничего... Карточки у вас есть?

— Карточек нет, но...

Петерсон усмеяется, кивает Светлане головой.

— Ладно, ступайте! И попросите ко мне капитана Зубарева!

Светлана, не двигаясь, поднимает глаза на Петерсона, тихо говорит:

— Не надо, товарищ полковник!

Молчание.

Внизу, в зале, все продолжается перекличка:

— Жучков!

— Здесь.

— Держите.

— А мне? Нет, вы, наверное, пропустили меня...

— Ну, ладно, Светлана Андреевна, ступайте! — сухо и строго говорит Петерсон.

Ночь.

Гуляет за окнами ночная метель — сечет по дребезжащим стеклам колючим снегом, громыхает жестью на крыше.

На кухне тускло помаргивает коптилка.

Светлана, склонившись над деревянным корытом, прополаскивает белье. Часть белья, уже постиранная, сохнет на длинной веревке, протянутой через всю комнату.

На колченогом кухонном столе на газетной бумаге лежат полбуханки черного хлеба, банка консервов, несколько кусков сахара, и Светлана, выполаскивая и выкручивая белье, нет-нет да и поглядит с довольной улыбкой на все это неслыханное богатство.

В коридоре раздаются осторожные шаги, дверь приотворяется, и входит Долли Максимовна с вечной самокруткой в зубах.

— Доброй ночи! Можно? Не помешаю?

— Не спится, Долли Максимовна?

— Не спится, голубчик!

Долли Максимовна, сгорбившись, садится на лавку у кухонного стола, прислушивается к вою ветра за окном, тихо говорит:

— Метель. Настоящая рождественская метель! — Она

смотрит исподлобья на Светлану, неожиданно спрашивает: — Вы верите в бога, Светлана?

Светлана, продолжая возиться с бельем, молча отрицательно качает головой.

— А я хотела бы верить. Иногда. Сегодня ночью, например! Посудите сами, ну кому, кроме бога, могу я молиться о том, чтобы мой муж и сын там, в Ленинграде, в блокаде и голоде, остались живы?! Не молиться же Верховному командованию или ЦК! У них хватает забот!

— А у бога? — спрашивает Светлана.

— А у бога других забот нет! — твердо говорит Долли Максимовна.

Гудит ветер.

Светлана, отжав белье, принимается развешивать его на веревке.

Долли Максимовна, обжигая пальцы, докуривает самокрутку, гасит ее и тут же немедленно начинает сворачивать новую.

— Скажите, Долли Максимовна, — раздается из-за белья негромкий голос Светланы. — Я все хотела вас спросить... Вот если человек в мирное время был геологом, то кем он должен быть в армии, как вы думаете?

Долли Максимовна пожимает плечами.

— Трудно сказать, скорее всего, пожалуй, сапером.

Вьюга на улице взывает как-то по-особенному протяжно и дико.

— Ой-ой-ой! — ежится Долли Максимовна. — Вы рассказывали, Светик, помните, что этот дом местные жители называют «Дом на семи ветрах»! — Она снова закуривает. — Вот уж воистину — на семи ветрах!

Светлана, вынырнув из-под белья, снимает с табуреток пустое корыто, ставит его на пол, берет тряпку.

— Хватит, Светик, хватит! — говорит Долли Максимовна. — На вас лица нет!

Светлана, опустившись на колени, тщательно вытирает пол, что-то бормочет, поднимается, ополаскивает руки, сливает воду из корыта в раковину, и огромная таинственная Светлана тень в зимней шапке с торчащим матерчатым ухом, то исчезая, то вновь появляясь, кружит по холодной стене.

— Ну хватит наконец! — сердится Долли Максимовна.

Светлана швыряет тряпку куда-то в угол, садится на скамейку у стола рядом с Долли Максимовной, откидывает голову, замуривает глаза и произносит на выдохе с блаженной улыбкой:

— Все, Долли Максимовна! На сегодня все!..

Помаргивает коптилка, тянется к потолку тонкая струйка дыма от самокрутки, мерно поскрипывает маятник часов.

— Какое нынче было число? — спрашивает неожиданно Долли Максимовна.

— Двадцать шестое.

Долли Максимовна кладет руку Светлане на плечо.

— Вот и Новый год скоро! Новый! Новый! Новый год! — произносит она нараспев. — Прошлый год мы встречали с мужем в Парголове, у друзей. Подбросили сына соседке, а сами уехали в Парголово. Очень весело было, очень!

— А я никогда не встречала Новый год! — тихо, не двигаясь, говорит Светлана.

— Ну, не может быть!

Светлана, оттопырив губы, качает головой.

— Правда-правда. В компании никогда. Только дома — с мамой, с бабушкой. Мама у меня больная, бабушка совсем старенькая, не бросать же их... А папа под Новый год всегда за кого-нибудь дежурил в больнице... Так вот и получалось!.. Светлана печально усмехается.

— Ужасно я подружкам своим завидовала, просто ужасно! Забежишь к ним на минуточку, а у них только и разговоров: кто куда приглашен, да кто с кем, да какое платье новое сшили, да на какой день в парикмахерской очередь заняли... Смешная была жизнь до войны!

— Всякая была жизнь! — медленно говорит Долли Максимовна и, негромко всхлипнув, сердито трет кулаком глаза.

Бьют часы — два часа ночи.

Воет и злится за окнами на улице неугомонная декабрьская метель.

С отвратительным ревом пикирует на мост желтобрюхий, с черными крестами на крыльях немецкий бомбардировщик. Трассирующая пулеметная очередь прошивает дорогу — взлетают к небу сизые фонтанчики снега.

Глухие бомбовые разрывы.

— Мимо! — кричит тонкий срывающийся голос. — Мимо!

Бомбы действительно, не задев моста, падают в реку, и черная вода с грохотом и шипением стремительно заливают взорванный лед.

— Улетел! — радостно восклицает Светлана, вскакивает и снова валится обратно в снег — это кто-то лежавший рядом с силой дернул ее за ногу.

— Спятила! Ложись!

— Так ведь улетел же! — говорит Светлана, прислушиваясь к затихающему гудению самолета.

— Не улетел, бестолочь, а разворачивается.

Сивоусый пожилой солдат, чуть приподнявшись на локте, заглядывает Светлане в лицо.

— Э-эх, деревня! В первый раз бомбят, что ли?

Все отчетливее, все ближе гул самолета. По льду реки, по снежной равнине, залитой ярким солнцем, проплывает зловещая распластанная тень. Гул мотора нарастает, переходит в оглушительный рев.

— Звук у него, у подлеца, отвратительный! — морщится сивоусый и грозит Светлане кулаком. — Прижмись! Прижмись, дуреха, маскируйся на местности.

— Что вы ругаетесь? — обиженно ворчит Светлана.

И опять на мост, на дорогу, на скопление машин, застрявших у въезда на мост, обрушиваются глухие бомбовые удары, щелкают пулеметные очереди, грохочет взорванный лед, мерзко шипит вода.

И опять тонкий срывающийся голос кричит:

— Мимо!

Затихает в отдалении гул самолета.

Светлана скашивает глаза на сивоусого.

— А теперь улетел?

Сивоусый, отряхивая снег, садится.

— Сейчас прилетит, не прыгай! Последний заход делает. Я уж ихнюю повадочку как «Отче наш» изучил.

— А вы кто?!

Сивоусый яростно растирает рукавицей побелевшее лицо, хитро подмигивает Светлане.

— Самый главный военный человек! Рядовой, чуешь?!

— Пехота?

— «Пе-ехота»! — передразнивает сивоусый и присанивается. — Сапер!

— Ой, правда?

Светлана по краю кювета переползает поближе к сивоусому.

— Вы тоже сапер?

— Что значит — тоже? А еще кто?

— Один... один мой знакомый... Корнеев Игорь! Он... Я, правда, точно не знаю, но думаю, что он сапер.

— Пишет?

— Нет, не пишет.

— Ну, ничего, напишет! — с глубокой убежденностью говорит сивоусый. — Ты не тревожься! Мы когда отступаем, так у нас, у саперов, жизнь — лучше не надо! Вполне хо-

рошая жизнь! Ставь себе минку да чини переправы — только и делов! А вот когда мы наступать будем, тогда, конечно, держись! Как звать-то твоего, говоришь?

— Корнеев Игорь.

— Корнеев?! — с непередаваемой интонацией, так, словно он услышал имя родного брата, произносит сивоусый. — Рыжий?

— Нет, он брюнет.

— Ну, правильно — чернявый... Молодой?

— Молодой.

— Игорем звать, верно?

— Да.

— Ну, знаю я его, знаю! — смеется сивоусый и машет рукой. — Слышал. Толковый парень.

Светлана, недоверчиво округлив глаза, смотрит в упор на сивоусого.

— Знаете? Правда, знаете? А где он?

На дороге неподалеку тонкий голос протяжно кричит: — Воздух!

— Где он, скажите! Пожалуйста!..

Сивоусый тычет Светлану в плечо.

— Хоронись!..

Светлана сползает в кювет.

Рев пикирующего бомбардировщика. Пулеметные очереди. Глухие бомбовые удары. Вспыхивает подожженный грузовик, и жаркое невысокое пламя в одно мгновение перекидывается на другие стоявшие рядом машины. С ноющим звоном оседают задетые разрывом фугаски стропила моста. Рев самолета становится тише.

— Отбой.

И сразу же по всему снежному полю из дорожных кюветов и неглубоких овражков поднимаются сотни людей и бегут, чертыхаясь и отряхиваясь, к мосту, к горящим машинам.

Светлана садится, оглядывается на сивоусого.

— Где он, скажите!.. Ну скажите же!

Но сивоусый солдат молчит.

Он неподвижно лежит на спине, раскинув руки, и в синих, уже остекленевших глазах отражается синее прозрачное небо.

Светлана возвращается домой. Она медленно поднимается на второй этаж, толкает входную дверь, и вдруг, едва не вскрикнув, замирает, потрясенная, на пороге.

В коридоре тихо, темно; все сотрудники редакции еще

на работе. Двери в жилые комнаты притворены, и только одна дверь, именно та, что всегда все эти дни была на запоре, именно эта дверь сейчас приоткрыта, и из нее на пол коридора падает неяркая косая полоска света.

Вскинув руки, почти в беспамятстве, Светлана бежит к этой двери.

— Игорь?!..

В маленькой комнате тишина.

Тикают часы. Горит настольная лампа, освещающая заставленную книгами книжную полку, большой портрет Чехова над столом, лыжи и альпинистское снаряжение в углу, кровать и на кровати, под шинелью, фигуру безмятежно спящего человека.

— Игорь! — шепотом повторяет Светлана, прислоняется к притолоке двери, смотрит не отрываясь на спящего. — Господи, когда ж ты вернулся, Игорь?!..

Тишина. Спящий, почмокав губами, глубже зарывается головой в подушку.

Светлана — она ведь еще ни разу не была в этой комнате — с интересом и волнением осматривается. На письменном столе, прислоненная к куску породы, стоит чья-то фотография. Светлана осторожно, на носках, чтобы не потревожить спящего, подходит к столу, берет фотографию, разглядывает ее, улыбается — это она сама, Светлана, но только не в шапке-ушанке, не в прабабкиной кацавейке и стареньких валенках, а в светлом летнем платье, с растрепанной головой, с прищуренными от ветра счастливыми глазами.

— Ну-с, встретили вы машину товарища Лаврентьева?..

Светлана, выронив фотографию, испуганно оборачивается.

Незнакомый человек, заспанный и небритый, хитровато посмеиваясь, сидит на кровати и смотрит на Светлану.

— Не удивляйтесь, я все про вас знаю! Это моя специальность — все про всех знать! Вас зовут Светлана, верно?

— Да! — в полной растерянности, тихо отвечает Светлана.

Незнакомый человек натягивает сапоги, встает, щелкает каблуками.

— А моя фамилия Суздалев, честь имею представиться! Не сердитесь, что я самовольно, так сказать, захватил этот населенный пункт. Подергал замок, а он возьми да и отскочи... А то ерунда получается — все комнаты заняты, мне, бедному, даже голову некуда приклонить! Не сердитесь?

— Нет.

— Вот и отлично!

Суздаев расправляет под ремнем гимнастерку.

— А как дела с машиной товарища Лаврентьева? Капитан Зубарев очень тревожился, встретили вы ее или не встретили?

— Не встретила! — все еще в состоянии крайней растерянности отвечает Светлана. — Я ее ждала, ждала на шоссе. А она не пришла, может, в бомбежку попала, может, еще что случилось!

— Бывает!..

Суздаев поднимает с полу тяжелый, чем-то туго набитый вещевой мешок, взваливает его на плечи, дружески подмигивает Светлане.

— Слушайте, давайте-ка устроим для наших старичков детскую елку? А?! В программе: песни, хороводы и раздача подарков!

Он шикарным жестом протягивает Светлане руку.

— Вашу руку, Снегурочка!

Суздаев, довольный, сидит в зрительном зале на редакционном столе, болтает ногами, дымит черной сигарой.

Вокруг толпятся весело возбужденные сотрудники редакции — благодарят, ахают, восхищаются.

— «Мартель»! — разглядывает Лапин этикетку на пузатой бутылке. — Черт побери, настоящий «Мартель»! Где ты его достал?

— В военторге.

— Ну, не ври, Славка, не ври! Откуда в военторге французский коньяк?

— Секретный фонд! — невозмутимо, посмеиваясь глазами, говорит Суздаев. — Для поощрения особо выдающихся личностей. Можешь спросить у военторговской Клавоочки!..

— Ну, не ври, Славка! Я был у нее третьего дня, и она...

Суздаев презрительно перебивает:

— Я сказал: для особо выдающихся личностей! А ты кто такой? Интеллигентик несчастный!

— И шоколад бельгийский тоже из военторга? — спрашивает Долли Максимовна.

— Разумеется...

— И духи? — спрашивает Зиночка.

— И духи...

— Вы самый отъявленный лгун, капитан Суздаев! — величественно заявляет Долли Максимовна и, распечатав плитку шоколада, пускает ее по рукам.

Суздаев прыгивает на пол, встряхивает опустошенным вещевым мешком.

— Все, братцы! Остался только трубочный табак — для старика... Где Петерсон?

— На сцене.

Суздалев поправляет гимнастерку, приглаживает волосы — собирается идти на сцену, но его останавливает Зубарев.

— Минутку, капитан!

Зубарев торжественно выходит на середину зала, поднимает руку.

— Товарищи, прошу внимания! Я, конечно, не равняю себя с капитаном Суздалевым...

— Какая скромность! — фыркает Долли Максимовна.

Зубарев, бросив на Долли Максимовну уничтожающий взгляд, продолжает:

— Но и я, товарищи, тоже имею сообщить вам кое-что приятное! Есть такое решение — тридцать первого декабря для сотрудников редакции устроить товарищеский ужин и встречу Нового года...

Зиночка хлопает в ладоши.

— Ой, как хорошо-то!

Зубарев снисходительно улыбается.

— Сейчас я раздам приглашительные билеты...

Он вытаскивает из кармана пачку разноцветных, отпечатанных в типографии приглашительных билетов и большой разграфленный лист бумаги.

— Получайте, товарищи, и расписывайтесь... Прошу!..

Веселое оживление и толкотня у стола.

Последней получает билет Долли Максимовна. Она ставит галочку против своей фамилии в списке, оглядывается, встречается глазами со Светланой, которая стоит поодаль возле рояля, машет рукой:

— Идите, Светик, отмечайтесь!..

Светлана подходит.

Ей очень хочется получить приглашительный билет на встречу Нового года, так хочется, что она даже не в состоянии этого скрыть, и она подходит к столу, и робко улыбается Зубареву, и уже берет карандаш, чтобы расписаться, но Зубарев большой пухлой ладонью накрывает список, негромко и сердито говорит:

— Я ведь, по-моему, Ивашова, русским языком объяснил — вечер и ужин только для сотрудников редакции!

Светлана растерянно отступает.

— Я... извините... Я не поняла... То есть я хочу сказать... Да, конечно... вы совершенно правы... Извините!

С застывшей на лице нелепой улыбкой она медленно

идет к выходу, останавливается на секунду, словно собирается еще что-то сказать, ничего не говорит, поворачивается, шагает через порог и резко роняет за собой дверь.

Неловкое молчание.

— Стыдно, Зубарев! — медленно произносит Долли Максимовна. — Ах, как стыдно!

Зубарев, не поднимая глаз, угрюмо и раздраженно усмежается.

— А я повторяю еще раз: вечер только для сотрудников редакции. Каждый вносит часть своего удовольствия, так что всякие там посторонние...

— Посторонние?! — перебивает его, внезапно срываясь на крик, обычно кроткая Зиночка. — Посторонние, да? А когда она исподнее ваше стирала, она не была посторонней?! У нее варезек нет, а она ледяную воду таскает, дрова колет, полы моет... И если дело в удовольствии, так я дам за нее, пожалуйста, не беспокойтесь!

— Ах, как стыдно! — повторяет Долли Максимовна.

Зубарев дрожащими пальцами перебирает приглашительные билеты.

— Скажите, Зубарев, — как-то чересчур спокойно спрашивает Суздалев, — а если я захочу прийти на этот бал не один? Могу я, например, привести на вечер свою даму?.. Разрешается это?

Зубарев кривит рот и, вкладывая в свои слова всю меру доступной ему язвительности, говорит:

— Вы любимец общества, капитан Суздалев, вам разрешается все!

Суздалев расшаркивается, прижимает руку к сердцу.

— Вы очень любезны, капитан Зубарев! И я воспользуюсь вашей любезностью: я приду с дамой!..

Поздний вечер.

В пустом зале на месте Зиночки за пишущей машинкой сидит хмурый и взъерошенный Суздалев, курит, стучит одним пальцем по клавишам машинки, что-то невнятно бубнит себе под нос.

Отворяется дверь. Входит Светлана.

— Кто там еще?! — сердито, не оборачиваясь, спрашивает Суздалев.

— Это я, Светлана... Я сейчас уйду... Я только хочу поблагодарить вас, Вячеслав Павлович, за то, что вы пригласили меня... Я очень вам благодарна!..

— Ну и прекрасно! — небрежно и равнодушно говорит Суздалев. — Мы рады, что вы рады, привет!

И, отстукивая одним пальцем какую-то фразу, он довольно бестактно добавляет:

— Просто мне хотелось вставить фитиль этому румяному гусю, этому баловню АХО и вторых эшелонов!..

Он с треском переводит каретку, водит пальцем над клавиатурой машинки, разыскивая пропавшую букву, черты-хается:

— Куда это чертово «и» краткое подевалось?!

Светлана улыбается.

— Хотите, я напечатаю, Вячеслав Павлович? А то ж это очень долго — одним пальцем... Я папе все его доклады и статьи печатала! Продиктуйте мне... Хотите?

— Да?! — с сомнением хмурится Суздаlev. — Ну что ж, ладно, попробуем!

Он встает и уступает Светлане место за машинкой.

Светлана устраивается поудобнее, закладывает в машинку новый лист бумаги, ждет.

Суздаlev, жадно затягивается папироской, делает, размышляя, несколько шагов по залу, бормочет, бросает рассеянный взгляд на Светлану.

— Готовы?

— Готова.

Еще секунду подумав, Суздаlev начинает диктовать:

— «В сумерки над полоской ничьей земли вспыхнул зеленоватый свет ракеты»... Я не быстро?

— Нет-нет, ничего.

Суздаlev диктует:

— «Ничья земля, восклицательный знак... Нет, запятая, неправда, запятая, это наша земля, запятая, товарищ, запятая, это наша с тобой родная земля, восклицательный знак!..»

Стучит пишущая машинка.

Далекие московские позывные.

Тиканье метронома.

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой...

В зале за роялем, с зажатой в углу рта погасшей папиросой, сидит Суздаlev, перебирает клавиши.

Сияет на сцене украшенная самодельными игрушками невысокая пушистая елочка. Весело трещат дрова в печке-

временке. Из радиорепродуктора доносится постукивание метронома. Во главе редакционного стола, уставленного сейчас бутылками, стаканами и тарелками, в одиночестве, очень чопорный и подтянутый, сидит полковник Петерсон, поглядывает изредка на старинные — луковицей — карманные часы, которые он по давней штабной привычке положил перед собой на стол.

А возле рояля оживленным кружком стоят сотрудники редакции: здесь и Лапин, и Сотник, и Киселев с приглашенной им дамой, радисткой Ксенией Шаровой — крупной, полнолицей, в щегольских сапожках на толстых ногах, в гимнастерке, которая едва не лопается на груди, с бумажной гвоздикой в пшеничных волосах.

Облокотившись на крышку рояля, Ксения смотрит в упор на Суздалева и напевает, слегка фальшивя:

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла...

Она передергивает плечами.

— Надоела «Катюша», все, хватит! Скажите, капитан, а вы «Брызги шампанского» можете?

Суздалев ухмыляется:

— Я все могу!

— Ой ли? — хохочет, запрокидывая голову, Ксения. — Ой ли, капитан? Надо будет про это у Клавочки военторговской спросить... Мы ведь, капитан, не зря на связи работаем!..

Входят Долли Максимовна и сияющая Зиночка.

— А вот и мы, здравствуйте!

— Дамы, дамы явились! — нараспев восклицает Ксения.

— Вы что ж это, кавалеры, дам не встречаете?! Привет дамам! Как ваше ничего?! — Она, весело пританцовывая, бросается к вновь прибывшим, здоровается, пристрастно оглядывает Зиночку, всплескивает руками: — Ай да Фомичева! Фу-ты ну-ты, корочки модельные! А мы в сапожках! — Она снова хохочет. — Нам в сапожках способнее... солдатское дело — такая работа!..

Петерсон досадливо усмехается, произносит в пространство:

— Жанна д'Арк.

Киселев таинственно наклоняется к Суздалеву.

— Слушай, Вячеслав, это не по-товарищески!

— Что именно? Не понимаю! — сухо говорит Суздалев, перебирая клавиши рояля.

— Понимаешь отлично! — злится Киселев. — У тебя

своя дама, у меня своя. Ксению Шарову я пригласил, зачем же ты мне дорогу переходишь?

Стук метронома становится отчетливее и громче.

Петерсон поглядывает на часы. Зубарев машет рукой:

— Товарищи, прошу к столу!

Суздадев поднимается, хлопает Киселева по плечу.

— Не горячитесь, Аркаша! Изживай, братец, собственные инстинкты! Тем более что моя дама, судя по всему...

Он умолкает на полуслове. На лице его появляется странное выражение — это и крайняя степень изумления, и насмешливая растерянность, и откровенное восхищение.

В дверях зала стоит Светлана.

— Это кто, а? — выкатывает глаза майор Сотник.

— Ого! — говорит Зубарев.

— Черт возьми! — говорит Суздадев и свистит сквозь зубы.

Светлану действительно трудно узнать. Она надела белое вечернее платье, туфельки на высоких каблуках, сняла свою неизменную шапку-ушанку, и хотя легкие, светлые, еще короткие волосы делают ее похожей на мальчишку, есть во всем ее облике, в улыбке, в испуганных счастливых глазах что-то необычайно притягательно-женственное и прекрасное.

Она стоит в дверях зала и улыбается. И все молча смотрят на нее. И на всех лицах, как и на лице Суздадева, то же удивительное сочетание восхищения, изумления, растерянности.

— Добрый вечер! — очень тихо говорит Светлана.

Но все молчат. Стучит метроном. Все молчат. И молчание это длится долго, оно как бы становится все гуще, все плотнее, все напряженнее, и уже не очень понятно, чего же больше в этом молчании — одобрительного дружелюбия или готового вот-вот прорваться возмущения.

И в ту секунду, когда сползает улыбка с лица Светланы и подбочивается с явным желанием ринуться в бой Ксения Шарова, раздается негромкий, внятный голос полковника Петерсона:

— Добрый вечер, Светлана Андреевна!

Привстав, он берет за спинку стоящего рядом стула.

— Пожалуйста, сюда, окажите мне честь!

И кажется, что все только и ждали именно этих слов, чтобы сразу же с облегчением засмеяться, заговорить шумно и бестолково, задвигать, рассаживаясь, стульями, загрометь тарелками.

...Светлана сидит во главе стола рядом с полковником Петерсоном, оглядывается — ищет глазами Суздалева.

— Разрешите?

Важный, величественно-любезный, садится по правую руку от Светланы капитан Зубарев, произносит медовым голосом:

— Не возражаете, я надеюсь? — И немедленно, не ожидая ответа, принимается самым деятельным образом ухаживать за Светланой: подвигает поближе стул, наливает в граненый стакан вино, накладывает на тарелку закуску. — Красненького? А может, беленького?! Или беленькое потом? Ладно, ладно... Колбаски?..

Онемев от ярости, сжав кулаки, стоит у рояля покинутый всеми Суздалев, смотрит на Светлану и Зубарева, смотрит пристально, не мигая, точно гипнотизируя.

— К нам, капитан, к нам! — усиленно кивает ему из-за стола Ксения Шарова.

Суздалев не двигается.

Умолкает шум метронома.

И в наступившей внезапно тишине издалека, из другого мира, доносится глуховатый автомобильный гудок.

— Москва!

Бьют часы в Москве над заснеженной Красной площадью, на Спасской башне Кремля.

Полковник Петерсон встает. И следом за ним со стаканами в руках поднимаются все остальные.

— С Новым годом, товарищи! — тихо говорит Петерсон. — Выпьем за Москву, и за победу, и за всех наших близких!..

Шевелит губами, без слов, неподвижно глядя в одну точку, Долли Максимовна.

Еле сдерживает слезы Зиночка.

— Вот мы сидим с вами за этим красивым столом! — продолжает Петерсон. — Можно подумать, что нет никакой войны. Но мы-то знаем, что она здесь, она совсем близко, она рядом. И не только на земле, на воде и в небе, она еще и в сердце у каждого из нас! И, может быть, важнее всего, чтобы в день, когда мы победим, не осталось в наших сердцах ни единой капли яда войны, ни единой капли...

Он подносит стакан к губам, улыбается.

— Вот как не останется ни капли в этом стакане!..

Гремит вальс.

Суздалев снова сидит за роялем и осатанело колотит по клавишам. Кружатся пары: Зиночка танцует с Лапиным, Ксения Шарова — с Киселевым, Светлана — с Зубаревым.

За спиной Суздалева стоит пьяненький майор Сотник, жарко дышит Суздалеву в затылок, просит:

— Ну, спойте, капитан... ну, я вас прошу... лично прошу... Ту, про нас... Ну, спойте, пожалуйста!..

Запыхавшись, останавливаются у рояля Зиночка и Лапин, присоединяются к Сотнику.

— Спой, Слава!

Суздалев с каменным лицом продолжает играть.

— Ну-ка, дайте, капитан, хорошенькую! — говорит Ксения Шарова, кокетливо обмахивается платочком и вздыхает. — Фу, вспотела!..

Суздалев играет.

— Спойте, Вячеслав Павлович, пожалуйста!

Это негромко говорит Светлана, и Суздалев мгновенно перестает играть, откидывается на спинку стула.

— Что спеть? — спрашивает он, помолчав.

— Ту, про нас! — просит Сотник.

Суздалев, сдвинув брови, берет несколько громких маршеобразных аккордов, говорит нараспев:

Жил да был репортер,
Фронтowej репортер...

Он улыбается, поет:

На танке, в самолете, в землянке,
в блиндаже,
Куда вы ни придете, до вас он был
уже.
Еще не взвились флаги над
деревушкой Эн,
А он уж на бумаге взял триста немцев
в плен!..

Хор подхватывает:

И вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда», и «Красная
звезда».
Да, «Красная звезда»!

Суздалев подмигивает Ксении.

В блокноте есть три факта,
Что потрясут весь свет,
Но у «Бодо» контакта
Всю ночь с Москвою нет...

— Это точно! — говорит Ксения.

Суздаев поет, загадочно понизив голос:

И он, чтоб в путь неблизкий
Отправить этот факт,
Всю ночь с телеграфисткой
Налаживал контакт!

— Ай, капитан! — хохочет Ксения.

Хор подхватывает:

Чтоб вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда», и «Красная
звезда».
Да, «Красная звезда»!

Суздаев поет:

Степные ветры дули,
И немец бил в упор,
И пал, сраженный пулей,
Веселый репортер!
Но шесть последних строчек,
Давясь от горьких слез,
Его товарищ-летчик
Редактору привез!..

И опять вступает хор:

И вышли без задержки
Наутро, как всегда,
«Известия», и «Правда», и «Красная
звезда».
Да, «Красная звезда»!

Хор умолкает, и только одинокий тонкий голос полковника Петерсона медленно повторяет последние строчки:

«Известия», и «Правда», и «Красная
звезда».
Да, «Красная звезда»!

— Да-а-а! — протяжно говорит Ксения Шарова и шмыгает носом. — Грустная песня!.. Нет, как хотите, а я лучше обожаю про любовь!..

Суздаев решительно поднимается и почти насильно усаживает Лапина на свое место.

— Играй!

Потом он подходит к Светлане, останавливается перед ней, щелкает каблукми.

— Разрешите пригласить вас, Светлана Андреевна?

— Виноват, виноват, Суздалев! — вмешивается недовольно Зубарев. — Следующий танец обещан мне.

Суздалев дерзко щурится.

— А я приглашаю Светлану Андреевну не на танец! Вам ясно? Вот так!

Он берет Светлану под руку и с довольной ухмылкой направляется к дверям.

Темно.

И в темноте слышен испуганный и злой голос Светланы:

— Зажгите свет!

— Ну зачем?

— Зажгите свет, Вячеслав Павлович!

Вспыхивает после паузы настольная лампа: зеленоватый неяркий луч освещает портрет Чехова над столом, книжную полку, заставленную книгами, лыжи и альпинистское снаряжение в углу.

Светлана, обхватив плечи руками и чуть выставив вперед локти, сидит на краешке стула, смотрит исподлобья на Суздалева.

— Вот зачем вы пригласили меня?!

Она хочет встать, но Суздалев рывком опускается перед ней на одно колено, говорит, задыхаясь:

— Подожди... подожди... Ты ничего не понимаешь... Все не так просто! — Он встряхивает растрепанной головой. — Ах, черт, ты не сердись... Ты пойми... я вернулся из крошечного ада, из крови, из грязи, из смерти... И вдруг — ты!

Он осторожно берет Светлану руку, сжимает ее в ладонях.

— Чудо! Старик сказал верно — нам война дала передышку, может быть, ненадолго, на несколько дней или даже часов. И вот в этом диком, спятившем с ума мире мы с тобой вдвоем — ты и я! И кто знает, будет ли еще такая минута! И встретимся ли мы снова?.. Ты не прячь от меня глаза, ты гляди на меня!..

С улицы, издалека, доносится глухое, словно разбуженное, ворчание дальнобойных орудий.

— Слышишь? — с непонятной радостью говорит Суздалев. — Вот она, война! И мы ее не боимся. Потому что мы вдвоем — ты и я... И нам хорошо!..

— Нет! Да нет же, боже мой, нет, я вам говорю!..

Стиснув зубы, каким-то последним усилием Светлана вырывается из рук Суздалева, встает так быстро и резко, что Суздалев, не удержавшись, садится на пол.

— Мне плохо с вами, Вячеслав Павлович, — шепотом произносит Светлана. — Очень плохо! Вот вы говорили всякие слова... и в словах этих было предательство! Да-да, именно предательство, они ведь предназначены другой женщине, вовсе не мне... И для другой, наверное, они были бы правдой... Но вам казалось, что если вы солжете, то и я солгу, и я предам...

Она в бессильной горести сжимает руки.

— Ах, как я радовалась сегодня нашему вечеру, как я ждала его, как я была вам благодарна!..

С улицы снова доносится громыхание дальнобойных орудий, и чей-то голос надсадно кричит:

— Эй, там, на втором этаже, свет!

Светлана, шагнув через порог в коридор, бросает с горькой усмешкой:

— Ну вот, теперь вы можете погасить лампу! С Новым годом, Вячеслав Павлович!..

Визжит и захлебывается в неумелых руках пила, ерзает и подпрыгивает в козлах покрытое инеем, обледеневшее бревно.

Светлана и Зиночка во дворе возле дома под старой березой пилят дрова — пилят сосредоточенно, ожесточенно, приговаривают:

— Раз, два, к тебе — ко мне, раз, два!..

Жмурясь от яркого солнца, выходит на крыльцо Суздаев, в полушубке, перепоясанном ремнями, в ватных штанах, в валенках, в теплой шапке.

— Капитан, — окликает его Зиночка, — далеко ли собрались?! Уходите?

— Далекo, — говорит Суздаев. — Ухожу.

Светлана стоит к Суздаеву спиной, сжимает в побелевших пальцах ручку пилы, не оборачивается.

Зиночка через голову Светланы продолжает допытываться:

— Как же так? Только вернулись, и опять?! А говорили, две недели отдыхать будете!

Суздаев усмехается.

— Человек предполагает, а начальство располагает.

— «Начальство»! — передразнивает Зиночка. — Знаю я вас, вы сами вызвались!

— Прощайте! — негромко говорит Суздаев.

— Прощайте! — кивает Зиночка и, сделав Светлане «страшные глаза», сердито шипит: — Ты чего стоишь, как бесчувственная? Человек прощается, а ты...

Светлана медленно оборачивается, встречается с глазами Суздалева, говорит:

— Счастливый путь, Вячеслав Павлович! Возвращайтесь поскорее!

Молчание.

Доносятся из дома громкие голоса, дребезжат телефонные звонки, стучат печатные машины в подвале.

Суздалев жалко улыбается, делает ртом какое-то странное движение, точно ему не хватает воздуха, шутовским жестом вскидывает руку:

— Салют!

Он сбегает с крыльца и уже собирается перемахнуть через обочину на дорогу, но вдруг останавливается, круто поворачивается назад, быстро и решительно подходит к Светлане, тихо говорит:

— Простите меня, ладно?! Постарайтесь не очень уж худо обо мне думать, простите!

— Что вы, Вячеслав Павлович! — совершенно искренне говорит Светлана. — Спасибо вам за все. До свидания!

Помолчав и покусав потрескавшиеся на морозе губы, она спрашивает:

— Вы на машине? Или пешком?

Суздалев смеется.

— Выйду на шоссе, голосну, кто-нибудь меня и подбросит. А нет — прогуляюсь.

Светлана оглядывается на Зиночку, и Зиночка с понимающе-невинным лицом небрежно говорит:

— Вы бы, товарищ Ивашова, проводили б капитана, что ж ему одному-то гулять?!

И, не выдержав, очень довольная, она хитро и весело подмигивает Светлане.

— Иди, иди, Светик, иди!

И вот они шагают рядом, вдвоем, Светлана и Суздалев, по заснеженному пустынному шоссе.

Посвистывает ветер, завивает сизые дымки над сугробами. На небо набежали откуда-то тучи, закрыли солнце, тяжело и низко нависли над землей.

Светлана рассказывает:

— А осенью он должен был защитить диплом и приехать за мной, так мы условились! А потом, вдруг, это в конце мая было, я получаю от него письмо, что он... ну, в общем, что он больше не может без меня, и что у него случилась какая-то ужасная беда, и что я должна приехать и помочь ему, и все такое... вот как было!..

— Стой! — говорит неожиданно Суздалев и останавливается. Они стоят на развилке дорог. Шоссе все так же пустынно — не видно ни одной машины, ни одного встречного.

Суздалев, отвернув рукав полушубка, смотрит на часы, свистит.

— Ого! Четырнадцать двадцать пять. А мы вышли в двенадцать! Вот так прогулочка! Как же вы домой доберетесь?

— Ничего, дойду.

Суздалев смотрит на Светлану, отводит глаза, закидывает голову к небу, глухо, помедлив, говорит:

— Снег будет.

— Да.

— Спасибо, что проводили.

— Не за что.

— А машина нам так и не встретилась!

— Нет, не встретилась.

Суздалев лезет в карман, достает маленький, завернутый в замшу трофейный пистолет, протягивает Светлане.

— Возьмите. Трофейный «вальтер». Игрушка, конечно, но в случае чего может и пригодиться.

Светлана с интересом и любопытством разглядывает пистолет.

— Забавный какой! Я, наверное, и выстрелить-то из него не сумею — это так трудно...

— Трудно? — со смешком переспрашивает Суздалев и снова, уже не таясь, смотрит на Светлану. — Поверьте мне, Светлана, не стрелять труднее, чем стрелять! Много труднее!

И внезапно, словно рассердившись на себя за что-то, он коротко, не подавая руки, кланяется:

— До свидания.

— До свидания! — тихо говорит Светлана и облизывает языком губы. — Простите меня, Вячеслав Павлович!

И теперь уже Суздалев с искренним удивлением отвечает:

— Что вы, Светлана! Спасибо вам за все! До свидания! Он резко отворачивается.

— Идите! И не оглядывайтесь, ладно?

— Ладно! — соглашается Светлана, печально улыбается и уходит.

Она идет размеренным шагом, чуть наклонившись всем телом навстречу ветру, и, как обещала Суздалеву, ни разу, ни единого разу не оборачивается назад.

Смеркается.

Светлана устало подходит к дому «На семи ветрах», при-топывая валенками, поднимается на крыльцо. Она так глубоко и тяжко о чем-то задумалась, что даже не заметила в первое мгновение, какой непонятной тишиной встречает ее дом.

И лишь в полутемном клубном фойе ей вдруг сразу бросаются в глаза такие уже знакомые и всегда внезапные приметы поспешного бегства: брошенные вещи, битое стекло, голый электрический шнур с пустым патроном и обрывки бумаги, которыми усеян цементный пол.

— Товарищи! — испуганно зовет Светлана. — Долли Максимовна!.. Кто-нибудь!.. Зиночка!..

Никто не откликается. Тишина. Тонко дребезжит разбитое окно.

— Товарищи!..

Тишина.

Одинокое стоит на разоренной сцене бутафорское кресло с гнутыми ножками и позолоченными подлокотниками.

Светлана растерянно озирается.

Со двора доносится негромкое урчание мотора.

Светлана стремительно выбегает в сени и чуть не падает в объятия Зубарева.

— Юрий Петрович, ох!..

— Куда вы, к черту, пропали? — грубо набрасывается на нее Зубарев. — Жди вас тут! Собирайтесь, живо!

Но Светлана и не думает сейчас обижаться.

— Юрий Петрович, миленький, я так испугалась! А где все?

Зубарев, все еще хмурясь, строго говорит:

— Пришел приказ — срочно перебазироваться. Все уехали. А я жду вас... Спасибо, если старик мне выговора не влепит! Собирайтесь, Светлана Андреевна!

Светлана смотрит на Зубарева, на его взволнованное лицо и прыгающие губы, улыбается, привстав на носки, и спокойно, крепко целует Зубарева в румяную щеку.

— Нет, Юрий Петрович! Все хорошо, все просто замечательно, вы поезжайте! И передайте привет всем!.. Всем-всем!

— А вы?

— А я здесь останусь!

— Что за чушь? — мгновенно, по своей обычной привычке, взрывается Зубарев. — Идиотство! Форменное идиотство! Да вы понимаете, что означает приказ перебазироваться?! Немец попер! А если он сюда явится?!

— Сюда?!

Светлана оглядывается, точно желая в последний раз проверить надежность и крепость этих стен, принявших ее под свою защиту, медленно качает головой.

— Нет, сюда немцы не явятся! Не-ет!

И такой покой, такая несокрушимая уверенность в ее голосе, что Зубареву только и остается что ворчливо повторить:

— Идиотство!

Переступив с ноги на ногу, скривившись, он как-то неловко и виновато сует Светлане в руку кожаные, на белом меху перчатки.

— Ну, тогда... возьмите... у вас же нет варежек — возьмите!..

Светлана одиноко стоит на крыльце, скрестив на груди изящные руки. Из кармана бархатной кацавейки торчат кожаные перчатки.

Сумерки. Морозный туман.

Наконец пошел снег. На пустынное шоссе неслышно и невесомо падают белые медленные хлопья.

Глава третья

Диктор по радио говорит:

— Сегодня, четвертого марта, на энском направлении наши войска продолжали вести тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника...

Укрепленный над входом в дом, рядом с надписью «Добро пожаловать», полощется и постреливает на ледяном мартовском ветру белый флаг, пересеченный красным крестом.

Сестры в белых халатах и затейливых белых косынках застилают белыми простынями низкие больничные топчаны, расставленные в четыре ряда в зрительном зале. И на сцене тоже стоят такие же топчаны. И в фойе. Фойе, впрочем, перегороджено на две половины глухой, сшитой из нескольких простынь занавеской, и оттуда, из-за этой занавески, с той половины, что скрыта от посторонних глаз, доносятся бульканье и шипение воды в стерилизаторе, постукивание педали ручной мойки, позвякивание инструмента, раздраженные голоса электриков, подвешивающих лампу-софит над операционным столом.

В дежурке — в бывшем помещении сберкассы и почты — белыми марлевыми салфетками занавешены окна, на полках

вдоль стен стоят бутылки и бутылочки, пакетики, коробки, фарфоровые банки с загадочными латинскими надписями, и высится на крыше несгораемого сейфа гора деревянных лотков с ячейками для анализов.

Во дворе — белая на белом снегу, растянутая на кольях под старой березой палатка, предназначенная для перевязывания и предварительной санобработки. И над этой палаткой тоже полощется неширокий белый флаг, пересеченный красным крестом.

...Утром, днем, вечером, ночью — в любое время суток, в любую погоду непрерывной скорбной чередой поступают в госпиталь раненые.

Их привозят в кузовах покореженные грузовики, где они лежат навалом, как дрова; их приносят на руках и на самодельных носилках; они приходят сами, ковыляя по раскисшей, в желтых подтеках бензина и конской мочи дороге.

Здесь, в походном армейском госпитале, они задерживаются недолго: некоторые, отдышавшись и отлежавшись, возвращаются в строй, других (и таких большинство) после операции и короткого лечения отправляют в тыловые эвакугоспитали, а некоторых (и их тоже немало) ранним утром разбитые санитарные машины отвозят в братские могилы на старое городское кладбище.

Не забывайте этих могил! Не забывайте о них ни в горе, ни в радости!

На деревянном столбике, на фанерной дощечке, наспех замусоленным чернильным карандашом криво и не всегда грамотно выведены фамилии павших — и так разнятся друг от друга даты рождения, и так трагически одинаковы даты смерти!

А есть могилы, на которых и вовсе ничего не написано — просто сияет, как ни сушили ее степные ветры и сыпучие пески, как ни хлестали ливни, как ни заметали метели, вечно сияет пятиконечная красноармейская звезда, и вечным сном под этой вечной звездой спит безвестный солдат — слуга народа, защитник Отечества.

Не забывайте этих могил! Не бойтесь памяти о войне! Только слюнтяи и обыватели, только предавшие прошлое страшатся памяти о ней! Не забывайте же этих могил!..

Вечер. Дежурка.

Сестры — и среди них Светлана — в большой бадье моют медицинские «утки» и стеклянные консервные банки, которые на всех фронтах, во всех госпиталях и санбатах бесхитростно используются в качестве «уток».

В стороне, за перегородкой, пожилая аптекарша Марья Петровна что-то записывает в толстую конторскую книгу.

Курносая синеглазая сестра Муська Кайгородская вздыхает:

— Ну вот, еще день прошел!

— Странно!.. — задумчиво говорит Светлана. — У меня как-то все спуталось — дни, ночи, недели... Скоро месяц, как вы тут, а мне порой кажется, что вы только вчера приехали!

— Ох, и надоели же эти «утки», — с гримасой говорит Муська. — Я на гражданке прямо ужас какая была брезгливая, а теперь...

Светлана серьезно говорит:

— А я до войны мышей боялась.

Девушки смеются.

Высокая, с толстой рыжей косой, которая то и дело выбивается из-под косынки, волжанка Вера Смирнова спрашивает:

— А у тебя, Света, есть кто на фронте?

— Есть.

— Кто?

— Жених.

И все сестры разом поднимают глаза на Светлану.

— Ну?! А где он?

— Не знаю.

— А фото его имеешь?

— Нет.

— То-то я гляжу, — говорит Муська, — как новеньких привозят, так ты сама не своя! Все ждешь?

Светлана уклончиво пожимает плечами.

— Нет, я не жду, конечно. Но ведь может же так случиться, что и он тоже...

Она морщится, подыскивая слово.

Но Муська, уже поглощенная какой-то новой мыслью, оглянувшись на Марью Петровну и понизив голос, захлебывается быстрым и веселым шепотом:

— Ой, девочки! Девочки! Вы заметили, какого лейтенанта сегодня доставили?! Артиллерист! Ох, девочки! Бровки темные, глазки карие, такой весь аккуратенький! Я уж ему подморгнула — поправляйся, дескать, Сенечка, есть о чем поговорить!

Вера сердито кривит полные губы.

— Муська ты, Муська! И в кого только ты уродилась такая развратная?

— «Развратная»! — передразнивает Муська и снова при-

нимается тереть стеклянную банку. — Одна живем, Верочка! Чего теряться! Война все спишет!

— Глупости!

— Ничего не глупости, правильно она говорит! — вмешивается неожиданно худенькая, молчаливая и не очень уж молодая Тоня Бойкова. — Ты возьми хоть к примеру у нас, в поселке... У нас и до войны девчат против парней втрое было. Вот тебе и глупости! Наслушалась я, как старшие мои сестры по ночам плачут. А с войны придем, кто нам достанется, а?! Подумала ты об этом?! А ведь счастья-то каждой хочется, счастья каждой вынь да положи!

— Но как же можно без любви, Тоня?!

Тоня усмехается:

— А зачем же без любви? Ты люби!

Муська легонько притопывает уродливым кирзовым сапогом:

Полюбила лейтенанта,
Ремешок через плечо,
Получает тыщу двести
И целует горячо...

— Тихо! — обрывает ее Тоня и показывает глазами на дверь. — Наталья Михайловна!..

В дежурку входит главный врач и хирург Наталья Михайловна Гусева. Ей лет тридцать, не больше. Она очень красива, но от всего ее облика, от тонкого смуглого лица, от зеленых, никогда не улыбающихся, каких-то странно пустых глаз, от больших суховатых рук, даже от ее ослепительно белого халата остается раздражающее почему-то ощущение холодной и высокомерной стерильности.

— Добрый вечер! — говорит Наталья Михайловна.

— Добрый вечер, товарищ главврач! — нестройно, вразнобой отвечают сестры.

Наталья Михайловна внимательно и равнодушно оглядывает дежурку и сестер, произносит медленно, не повышая голоса:

— Я сегодня слышала, как кто-то из сестер назвал доктора Образцова Шуриком! Если это повторится...

Не договорив, она кивает, берется за ручку двери.

— Утренние операции я начну в шесть. Смирнова и Кайгородская, вы со мной.

— А у меня, Наталья Михайловна, ночное дежурство! — недовольно хмурится Муська. — В первой палате я дежурю до восьми.

— Ничего, кто-нибудь вас подменит!

— Я могу подменить! — быстро и охотно говорит Светлана.

— Вот и отлично.

Наталья Михайловна уходит.

Муська, помедлив и подождав, пока в сенях хлопнет дверь, говорит свистящим шепотом:

— Прямо как неживая, честное слово. Чучело! Ей с гражданки чуть не каждый день письма приходят. А она их назад отсылает!..

— Красивая она! — задумчиво произносит Светлана.

Тоня в сердцах шваркает мокрое полотенце на подоконник.

— Красивая-то красивая, да кому с ее красоты радость?

В сенях раздаются торопливые шаги. Отворяется дверь дежурки, просовывается девичья голова в светлых кудряшках, в сбившейся на сторону косынке.

— Девочки, кто в первой заступает?! Идите принимайте дежурство, сил моих больше нет!

— Иду! — говорит Светлана.

Ночь.

Первая палата — зрительный зал — погружена во тьму. Только слабо светится синий огонек ночника на маленьком столике в углу. Возле столика на низком табурете сидит Светлана.

Раненые спят. Они спят беспокойно, стонут и разговаривают во сне, вспоминают близких и родных, продолжают ратные свои дела: поднимаются в атаку, обнаруживают неприятельские танки, корректируют огонь, ссорятся со старшинами из-за недополученного пайка.

— Мне табачку не выдали... Почему мне, старшина, табачку не выдали?! Почему мне...

— А-а-а! — тянет кто-то протяжно дурным голосом, на мгновение затихает, точно набираясь сил, и снова затягивает на одной ноте: — А-а-а!..

Время от времени Светлана встает, бесшумно ступая в мягких войлочных тапках, проходит по рядам между койками — где поднимет упавшую на пол подушку, где поправит сбившиеся простыни, где подаст стеклянную банку-«утку», а где просто тихо-тихо, чуть слышно скажет несколько ласковых, ободряющих слов.

За окном начинает синеть, близится утро.

— Мамаша! — зовет кто-то громким шепотом. — А мамаша!

Светлана оборачивается.

Пожилой раненый, с небритой седой щетиной, в лубках, с забинтованной головой, преодолевая боль, улыбается Светлане одними глазами.

— Никак, мамаша, светает?

— Скоро будет светать, — шепотом отвечает Светлана.

— Хорошо, — с удовольствием говорит раненый. — Утром-то уж я не помру! Сводки не передавали еще?

— Нет.

Раненый задумчиво поджимает губы.

— Что там со вторым фронтом, интересно бы знать?! Что они там, мамаша, со вторым фронтом тянут?!

Тишина.

Светлана медленно обходит палату, поднимает шторы на окнах.

Серый, без солнца, рассвет.

Светлана гасит ночник, садится к столу, раскрывает книгу записей дежурств, вытаскивает из кармашка халата самопишущую ручку. Подумав и что-то пошептав про себя, Светлана склоняется над книгой записей, и в эту секунду начинается воздушный налет.

Он начинается внезапно — не было слышно ни гудения самолетов, ни встревоженных криков «Воздух!», ни торопливой беготни. В предрассветной пепельной тишине раздается вдруг режущий сердце, все нарастающий свист и удар, гулкий и грозный удар, от которого сотрясается земля, сыплются, дребезжат стекла, срываются с мест, как на море в шторм, больничные топчаны и весь дом «На семи ветрах» как бы приседает, крякнув, на корточки.

И только теперь со двора кто-то кричит запоздало:

— Воздух!!!

И уже нет (и кажется, что и не было никогда) покоя, тишины, утра, строгого больничного порядка — раненые, ничего не соображая спросонья, вскакивают со своих коек, грохочут костылями, бегут, волоча за собой простыни и бинты, спотыкаются, падают, продираются к окнам и к двери, залезают под койки, а те, что не могут подняться, вопят, выкатив остекленевшие глаза:

— А-а-а!!!

— Братцы, пропадаем! Что ж это, братцы?!

— Пропадаем, а-а-а!

Пожилой раненый с забинтованной головой — тот, что интересовался вторым фронтом, — безуспешно пытается утихомирить соседей:

— Да будет вам, будет! Да что вы, ребята, в самом-то деле?!

Но никто его не слушает.

Глухой раскат взрыва.

Молоденький худенький врач по прозвищу Шурик-заика и несколько сестер с насмерть перепуганными лицами вбегают в палату.

— Товарищи, успокойтесь!

— Пропадаем, братцы...

— А-а!!!

— Пустите!!..

И тогда, вскинув руки, напрягая все силы своего голоса, Светлана звонко и отчаянно кричит:

— Мужчины!!! Эх вы, мужчины! Ну, чего вы испугались, чего?! Фриц прилетел? Подумаешь!.. Да я смеюсь, я смеюсь над ним!..

Она произносит раздельно:

— Ха-ха-ха! Да ведь он же косой, этот фриц! Ему же в нас нипочем не попасть! Ну, кого испугались?!..

Она подбегает к окну, высовывается, грозит в небо маленьким кулаком.

— Дурак, дурак, косой, трус! Улетай, трус, пока не сбили! Улетай лучше, все равно не попадешь!

И все в палате невольно умолкают. И на искаженных болью и страхом лицах появляется неожиданно выражение самого откровенного любопытства, словно все ждут, послушается немецкий летчик Светлану или не послушается.

— Улетай, косой! — повторяет Светлана.

Далекая пулеметная очередь, а затем гул самолета затихает, становится все глуше, замирает и растворяется в сером утреннем небе.

— Улетел! — говорит кто-то негромко, с нервным удивленным смешком. — Улетел, братцы!

Несколько голосов отвечают на этот смешок:

— Испугался...

— Точно!..

— Нет, ты скажи пожалуйста, улетел!..

Смешок. Потом еще смешок. И еще. И еще.

И вот уже буйный, неудержимый смех прокатывается из конца в конец по палате. И в этом смехе сливаются воедино и стыд, и неловкость, и радость, и гордое восхищение перед душевной стойкостью и силой веры.

Смеются раненые, и, смеясь, охая, они подбирают с пола бинты и простыни, разыскивают оброненные костыли, осторожно укладываются на койки.

И, точно ничего не случилось, Светлана улыбается и говорит спокойно и мягко:

— С добрым утром, товарищи раненые! Сейчас будем мерить температуру!..

...Светлана, перекинув через плечо полотенце, устало поднимается по лестнице на второй этаж.

Снизу, с площадки, окликает ее синеглазая Муська:

— Света, Света, ты куда?

— Отдыхать.

— Светочка, миленькая, выручай! — быстро и жалобно говорит Муська. — Женька Фатеева заболела. Вера с Шуриком-заикой в перевязочной. Наталья Михайловна злится, кошмар! Светочка, миленькая, только на один часик, а? Только лоток мне поддержишь... Ну, и вообще — поможешь... А, Светочка?

Операционная.

Ровный плоский свет подвешенного на тросе софита. Сверкающие и очень страшные в своей непонятности хирургические инструменты. Неподвижное тело раненого с запрокинутой головой на операционном столе.

Наталья Михайловна, в широком клеенчатом фартуке поверх халата, растопыривает руки, и Муська быстро и ловко натягивает ей на руки резиновые перчатки.

Ассистент мажет грудь раненого йодным тампоном.

Светлана стоит в стороне, держит лоток с инструментами.

Наталья Михайловна подходит к столу. Над марлевой маской строго смотрят зеленые, странно пустые глаза.

Муська, тяжело дыша, шепчет Светлане:

— Красивый?

— Кто? — не понимает Светлана.

Муська показывает глазами на раненого.

— Это ж Сенечка... лейтенант... Я ж тебе вчера говорила... Это мой Сенечка!

Наталья Михайловна чуть отводит руку в перчатке назад, раскрывает ладонь.

— Скальпель!

Муська берет скальпель с лотка, который держит Светлана, и, прихлопнув, кладет его на раскрытую ладонь Натальи Михайловны.

— Внимание — пульс! Следите за пульсом!

Светлана внимательно смотрит, сдвигает брови. Лоток с инструментом слегка дрожит в ее руках.

— Дешамп!

Муська передает Наталье Михайловне дешамп.

Раненый вскрикивает.

— Потерпи!.. Спокойно!..

Ассистент монотонно считает:

— Раз, два, три, четыре, пять...

Раненый, стиснув зубы, мычит.

Пауза.

— Ну!..

Светлана оглядывается и с ужасом замечает, что Муськи рядом нет. Она сидит на табурете у стены и, как-то заваливаясь вниз, прижимает к носу пузырек с нашатырным спиртом. В белом лице — ни кровинки.

— Кохер!

Светлана, окончательно растерявшись, хватает с лотка первый попавшийся инструмент, протягивает Наталье Михайловне.

— Кохер, я сказала, мать вашу так!

С резким свистом пролетает через всю операционную отброшенный Натальей Михайловной инструмент, падает на бетонный пол, звенит, подпрыгивает.

Наталья Михайловна в бешенстве оборачивается, смотрит — в зеленых глазах неожиданно появляется подобие скупой улыбки — и, тыча резиновыми пальцами в инструменты, разложенные на лотке, Наталья Михайловна быстро говорит:

— Кохер... дешамп... скальпель... кедгут... клемм, ножницы...

Она снова склоняется над столом и уже другим, повелительным тоном бросает через плечо:

— Кохер!..

Светлана берет кохер и, подражая Муське, опускает его, прихлопывая, на раскрытую ладонь.

Наталья Михайловна кивает:

— Да!.. Клемм!

Светлана подает клемм.

— Пульс?

— Норма.

В стеклянную банку, стоящую под операционным столом, с глухим стуком падает оплавленный, в крови и слизи, металлический осколок.

— Начинка! — почти весело говорит Наталья Михайловна.

Светлана смотрит.

Руки в резиновых перчатках твердо держат лоток с инструментами.

Сконфуженная Муська поднимается, тихонько становится рядом со Светланой, бормочет:

— Вот ерунда-то! Никогда со мной такого не было!

— Кедгут! — командует Наталья Михайловна. — Еще кедгут, и — кто там есть, санитары, — готовьте следующего!..

Так продолжается весь день, весь вечер, всю ночь.

Санитары на носилках выносят из операционной неподвижное тело, накрытое простыней; Светлана мокрым бинтом вытирает заляпанный кровью клеенчатый фартук Натальи Михайловны; Муська щедро поливает спиртом инструменты в лотке; стучит педаль рукомойника, булькает вода в стерилизаторе.

А потом, после короткого, едва ли не секундного перерыва, опять начинается все сначала: неподвижное тело с запрокинутой головой на операционном столе, ровный свет софита, бесстрастный и монотонный голос Натальи Михайловны:

— Скальпель... тампон... еще тампон...

Кровь. Крик.

В стеклянную банку под операционным столом падают оплавленные осколки.

— Ножницы... шелк... Следующий!

И в какие-то мгновения Светлане начинает казаться, что это никогда не кончится, что этот бесстрастный, монотонный, чуть глуховатый голос будет звучать вечно:

— Следующий!.. Следующий!.. Следующий!..

Раннее утро.

Тишина.

На крыльце дома стоят Наталья Михайловна, Светлана, Муська. Они стоят неподвижно, молча, уронив руки и полукрыв глаза, будто спят.

Из палатки выходят Вера и Шурик-заика.

— Здра-а-а-стуйте! — нараспев говорит Шурик. — Вста-а-али уже?

Муська хмуро усмехается:

— «Встали»! Еще не ложились! Пять минут назад последнюю операцию кончили!

Шурик удивленно моргает длинными, как у девушки, ресницами.

— Что ж вы спать не идете?

— Надо бы! — тихо, не открывая глаз, отвечает Наталья Михайловна. — Надо бы, Шурик. Но сил нет. Да и не уснуть

сейчас все равно. Вот постоим, подышим... — Она нервно передергивает плечами. — Какое-то утро странное, правда? Тревожное. Как будто что-то случилось... Вам не кажется?!

Муська и Вера в недоумении переглядываются.

Их поражает, собственно, даже не столько сам вопрос Натальи Михайловны, сколько то, что она впервые за все время их совместной службы заговорила о чем-то, что не имеет прямого касательства к работе, проявила какое-то волнение, обнаружила какую-то слабость.

— Что же могло случиться, Наталья Михайловна? — рассудительно отвечает Шурик.

— Не знаю. Сама не пойму. Но что-то случилось... Слышите? — негромко вскрикивает Наталья Михайловна и вытягивает вперед руку. — Слышите?..

И все, невольно заразившись ее беспокойством, тревожно прислушиваются.

— Ничего не слышу! — говорит Муська. — Сводку, может, передают?

— Да как же вы не слышите?! — сердится Наталья Михайловна. — Вот, опять...

— Что?

— Капает... Слышите?

— Где?

— Не знаю.

Шурик-заика подозрительно смотрит на Веру.

— А это не в перевязочной, товарищ Смирнова? Вы хорошо все проверили, ко-о-огда уходили?..

Вера обиженно надувает губы.

— Пожалуйста, я могу еще раз проверить, пожалуйста!..

Вера сбегает с крыльца, направляется к палатке, откидывает полог входа.

Все молча ждут.

Вера собирается уже нырнуть в палатку, но останавливается, почему-то озирается, потом подходит к старой березе и, обернувшись, машет рукой стоящим на крыльце:

— Идите... Идите скорее сюда! Все идите!..

В стволе березы, пробив глубоко кору и врезавшись в самую сердцевину, торчит осколок — угодил, наверное, во время вчерашней бомбежки.

А кто-то из санитаров (или, может быть, из раненых) догадался и положил на землю, наподобие котелка, старую солдатскую каску. И березовый сок, вытекая из раны в стволе, то глухо, то звонко медленно капает на дно каски.

Наталья Михайловна, с заблестевшими глазами, каким-то

незнакомым, очень женским движением поправляет волосы, касается пальцами содранной коры.

— Так вот что случилось! — тихо говорит она. — Действительно, Шурик, ничего особенного! Ничего особенного не случилось, просто — весна!..

И, окончательно повергая Муську и Веру в трепет изумления, она произносит зазвеневшим голосом:

Мне грустно и легко.
Печаль моя светла,
Печаль моя полна разлукою с тобою!

Тишина.

В молчании, виновато и растерянно улыбаясь, стоят люди перед раненым деревом.

Капает сок в солдатскую каску: кап-кап-кап!..

На дороге, за забором, безмятежно насвистывает неведомая пичуга.

Ветер гонит по небу подкрашенные в розовое легкие утренние облака, и в разрыве этих облаков отчетливо виден похожий на журавлиный клин строй идущих на восток немецких бомбардировщиков.

— Летят! — горько усмехается Шурик. — Летят! Журавли!

На крыльцо дома, в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи, быстро выходит комиссар госпиталя Дронов, говорит, не здороваясь:

— Товарищи, вот что — срочная эвакуация... В полчаса всем быть готовыми!..

Он кривится, встряхивает головой и обращается к Наталье Михайловне подчеркнуто деловым тоном:

— Пойдемте, Наталья Михайловна!

Наталья Михайловна и Дронов торопливо уходят в дом. Хлопает дверь.

— И откуда у него сила такая? — тоскливо спрашивает Муська. — Прет, и прет, и прет! Неужто он и вправду сильнее всех?

Ей никто не отвечает.

— Что ж, пошли, девочки, собираться! — хмурится Вера.

— Пошли, Света!

— Пошли! — говорит, не двигаясь, Светлана.

Свистит на дороге птица.

Капает березовый сок в солдатскую каску: кап... кап... кап!..

Глава четвертая

Диктор по радио говорит:

— Вчера, четвертого мая, на энском направлении наши войска продолжали вести тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, сосредоточившего на этом участке фронта...

Голос диктора заглушает грохот близкого боя.

Это не воздушный налет и не ставшее почти привычным громыхание дальнобойных орудий — это где-то совсем рядом (на дороге или даже, может быть, во дворе) строчат автоматные очереди, твякает и захлебывается пулемет, рвутся с шипением гранаты и мины.

...Сквозь узкое оконце, забранное решеткой, едва проникает в подвал дома «На семи ветрах» слабый свет дня и тянет желтым едким пороховым дымом.

Здесь помещалась когда-то котельная. А потом здесь стояли печатные станки и хранились рулоны типографской бумаги. А потом здесь был вещевой склад госпиталя.

И все эти многообразные формы подвального бытия, точно геологические эпохи, оставили тут свои следы: огромный проржавленный бак для воды с замотанным тряпкой краном, несколько рулонов бумаги и рассыпанный типографский набор, продранные халаты, стопки марлевых салфеток и тяжелые тюки с бельем.

Светлана неподвижно сидит в углу, привалившись спиной к стене, откинув назад голову. Правой рукой она зачем-то стягивает у горла халат, а в левой, бессильно опущенной, зажат маленький «вальтер» — прощальный подарок Суздалева.

— Эгей, гражданочка!..

Светлана не откликается.

Громыхают сапоги по каменным ступенькам лестницы, распаивается тугая дверь, и несколько военных — шумных, жарких, возбужденных недавним боем, в пропотевших и выцветших гимнастерках, с темными от усталости и копоги лицами — вваливаются в подвал. Командир роты, старший лейтенант Васильев — крутолобый, с седеющей на висках головой, припадая на больную ногу в разрезанном сверху донизу сапоге, — подходит к оконцу, одобрительно ворчит и, обернувшись, кивает Светлане:

— Собирайтесь! Как стемнеет, мы отправим связного. Пойдете с ним!

— Куда? — безучастно и вяло спрашивает Светлана.

— В штаб дивизии. А там уж разберетесь...

— Хорошо! — все так же вяло, не двигаясь, соглашается Светлана.

Во дворе, прошелестев, разрывается мина. Комья земли и всяческой дряни вперемешку с кирпичной пылью сыплотся сквозь оконце на каменный пол.

Васильев хлопает по плечу стоящего рядом темногоглазого красавца.

— Где Репьев?

— Наверху, товарищ ротный!

— Скажи ему, Мамакаев, пусть готовится — скоро пойдет. И передай комвзводам, чтоб стягивали людей к дому — будем занимать оборону.

— Слушаю, товарищ старший лейтенант! — Мамакаев убегает.

Светлана с внезапным интересом поднимает глаза на Васильева.

— Вы тут останетесь?

— Именно!

Светлана улыбается, всплескивает руками, встает.

— Ой, ну тогда зачем же мне уходить?! Тогда и я останусь!..

— Нет, вы уйдете! — спокойно говорит Васильев.

— Нет, я останусь! — не менее спокойно и даже строптиво возражает Светлана. — Здесь у меня имущество, товарищ старший лейтенант! И гражданское и военное — госпитальное. Я его с последней машиной вывезти должна была, а машину разбомбили...

Васильев со злостью перебивает Светлану:

— Да поймите же вы, черт побери, не могу я вам позволить тут оставаться! Человек вы мне неизвестный, возиться мне с вами некогда...

— Разрешите, товарищ ротный?! — раздается неожиданно чей-то голос.

— Ну?

Худенький кривоногий солдатик с удивительно добрым курносым лицом — тот самый почтальон Гаркуша, что приносил когда-то письма в редакцию, — шагнув вперед, к свету, очень внимательно разглядывает Светлану, цокает языком:

— Ай-ай-ай! Слушай, да я ж тебя знаю, тут в доме у вас газета стояла, точно?! Газета «Вперед»! Я письма приносил, и вроде мы видались... Могло это быть?

— Могло! — подтверждает Светлана и вдруг, просияв, порывисто обнимает и целует Гаркушу. — Да-да... И я вас теперь узнала, да!

— Ну, точно! — смущенно и обрадованно говорит Гаркуша и оборачивается к Васильеву: — Знаю я ее, товарищ старший лейтенант! Гляжу — определенно личность знакомая. В газете она работала, знаю я ее.

— И еще в госпитале! — не удержавшись, добавляет Светлана. — Потом, после газеты...

— В госпитале?!

Васильев, охая и потирая раненую ногу, критически оглядывает Светлану.

— Ну а санинструктором, например, сможете?

Светлана пожимает плечами.

— Сможет, сможет! — покровительственно свидетельствует Гаркуша. — Знаю я ее, товарищ старший лейтенант!..

Молчание.

— Ладно, оставайтесь, будете санинструктором! — машет наконец рукой Васильев и криво усмехается: — Пополнение, да! С бору по сосенке! И писаря у меня, и почтальоны, и деды, и внуки!.. А теперь еще вы... Вас как зовут?

— Светлана.

Помолчав, Васильев говорит строго, понизив голос:

— Попрошу, санинструктор Светлана, учесть... тут сейчас передний край... самый передний! А народ в роте — я уже сказал — разный... Так что, товарищ санинструктор, насчет всякого такого прочего, — он прищелкивает пальцами, — чтобы ни-ни! Вам понятно?

Светлана с совершенно искренним недоумением качает головой.

— Нет, товарищ старший лейтенант, нет, непонятно! Что вы имеете в виду?

Васильев подозрительно смотрит на Светлану: притворяется или нет?! Но глаза у Светланы в эту минуту такие честные и ясные, такое искреннее и откровенное непонимание написано на ее лице, что Васильев, даже смутившись, неопределенно хмыкает:

— Дисциплина, санинструктор, дисциплина, вот что!

Он отворачивается от Светланы, спотыкающимися шагами, опираясь на палку, обходит подвал, к чему-то прислушивается, одобрительно сдвигает брови.

— А квартира-то подходящая! Прочная квартира!..

Он стучает кулаком по стене, решительно говорит:

— Тут мой КП будет!

И, снова охнув, он садится, вытягивает ногу и уже дружески, как своей, улыбается Светлане.

— Ну-ка, дочка, взгляни, пожалуйста, что у меня с ногой.

Так в первых числах мая, измотанное непрерывными боями и потерями, занимает оборону в доме «На семи ветрах» подразделение, которым командует старший лейтенант Васильев.

И снова за каких-нибудь два-три часа неизвестно преобразуется этот многострадальный дом, превращенный теперь в военную крепость и уже именуемый в сводках и донесениях не домом, а стратегическим пунктом...

Подвал, переоборудованный в КП.

Усатый старшина Гречко, исполняющий по совместительству обязанности ротного писаря, протягивает Васильеву ведомость на довольствие и коротко рапортует:

— Товарищ старший лейтенант! Из личного состава роты на сегодняшний день имеется в наличии ровно тридцать пять человек! — И после паузы добавляет: — И еще один — санинструктор!..

А в помещении сберкассы и почты неторопливо и деловито хозяйничают пулеметчики — бывший почтальон Гаркуша со своим вторым номером, молчаливым и по-крестьянски степенным и основательным Огольцовым. Они пригаскивают воду в брезентовых ведрах, сдвигают в один ряд патронные ящики, устанавливают в окне пулемет, маскируя его какими-то веточками, потом заваливают окно мешками с песком, оставляя только узкую смотровую щель, и еще, для верности, подпирают все это сооружение сзади несгораемым сейфом.

— Вы только, пожалуйста, не попортите его, — просит Светлана. — Там деньги!

— Ну? — с загоревшими глазами оборачивается Огольцов. — И много?..

Гаркуша смеется.

— А тебе сколько надо?

— Пять тыщ! — немедленно отвечает Огольцов.

Гаркуша подмигивает Светлане, как бы приглашая ее вместе повеселиться.

— А зачем тебе, Огольцов, пять тыщ?

— А я бы их мамане послал, старушке! На фронте какие ж заработки! Налево не постреляешь! Послал бы я мамане деньги, а уж ей бы за пять-то тысяч аппарат бы сладили!..

— Какой еще такой аппарат?

— А чтоб самогон гнать! — доверчиво и охотно поясняет Огольцов. — Гнала бы себе старушка первачок и жила бы, горя не знала!..

И он уважительно поглаживает рукой свинцовые бока сейфа.

...А в зрительном зале, где тоже каждое окно превращено в бойницу и завалено мешками с песком, сидят на подотланых шинельках солдаты, вяло жуют хлеб, покуривают, дремлют.

Хмурый, большеголовый, с лицом, изрытым оспой, автоматчик Симагин, дожевывая хлеб и аккуратно собрав в ладонь крошки, ворчливо говорит:

— Я свое дело исполняю, так?! А почему он свое дело не исполняет?

— Не пройти никак! — вздыхает веснушчатый, с ясными мальчишескими глазами Мыльников. — Кругом дома заминировано, а со стороны дороги немец не пустит! Вот ежели Репьев доберется до штабдива, он им там скажет!..

Симагин, презрительно сплюнув, растягивается на шинели, закидывает руки за голову и, помолчав, упрямо говорит:

— Репьев Репьевым, а я без супа воевать несогласный!

В стороне, у самой рампы, соорудив из патронных ящиков нечто вроде стола, сидит ополченец, парторг роты, лейтенант Славин, пишет письмо. Услышав последние слова Симагина, он поднимает голову и холодно произносит:

— Я письмо пишу. В Ленинград. Отцу. Если он жив. Так, может, вы, товарищ Симагин, припишете ему несколько слов насчет супа?!..

А на сцене, перед рисованным задником с маками и подсолнухами, широко расставив ноги и глубокомысленно склонив набок голову, стоит старшина Гречко, взволнованно и тяжело сопит.

Поднимается на сцену Мамакаев, становится рядом с Гречко.

— Красота! А, Мамакаев?! — тихо говорит Гречко. — И все, главное, в точности — и маки, и хатка, и подсолнухи. Все в точности! Гляжу, понимаешь, и будто я дома!

За окном в потемневшее небо взлетает осветительная ракета. Сквозь щели в бойницах мертвенный голубоватый свет проникает в зал.

— По местам!.. — негромко командует Славин.

Симагин злобно машет рукой.

— И что ему не спится, фрицу чертову?! То утречком в семь начинал, а то...

Пулеметная очередь. Всклипнув, разрывается мина. Взвизгивают пули, и тонкие струйки песка текут из распоротых мешков.

В зал, пригибаясь и размахивая санитарной сумкой, вбегает Светлана.

— Здравствуйте! Баб не хватало! — встречает ее Симагин.

— Уйдите! — бешено дергает плечом Славин. — Что вам тут надо?

Пулеметная очередь.

— Ничего, товарищ лейтенант, вы стреляйте, стреляйте! — мирно говорит Светлана, точно любезная хозяйка, разрешающая гостям курить. — Вы не обращайтесь на меня внимания, стреляйте!

Трескотня автоматов.

— За дорогой следите! — кричит Славин. — Следите за дорогой!..

Длинная трассирующая очередь прошивает вечернюю темень.

Гулко стучит пулемет.

И вдруг — тишина.

— Что это он? — даже пугается Гречко.

Тишина. Напряженная тишина.

А потом оттуда, из темноты, со стороны немецких траншей, доносится непонятное шипение, смех, музыка. Гитара и мандолина играют какой-то нехитрый, всем знакомый и тысячи раз слышанный, не имеющий названия вальсок, и крадчивый женский голос, усиленный репродуктором, произносит отчетливо, печально и нежно:

— Ваня! Ванечка! Не стреляй! Не стреляй, миленький, брось! Весна, Ванечка, чуешь? Жить хочется, гулять хочется, любить хочется...

Молча, стиснув зубы, с потными от напряжения лицами, слушают солдаты.

Над немецкими траншеями, над ничьей землей, над притихшим домом «На семи ветрах» в синих сумерках разносится крадчивый шепот:

— Кончай воевать, Ванечка, не губи жизнь молодую!..

Тихо-тихо звенят гитара и мандолина.

И тогда громко и презрительно засмеявшись, Светлана встает, снимает пилотку, потягивается, встряхивает головой — золотые, уже отросшие волосы рассыпаются по плечам.

— Ты чего? — удивленно смотрит на нее Гречко.

И, смеясь все громче, нарочно привлекая к себе внимание, Светлана говорит:

— Это ведь не женщина — это пластинка! Слышите, шипит даже?!..

Солдаты смущенно переглядываются.

Мамакаев, сверкнув глазами, восторженно скалится:

— Женюсь на тебе, дочка! — Он с треском вгоняет в автомат запасный диск.

— По фашистским гадам!..

Залп.

Трассирующие автоматные очереди прошивают вечернюю темень. Часто и гулко стучит пулемет.

— Товарищ старший лейтенант! На сегодняшний день из личного состава роты имеется в наличии ровно семнадцать человек!..

— Та-а-кс! — вздыхает Васильев.

Он лежит на нарах, укрытый до подбородка шинелью. Его трясет. Измученные болью глаза кажутся огромными на побелевшем и заострившемся лице.

— Садись, старшина!

Гречко садится на краешек табурета, деликатно откашливается в кулак.

— Не полегшало вам, товарищ ротный?

— Полегшало! — усмехается Васильев. — Вовсе встать не могу!..

В подвале полумрак.

В топке котла на небольшом костре тонко поет, закипая, облупленный чайник. В углу, стараясь не шуметь, Светлана развешивает на веревке выстиранные бинты.

Лейтенант Славин стоит у зарешеченного оконца.

А на улице день, синее небо, удивительная, пугающая тишина. И даже слышно по временам, как трещат в пробившейся траве полевые кузнечики.

Васильев, морщась, приподнимается на локте.

— Когда мы, старшина, отправляли связных?

— Репьева, товарищ ротный, на прошлой неделе еще. А Ваню Макарова — третьего дня.

— Значит, не прошли?

— Выходит, что так!

Васильев откидывается на подушку.

— Что делать будем, Денис Макарыч?! — снова спрашивает он, помолчав. — На сколько дней боеприпасов у нас?

— Дня на три.

Славин резко оборачивается.

— А мины ДЗ? Взрывчатка? Не разбазарили?

— Зачем же? Имеются.

Васильев, поглядев на Светлану и царапая ногтем шинель, тихо говорит:

— Что ж, три дня, стало быть, еще повоюем!

— А потом? — приподнимается, задохнувшись, Гречко.

Васильев кривит рот в недоброй улыбке.

— Сдаваться не будем! — Он яростно, в упор смотрит на Гречко. — А ты что, струсил?!

— Нет, товарищ ротный, но... может... я думал...

— Струсил! — как-то странно, нараспев произносит Васильев, медленно засовывает руку под подушку, вытаскивает пистолет, цедит сквозь зубы: — Струсил, старшина? Славин заслоняет Гречко.

— Владимир Петрович!

Молчание.

Васильев, уронив пистолет, рывком отворачивается к стене.

— А знаете что, товарищ старший лейтенант, — вдруг громко говорит Светлана и выходит вперед. — Вы отправьте меня связной, а?! Я пройду, правда-правда! Я все дни как раз про это думаю! — Она улыбается. — Я знаю, как надо пройти. Я придумала. Сперва по траншее, а потом не через дорогу, а направо, к бане, там рыли чего-то, еще до войны, и там лаз... А дальше уж и совсем просто! Я пройду, хотите?

Молчание.

Васильев, повернув голову, долго смотрит на Светлану, ловит воздух запекшимися губами, тихо говорит:

— Спасибо, дочка! Но только мы сутки еще подождем! Мало ли что может случиться!..

Скоро вечер.

Над немецкими траншеями стелются дымки походных кухонь.

— Заправляется, гад, — ворчит Симагин и с отвращением принимается грызть черствый сухарь. — Чтой-то он нынче поздно!

Старшина Гречко вытаскивает карманные часы, постукивает пальцем по стеклу.

— Пять часов, как в аптеке. В семь начинает, в пять на обед идет.

— Ровно в пять? — интересуется Мыльников.

— Без трех минут, — отвечает Гречко. — А ты собрался куда, Мыльников? В кино или, может, на танцы?

Мрачный бас из угла уточняет:

— Он со своей Галей прошвырнуться желает...

Мыльников беззлобно машет рукой.

— Да будет вам! Я почему про время спросил? Я все насчет Вани Макарова...

— Макаров не придет! — резко перебивает Славин, опус-

кает на колени автомат, который он разбирал и чистил, говорит негромко, строго, спокойно: — Он не придет. И нечего его больше ждать. Если б он сумел пройти хотя бы туда, мы б знали об этом!

— Это точно! — подтверждает со вздохом Гречко.

Секунду помедлив, он достает замусоленный список личного состава и, посплюнув чернильный карандаш, старательно рисует в списке против фамилии Макарова жирный крест.

— Вот так!

И все, замолчав, отводят глаза и с какой-то ненужной поспешностью начинают заниматься ненужными делами: чистят и надраивают пустые котелки, зашивают безнадежно порванные и прожженные гимнастерки, перекладывают и пересчитывают патронные диски.

Светлана сидит на полу возле разбитого, с оборванной крышкой рояля и, наклонив голову, скручивает выстиранные и высушенные бинты, запикивает их в сумку.

Закатное солнце пламенно сверкает в разбитых стеклах окон, зажигает пунцовые маки и рыжие подсолнухи на писанном заднике, золотит склоненную голову Светланы.

Сидевший на приступочке в дверях Гаркуша вопросительно и тревожно обводит взглядом хмурые лица товарищей, чешет в затылке и, что-то надумав и загадочно ухмыльнувшись, быстро поднимается и уходит.

— Мы-то все радовались, — с задумчивой протяжностью вдруг говорит Симагин. — Здорово, мол, в немецкое расположение вклинились! А выходит, что от всего нашего здоровья один аппендицит остался!..

Растерянные смешки.

Светлана быстро поднимает и снова опускает голову.

Славин долго молчит, горбится, постукивает себя по колену ребром ладони, потом говорит спокойно и медленно:

— Вот что, друзья... Есть такая поговорка на Востоке: «Если враги принимают тебя за льва — рычи!» Положение у нас трудное, очень трудное. Мы, в сущности, окружены. Но немцы думают, что сидим мы тут прочно и основательно, что у нас и людей полным-полно, и вооружение хоть куда! И эту их ошибку мы должны использовать до... — Он умолкает на мгновение, подыскивая слово, шевелит пальцами и, не найдя этого слова, а может быть, не считая больше нужным что-либо скрывать, говорит жестко, просто, с немного грустной улыбкой: — До самой последней минуты и самого последнего патрона. И это, черт возьми, будет нашей с вами победой... Да! Вот и все, собственно, что я хотел вам сказать! Если у кого есть вопросы — пожалуйста!..

Молчание.

— Нет вопросов?

Старшина Гречко, оправив гимнастерку, говорит вежливо, словно извиняясь:

— Газет мы давно, товарищ парторг, не читали! Оттого и...

— Это точно! — подтверждают разом несколько голосов. Гречко разводит руками.

— Ну и нервные тоже, конечно! Война!

Тоненький Мыльников задумчиво шмыгает носом:

— От нервов, говорят, очень исключительно рыбий жир помогает!

Он произносит эти слова с такой наивной и комической важностью, они так неожиданны, эти слова, что (как ни старайся) просто невозможно удержаться от смеха.

— Мыльников! — раздается озорной крик. — Эгей, Мыльников!

В дверях зала стоит Гаркуша. В руках у него пачка писем. Он хитро щурится, подбегает, пригнувшись, к Мыльникову, трясет у него перед носом большим голубым конвертом.

— А ну, давай пляши, солдат. Галя твоя тебе письмо отписала! Пляши давай!

— Будет врать! — и веря, и не веря, бормочет Мыльников.

— Пляши, говорю!

Гаркуша легонько прихлопывает в ладоши.

— Барыня, барыня, сударыня-барыня... Ай, жги, Мыльников, жги, говори!..

— В чем дело, Гаркуша? — строго и в то же самое время с откровенным любопытством спрашивает Славин. — Что за письма у вас?

Гаркуша вытягивается.

— Обнакновенные письма, товарищ лейтенант! С почты! Которые недоставленные, которые невостребованные. Гражданские, одним словом. С мирного еще времени, — поясняет он, мотнув головой. — Их там, на огневой, у нас сколько хошь!..

Мамакаев решительно тянет руку.

— Ну-ка, дай почитать!

И еще следом тянутся несколько рук.

— И мне!

— И мне давай!

Гаркуша вопросительно смотрит на Славина.

— Разрешите, товарищ лейтенант?

Славин неопределенно морщится.

— Вообще-то, видите ли, чужие письма читать не полагается, но... — Он машет рукой. — Можно! Разрешаю!

Гаркуша, просияв, поднимает над головой раскрытую веером пачку конвертов.

— Подходи по одному!

Он раздает письма, сыплет направо и налево прибаутками:

— Пишет Мыльникову Галя, дорогая его краля!.. Держи, Мыльников!.. Мамакаев Джемалдин — город Нальчик, дом один... А вот письмо для старшины — агромадной ширины...

Он останавливается перед Симагиным.

— Гражданин начальник, товарищ Симагин, вам какое письмо желательно будет? Голубое или розовое? Деловое или, извиняюсь, личное?

Симагин усмехается.

— Ты мне лучше денежный перевод давай. И чтобы сумма поболе!

— Пож-жалуйста! — поет Гаркуша. — На сто тысяч перевод с получением через год! Бери, не жалко!..

Он подходит к Славину, смущенно улыбается.

— Почитаете, может, товарищ лейтенант? Одно письмо у меня как раз и осталось! Хотите?!

И Славин тоже улыбается — виновато и смущенно, негромко говорит:

— Ладно. Оставьте. Я посмотрю.

Гаркуша доверительно склоняется к плечу Славина.

— А ежели, товарищ лейтенант, вам это не понравится, так я другое доставлю, вы только скажите!..

Тишина. Она прерывается лишь негромким бормотанием, вздохами, шуршанием бумаги.

Защитники дома «На семи ветрах» — истекающее кровью, изнуренное голодом подразделение — читают письма. Чужие письма. Шевелятся обветренные, потрескавшиеся губы, беззвучно произнося слова, обожженные пальцы медленно движутся по строчкам, то мрачнеют, то смеются воспаленные от бессонницы и дыма глаза. Пронзительным майским вечером, в двухстах метрах от немецких траншей, зажав автоматы в коленях, солдаты читают мирные письма.

Лейтенант Славин хмыкает:

— Вот так задачу мне задали! Продавать Буренку или себе оставить? Прямо и не знаю, что посоветовать!..

И немедленно, подхватывая эту игру, откликается Мыльников:

— А мне пишут, что Анюта, внучка моя, двоих родила.

Девочку и мальчика. Мальчика в честь меня Игнашей хотят назвать!..

— Ты что за письмо мне дал?! — гневно наступает старшина Гречко на Гаркушу. — Нет, ты что за письмо, бисов сын, мне подsunул? Всем людям письма как письма, а мне...

Он читает вслух, запинаясь на каждом слове:

— «Уважаемый коллега! Вы слишком снисходительны к Дженкинсу, полагая, что его концепция ошибочна только в вопросе об эволюции родовой миграции».

Хохот.

Симагин мрачным басом сообщает:

— А у нас, на тринадцатой-бис, вдвое добыча повысилась. Всем премии дали. Меня лично путевкой в Ялту премировали!..

Кто-то мечтательно вздыхает:

— Я был в Ялте. В Ялте хорошо!..

И снова тишина.

Солдаты читают письма. Это не смятые, без марок, военные треугольники со штемпелями полевой почты, написанные наспех на клочках случайной бумаги, — это настоящие письма, в плотных конвертах, с марками, солидные довоенные письма, написанные подробно, неторопливо и обстоятельно.

— Женюсь! — гортанно вскрикивает Мамакаев, поглощенный доставшимся ему письмом. — Честное слово, женюсь на ней!

— Это на ком же? А? Джемалдин? — интересуется Гаркуша.

— На ней! — бушует Мамакаев. — На ней, что письмо мне прислала!

Он встает.

— Слушайте!..

Щелкает выстрел. Сыплется штукатурка, летят стекла, дымится в лучах закатного солнца кирпичная пыль.

Но Мамакаев только отмахивается.

— Заткнись, глупец!.. Слушайте все, что она мне пишет!.. — Он держит письмо в вытянутой руке и, сверкая глазами, напряжив скулы, очень громко и не очень внятно читает: — «Любимый мой, единственный! По ночам, когда нет сна, я лежу и думаю о тебе. Помнишь, у Лермонтова: «За все, за все тебя благодарю я...»

Светлана, вздрогнув, поднимает голову.

В глазах у нее недоумение и испуг.

Мамакаев читает:

— «...Ах, как это верно! Вот и я за все тебя благодарю:

и за то, что ты живешь на земле, и за то, что ты меня полюбил, и за то, что ты сделал так, что я тебя полюбила, и за нашу встречу, и даже за нашу разлуку»...

— За что, за что? — недослышав, спрашивает Гаркуша.

— За нашу разлуку...

— Вы читайте помедленнее, Мамакаев! — просит Славин. Мамакаев стучит себя кулаком в грудь.

— Я не могу медленнее! Меня слезы душат!..

Оглядевшись, он решительным жестом протягивает письмо Светлане:

— Читай, дочка, у тебя лучше получится! Читай им, пускай все слышат, как она меня любит!

Светлана берет письмо, пробегает глазами неровные карандашные строчки, глухо, без слез, всхлипывает.

Все смотрят на нее.

— Читайте, товарищ санинструктор! — говорит Славин. — Читайте, пожалуйста.

— Читай, — горделиво приосанившись, требует Мамакаев.

Светлана читает:

— «Скоро я приеду к тебе. Это будет в девять вечера — я выучила наизусть расписание. Ты не встречай меня, я хочу сама найти твой дом. Я выйду с вокзальной площади на Малую Садовую, остановлюсь на минутку возле аптеки, прочту смешное объявление — ты мне о нем рассказывал: «Во избежание гриппа не чихайте друг на друга» — и нарочно буду очень долго и громко смеяться...»

Светлана опускает письмо, прикрывает глаза ресницами.

— Читай, читай!.. — говорит Мамакаев.

— Читай, сестрица! — просит Мыльников.

Светлана, тряхнув головой, читает:

— «...А потом — через мост, по линии автобуса до самого конца, до поселка УПЗ, Слободской улицы и твоего дома. А потом, — боже мой, у меня даже сейчас бьется сердце, когда я пишу об этом, — потом я подойду к твоей двери и позвоню, как ты учил меня: три коротких звонка и один длинный, три коротких и длинный, и войду, и скажу: «Здравствуй, мой любимый, мой единственный, я пришла к тебе, нам теперь не страшна никакая беда!..»

Вспыхивает осветительная ракета.

И почти сразу же, следом, гулкий удар взрыва сотрясает дом, и на мгновение от взорванной земли, вставшей стеной перед окнами, в зале становится темно.

— По местам! — командует Славин. — Следить за дорогой!..

Убегает Гаркуша.

Треск вгоняемых в автоматы патронных дисков, хлопки одиночных выстрелов, захлебывающееся тиканье пулеметов.

Мамакаев, припав к автоматному ложу, кричит Светлане:

— А ты читай, дочка! Читай, я злее буду!..

Грохот взрыва.

— Там ничего нет больше! — говорит Светлана.

— Неправда! Есть, читай!

— Читайте, товарищ санинструктор! — почти приказывает Славин.

Тарахтит пулемет. Ему поддакивают автоматы. Рвутся мины, гудят и раскачиваются телеграфные столбы с мотками оборванной, спутанной проволоки.

И, освещаемая минометными вспышками, громко, чтобы грохот боя не заглушил ее слов, делая вид, что она читает письмо, Светлана говорит:

— А если мы не встретимся, ты не тревожься, я дождусь тебя! И моя любовь, моя верность, моя надежда будут всюду с тобой — и в походе, и на привале, и в бою! Я дождусь тебя, любимый, сколько бы ни длилась разлука, и уже не я, а ты приедешь и позвонишь — три коротких звонка и один длинный, и войдешь, и скажешь: «Здравствуй, вот я и вернулся, как хорошо, что ты дождалась меня!..»

— За дорогой, за дорогой следите! — кричит Славин. Гремит бой.

В разбитом зеркале, укрепленном наклонно на зарешеченном подвальном оконце, отражается фигура молоденького солдата в сапогах, в ушитой в плечах шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, в лихой не по размеру пилотке, из-под которой выбиваются на лоб светлые волосы.

Это Светлана.

Она с интересом разглядывает свое отражение, делает строгое, неприступное лицо, сурово сдвигает брови и тут же, не выдержав, показывает себе язык.

И все, кто находится в эту минуту в подвале, молча наблюдают за ней.

Светлана, поправив пилотку, оборачивается. Она видит устремленные на нее тревожно-вопросительные взгляды и спокойно, может быть чуть-чуть слишком спокойно, говорит:

— Я готова! Пожалуйста!

Славин, нагрев сургуч на фитиле, вставленном в гильзу, запечатывает лежащий на столе толстый пакет, заклеивает его сургучом и отдает Светлане.

— Командующему дивизией — генералу Дидько, в собственные руки.

— А про что тут написано? — наивно интересуется Светлана.

Васильев усмехается:

— Про все! И про тебя тоже!

Он протягивает Светлане горячую исхудавшую руку.

— Ну, в добрый час, дочка, прощай!

— До свидания, товарищ старший лейтенант!

— И запомни, — говорит Васильев, не выпуская Светлану руку. — Если ты пройдешь...

— Я пройду!

— Если ты пройдешь, — повышает голос Васильев, — то не возвращайся. Останешься у Дидько! — И, предупреждая возражение Светланы, он строго грозит пальцем: — Это приказ! Понятно?

— Понятно, товарищ старший лейтенант!

— Ну, еще раз прощай, санинструктор! — говорит Васильев и отпускает наконец руку Светланы. — Иди! До выхода из траншеи тебя Гаркуша проводит. Не пугайся, кстати, если мы тут, чтоб фрица отвлечь, небольшой шурум-бурм устроим! — Он устало прикрывает глаза: — Иди!

И когда Светлана, молча попрощавшись со всеми, в сопровождении Гаркуши выходит из подвала, он, ткнувшись головой в подушку, произносит глухо и страстно:

— Пусть она пройдет! Господи! Пусть она пройдет!

Светлана, Гаркуша и Гречко стоят в сенях, у двери на улицу.

Сумерки. Тишина.

— Можно идти? — шепотом спрашивает Гаркуша.

— Обожди!

Гречко сует Светлане в карман шинели пачку мягких фронтовых треугольников.

— Ребята просили — передашь там, на почте... И еще...

— Конфеты! — удивляется Светлана.

— Леденцы, — смущенно объясняет Гречко. — Погрызешь, если что!

И снова наступает молчание.

— Интересно, — задумчиво говорит Светлана и осторожно похлопывает себя ладонью по груди, где под шинелью и гимнастеркой спрятан запечатанный сургучной печатью пакет. — Интересно, что они там могли про меня написать, как вы думаете?

— Лишнего не написали, не беспокойся! — неопределенно отвечает Гречко.

Тишина. Поскрипывает в проржавленных петлях дверь. Светлана зябко подергивает плечами.

— А сколько времени осталось еще? Минуты три еще есть?

— Пять минут!

— Ой, ну тогда я сейчас!.. Тогда погодите, сейчас я вернусь!

И, прежде чем Гречко с Гаркушей успевают что-нибудь сообразить, Светлана, нашарив в темноте перила, бегом устремляется по лестнице на второй этаж.

— Пропадешь! — доносится снизу. — Эй, пропадешь! Слышишь?

Но Светлана уже наверху.

Она толкает дверь и входит в знакомый коридор.

Он все такой же — темный, длинный, неудобный. И все так же настезь распахнуты двери в комнаты, но теперь за этими дверьми — провал, пустота, лохмотья скрученного взрывом железа, обнаженные стропила с повисшими на них тряпками, бумагой, кусками ободранной штукатурки.

А комната Игоря цела, только выбито, вырвано «с мясом» окно и сквозь дыру в потолке безмятежно смотрит вечернее небо с хлопьями облаков и далекими звездами.

Светлана, пригорюнившись, подперев щеку ладонью, стоит на пороге.

Тихо-тихо шуршит ветер разбросанной по полу бумагой.

Светлана слушает, смотрит, осторожно делает несколько шагов вперед, останавливается возле книжной полки и вдруг, улыбнувшись, говорит вслух:

— Я хотела что-нибудь взять на память, но я ничего не возьму, потому что я вернусь. До свидания!

И, покивав по очереди книжной полке, письменному столу, кровати, альпинистскому снаряжению, она возвращается в коридор, выходит на лестничную площадку и скатывается, громыхнув сапогами, по лестнице вниз.

Гречко и Гаркуша в ожидании Светланы, присев на корточки, курят, зыбкий красноватый огонек, прячась в ладонях, переходит от одного к другому.

— Ну, вот и все! — говорит Светлана. — Пора?

Гречко в последний раз щелкает крышкой карманных часов.

— Теперь пора!..

И, точно в ответ на его слова, по соседству, в помещении сберкасы и почты, хриплым лаем заходится пулемет.

— Пошли! — отчаянно выкрикивает Гречко, и две тени,

метнувшись в полуоткрытую дверь навстречу огню и ветру, мгновенно пропадают в вечерних сумерках...

Бой продолжается всю ночь.

Перед рассветом он ненадолго стихает, а с восходом солнца, в семь утра, как всегда, возобновляется с прежней силой.

Ухает и дрожит земля.

Захлебывается пулемет.

— Ленту! — хрипло кричит Гаркуша. — Ленту, Митя, давай...

И снова припадает к пулемету. И над его головой, не тронутая ни гарью, ни копотью, сияет на дверце несгораемого сейфа медная дощечка с надписью: «Страховое общество «Россия».

Гремит бой.

Текут из распоротых мешков тонкие струйки песка.

Плача, посылая пулю за пулей, лихорадочно твердит Мамакаев:

— За нашу дочку сто подлецов положу!.. Тысячу подлецов положу, сволочи!.. Тысячу подлецов положу!..

В зал, пригибаясь, весь в саже, в бурой кирпичной пыли, вбегает Гаркуша, взмахивает руками.

— Ленты кончились... Все!

Он плюхается на шинель возле Мамакаева, хватая чей-то пустой автомат.

— Дай патрончика, Джемалдин!

— Убью! — скрипит зубами Мамакаев. — Не смей со мной рядом лежать, убью!..

— Я же невиноватый! — морщится, точно от боли, Гаркуша. — Я в траншее оставался, как ротный велел. А она ушла, все честь честью. А тут и началось... Я потом гляжу на дорогу — одни воронки!..

Грохот взрыва.

Бесшумно и медленно, как во сне, как песок в песочных часах, оплывает, оседает стена и, качнувшись, обрушивается в пустоту.

Дымится кирпичная пыль.

Гречко поднимается во весь рост, обеими руками обхватывает живот, и черные пальцы сразу становятся красными.

Но на лице Гречко — ни испуга, ни боли, одно лишь изумление.

— Вот это уж зря! — говорит Гречко. — Совсем это зря!

Не пригибаясь и не таясь, вскинув голову, будто прислушиваясь к чему-то, что слышно теперь ему одному, он проходит чугунными шагами через весь зал, поднимается

на сцену и тяжело падает, цепляясь руками за писанный маслом задник.

— Зря! — шепчет он деревенеющими губами.

Трепчат автоматные очереди.

Гречко неподвижно лежит на холщовом заднике, и вокруг него, ставшие вдруг живыми, весело пылают ярко-красные маки и золотые подсолнухи, освещенные дымным утренним солнцем...

— Товарищ старший лейтенант! — докладывает Гаркуша. — На сегодняшнее число из личного состава роты имеется в наличии девять человек!..

Васильев берет список, проглядывает его, покачивает головой.

— Вот не знаю, товарищ ротный, — доверительно, понижив голос, говорит Гаркуша, — как санинструктора числить? Пропавшей без вести или как?

— Не зови ты меня «ротный»! — огрызается Васильев. — Какой я теперь, к чертовой бабушке, ротный?!

Он тщательно складывает список пополам, потом еще раз и еще раз, пока в руках у него не остается маленький бумажный квадратик.

Здесь, в подвале, находятся сейчас все уцелевшие защитники дома «На семи ветрах», весь личный состав бывшего подразделения, кроме лейтенанта Славина и Мыльникова.

За оконцем тяжкая тишина, глухая ночь. Но никто не спит.

Единственная, набранная из последних остатков сигарка переходит по цепочке из рук в руки, и пока один курит, другие деликатно отворачиваются, облизывают языком шершавые губы и глотают слюну.

Отворяется дверь — тяжело дыша, в накинутых на плечи маскхалатах, вваливаются Славин и Мыльников. Задрожав, мечется из стороны в сторону пламя коптилок, пляшут по стенам и потолку тени; и все глаза испытующе, но без особого, впрочем, интереса обращаются на вошедших.

— Товарищ старший лейтенант! Разрешите...

— Ну-ну? — нетерпеливо перебивает Васильев. — Что там?

— Не пройти!

— Никак не пройти?

— Никак не пройти.

Васильев сжимает в кулаке бумажный квадратик и, расжав пальцы, роняет его на каменный пол. Потом он снимает часы, кладет их перед собой на табурет и, неожиданно оживившись, почти весело говорит:

— Значит, товарищи, решено? Устроим фрицу напоследок детский утренник с фейерверком и танцами!

— А что ж! — ухмыляется Симагин. — Помирать, так с музыкой!..

— Подождем помирать! — сердито говорит Славин.

— До семи подождем! — соглашается Симагин.

Тишина.

Покряхтев, Васильев осторожно приподнимается, спускает ноги на пол.

— Вы куда?

— Встать хочу.

Славин из темноты вяло советует:

— Не надо, Владимир Петрович, хуже будет.

Васильев усмежается:

— Хуже не будет!

Закусив губы, тяжело опираясь, он встает, мучительно улыбается. Кажется, что он вот-вот упадет. Но он не падает. И даже делает несколько шагов. И останавливается. И улыбается.

И в это мгновение отворяется дверь — и входит Светлана.

Она босиком, разорванная шинель заляпана кровью и грязью, волосы торчат во все стороны, за плечами болтается чем-то туго набитый и тоже заляпанный грязью вещевой мешок.

— Товарищ старший лейтенант! — звонко говорит Светлана и очень браво прикладывает руку к непокрытой голове. — Санинструктор Ивашова явилась!..

Васильев смотрит на нее... и падает.

Он падает ничком прямо к ее ногам, и Светлана, охнув, бросается к нему, становится на колени, расстегивает гимнастерку, прислонив ухо к его груди, слушает, бьется ли сердце, одобрительно хмыкает и, подняв голову, начинает деловито и спокойно, как ни в чем не бывало, распоряжаться:

— Ребята, быстренько поднимете его и положите на койку... И свету, свету побольше! Весь свет, какой есть, давайте сюда!..

Васильев лежит с мокрой тряпкой на лбу, устало и умиротворенно вздыхает. Рядом с ним на койке сидят Светлана и Славин.

За оконцем неохотно и неотвратимо светает. Тянет предутренним холодком. И уже свистит какая-то ранняя птица, безмятежно попрыгивая по колючей проволоке.

Смутно плещется и звенит вода — это у бака над деревянной бадьей, сливая друг другу на руки, старательно и степенно умываются солдаты, фыркают, приглаживают мокрые волосы, надевают чистые белые рубахи из госпитальных запасов.

— Он так и сказал? — тихо спрашивает Васильев. — Не могу, мол, дать сейчас ни одного человека?

— Ага! — кивает Светлана. — Так и сказал. И еще он сказал: передайте, сказал он, старшему лейтенанту Васильеву, что я им горжусь!

— Спасибо!

— А еще он велел нам держаться! Продержитесь, говорит, хоть сутки! А потом...

С торжествующей и загадочной улыбкой Светлана развязывает вещевой мешок, достает большую, украшенную гербом шкатулку, бережно открывает ее и протягивает Васильеву.

— Вот что он прислал!

В шкатулке на сафьяновом дне лежат наградные листы и несколько коробочек с орденами.

— Это нам? — со странным смешком осведомляется Славин.

— Вам!

— Мда-а! — цедит Васильев и, покачав шкатулку на ладони, точно проверяя ее вес, равнодушно откладывает ее в сторону, облизывая языком губы.

— Покурить бы!

— Ой, Владимир Петрович, я ж забыла совсем! — громко вскрикивает Светлана.

И все невольно оборачиваются.

Светлана снова запускает руку в вещевой мешок и достает нераспечатанную пачку папирос «Казбек».

— «Казбек», — восторженно шепчет Мамакаев и закатывает глаза. — Женюсь на тебе, дочка.

Славин ногтем распечатывает пачку, нюхает ее зачем-то, берет себе одну папиросу и передает пачку дальше.

И все осторожно берут из пачки по одной папиросе, закуривают неторопливо, с достоинством, едва касаясь губами мундштуков.

— Ах, хорошо! — с наслаждением выдыхает дым Васильев, откинув голову на подушку. — Откуда такая роскошь?

Светлана пожимает плечами.

— Украла, товарищ старший лейтенант!

— Что-что?! — поперхнувшись, кашляет и задыхается Васильев. — Украла? Где? У кого?

— У генерала! — нимало не смущаясь, с некоторой даже гордостью объясняет Светлана. — У него папирос много. Пачек десять, наверное. Я одну в шинель и сунула, когда его к телефону позвали!..

— Правильно сделала! — веско говорит Симагин и, затаившись еще раз и загасив папиросу, возвращается назад, к баку, кивает Огольцову: — Лей, Митя!..

...Звенит вода.

Фыркает и отдувается Симагин.

Васильев пристально, улыбаясь одними глазами, смотрит на довольную Светлану, качает головой.

— Ах, дочка, дочка! Как же это ты генерала обчистила?! Ну а спрашивал он у тебя про что-нибудь?

— Спрашивал. Сколько коммунистов у нас, спрашивал.

— А ты что сказала?

Светлана поджимает под себя босые ноги.

— Соврала. Сказала, что все.

Славин, улыбнувшись, говорит негромко и твердо:

— А вы не соврали. Нет. Все правильно — здесь все коммунисты!

Тишина.

На немецкой стороне, совсем рядом, запицало и забор-мотало радио.

Васильев с тревогой бросает взгляд на часы — половина седьмого. Светлана поднимается, встряхивает головой, нерешительно подходит к баку.

— Ребята! А ребята!

— Ты чего? — смотрит на нее Огольцов.

— А мне... мне можно умыться?

Огольцов со смешком, критически оглядывает Светлану.

— Да уж, хороша! Сапоги-то где потеряла?

— Я их не потеряла. Я их сбросила, как назад ползла. Они мне велики были, спадали, только мешались!

— Совсем еще хорошие сапоги! — вздыхает Огольцов и наполняет ковшик водой. — Ладно, давай солью.

Светлана растерянно отступает.

— Нет, нет, я сама... А вы отвернитесь, хорошо? Можно так, товарищ старший лейтенант?

Васильев смотрит на часы:

— Хорошо, дочка. Можно! Только ты поскорее!..

Звенит и плещет вода.

Молча, не шевелясь, с напряженными лицами, сидят солдаты и смотрят, смотрят не отрываясь в узкое зарешеченное оконце, за которым все ярче разгорается их последнее утро.

Автоматная очередь.

— Скорее, дочка! — глухо говорит Васильев.

— Сейчас, сейчас!

Мыльников, не выдержав, закрывает рукой глаза.

Мрачно жует Мамакаев давным-давно докуренную до мундштука папиросу.

Издали, охватывая небо и землю, прокатывается непонятный и грозный гул.

— Уже! — говорит Светлана.

Она стоит с порозовевшим, чистым и ясным лицом, словно облитая вся, с головы до ног, веселым утренним солнцем, в солдатских штанах и ослепительно белой, с распахнутым воротом и закатанными рукавами рубашке.

И все молча смотрят на нее. Орудийный залп.

— По местам! — говорит Васильев.

Сотрясается дом «На семи ветрах» от яростного и глухого, всеокрушающего орудийного грома.

Воющий рев пикирующих бомбардировщиков.

Но все, по-прежнему не двигаясь, смотрят невидящими глазами на Светлану и прислушиваются в то же время с внезапно вспыхнувшей в измученных, но не сломленных душах надеждой к тому удивительному и страшному, что происходит в эту минуту на воле.

Грохочут тяжелые гусеницы устремившихся на прорыв танков.

Бьет артиллерия.

И, все нарастая, приближаясь, катится долгожданное, могучее, остервенелое и радостное:

— Ур-ра-а-а!..

— Наши! — кричит Светлана. — Товарищи, дорогие мои, да ведь это же наши!..

...Они стоят на улице, на белом свету, под открытым небом, и кричат, и машут руками, и смеются, и плачут.

Мимо них, облепленные орудиями десантниками, проносятся по дороге танки и самоходные орудия — вперед, в наступление!

Мимо них пробегает пехота — вперед, в наступление!

Летят, раскалывая грохотом небо, самолеты — вперед, в наступление!

И Гаркуша, задыхаясь, читает срывающимся голосом:

Вперед, в наступленье, товарищи-
братья,
Вставай, подымайся в суровый поход.
А фрицам — погибель, а фрицам —
проклятье,
От нашего гнева никто не уйдет!

И тишина. Сумерки.

Они стоят, живые, во дворе под старой березой, перед невысоким холмом братской могилы.

Гаркуша читает:

Ужасная мина мне стукнет в колено,
И кровью горячей уж я изойду,
Но знайте же, фрицы, что, хоть и
калека,
Я все-таки в ваши Берлины приду!..

Сияет над фанерным щитом с именами погибших вырезанная из жести пятиконечная красноармейская звезда.

Поблескивают на груди у живых, и у Светланы тоже, новенькие звездочки — ордена.

Симагин и Славин с двух сторон поддерживают под руки Васильева.

Гаркуша читает:

С своим автоматом до рейхстага
дойду я,
И Гитлеру пулю всажу я в живот
За нашу страну, за Сосновку родную,
Где мама моя дорогая живет!..

Со стороны шоссе доносятся гудки автомашин, звонкие, точно плывущие по вечернему воздуху голоса, шарканье, бряканье, лязг, смех, обрывки песен.

Гаркуша читает:

А вы, дорогие товарищи наши,
Что пали за Родину в грозных боях,
Мы вас не забудем, товарищи наши,
И жить вы останетесь в наших
сердцах!..

Васильев вскидывает руку с револьвером.

Светлана, покосившись на него, тоже вытаскивает из кармана свой маленький «вальтер», спускает предохранитель. Мамакаев, Мыльников и Симагин поднимают автома-
маты.

Залп.

— Прощайте, товарищи! — тихо говорит Светлана.

Духовой оркестр на шоссе играет марш.

Это шагает в первом ряду потрепанной пехотной дивизии потрепанная музыкальная команда и самозабвенно, полузакрыв глаза, впервые, быть может, за все эти месяцы, играет громкий торжественный марш.

— Марш, вперед! — поют серебряные трубы.

— Вперед, вперед! — стучат барабаны.

— Вперед, марш, марш! — задорно свистит флейта-пиколо.

И все идущие, бегущие, едущие, услышав звуки этого марша, невольно подтягиваются, распрямляют спины и расправляют плечи, улыбаются, молодежато приосаниваются и подстраиваются в такт маршу.

— Ну, пошли! — говорит Васильев и, выдохнув воздух, притягивает к себе за плечи Светлану. — Прощай, дочка! Счастливо тебе оставаться! Спасибо за все!

— До свидания, Владимир Петрович!

— Все! — говорит Васильев и отворачивается.

Жесткие руки тянутся к Светлане.

— Прощай, дочка!

— Спасибо, дочка, вернусь — женюсь!

— Будь жива-здоровая, сестрица!..

Гремит издалека веселый и торжественный марш.

Девять человек — горстка солдат, все, что осталось от роты старшего лейтенанта Васильева, — уходят в сумерках по шоссе, уходят туда, вперед, к дальнему лесу, за который ухватилась война; уходят по шоссе, изрытому колдобинами и воронками, опутанному по обочинам колючей проволокой, щедро политому кровью, бензином и потом; уходят, мгновенно вливаясь в общий поток и растворяясь в нем.

А Светлана стоит возле разбитого крыльца разбитого дома и машет им вслед платком.

Все еще гремит в отдалении веселый марш.

— Эй, солдатка? — окликает Светлану молодой, озорной голос. — Кого ждешь? Пошли с нами, солдатка!

— А вы куда?

— На Берлин!

Светлана смеется.

— Далеко!

И уже не один, а несколько голосов с разных сторон, почти одновременно, и грозно и весело отвечают Светлане:

— А ничего, дойдем!..

Глава пятая

Диктор по радио говорит:

— Вчера, четвертого августа, на энском направлении наши войска, продолжая успешно развивать наступление, освободили от немецко-фашистских захватчиков районные центры: Масловку, Воробьево, Кыз, Стрепетово, Лоскутное, Красную Пустошь — и уничтожили в ходе боев большое количество живой силы и техники противника! Наступление.

...Ранний вечер.

Дом стоит в лесах. Присланный штабдивом саперный взвод с помощью санитаров, легкораненых и выздоравливающих заделывает пробоины в стенах, латает крышу, вгоняет новые рамы в слепые окна.

Полощется над разбитым крыльцом, рядом с неведомо как уцелевшей надписью «Добро пожаловать», белый флаг, пересеченный красным крестом.

Во дворе на прежнем месте — под старой березой, в печальном соседстве с братской могилой — растянута на кольях большая палатка.

За деревянным столом, врытым в землю, группа раненых азартно забивает «козла». Их окружают плотным кольцом болячки — смеются, подают советы, спорят, громко и насмешливо обсуждают каждый ход.

А в помещении сберкассы и почты, снова ставшей дежуркой, свободные сестры и санитарки обступили Муську Кайгородскую.

Муська сидит в центре, на табурете. Лицо у нее в красных пятнах, растерянное, заплаканное, глуповато-счастливое.

— А еще какие родные есть у него? — спрашивает аптекарша Марья Петровна.

Муська мотает кудрявой головой.

— Не знаю я, Марья Петровна! Ну ничего я, девочки, не знаю. Люблю его жутко, и все тут!..

— Любишь?! — язвительно усмехается Тоня Бойкова и вздергивает острые плечи. — Такого? Да еще старого?! Да еще с дитями?!..

— Врешь ты все, врешь! — кричит Муська и сжимает кулаки. — Какого — такого?! Что ж он, не человек, что ли?! И ничего он не старый, никакой он не старый, просто в годах! А дети у него малые. Две девчонки, ласковые, вроде как он. Я им заместо матери-покойницы буду!..

Она снова начинает плакать. Крупные слезы катятся

по ее лицу, и она их не вытирает, не смахивает, только слизывает время от времени языком.

— Завтра, значит, едете? — интересуется Вера Смирнова. Муська шмыгает носом.

— Ага, завтра. Начальник товарищ Дронов в штабдиве был и документы все на меня выправил, и билеты... Очень он переживает за нас!

Вера вздыхает.

— Что ж, девочки, каждому свое счастье, умей только дожидаться!

Она подходит к окну, смотрит, улыбается.

— Вон, глядите-ка, Светлана ждала, ждала и дождалась все-таки!

Девушки, толпясь, подбегают к окну, смотрят.

Во дворе на бревнах, освещенные заходящим солнцем, сидят Светлана и широкоплечий, в сером больничном халате и калошах на босу ногу, вихрастый раненый.

Раненый сидит спиной к окну. Он что-то оживленно рассказывает Светлане, и Светлана ахает, всплескивает руками, недоверчиво и счастливо смеется.

— Дождалась! — говорит Муська.

— Нет, а все-таки я до сих пор не могу понять, как же вы сразу узнали его?! — тормозит Светлана Суздалева.

Они сидят во дворе на бревнах, освещенные заходящим солнцем.

У Суздалева под больничным халатом стягивает грудь белый панцирь из гипса, бинтов и марли.

— Я запомнил имя и фамилию — Игорь Корнеев, — говорит Суздалев. — И когда нас познакомили, я сразу понял, что это он.

— Как странно! Я-то думала, что он сапер... А он разведчик!

— И хороший, черт его побери, разведчик! Отличный разведчик! Я очень жалею, что не успел с ним толком поговорить...

— Но вы сказали ему, что видели меня?

Суздалев улыбается.

— Да. Это я сказал.

— А он? Что он?

Суздалев молчит, подтягивает спадающую с ноги калошу, морщится, негромко произносит:

— А он ушел на задание. Готовилось наступление. Нужны были «языки». Он попрощался и ушел. Но глаза у него стали совсем голубыми. А были серые!

Он снова морщится.

— Я сделал только одну глупость... Я ведь был уверен, что вы ушли отсюда вместе с редакцией... И я сказал ему, чтобы он писал на адрес редакции! И не взял номера его полевой почты!..

Светлана задумчиво покачивает головой.

— А скажите, Вячеслав Павлович...

И вдруг, не договорив, она поспешно поднимается.

— Добрый вечер, Наталья Михайловна!

Наталья Михайловна, засунув руки в карманы халата, неторопливо сходит с крыльца, останавливается, коротким кивком отвечает на приветствие Светланы.

— Добрый вечер! Там Воронин, сестра, просит прочесть ему письмо!

— Иду, Наталья Михайловна.

Светлана, улыбнувшись Руздалеву, уходит.

Наталья Михайловна провожает ее взглядом, оборачивается к Суздалеву, язвительно щурится.

— Это не тот случай, капитан! На роль «пэпэжэ» она не подходит! Отправляйтесь-ка лучше в палату, слышите?!.. Ну?!

Суздалев стоит вытянувшись, руки по швам, «ест глазами начальство», отвечает негромко, отчеканивая каждое слово:

— А я, товарищ главный хирург, товарищ майор медицинской службы, чихал на ваши распоряжения с высокого дерева!

Наталья Михайловна отступает.

— Вы сошли с ума!..

— Я отвечаю любезностью на любезность! И не сверкайте на меня глазами. Что вы мне можете сделать? Выписать? Отправить на фронт? Так ведь только об этом я и прошу!..

Молчание.

Небо залито багровым закатом.

Наталья Михайловна, быстро оглядевшись, дергает Суздалева за вихор, тихо говорит:

— Нахал ты! И всегда был нахалом, еще в школе! Свалился тут на мою голову!

Она улыбается.

— Ну, чего ты злишься?

Суздалев, дерзко прищурившись, медленно говорит:

— А тебе не кажется, товарищ майор медицинской службы, что ты меня просто ревнуешь?

Наталья Михайловна, вспыхнув, меряет Суздалева презрительным взглядом.

— Нахал!

Она резко поворачивается и уходит.

Темнеет.

В синем небе загораются звезды.

И как всегда перед вечерним отбоем, и в палатке во дворе и в доме возникает особый, ни с чем не сравнимый, тревожный больничный шум: кашель, стоны, раздраженные, капризные голоса раненых, беготня санитарок и сестер.

— В палату, в палату! — зовет Суздалева с крыльца Вера Смирнова. — Спать пора, капитан! Вы что тут делаете?

— Думаю! — отвечает, не двигаясь, Суздалев.

Вера смеется.

— Утром будете думать. А сейчас спать надо! Утро вечера мудренее, капитан!..

Утро. Небо в тучах. Напоминая о близкой осени, ветер гонит по дороге первую облетевшую листву, треплет и сбивает косынки сестер, распахивает халаты раненых, хлопает белым флагом, висящим над входом в дом.

У выезда со двора на шоссе стоит трофейная, в невысказанных разводах камуфляжа, пустая автомашинка с откинутым брезентовым верхом.

Озабоченный Дронов что-то негромко наставительно втолковывает шоферу.

Рыжий, с васильковыми глазами, вертлявый раненый, прыгая на одной ноге, запекает дурашливым голосом:

Толпились у загса трамваи,
Там пышная свадьба была...

Хохочут раненые.

Кокетливо посмеиваются сестры.

Суздалев, примостившись на ступеньках крыльца, говорит стоящей рядом Наталье Михайловне:

— И так вот тоже было на войне.

— Как — так? — не понимает Наталья Михайловна.

— Я хочу сказать, что на войне не только стреляли. И не только плакали. На войне еще и смеялись. И даже довольно часто. И понять это очень важно, черт побери! Тот, кто не умеет смеяться, никогда не научится побеждать!..

Вера Смирнова перекладывает с руки на руку огромный букет полевых цветов, недовольно ворчит:

— Что-то они больно долго — так, между прочим, и на поезд опоздать можно!

— Бреют его, — говорит Тоня Бойкова.

— Лихачева?

— Ясно, Лихачева! Не Муську же!

В доме, в сенях, слышна какая-то возня, стук, кашель, потом широко распахивается дверь. Величественно, павой, выплывает Светлана и торжественно объявляет:

— Идут!..

Мгновенно смолкают разговоры, перешептывание, пересмеивание, встает Суздалев, и даже Дронов вытягивается у машины по стойке «смирно».

— Муська! — восторженно ахает Вера Смирнова.

На крыльцо выходит Муська. Она в белом вечернем Светланином платье, из-под которого нелепо торчат начищенные до металлического блеска сапоги. На груди у Муськи значок ГТО и медаль «За отвагу».

А рядом, криво улыбаясь, стоит гвардии сержант Андрей Антонович Лихачев. Пустые рукава гимнастерки аккуратно заправлены за ремень. Побрили Лихачева в спешке неудачно, и лицо его заклеено вместо пластыря квадратиками газетной бумаги и густо, до синевы запудрено.

— Здравствуйте! — громко и вызывающе произносит Муська, произносит так, словно всех здесь собравшихся она видит впервые. — Здравствуйте, товарищи!..

Вера Смирнова, растерявшись, сует ей в руки букет полевых цветов.

— Вот... Поздравляем, Тамара Григорьевна!

Медленно, гордо вскинув кудрявую голову и чуть напряженно улыбаясь, Муська сквозь примолкший строй провожающих проходит с Лихачевым по двору.

— Да-а! — вздыхает Суздалев, глядя им вслед. — Трудно ей будет!..

— И все равно, все равно счастливая! — тихо, с непонятной горечью отвечает Наталья Михайловна.

Суздалев удивленно смотрит на нее.

Муська сажает Лихачева в машину, садится сама.

Дронов — он явно собирался сказать речь, но в последнюю минуту почему-то раздумал — пожимает руку Муське, машинально протягивает руку Лихачеву и, тут же отдернув ее и смешавшись, растерянно бормочет:

— Ну, час добрый!.. Смотрите, чтобы все у вас в порядке было... Счастливо!..

Шофер заводит машину. Шумят провожающие.

И тогда Муська, пошептавшись о чем-то с Лихачевым, резко поднимается.

— Подождите!

Огромным усилием воли сдерживая слезы, глядя поверх голов провожающих, звонким, не своим голосом Муська говорит:

— Товарищи раненые и товарищи медперсонал! Особо — товарищ комиссар и товарищ главный врач! От имени гвардии сержанта товарища Лихачева Андрея Антоновича, сапера, героя войны, выражаю вам благодарность!.. — Подумав, она добавляет: — Желаем вам всем победы!.. А также вольнонаемной Ивашовой Светлане!..

Машина трогается с места.

Взлетают пилотки, косынки, платки.

Горько плачет Муська, уткнувшись лицом в плечо Лихачева.

Девушки — Вера, Тоня, Светлана — бегут рядом с машиной, что-то кричат.

— Вот как бывает на войне! — говорит Наталья Михайловна Суздадеву. — Сначала смеются. А потом плачут.

— И наоборот! — говорит Суздалев.

— И наоборот! — соглашается Наталья Михайловна.

С дороги доносится прощальный гудок, и машина, увозящая Лихачева и Муську, скрывается за поворотом.

Ночь.

В первой палате, в зрительном зале, тишина.

Раненые спят.

Слабо светится на маленьком столике в углу синий огонек дежурной лампы. Разрушенная в недавние дни обороны наружная стена затянута брезентовым полотнищем и театральным задником с маками и подсолнухами.

С дороги доносится ровный, незатихающий гул — это сплошным потоком движутся к фронту орудия и машины, и время от времени по стенам и потолку проплывают радужные блики от включенных на мгновение фар.

Светлана медленно идет по рядам между койками, останавливается у самой сцены, у крайнего — во двор — окна, возле койки, на которой лежит Суздалев.

Суздалев не спит.

Он лежит с открытыми глазами и смотрит на Светлану.

— Вы почему не спите, Вячеслав Павлович? — шепотом спрашивает Светлана.

— Не спится.

— Снотворное дать?

— Не надо. Лучше посидите со мной!..

— Не полагается! — говорит Светлана и садится.

По шоссе, громяхая, проходят тяжелые танки.

Светлана и Суздалев прислушиваются.

— Ух, силища! — шепчет Суздалев и яростно сминает

подушку. — А я лежу! — Он смотрит на часы, встряхивает их, прикладывает к уху. — Черт, остановились, что ли? Сколько на ваших, Светлана?

— Двадцать минут первого.

— Нет, идут.

— Скажите, Вячеслав Павлович, — спрашивает, помолчав, Светлана, — а какой он?

Суздаlev, вскинув глаза на Светлану, насмешливо улыбается.

— Замечательный!

Но Светлана, не принимая насмешки, серьезно кивает головой.

— Да. Он замечательный.

— Единственный! — продолжает поддразнивать Суздаlev.

— Да. Единственный.

— И незаменимый.

Светлана пожимает плечами.

— А разве есть заменимые? Нет, Вячеслав Павлович! И, знаете, я как-то особенно ясно поняла это здесь, на войне. Именно здесь, где один падает, а другой немедленно занимает его место... Занимает его место, но не заменяет его! Да разве может повториться... Разве могут быть еще у кого-нибудь такие же глаза, и такие же руки, и такой же голос?!

В зал фойе неслышно входит Наталья Михайловна, останавливается в дверях.

Суздаlev и Светлана не замечают ее.

Суздаlev пристально, не мигая смотрит на Светлану, тихо повторяет:

— Разве могут быть еще у кого-нибудь такие же глаза, и такие же руки, и такой же голос?!

— Сестра! — громким шепотом окликает Светлану Наталья Михайловна. — Зайдите ко мне. Я в дежурке!

Светлана вскакивает.

Наталья Михайловна поворачивается и уходит.

Светлана прижимает ладони к вспыхнувшему лицу.

— Попадет? — интересуется Суздаlev.

— Ох, наверное!

— Кстати, Светланочка, вы не знаете, — небрежно спрашивает Суздаlev, — кто у нее муж?

— Не знаю. Знаю только, что он чуть не каждый день пишет ей письма, а она их обратно отсылает!

Суздаlev задумчиво улыбается.

— Похоже на нее! Она и девчонкой, в школе еще, была такая — строптивая!... Мы в параллельных классах учились!

За окном громко трижды гудит машина, вспыхивает и гаснет свет фар.

Суздаев взволнованно приподнимается.

— Ну вот... до свидания, Светлана!

— Вы лежите, лежите, Вячеслав Павлович, сейчас я вернусь!..

— Все равно — до свидания! — медленно говорит Суздаев и старым, знакомым жестом вскидывает к плечу руку, сжатую в кулак. — До свидания, Светлана, до новой встречи!.. И пожелайте от меня Наталье Михайловне спокойной ночи!

В дежурке неярко горит керосиновая лампа.

Наталья Михайловна сидит за столом и что-то сосредоточенно пишет, бормочет, с громким стуком макает ручку в чернильницу.

Монотонно и усыпляюще тикает пузатый, без ножек, будильник, привязанный бинтом к ручке несгораемого сейфа.

Наталья Михайловна ставит наконец жирную точку, еще раз проглядывает написанное, отодвигает бумаги в сторону, поднимает голову и неожиданно вполне мирно улыбается Светлане.

— Что в палате?

— Все спокойно, Наталья Михайловна!

Наталья Михайловна выходит из-за стола, внимательно прислушивается к монотонному тиканью будильника, делает несколько шагов по комнате, останавливается.

— А что капитан? Жаловался вам, наверное, что я его на фронт не пускаю?

— Нет, он не жаловался. Он даже просил вам передать спокойной ночи!

Наталья Михайловна долго молчит, снова делает по комнате несколько шагов, подходит к окну, отогнув светомаскировочную штору, вглядывается в ночную темень и, не оборачиваясь, резко и решительно говорит:

— Ну хорошо! Можете идти, сестра! И передайте капитану... Нет, впрочем, ничего не нужно передавать!

Светлана возвращается в зал, на секунду задержавшись в дверях, быстро проходит к сцене, останавливается у койки Суздаева.

— Вот и я, Вячеслав Павлович!

Тишина.

Койка Суздалева пуста. Взбита подушка. Ровно застелено одеяло. Светлана, диковато оглядевшись, мчится через весь зал назад, пробегает полутемное фойе, влетает в дежурку, но и там тоже никого нет.

Со двора из открытого окна доносятся незнакомые негромкие голоса.

Светлана выбегает на крыльцо.

— Наталья Михайловна!

— Да?! — раздается из темноты.

Светлана, перемахнув через ступеньки, бежит к палатке, возле которой смутно белеют шапочка и халат Натальи Михайловны. И, только уже подбежав к старой березе, Светлана замечает, что Наталья Михайловна не одна.

Рядом с ней стоят незнакомая крупная простоволосая женщина и два маленьких худеньких мальчика, один из которых держит в руках курицу. Они, видимо, приехали издалека. У всех троих за плечами рюкзаки, а у ног женщины, на земле, лежит большущий, стянутый веревками узел.

— В чем дело, сестра? — строго спрашивает Наталья Михайловна.

Светлана, глотая от волнения слова, принимается сбивчиво объяснять:

— Вы понимаете, товарищ главврач, капитан Суздалев...

— Сбежал?! — даже не дослушав, вскрикивает Наталья Михайловна.

— Кажется... он...

— Я так и знала! — снова перебивает Наталья Михайловна и усмехается. — Я так и знала! Вот что за машина гудела! Ах, чудак! Да ведь я бы завтра все равно выписала его... Разве его удержишь?! Ну что за чудак!

— Когда бегут вперед, это прекрасно! — басит незнакомая женщина.

Наталья Михайловна, обернувшись к приезжим, говорит:

— Да, вот это и есть та самая Ивашова, о которой вы спрашивали!

— А-а, Ивашова, очень приятно! — улыбается женщина и протягивает Светлане руку. — Здравствуйте, товарищ Ивашова!

— Здравствуйте!

— Мы нынче в облисполкоме были. Встретили там некоего товарища Лаврентьева...

Светлана сердито морщит нос.

— Лаврентьев?! Слушайте, когда он наконец за сейфом придет?

— А он сказал, что теперь тут скоро опять откроют сберкассy и почту. И что если вы живы и сейф цел, то забирать его нет никакого смысла. И еще он велел, если вы опять-таки живы, передать вам привет.

— Спасибо! — все так же сердито говорит Светлана и, поглядев на стоящих в стороне невозмутимо молчаливых мальчиков, спрашивает: — А вы, собственно, к кому приехали?

Женщина смеется.

— А мы, собственно, к себе приехали. Домой. Епифанцева моя фамилия. Зоя Павловна Епифанцева. А это сыны мои, близнецы, Павлик и Мишка...

Распахивается дверь в доме.

На крыльцо выходит Дронов, щурится, вглядываясь в темноту.

— Кто тут есть? Свои?

— Свои! — отзывается Наталья Михайловна.

Дронов, узнав Наталью Михайловну по голосу, кивает головой, спускается вниз, говорит на ходу гулко и радостно.

— Друзья мои, собирайтесь, опять нам в путь-дорогу приказ!

— Куда?

— Туда — вперед!..

Диктор по радио говорит:

— Вчера, девятого сентября, на энском направлении наши войска, продолжая успешно развивать наступление, прорвали по всему фронту глубоко эшелонированную оборону противника...

Нескончаемым потоком, огибая дом «На семи ветрах», с песнями и грохотом, на машинах и пешком днем и ночью движутся по шоссе войска.

Светлана стоит у крыльца, скрестив на груди руки, и с волнением и любопытством смотрит на дорогу. Рядом, наподобие верных оруженосцев, стоят молчаливые братья Епифанцевы — Павлик и Мишка.

Во дворе на веревке сохнет выстиранное белье, весело бродит курица с цыплятами и какой-то старик без шапки и в валенках колет, покряхтывая дрова.

Открытая черная машина, ехавшая навстречу общему потоку — от фронта к городу, скрипнув тормозами, останавливается неподалеку от Светланы и мальчиков.

Сидящий впереди, рядом с шофером, человек в штатском, с загорелым лицом и прозрачными, будто выцветшими

шалыми глазами, привстав, очень радостно кивает Светлане седой головой.

— Здравствуйте, здравствуйте, красавица!

— Здравствуйте, — не слишком любезно отвечает Светлана.

Седой человек смеется.

— Не узнаете? Жаль! А ведь я даже загадал: если случится чудо и я, когда буду проезжать мимо вашего дома, встречу вас — значит, все будет хорошо! Вы тут оставались? Как вы уцелели?

Светлана пожимает плечами.

— А почему я должна была пропасть?

Эти простые слова приводят почему-то седого человека в неопишуемый восторг!

— Грандиозно! — восклицает он и толкает плечом невозмутимого шофера. — А?! Вы слышите, Коля?! А почему она и в самом-то деле должна была тут пропасть?! Грандиозно! Он встряхивает головой.

— И даже надпись осталась: «Добро пожаловать»! Прекрасно! Я обещаю, вам, красавица, всюду, где только возможно, мы снимаем надписи «Посторонним вход воспрещен» и заменим их на «Добро пожаловать»!

Светлана, просяив, протягивает обе руки:

— Ой, здравствуйте! Вот теперь я вас узнала!

Седой человек щурит шальные глаза.

— И вы вспоминали обо мне в тот вечер?

— В двадцать ноль-ноль? — улыбается Светлана. — Да, конечно.

Оглянувшись на шофера, седой человек через борт машины наклоняется к Светлане.

— Могу вам сказать по секрету: скоро, очень скоро вы снова вспомните обо мне!

Он откидывается на спинку сиденья.

— Прощайте, красавица!.. Поехали, Коля!

— Когда? — кричит вдогонку Светлана.

— Скоро! — слышится уже издалека. — Скоро, красавица!..

Тенью по земле проплывают в небе строем бомбардировщики.

— «Яки»? — спрашивает Павлик.

— «Яки»! — подтверждает Мишка.

Двигается от города к фронту бесконечный поток автомашин, бронетранспортеров, танков, самоходок, грузовиков. Весело, с посвистом поют солдаты:

Там девица гуляла,
Цвет калины ломала,
Чубарики-чубчики ломала!..

По краю дороги, лязгая и грохоча, проходит колонна танков.

— Светлана Андреевна!..

Светлана в недоумении озирается.

Голос, заглушенный ворчанием моторов и грохотом гусениц, доносится откуда-то с дороги.

— Светлана Андреевна!

— Как много у вас знакомых, — почтительно замечает Павлик.

— Очень много! — подтверждает Мишка.

Колонна танков проходит, и теперь становится видно, как из разбитой и залатанной «эмки», остановившейся на самой середине дороги, машет Светлане чья-то рука.

— Светлана Андреевна!..

Дверца машины открывается, и навстречу подбежавшей Светлане вылезает на дорогу редактор газеты «Вперед» Вольдемар Янович Петерсон.

— Товарищ полковник!

— Здравствуйте, Светлана Андреевна! — медленно говорит Петерсон и, сняв фуражку, чопорно и почтительно целует Светлане руку. — Здравствуйте, голубчик!

Они стоят возле «эмки» на дороге.

— Вы совсем, ну просто совсем не изменились! — говорит Петерсон, разглядывая Светлану. Разве что волосы отросли, да глаза стали строже...

Светлана качает головой.

— Ох, Вольдемар Янович! А мне порой кажется, что я на тысячу лет постарела!

— Нет, вы не изменились! — упрямо говорит Петерсон. — Я вообще, знаете ли, не верю, что люди меняются. Да, конечно, человек может многому научиться. И в человеке может вдруг открыться такое, о чем он и сам никогда не подозревал, особенно на войне. Но ни героем, ни подлецом не становятся! Человек или герой, или подлец!..

С проезжающего мимо грузовика орут под баян озорные голоса:

— Поедем, красотка, кататься!

— Я тридцатьчетверку люблю!..

Шофер «эмки», приоткрыв дверцу машины, демонстративно и недвусмысленно очень громко и часто зевает.

— Недели три назад, — говорит Петерсон, — заезжал к

нам в редакцию лейтенант... не помню фамилии... лейтенант-разведчик. Он спрашивал вас, Светлана Андреевна, и оставил у Долли Максимовны для вас письмо...

— Ну? — с замиранием сердца спрашивает Светлана и даже приподнимается на носки. — А где же оно? Где Долли Максимовна? Где редакция?

Петерсон, как-то странно сморщившись, тихо и отрывисто говорит:

— Я уезжал в штаб армии... вечером... А на город был налет... Тяжелая фугаска угодила в дом, где помещалась редакция... Прямое попадание... Погибли все... Все, кроме тех, кто был на задании, — Суздалева, Киселева... Все остальные погибли... А я сидел в штабarme и пил чай. На войне почему-то смерть щадит стариков!

— Нет! — кривит губы и трясет головой Светлана. — Нет! Нет!

— Долли Максимовна так и не узнала, что ее муж и сын живы... Вчера ей пришло наконец от них письмо... — говорит Петерсон. — Не плачьте, Светлана Андреевна... — просит он и плачет сам.

Останавливаются несколько женщин. Люди с изумлением смотрят на эту странную плачущую пару — сухонького пожилого полковника и невысокую, в штатском, девушку с боевым орденом на груди...

Встревоженно переговариваются, почесывая босые ноги, Светланины оруженосцы, близнецы Павлик и Мишка.

— Наверное, он ее за что-нибудь ругает, — высказывает предположение Мишка.

— Наверное, — соглашается Павлик.

На шоссе образуется «пробка». Гудят, гудят, кричат и ругаются шоферы, какой-то молоденький лейтенант, размахивая револьвером, мечется между машинами и бессмысленно выкрикивает одно-единственное слово:

— Немедленно! Немедленно!..

— Поедьте со мной, Светлана Андреевна! — просит Петерсон. — Мне очень нужны люди. Мы все-таки будем выпускать газету «Вперед» для армии, которая узнала, что это значит! Поедьте со мной!

— Я не могу, Вольдемар Янович! — глотая слезы, говорит Светлана. — Я должна ждать... Я обещала... Я напишу вам, я вам обязательно напишу... И, может быть, потом... Я не знаю... Но сейчас я не могу с вами поехать!

Тишина. Поздний вечер.

Комната Игоря. Дыра в потолке уже заделана, в разбитое окно вставлена новая рама, но стекло еще нет, и теплый легкий ветер колеблет пламя стоящей на столе фронтальной коптилки.

Громко тикают часы-будильник.

Светлана лежит ничком на кровати, уткнувшись лицом в подушку, плачет.

Епифанцева большими шагами ходит по комнате.

— Эх вы! — говорит она. — А я-то вас всем в пример ставила! И сынам моим, и Розанову-старик, и Владимирским — всем! Вот, говорила я им, учитесь, как надо любить и верить! А вы...

— Я устала! — тонким, жалобным голосом говорит Светлана. — Как-то вдруг, сразу, в одну минуту. Он не пишет и не пишет. И от мамы с папой ничего нет. И от бабушки. А я устала. Ну почему он не пишет?! И я ничего про него не знаю: где он, что с ним, какая беда у него приключилась...

— Какая беда? — удивляется Епифанцева.

— Еще давно... еще до войны...

Епифанцева, подумав, машет рукой.

— А-а-а, что-то я припоминаю... краем уха слышала... Ну только какая же это беда?! Диплом у него на год хотели отложить! Seriously, не правда ли?!

Тикают часы. Десять часов. Двадцать два ноль-ноль.

Медленно, помаргивая, загорается лампочка в настольной лампе.

Это так неожиданно и невероятно, что Светлана вскакивает, а Епифанцева, прижимая руки к груди, садится.

— Боже мой!

Лампочка гаснет.

Тишина. Тикают часы.

— Может, нам показалось? — шепчет Светлана.

Лампочка загорается.

И в ту же секунду в коридоре раздаются звонки — три коротких и длинный, три коротких и длинный.

— Кто это? — кричит Светлана.

— Это мальчишки, должно быть... балуются!

Громкий топот, восторженные вопли, стук в дверь.

— Ах, мальчишки!

— Да?

Врываются Павлик и Мишка.

— Свет! Свет! Видите — свет!

— Это вы звонили, мальчишки? — тревожно спрашивает Светлана.

Павлик и Мишка даже не успевают ответить.

Снова, громче и настойчивее, раздаются звонки — три коротких и длинный, три коротких и длинный.

Светлана выбегает в коридор.

Распахиваются двери в комнаты, полосы света падают на пол, и по этим полоскам, как по ступенькам лестницы, бежит Светлана, бежит, становясь на бегу красавицей, раскрывает входную дверь и, вскрикнув, как птица, вскинув тонкие руки, падает в объятия какого-то высокого человека в армейской шинели.

Ночь.

Непрерывным потоком движутся к фронту машины. Где-то очень далеко вспыхивают и гаснут лучи прожекторов.

Тишина в доме «На семи ветрах».

Только светится одно окно на втором этаже. Но вот и это окно гаснет.

Тишина.

Проходит несколько мгновений, скрипит в проржавленных петлях дверь, и на крыльце в чужой, накинутой на плечи шинели медленно выходит Светлана.

Она стоит на крыльце, скрестив на груди руки, полукрыв глаза, счастливо улыбается, и ветер треплет ее волосы, радужные блики фар проплывают по ее лицу, ночные звуки и шорохи окружают ее.

— Светлана! — зовет ее незнакомый голос из темного окна. — Спасибо тебе, Светлана!

Светлана сидит, слушает, улыбается.

Может быть, это просто эхо, а может быть, и в самом деле уже не один, а десятки голосов, знакомых и незнакомых, говорят ей:

— Спасибо, дочка!

— Спасибо, мамаша!

— Спасибо, сестрица!

— Спасибо тебе, Светлана! Как хорошо, что ты дождалась меня!..

В соавторстве с Ростоцким С. Я.

ПЬЕСЫ

«Вас вызывает Таймыр»

«Матросская тишина»

Вас вызывает Таймыр
Комедия-шутка в трех действиях

Действующие лица

ТОВАРИЩ ДЮЖИКОВ — приезжий с Таймыра
ИВАН ИВАНОВИЧ КИРПИЧНИКОВ — директор Черноморской
филармонии
ДЕДУШКА БАБУРИН
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРИШКО — геолог
ДУНЯ БАБУРИНА
ЛЮБА ПОПОВА
ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА КИРПИЧНИКОВА

В эпизодах заняты:

ПЕВИЦА
АККОМПАНИАТОР
ДЕЖУРНАЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ЭТАЖУ
МАТЬ ЛЮБЫ ПОПОВОЙ
АПОТ МИСЬЯН — радист первого класса
ЧЕЛОВЕК В КЛЕТЧАТОМ ПАЛЬТО
ТЕТЯ ГАЛИ САВЕЛЬЕВОЙ
МУЖ СВОЕЙ ЖЕНЫ
ЧЕЛОВЕК ИЗ ГАРДЕРОВА
ЧЕЛОВЕК С БОРОДОЙ
УЗБЕК
МОРЯК
МИЛИЦИОНЕР
ПРОФЕССОР СИНИЦИН — маг и волшебник из Министерства
народного хозяйства
НЕКАЯ ГАЛЯ САВЕЛЬЕВА
РАДИСТ ФЕДОРЧЕНКО
ТЕНОР ЮНАКОВСКИЙ

Действие первое

Негромкая музыка. Перед закрытым занавесом, с совком и метелкой в руках, появляется Дежурная. Она смотрит в зрительный зал, улыбается, произносит шепотом:

Начинаем, начинаем, пора!
Но пока еще смеяться нельзя...
Тише, тише. Люди спят.
Семь утра.
Не шумите в коридорах, друзья!..

Приложив палец к губам, Дежурная уходит.

Открывается занавес.

Гостиница «Москва». Тринадцатый этаж. Нелепый общий номер, который, вероятно, был приемной или гостиной, а теперь на время летней горячки, стал общежитием на четыре кровати. Письменный стол. Рояль. Огромная ваза, разрисованная оранжевыми драконами. Закутавшись с головой в одеяла, спят четыре человека. На письменном столе — телефон, папки с делами, свертки, пакеты в газетной бумаге.

Семь часов утра. Тишина. Только где-то поблизости, очевидно, в коридоре, передают по радио утреннюю зарядку.

Продолжительный телефонный звонок. Над кроватями приподнимаются четыре встрепанные головы. Телефон продолжает звонить. Долгая пауза, и наконец Дюжи-

ков, приезжий с Таймыра, высокий широкоплечий парень, прыгает на пол и, кутаясь в одеяло, шлепает босыми ногами к письменному столу.

Дю ж и к о в. Вас слушают... Междугородная? Да, Москва... Да, гостиница... Кто? Таймыр? Нет?.. Не понимаю, повторите по буквам... Ага! (С сожалением положил трубку на стол, обернулся к соседям.) Товарищи, кого тут могут из Черноморска вызывать, а?

Медленно поднимается Иван Иванович Кирпичников, полный пожилой человек в полосатой пижаме, в круглых роговых очках на румяном детском лице, тяжело вздохнув, подходит к телефону, берет трубку.

К и р п и ч н и к о в. Да... Я... Жду... Да, да!

Тишина. Дюжиков ложится и мгновенно засыпает. Кирпичников зевает, забко ежится, переминается с ноги на ногу.

Да... Ну, слушаю... Лизанька? Здравствуй, Лизанька... Сегодня ночью... Ничего... Я хорошо доехал... Не слышишь? Я хорошо доехал. Опять не слышишь? Я хорошо до-е-хал... Лизанька, я не могу громче, я не один в номере... Что — начинается? Ну, родная моя, ну, как тебе, ей-богу не стыдно... Да... Со мной три товарища... Мужчины, мужчины... Я еще не успел с ними познакомиться... Мне не холодно — я сплю в пижаме... Клянись тебе, что я сплю в пижаме... Лизанька... Хорошо... Сейчас я кого-нибудь позову — тебе скажут! Сейчас! (Прикрывая рукой телефонную трубку.) Товарищи... Большая просьба... товарищи...

Тишина. Из-под одеяла доносится мирное посвистывание.

Лизанька, они спят... Что? Лизанька... Подожди, Лизанька. Лизанька... Алло... алло... (Сокрушенно повесил трубку на рычаг, покачал головой.) Плохо! (Ложится, закрывает голову подушкой, засыпает.)

Тишина. Диктор по радио объявляет: «Начинаем без на месте! И-и — раз». Музыка играет галоп. В дверь осторожно просовывается голова Дежурной по 13-му этажу.

Д е ж у р н а я (шепотом). Вы спите, граждане?

Снова поднимаются над кроватями четыре встрепанные головы.

Кирпичников. Что такое? А?

Дежурная. Уборочку у вас рано еще производить?

Кирпичников *(натягивая на себя одеяло)*. Рано — это не то слово!

Гришко, человек с загорелым лицом и белой шеей, подымает голову и щурит близорукие глаза.

Гришко. А к-который с-сейчас час?

Дежурная. Восьмой. *(Уходит.)*

Несколько мгновений — тишина. Потом Гришко встает, подходит к телефону, оглядывается, решительно снимает трубку, набирает номер и, не дождавшись соединения, быстро кладет трубку на рычаг. Стоит у телефона в мучительном раздумье. В дверь тихонько стучат. Гришко на цыпочках подходит к двери, приоткрывает. В коридоре стоит Дуня.

Дуня *(тихо и растерянно)*. Простите... Я... Это тринадцатый этаж?

Гришко *(шепотом)*. Да.

Дуня. Общий номер?

Гришко. Да.

Дуня. Тут, понимаете, должен быть мой дедушка. Бабурин. Он просил, чтоб я его разбудила, — боялся опоздать на конференцию. Вы скажите ему, что пора. И потом, я еще коржиков ему принесла, пускай он чаю попьет. Хорошо?

Гришко. Хорошо.

Дуня. Вы разбудите его?

Гришко. Разбужу. Он где спит?

Дуня. Здесь.

Гришко. Я п-понимаю, что здесь, а на какой кровати?

Дуня. Не знаю. Мы с ним сегодня ночью приехали, отдельных номеров не было, меня временно вниз поместили, а его сюда. Неужели вы не заметили?

Гришко. К с-сожалению, — нет. Я, очевидно, приехал еще позже. Здесь уже все спали... И вдобавок у меня страшная неприятность, я забыл где-то свои очки.

Дуня. Наверное, он спит у окна! Он и дома у окна любит, и здесь, наверное.

Гришко. У окна? Х-хорошо! *(Подходит к кровати, стоящей у окна, наклоняется, трясет спящего за плечо.)*

Дюжииков *(вскакивает)*. Что? В чем дело?

Гришко. Внучка пришла.

Дюжигов. Какая внучка? Дайте спать, граждане! Спать дайте...

Гришко (*сконфуженный, отходит*). И-извините.

Дуня. Ну?

Гришко. Нет, это не дедушка!

Дуня (*соображая*). У вас в номере одно окно?

Гришко (*оглянувшись*). Два.

Дуня. Значит, очень просто, он спит у второго окна.

Гришко. Ну, конечно, вы совершенно правы! (*Решительно подходит к кровати, на которой спит Кирпичников.*)
Вставайте!

Кирпичников (*испуганно*). Зачем?

Гришко. Вам пора на конференцию.

Кирпичников. На какую конференцию?

Дуня (*шепотом*). На конференцию передовиков сельского хозяйства.

Гришко. Вам пора на конференцию передовиков сельского хозяйства!

Кирпичников (*все еще ничего не соображая со сна*). Я не пойду.

Гришко. А я вам говорю — вставайте! (*Пытается сдернуть с Кирпичникова одеяло.*) Вставайте, товарищ, внучка пришла...

Кирпичников. Какая внучка?

Гришко. В-ваша.

Кирпичников. Послушайте, молодой человек...

Гришко. Уверяю вас, к вам действительно пришла внучка.

Кирпичников (*разозлился*). Ах, действительно?! Тогда пошлите ее ко всем чертям! (*Заворачивается в одеяло.*)

Гришко (*очень огорченный, возвращается к двери*). Он сказал — ко всем ч-чертям!

Дуня. Кого?

Гришко (*помолчав*). Может быть, конференцию! А может быть, извините, в-вас...

Дуня. Меня? Он так не мог сказать.

Гришко. Мне просто у-ужасно неприятно, но он сказал именно так!

Дуня (*вспыхнула*). Я не думала... Я вас просила помочь... А вы... Очень с вашей стороны глупо и неостроумно! (*Рассерженная, быстро уходит.*)

Гришко посмотрел ей вслед, пожал плечами и направился в ванную. Слышно, как он там возится и на-

свистывает. С шумом полилась вода. Кирпичников и Дюжиков разом приподнялись на своих кроватях, сели, с интересом уставились друг на друга.

Дюжиков. С добрым утром.

Кирпичников (*разглядывая Дюжикова*). Здравствуйте, товарищ! Удивительно знакомое у вас лицо. Вы случайно не с берегов Черного моря?

Дюжиков (*весело*). Нет. Я с берегов моря Лаптевых.

Проснулся дедушка Бабурин, прислушался к разговору.

Кирпичников. С моря — каких?

Дюжиков. Лаптевых.

Кирпичников. Любопытно! Давайте знакомиться — Иван Иванович Кирпичников.

Дюжиков. Моя фамилия — Дюжиков.

Дедушка (*решил вмешаться*). Доброго здоровья, товарищи!

Кирпичников. Спасибо. С кем имею честь?

Дедушка (*коротко*). Бабурин.

Кирпичников (*припоминая*). Бабурин, Бабурин... Вы из Киева?

Дедушка. Нет. Мы тамбовские.

Кирпичников. Так. Любопытно. Иван Иванович Кирпичников — не слышали?

Дедушка (*вежливо*). Слышать вроде слышал... А может, и нет, не помню.

Кирпичников. Я из Черноморска. Директор филармонии.

Дедушка (*заулыбался, предвкушая удовольствие*). Артист?

Кирпичников (*с тяжелым вздохом*). Начальник.

Дедушка. Вот как? Приятно. Кстати сказать, тут внучка моя не навевалась еще?

Кирпичников. Так это была ваша внучка?

Дедушка. А что? Никак, она заходила уже?

Кирпичников. Да. Заходила. И требовала почему-то, чтобы разбудили меня.

Дедушка. Вас?

Кирпичников. Меня.

Дедушка (*горестно*). Ясно! Как это все сразу углядела, товарищ Кирпичников, прямо я даже не понимаю?!

Гришко (*выходит из ванной комнаты*). Товарищи, ванна свободна, кто следующий?..

Дюжилов, обмотавшись полотенцем, скрывается в ванной. Гришко снимает телефонную трубку, набирает номер и сразу же вешает трубку на рычаг.

Д е д у ш к а (*задумчиво*). Ох, товарищ Кирпичников, доймет она вас теперь!

К и р п и ч н и к о в. Кто именно?

Д е д у ш к а. Внучка.

К и р п и ч н и к о в. Да? Зачем?

Д е д у ш к а (*уклончиво*). Так... Молодая еще!

К и р п и ч н и к о в (*заинтересовался*). Нет, нет, вы уж объясните, будьте добры. Это же просто любопытно. Зачем?

Д е д у ш к а (*зловещим шепотом*). Петь желает учиться — вот какое будет объяснение. У человека специальность в руках, а он вздор всякий выдумывает. В Москву со мной увязалась. Я ей говорю — нечего тебе в Москве делать, сиди дома, а она — в слезы. Тебя, дескать, посылают, и я с тобой. А я ей опять же говорю — мне семьдесят лет, я известная личность, ученый-пчеловод и прочее, меня, говорю, как передовика посылают, а ты кто такая? А она слушать ничего не хочет, вещи укладывает. Желает, говорит, ехать в Москву и выяснить со специалистами насчет своих способностей... А у нее, товарищ Кирпичников, к пчелам способности, и ни к чему больше... у нее, откровенно вам говорю, голос резкий и несимпатичный... Так вот, если она к вам привяжется, вы как — примете ее или нет?

К и р п и ч н и к о в. Могу прослушать.

Д е д у ш к а (*обрадовался*). Вот-вот, прослушайте, значит, и отвергните! Втолкуйте ей, одним словом, чтоб она это бросила, ладно?

К и р п и ч н и к о в. С удовольствием! Должен вам признаться, что я вообще не люблю, когда люди поют. Нормальный человек должен разговаривать, а не петь.

Д е д у ш к а. Правильно.

Гришко по-прежнему производит какие-то странные манипуляции с телефоном.

Д е д у ш к а. Товарищ, дорогой, занято у вас? Дозвольте мне тогда протелефонировать.

Г р и ш к о. Пожалуйста.

Д е д у ш к а (*снимая трубку, старательно дует в нее, затем произносит неестественно напряженным голосом*). Сто пятнадцатый номер прошу... Это сто пятнадцатый но-

мер? Дуню Бабурину прошу. Это Дуня Бабурина? Это дедушка говорит. Дуня, ты сейчас как чаю попьешь, так подымись ко мне... Это что такое значит — не хочешь? А я говорю — подымись... А я говорю — не спорь, подымись! Тут человек один желает прослушать тебя... Ну да... Отбой прошу! (*Повесил трубку, усмехнулся.*) Сейчас прибежит!

Гришко снова принялся колдовать у телефона.

К и р п и ч н и к о в. Все еще занято у вас?

Г р и ш к о (*нехотя*). Нет... н-наоборот.

К и р п и ч н и к о в. Как — наоборот?

Г р и ш к о. Н-не занято.

К и р п и ч н и к о в. Телефон испорчен?

Г р и ш к о. Н-нет, телефон в порядке.

К и р п и ч н и к о в. Любопытно!

Д е д у ш к а (*с видом знатока*). Это, конечно, бывает иногда, что телефон нормальный, а гудки — не то.

Г р и ш к о. Нет, гудки обыкновенные, длинные.

К и р п и ч н и к о в. Очень любопытно, очень.

Г р и ш к о (*решительно*). З-знаете что — я сейчас н-наберу номер...

К и р п и ч н и к о в (*с вежливой иронией*). А потом повесите трубку, так?

Г р и ш к о. Нет, нет! (*Хватает трубку, набирает номер, секунду колеблется и хочет положить трубку на рычаг.*)

К и р п и ч н и к о в. Стойте! (*Подбежал, выхватил у Гришко из рук трубку.*)

Г р и ш к о (*умоляюще*). Положите... положите... положите т-трубку!

К и р п и ч н и к о в (*протянул трубку Гришко*). Тогда говорите сами.

Г р и ш к о. Я н-не б-буду...

К и р п и ч н и к о в. Да говорите же, несчастный вы человек, там подошли уже...

Г р и ш к о. Кто п-подошел?

К и р п и ч н и к о в. Я не знаю.

Г р и ш к о (*в отчаянии*). Спросите... с-спросите Л-любу... Но если это она сама — ради бога, повесьте трубку!

К и р п и ч н и к о в. Сейчас мы выясним точно — кто это?! Алло... Кто со мной говорит?.. Люба? Отлично. А фамилия?.. Попова? Прекрасно! Очень рад, товарищ Люба Попова... Одну минуточку... (*Шепотом, к Гришко.*) Ну, живей, кто такая эта Люба Попова и что я ей должен сказать?

Гришко (*торопливо и сбивчиво*). Это... одна девушка... геолог... я в прошлый раз, когда приезжал в Москву, год назад, читал у них в институте сообщение — о работе нашей разведывательной партии... А потом она ко мне подошла и спросила — не знаю ли я такого Сергея Семушкина? А Семушкин был как раз у меня коллектором, и я ей сказал, что я его знаю...

Кирпичников (*иронически*). Превосходно сказал! (*В трубку.*) Минуточку, товарищ Люба Попова, сейчас мы с вами поговорим... (*К Гришко.*) Скорей, что было дальше?

Гришко. А потом как-то так само собой получилось, что я пошел ее провожать... А потом мы условились в-стретиться и не встретились...

Дедушка. Почему?

Гришко. Потому что мне пришлось срочно у-улететь в район Гудермеса... Но я ей писал... честно... Правда, не про главное, а про... вообще...

Кирпичников. Все ясно! (*В трубку.*) Так вот, слушайте меня внимательно, товарищ Люба Попова. Вы сейчас наденете самое красивое платье и приедете сюда: гостиница «Москва», тринадцатый этаж, общий номер... вам покажут... Кто говорит? Иван Иванович Кирпичников... Кир-пич-ников... Близкий друг... (*Шепотом, к Гришко.*) Как вас зовут?

Гришко. Андрей Николаевич... Но т-только...

Кирпичников (*перебил*). Близкий друг известного вам Андрея Николаевича! Да, он приехал... Почему говорю я? А вот вы придете, и мы вам все объясним! Да! Спешите! Я не прощаюсь. (*Вешает трубку и торжественно смотрит на Гришко.*)

Гришко (*в ужасе*). Что вы наделали?!

Кирпичников (*гордо*). Нет, нет, не благодарите меня! Каждый раз, когда я уезжаю в командировку, я даю слово жене, что не буду вмешиваться в чужие дела... Но скажите — могу ли я оставаться спокойным, когда я вижу, как рядом со мной гибнет человек, потому что он тряпка? Нет, нет, нет... Ведь это же надо додуматься: сам уехал в Гудермес, а девушку оставил в Москве... В Москве, вы понимаете! В Москве, где по каждой улице толпами ходят красавцы! Где на каждом шагу стоят красавцы, и держат в руках букеты цветов, и дожидаются вашу Любу Попову.

Гришко (*в отчаянии*). Что вы наделали?

Кирпичников. Не волнуйтесь — она скоро придет!

- Гришко. Как же н-не в-волноваться, когда я должен бежать р-ровно через пятнадцать минут!
- Кирпичников. Куда?
- Гришко. На прием к начальнику управления.
- Кирпичников (*чуть озадаченный*). Вот как? И нельзя отложить?
- Гришко. Не-н-невозможно!
- Из ванной, приплясывая и растирая голову полотенцем, выходит Дюжиков.*
- Дюжиков. Ох, хорошо! Дедушка, идите мойтесь.
- Дедушка направляется в ванную. Дюжиков останавливается у окна, смотрит. Кирпичников подошел к подавленному Гришко, дружески положил ему руку на плечо.*
- Кирпичников (*ободряюще*). Не волнуйтесь, ничего страшного! Ваша Люба Попова вас подождет.
- Гришко. Она не станет меня ждать.
- Кирпичников. Нет, нет, это чудовищно, почему не станет?
- Дюжиков. Как отсюда удобнее всего добраться до Крымской площади?
- Кирпичников. На метро.
- Дюжиков. Доходит?
- Кирпичников. Да.
- Дюжиков (*вытащил из чемодана толстую записную книжку, раскрыл ее, отчеркнул что-то карандашом*). Так... есть... благодарю!
- Кирпичников (*тихо, к Гришко*). Почему она не станет вас ждать? Если уж вы надеялись, что она вас ждала целый год, то каких-нибудь два часа ровным счетом ничего не значат... А в крайнем случае, знаете что: любой из нас с удовольствием окажет вам дружескую услугу и все ей объяснит!
- Гришко. Что вы н-наделали?!
- Дюжиков. А к заводу имени Лихачева я попаду на метро?
- Кирпичников. Попадете.
- Дюжиков (*отмечая в книжке*). Так, благодарю!
- Дедушка (*выходит из ванной*). Товарищ Кирпичников, идите.
- Кирпичников. Иду! А вы не волнуйтесь, мой дорогой друг! Не волнуйтесь — все будет в полном порядке! (*Скрывается в ванной.*)

Дюжиков с трудом застегивает разбухший от бумаг и пакетов портфель, встает и направляется к выходу.

Д ю ж и к о в. Если меня будут спрашивать, скажите, что я вернусь поздно вечером.

Д е д у ш к а. Уходите уже, товарищ?

Д ю ж и к о в (*улыбаясь*). Да, хочу, понимаете, до всех дел успеть пробежаться по Москве. Хочу наконец-то взглянуть на нее — какая она!

Д е д у ш к а. Вы что же, никак, тут в первый раз?

Д ю ж и к о в. В том-то и штука, что самый первый раз! Родился я в Сибири, а учился в Свердловске... когда кончил, хотели всем выпуском в Москву ехать — на экскурсию... Ну а тут как раз комсомольский призыв — все на целину! Вот я и уехал вместо Москвы совсем в другую сторону... Четыре года там проработал, получил медаль, премию... Опять собрался в Москву, и опять — в газетах письмо дальстроевцев: нужны люди! (*Засмеялся.*) И опять я в другую сторону укатил — на Крайний Север. Так что Москву я до сих пор только на картинках видел да в кино!

Д е д у ш к а. Прямо чудно!

Д ю ж и к о в. Чудно, не спорю. А невтерпеж до того, что ночью еще хотел в город бежать, да уж больно в дороге замучился... Трое суток просидел на Енисее с вынужденной посадкой... Я уж, откровенно говоря, думал — опять у меня сорвалось! (*Тряхнул головой.*) Ну, будьте здоровы! (*Быстро идет к дверям.*)

Продолжительный междугородный звонок. Дюжиков останавливается. Из ванной выбегает испуганный Кирпичников.

К и р п и ч н и к о в. Междугородный звонок... Это опять меня... Товарищи, возьмите кто-нибудь трубочку — у меня руки мокрые.

Д ю ж и к о в (*подбежал, снял трубку*). Слушаю. Ждать и не отходить от телефона? Кто вызывает? Таймыр? Предупреждение? Да я... хорошо... жду и не отхожу. (*Повесил трубку, мрачно посмотрел на своих сожителей, швырнул на стол портфель, сел.*)

Г р и ш к о. Это в-вас?

Д ю ж и к о в. Да... Вот тебе и пробежался по Москве! Черт побери, интересно: скоро они хоть меня соединят? Как вы думаете?

К и р п и ч н и к о в. Не хочется вас огорчать, но должен сказать откровенно, что это единственная вещь, которую не знает никто! Никто решительно. Вас могут соединить через пять минут. Через полчаса. Через двадцать четыре часа. Я, например, просидел однажды целые сутки...

Д ю ж и к о в (*в ужасе*). Так ведь это же полная катастрофа, товарищи!

К и р п и ч н и к о в (*роясь в чемодане*). Очень может быть.

Д ю ж и к о в. Я и так всего на два дня в Москву...

К и р п и ч н и к о в. Ну-ну-ну, голубчик! Все командированные говорят, что они приехали всего на два дня! Святая традиция!

Д ю ж и к о в. Да, но я действительно всего на два дня.

К и р п и ч н и к о в. Задержитесь.

Д ю ж и к о в. Легко сказать! Я-то задержаться могу, а вы попробуйте задержите навигацию! Ведь тут каждый час дорог! Опоздаешь с грузами на день, а потом торчи полгода на Большой земле. А люди будут ждать, волноваться, нервничать! Кого станут ругать на зимовках в полярную ночь? Дюжикова. На всех островах, от Малой до Большой гряды, будут ругать Дюжикова! Слушайте, товарищи, может, кто-нибудь из вас поговорит за меня? А то ведь я, честное слово, окончательно пропадаю! Они, главное, думают, наверное, что я все дела уже сделать успел, а я, как дурак, торчал на Енисее с этой вынужденной посадкой... Правда, товарищи, может, кто поговорит за меня? А?

Молчание.

К и р п и ч н и к о в. Видите ли, голубчик, во-первых, они же вызывают вас, а не нас. Им, как я догадываюсь, интересно с вами поговорить, а не с нами! Это — во-первых! Во-вторых, голубчик, каждый из нас тоже приехал в Москву всего на два дня. И приехал не развлекаться. И у каждого тоже сто тысяч дел... Нет, нет, нет, кто же это в состоянии сидеть до ночи у телефона?

Д е д у ш к а. Да-а, положеньице!

Д ю ж и к о в (*с робкой надеждой*). А вы, дедушка?

Д е д у ш к а. Конференция у меня, молодой человек, конференция.

Д ю ж и к о в (*со спокойствием отчаяния*). Вопрос ясен.

Г р и ш к о. А вы попытайтесь отменить разговор.

Д ю ж и к о в (*грубовато*). Да что они, по-вашему, доброго утра мне хотят пожелать, что ли? Таймыру связаться

с Москвой — это, как говорится, не ближний свет! Раз уж вызывают, значит, важные новости...

Мрачное молчание. Гришко нервно встал, быстро надел пальто и снова сел. Кирпичников, сердито посапывая, вывернул на кровать все содержимое своего чемодана.

К и р п и ч н и к о в. Ничего не понимаю! Куда могла деваться моя пижама?

Г р и ш к о. Вы поверх нее надели пиджак... Товарищи!

Д е д у ш к а. Это вы нам?

Г р и ш к о. Да, товарищи, мне кажется, что мы все-таки обязаны что-то придумать... Ведь Таймыр же!

Д ю ж и к о в (*умоляюще*). Таймыр, товарищи, а?

К и р п и ч н и к о в (*резко, к Гришко*). Вы можете остаться?

Г р и ш к о. Нет, я просто никак.

К и р п и ч н и к о в. Я тоже не могу.

Д е д у ш к а. А у меня конференция.

К и р п и ч н и к о в. Так что, как это ни грустно, но остаться в номере не может никто. Понятно?

Д ю ж и к о в. Чего уж понятнее!

К и р п и ч н и к о в (*задумчиво запел*). Не может никто... Не может никто... Не может... ах, не может решительно никто!.. А вообще-то, конечно, что-нибудь придумать надо.

Д ю ж и к о в. Надо! Ей-богу, надо, товарищи! Я ведь не для себя прошу. Ну, Дюжиков, черт с ним, опять не посмотрит Москву. В другой раз посмотрит. Но Таймыр-то ведь ждет. Люди ждут. Полиметаллический комбинат ждет. Будущий город ждет! Замечательный будущий город, честное слово!

К и р п и ч н и к о в. Можете нам не давать честного слова! Мы сами знаем, что замечательный.

Д ю ж и к о в (*пылко*). Ах, какой это будет город, товарищи! О нем песни петь надо! Вот вы приезжайте к нам, посмотрите — что за край! У нас все есть! Руды, нефть, зверье, птицы, рыба. А ночь! Знаете ли вы, товарищи, полярную ночь? Нет, черт возьми, вы не знаете полярной ночи. Северное сияние горит, по снегу дикий олень бежит, песец, волк, медведь! А в реках стерлядь плывет, омуль, сиг, муксус, нельма, осетр...

Д е д у ш к а. Ай-яй-яй...

К и р п и ч н и к о в (*после паузы*). Нет, нет, нет, — я чувствую, что должен вмешаться. Какие у вас дела намечены на сегодня?

Д ю ж и к о в (*раскрыл записную книжку, читает*). Сталь-

конструкция. Главлес. Северопроект. Главное управление портов. Отдел кадров Геологоразведочного управления. Архитектурный комитет. Министерство народного хозяйства. Центральная бухгалтерия Главсевморпути... И все!

К и р п и ч н и к о в. Да, любопытный списочек. Песня. Боевая — командировочная. Так вот что я вам хочу предложить. Сидеть у телефона я, разумеется, не могу. Но между двенадцатью и половиной второго у меня в делах окно. И ежели вам угодно, то в какой-нибудь этакий Северопроект я с удовольствием забегу и сделаю все, что вам там от них нужно.

Д ю ж и к о в (*хмуро*). Да нет, спасибо. Один Северопроект меня все равно не спасет.

Г р и ш к о (*с внезапным энтузиазмом*). Почему не спасет? Вы в Геологоразведочное управление с-собирались?

Д ю ж и к о в. Да, собирался.

Г р и ш к о. Так ведь я там знаю буквально всех и каждого. Буду говорить в отделе кадров за себя — могу и насчет вас поговорить.

К и р п и ч н и к о в. Товарищи, это гениальная идея!

Д е д у ш к а (*меланхолично*). Я полагаю, что конференция моя часов, скажем, до трех. Стало быть, с половины четвертого вы очень даже свободно можете рассчитывать на меня. Скажите, куда пойти, — я пойду!

К и р п и ч н и к о в. Честное слово, это гениальная идея! Причем я считаю, товарищи, что каждый из нас должен взять по два объекта. Например, я могу отправиться в Северопроект и в Министерство народного хозяйства.

Г р и ш к о. Я в-возьму на себя Геологоразведочное управление и центральную бухгалтерию Главсевморпути.

К и р п и ч н и к о в. Превосходно! Дедушке мы поручим Стаьльконструкцию и Главлес... Таким образом, вам на завтра останется сушая чепуха и вы великолепно уложитесь!

Д ю ж и к о в (*все еще недоверчиво*). Вы это серьезно?

К и р п и ч н и к о в. Совершенно серьезно.

Д ю ж и к о в. Как-то не верится!

К и р п и ч н и к о в (*рассердился*). Послушайте, голубчик, вы, кажется, считаете, что наш остров Таймыр...

Д ю ж и к о в. Полуостров...

К и р п и ч н и к о в. Тем более! Вы считаете, что наш полуостров Таймыр ваша личная собственность и никого, кроме вас, не может интересовать?

- Д е д у ш к а (*грозно*). Как-то это прямо даже неудобно получается.
- Д ю ж и к о в (*улыбнулся*). Извините!
- К и р п и ч н и к о в. То-то! Давайте быстренько: с кем я должен увидеться и по какому вопросу?
- Д ю ж и к о в (*растегнул портфель, вытащил папки с делами, положил на стол*). Смотрите, вот эту докладную записку надо сдать в расчетный отдел Северопроекта и попросить их не позже чем к завтрашнему дню составить примерную смету...
- К и р п и ч н и к о в. Будет исполнено. Что еще?
- Д ю ж и к о в. У них там есть типовые проектные альбомы инженеров Яковлева и Полторацкого. Надо постараться выпросить у них комплектов десять-пятнадцать...
- К и р п и ч н и к о в. Двадцать вынем! Что в Министерстве народного хозяйства?
- Д ю ж и к о в (*начинает понемногу увлекаться*). Там есть некий Николай Николаевич Синицын. Крупнейший специалист по морозоустойчивым культурам. Маг и волшебник. Его надо уговорить приехать к нам. Непременно! Хотя бы на полтора-два месяца...
- К и р п и ч н и к о в. А на что брать?
- Д ю ж и к о в. В каком смысле?
- К и р п и ч н и к о в. Деньги или романтика?
- Д ю ж и к о в. Романтика.
- К и р п и ч н и к о в. Ладно. Попытаемся. Все?
- Д ю ж и к о в. Все.
- К и р п и ч н и к о в. Так. Товарищи, подходите, получайте задание. Кто следующий?
- Г р и ш к о. Я. П-пожалуйста. Я очень с-спешу...
- Д ю ж и к о в (*просматривает бумаги*). Минуточку... Так... Ага... вот она! Эту бумажку вы вручите под расписку в Центральную бухгалтерию Главсевморпути. Ни в коем случае не забудьте взять расписку! Потом вам нужно будет узнать, когда переведены деньги по госдотации и номер авизо...
- Г р и ш к о. Есть.
- Д ю ж и к о в. У Геологоразведочного управления постарайтесь вырвать двух человек.
- К и р п и ч н и к о в. Просите трех!
- Д ю ж и к о в. А зачем трех?
- К и р п и ч н и к о в (*снихождительно улыбнулся*). Просить надо трех, а соглашаться на двух. Ясно?
- Г р и ш к о. Ясно! А кого и-именно?
- Д ю ж и к о в. Одного инженера-нефтяника и одного кон-

сультанта по черным рудам. Напомните, что они нам обещали. Передайте привет Полякову от Талалая.

Гришко. Все?

Дюжиков. Все.

Гришко. Ладно. Я, в таком случае, бегу... Да, кстати...

Дюжиков. Что такое?

Гришко (*взяв Дюжикова под руку, отвел в сторону*). Тут с-скоро пойдет одна моя знакомая... Люба Попова...

Дюжиков (*кивнул головой*). Так. И что же?

Гришко (*растерянно*). Она пойдет, а м-меня не б-будет... Впрочем, может быть, это и х-хорошо, что меня не б-будет! Вы п-понимаете, я н-не виделся с нею целый год... Только п-письма п-писал... Но зато я очень часто представлял себе, как мы встретимся с нею и я ей скажу... Ну, вы сами понимаете... о чем... скажу ей все, а она вдруг засмеется... Что тогда?

Дюжиков. Тогда скверно.

Гришко. И вот я х-хочу в-вас просить — скажите ей! Скажите ей, что ее очень любит о-один человек. Может не называть моего имени — она с-сама догадается... Скажите ей, что он, этот человек, постарается на этот раз остаться в Москве... Потому что она живет здесь, и он хочет быть... Ну, вы понимаете? Вы не с-сердитесь н-на меня з-за эту идиотскую просьбу, но ведь мне больше н-некого...

Дюжиков (*серьезно*). Все понимаю. Поговорю с нею обязательно. Счастливого вам пути, и не волнуйтесь! Товарищи, кто следующий?

Дедушка. Я.

Дюжиков. У вас что?

Дедушка. У меня эти... как их... Главлес и Стальконструкции!

Гришко. Я ушел. До свидания, товарищи!

Дюжиков. Не забудьте расписку!

Гришко. Не з-забуду... Вы тоже не забудете, да?

Дюжиков. И я не забуду!

Гришко. До свидания. (*Уходит.*)

Кирпичников (*вздыхнул*). Нервничает! Любовь! Нет, нет, нет, он очень хороший человек! Кто следующий?

Дедушка. Я, что ли?

Дюжиков (*командирским тоном*). Значит, с вами, товарищ!

Дедушка. Слушаю.

Дюжиков. В Главлесе, в отделе заготовок, необходимо устроить скандал.

Д е д у ш к а (*записывает*). «Устроить скан-дал»...

Д ю ж и к о в. Сможете?

Д е д у ш к а. А что ж тут такого особенного?

Д ю ж и к о в. Сначала вы им заявите, что до тех пор, пока они нам не пришлют механизированных установок по сплотке, выгрузке и погрузке — ни одного кубометра древесины сверх плана они от нас не получают! Заявите?

Д е д у ш к а. Будьте покойны! Ничего они от нас не получают.

Д ю ж и к о в. Ну, по плану-то получают.

Д е д у ш к а. А я говорю — ничего не получают! Ни по плану, ни сверх плана! Дальше.

Д ю ж и к о в. А дальше так: когда они начнут извиняться — вы им покажете это письмо...

Д е д у ш к а. Оно про что?

Д ю ж и к о в. Про то, что мы теперь сами освоили производство перегружателей и в их благодеяниях не нуждаемся!

Д е д у ш к а. Освоили! Молодцы, хвалю! Еще что?

Д ю ж и к о в. Самое важное — получить в Стаьлконструкции наряд на подшипники. Наряд дело нехитрое, чернильное — выписать его, и все! Но у них там путаница с очередями, и они бессовестно тянут...

Д е д у ш к а (*записывает*). «Бессовестно»... Все?

Д ю ж и к о в. Все. Учтите, что это не так просто.

Д е д у ш к а (*высокомерно*). Это смотря для кого! Дозвольте откланяться — побежал на конференцию! (*Уходит.*)

К и р п и ч н и к о в (*осторожно покашлял*). Между прочим, товарищ Дюжиков, у меня к вам тоже будет одна небольшая просьба...

Д ю ж и к о в. Пожалуйста! Все, что угодно!

К и р п и ч н и к о в. Видите ли, я обычно езжу в командировки с моим заместителем. Я хозяйственными вопросами занимаюсь, а переговоры с артистами ведет он... Я, знаете, не люблю, когда весь день поют... Не выдерживаю... Час или два — ничего, а больше не могу. В голове шумит, в глазах темнеет, и подташнивать начинает... А между прочим, артисты к нам так и рвутся! К сожалению, главным образом плохие! За хорошими мы сами бегаем, а плохие за нами бегают. Так вот, поскольку я сейчас ухожу по делам, а они уже наверняка разузнали, что я в Москве, и в скором времени начнут появляться, так вы им всем объясните, что прием артистов на этот раз крайне ограничен.

Д ю ж и к о в. Так они же все равно не поверят мне, станут дожидаться вас.

К и р п и ч н и к о в. Нет, нет, нет, почему не поверят?! Они меня в лицо не знают. Только по фамилии. Они ведь с моим заместителем дело имели. Вы скажите им, что вы — Кирпичников, и точка!

Д ю ж и к о в (*засмеялся*). Ладно, попробую. Хоть бы не запутаться — что за кого говорить...

К и р п и ч н и к о в. Ничего, ничего, вы человек молодой, оперативный, разберетесь. Так, значит, условились?

Д ю ж и к о в. Условились.

К и р п и ч н и к о в. Желаю удачи!

Кирпичников уходит, и Дюжиков остается один. Долго покачивается головой и с ненавистью смотрит на телефон. Снизу, с улицы, доносится шум проснувшегося города. Снова появляется в дверях Дежурная горничная.

Д е ж у р н а я. Уборочку у вас можно произвести?

Д ю ж и к о в. Пожалуйста. Я вам не помешаю?

Д е ж у р н а я. Разве гость может помешать? (*Принимается за уборку номера, искоса с интересом поглядывая на Дюжикова.*) А что это вы — такой день замечательный, а вы в номере сидите? Не заболели, случайно?

Д ю ж и к о в. Да нет, я телефонного звонка жду. Междугородного.

Д е ж у р н а я. Издалека?

Д ю ж и к о в. С Таймыра.

Д е ж у р н а я. Откуда?

Д ю ж и к о в. С Таймыра.

Д е ж у р н а я (*неопределенно и сочувственно*). Да-а, это конечно... И вы что же, сами оттуда?

Д ю ж и к о в. Вот именно.

Д е ж у р н а я. Нравится?

Д ю ж и к о в. Да. Очень!

Д е ж у р н а я. Бывает... Вот, знаете, мне Кашкин Никодим Спиридонович тоже предлагал на подсобное хозяйство перейти. Потом еще меня в нижний буфет звали. А я отказалась. Из принципа. Я со своего этажа никуда не уйду. Про меня даже директор на общем собрании сказал: ну, товарищ Пуговкина, она энтузиастка тринадцатого этажа. Это правда! Я действительно энтузиастка. И работа мне нравится. По одним номерам пройдешь, и все равно как в путешествие съездила, честное слово! Вот вы, например, с Таймыра. А другой — из

еще того пуще. А третий такое скажет, что и не выговоришь. Два раза так вот зайдешь, а на третий тебя уж и в гости приезжать приглашают... Приезжайте к нам, товарищ Пуговкина, в Биюк-Кирасу, честное слово... А я потом иду с работы домой и думаю: а ведь, может, и вправду я когда-нибудь поеду в это самое Биюк-Кирасу. Нет, я очень за свой этаж болею душой...

В дверь стучат.

Д ю ж и к о в. Прошу.

Входит Маленький человечек в клетчатом пальто и зеленой шляпе.

Человек в клетчатом пальто (*бойко*). Товарищу Кирпичникову — пламенный привет! Синтетический номер — икарийские игры с пением! Будете смотреть? Д ю ж и к о в (*испуганно*). Нет, нет, не надо!

Человек в клетчатом пальто. Как — не надо? Вы — Кирпичников?

Д ю ж и к о в. Да.

Человек в клетчатом пальто. Вы Кирпичников и вам не нужны икарийские игры с пением? Смешно! А чем же вы разбавляете классику?

Д ю ж и к о в. А я ее ничем не разбавляю.

Человек в клетчатом пальто (*опешил*). Вот как. Ну, хорошо! Мы будем работать характерный танец. Это почти классика. Я не прощаюсь! Привет! (*Поклонился и исчез*).

Д е ж у р н а я. Симпатичный... Вот, знаете, тут в номере, до вас, на прошлой неделе один молодой человек жил. Тоже очень симпатичный. Между прочим, на вас похожий... Верно, верно... Все крыжовником меня угощал... Как-то его было звать чудно... Не то Шпинатов... не то Салатов... Нет, не помню! Я в понедельник утром прихожу на работу, а на Ольге Николаевне прямо лица нет... Этот, говорит, который крыжовником угощал, так он, говорит, уехал и за номер не заплатил... Придется нам за него рассчитываться! Так я даже заплакала, честное слово! Мне не денег жалко, а мне обидно, что на наш этаж такое пятно...

В дверь просовывается голова Кирпичникова.

К и р п и ч н и к о в (*шепотом*). Внимание!

Д ю ж и к о в. Что такое?

К и р п и ч н и к о в. По коридору идет Люба Попова!

Д ю ж и к о в. Кто?

К и р п и ч н и к о в. Люба Попова! Девушка нашего... этого — из Гудермеса! Я ее сразу узнал. Не забудьте ей сказать, что он ее полюбил с первого взгляда... Приготовьтесь! Желаю удачи! Прощайте! *(Исчезает.)*

Пауза.

Д е ж у р н а я. Симпатичный! Ну, теперь у вас чистенько — сидите себе на здоровье.

Д ю ж и к о в. Спасибо.

Д е ж у р н а я. Так откуда, значит, вы приехали?

Д ю ж и к о в. С Таймыра.

Д е ж у р н а я *(запоминая)*. С Тай-мыра.

В дверь стучат.

Д ю ж и к о в. Да?

Д е ж у р н а я. Не беспокойтесь — я отворю. *(Открывает дверь, пропускает в номер Дуню Бабурину и выходит.)*

Д у н я. Здравствуйте.

Д ю ж и к о в *(внимательно смотрит на Дуню)*. Здравствуйте. Входите, пожалуйста.

Д у н я *(нервно)*. Спасибо... Мне звонили от вас... Сказали, что я могу зайти...

Д ю ж и к о в. Да, да. Совершенно верно...

Телефонный звонок. Дюжиков хватает трубку.

Алло?.. Сижу, сижу... Сижу и не отхожу... Когда вы соедините меня? Алло... Алло... Ах, будьте вы там не-ладны. *(Положил трубку и снова внимательно по-смотрел на Дуню.)*

Пауза.

Д у н я *(смугилась)*. Ну, что вы так смотрите на меня?

Д ю ж и к о в *(тоже смугился)*. Извините...

Д у н я. Ой, нет, что вы! Это вы извините...

Д ю ж и к о в. Нам тут рассказывали про вас.

Д у н я. Ругали, наверное?

Д ю ж и к о в. Нет, наоборот.

Д у н я *(усмехнулась)*. Странно.

Д ю ж и к о в. Ну, почему — странно? А за что вас ругать?

Д у н я *(махнула рукой)*. Меня-то? Ох, меня есть за что! Я сама иногда так ругаю... Впрочем, это не важно!

Д ю ж и к о в. Да, конечно. Так, значит, я вам должен ска-зать...

Д у н я. Да, непременно. Только честно скажите, ладно? Да или нет? Если — нет, плюну на все и уеду!

Д ю ж и к о в. Хорошо. Садитесь.

Д у н я. Спасибо... Я ужасно волнуюсь, так что уж лучше сразу! Хорошо?

Д ю ж и к о в. Хорошо.

Дюжиков приготовился говорить, но, к его великому удивлению, Дуня быстро подходит к роялю, поднимает крышку и придвигает стул.

Д у н я. Что вам спеть?

Д ю ж и к о в *(очень удивленно)*. Спеть?

Д у н я. Да.

Д ю ж и к о в *(робко)*. А, собственно, зачем?

Д у н я *(теперь она удивилась)*. Вы разве не хотите, чтоб я вам спела?

Д ю ж и к о в *(в замешательстве)*. Нет... почему же... Я с большим удовольствием. Пожалуйста!

Д у н я *(волнуясь)*. Так вот, я вам спою песенку про поезда... можно?

Д ю ж и к о в. Конечно.

Дуня садится к роялю, берет несколько вступительных аккордов. Счастье, что она не видит горестного и восторженного лица Дюжикова.

Песенка про поезда

...Прогремят мимо тихих станций,
Повстречают гудком рассвет,
Днем и ночью из дальних странствий
Мчат и мчат поезда к Москве!

И везут хлопкоробы хлопок,
Шлет Урал боевых гонцов,
Едут парни с Амурских сопок,
Едут гости со всех концов!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...

Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов,
у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий
и разлук.

Оседают дыма клочья
На песок, на листву!
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву!

Приглядятся сосед к соседу,
Отведут для порядка взгляд,
И начнут не спеша беседу
Этак суток на семь подряд!

Вам ли дружба, друзья, в обузу?!
По стаканам вино разлей!
Поезда по всему Союзу
Закадычных везут друзей!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...
Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов,
у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий
и разлук!

Оседают дыма клочья
На песок, на листву.
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву!

По Москве, вдоль московских улиц
Нам бродить до утра не лень.
Слышишь, птицы уже проснулись.
Скоро шумный наступит день.

Так шагай же, шагай прилежней!
Слушай птиц перелетных клич.
Выше голову, друг приезжий!
В это утро и ты — москвич!

Сколько дальних перегонов, перегонов,
перегонов...
Под вагонами колеса — стук да стук!
Сколько было у вагонов, у вагонов,
у вагонов,
Сколько было у вагонов ожиданий
и разлук!

Оседают дыма ключья
На песок, на листву.
Мчится поезд днем и ночью
На Москву, на Москву.

Пауза.

Д ю ж и к о в (*искренне*). Замечательно! Просто великолепно!

Д у н я. Вам нравится? Правда?

Д ю ж и к о в (*неожиданно хмуро*). Очень! У вас чудесный голос, и вы превосходно поете... Короче, вот что я вам должен сказать. Вас любит один человек... Черт побери, я думал, это шутка — насчет любви с первого взгляда, но теперь я понял... Я хочу сказать, что я понял, что он мог полюбить вас с первого взгляда... Это немудрено... И он решил остаться в Москве, чтобы только быть вместе с вами! Вы понимаете?

Д у н я (*тихо*). Не понимаю... То есть понимаю... Нет, не знаю!

Д ю ж и к о в (*не глядя на Дуню*). Идите к себе... Идите и ждите его — он к вам придет... Идите!

Д у н я (*встает*). Хорошо... Странно как, честное слово (нерешительно направляется к двери, оглядывается на Дюжикова.)

Стучат.

Д ю ж и к о в. Кто там?

Входит Муж своей жены, останавливается на пороге, смотрит в упор на Дюжикова.

М у ж с в о е й ж е н ы. Это вы — Фортунатов?

Д ю ж и к о в. Кто?

М у ж с в о е й ж е н ы. Фортунатов?

Д ю ж и к о в (*мучительно припоминая*). Кажется, я.

М у ж с в о е й ж е н ы (*иронически*). Мне тоже кажется, что это вы. И номер, и приметы сходятся! С вас тридцать рублей, гражданин Фортунатов!

Д ю ж и к о в. Каких тридцать рублей?

М у ж с в о е й ж е н ы. Обыкновенных. Советских. Новых!

Пауза.

Д у н я (*чуть слышно*). Так я, пожалуй, пойду, да?

Д ю ж и к о в. Да... Идите, идите!

Д у н я. До свидания. (*Расстерянная и подавленная, уходит.*)

Д ю ж и к о в. Простите, а когда Фортунатов... То есть я

хочу сказать — когда я одалживал у вас эти тридцать рублей?

Муж своей жены. Не у меня одалживали. У жены. Она в гостинице, в вестибюле работает. На прошлой неделе. Обещались через полчаса вернуть, и вот — до сих пор...

Дюжиков (*радостно*). На прошлой неделе? В таком случае — это ошибка! Мы все приехали только сегодня ночью...

Муж своей жены. Значит, отказываетесь?

Дюжиков. Наотрез!

Муж своей жены. Понятно! Это мы предвидели, гражданин Фортунатов!

Дюжиков. Да я вовсе не Фортунатов! Я просто думал, что это кто-нибудь из наших.

Муж своей жены (*усмехнулся*). Понятно, понятно! Ладно, гражданин Фортунатов, не прощаюсь! (*Снова внимательно взглянул на Дюжикова, пошел к двери, обернулся. С нескрываемым презрением.*) Жулик! Ну с какой стороны ни взгляни — жулик, и точка!..

Занавес.

Действие второе

Музыка.

Перед занавесом — Дежурная. Она улыбается, говорит:

Обойти наш этаж — недолго путь,
Но пройдешь — и перед тобою целый
мир.

Может, вправду я, друзья, когда-нибудь
Попаду на этот самый Таймыр?

Дежурная разводит руками и уходит.

Занавес открывается.

Тот же номер. Четыре часа дня. Приближаются прославленные московские «часы пик». Шум за окнами с каждой минутой становится все громче и громче. В кресле, за маленьким столиком, с покаянным и опущенным видом сидит Ашот Мисьян — радист, могучий парень со сросшимися бровями, в великолепных белых штанах. У рояля, нервно теребя свернутые в трубку ноты, стоит певица. Аккомпаниатор, рыженький мальчик,

надменный и равнодушный, читает поставленный на пюпитр журнал.

Дюжиков (*стоит у телефона, взволнованно прижимая к уху телефонную трубку.*) Алло... Да... Что, Таймыр? Нет?.. Ждать и не отходить от телефона? Так... Вы не пробовали подсчитать, сколько уж раз за сегодняшний день вы меня об этом предупреждаете?.. Ах, вы только что приняли смену?! Понятно... Вам повезло... Я, например, не отхожу от телефона, и смены у меня нет! Ладно! Есть! (*Повесил трубку, подошел к Мисьяну, сел, вытащил из кармана платок, с тяжелым вздохом вытер вспотевший лоб.*)

Мисьян. Ну?

Дюжиков (*мрачно*). Все то же.

Мисьян. Зазимовал, дорогой?!

Дюжиков. Выходит, что так!

Певица (*нервно*). Товарищ Кирпичников...

Дюжиков. Да?

Певица. Извините, пожалуйста. Вы понимаете, я хотела дождаться моего партнера... Тенора Юнаковского... Но его все нет и нет. И я решила попробовать спеть соло...

Дюжиков. Очень приятно.

Певица. Но только я хочу, чтобы Леонид Михайлович проверил партию рояля... Еще пять минут... Мы вас не очень задерживаем?

Дюжиков. Да нет, ничего.

Певица. Спасибо!

Мисьян (*негромко*). Страшное ты дело взял на себя, дорогой! Не знаю этого товарища Кирпичникова, но полагаю, что он — железный человек!

Дюжиков. Он оказал мне огромную товарищескую услугу.

Мисьян (*бросая мрачный взгляд на певицу*). Тогда молчу! Если друг — то жизни не жалко!

Певица (*аккомпаниатору*). Леонид Михайлович, пожалуйста.

Аккомпаниатор, нехотя оторвавшись от чтения, берет первый попавшийся под руку аккорд.

Дюжиков (*обернулся к Мисьяну*). Ну, так я слушаю вас, товарищ Мисьян.

Мисьян (*виновато*). Дюжиков, дорогой, ну зачем ты мне говоришь «вы»? Я даю тебе честное слово, что это был

просто несчастный случай. Ты же сам знаешь, как это получается! В один прекрасный день тебе вдруг приходит в голову, что уже целых три года ты не надевал белые брюки и не нюхал персидскую сирень...

Д ю ж и к о в (*грубовато*). Это все лирика, Мисьян! Чего ты конкретно хочешь?

М и с ь я н. Хочу ехать с тобой обратно.

Д ю ж и к о в. Много хочешь!

М и с ь я н. Прошу тебя, дорогой, не говорить со мной как с чужим человеком. Лучше дай мне по морде! Я нанюхался этой сирени и понял, что для взрослого человека это еще не самое главное.

Д ю ж и к о в (*горячо*). В том-то и беда, Ашот, что ни черта ты не понял! Нам было стыдно, а не тебе! Нам было смертельно стыдно, когда приехала маленькая, худенькая девчужка из Ворошиловска, и пришла к Васе Федорченко, и сказала, что ее прислали вместо радиста Мисьяна...

Молчание. Рыженький мальчик бушует над клавиатурой.

П е в и ц а (*робко*). Леонид Михайлович, извините... Здесь я делаю паузу.

А к к о м п а н и а т о р (*не глядя*). Здесь нет паузы.

П е в и ц а. Да, но я...

А к к о м п а н и а т о р. Здесь нет паузы!

Отыгрыш рояля. Дюжиков быстро взглянул на сконфуженное лицо Мисьяна, усмехнулся.

Д ю ж и к о в. Ты в Дальстрое говорил с кем-нибудь?

М и с ь я н (*хмуро*). Говорил, с Ивановским говорил.

Д ю ж и к о в. Ну и что он тебе ответил?

М и с ь я н. Ответил, что надо дожидаться тебя! Он лично не возражает... Слушай, дорогой, я же все-таки радист первого класса!

Д ю ж и к о в. Это мне известно.

М и с ь я н. Ты когда едешь?

Д ю ж и к о в. Хочу завтра. Конец навигации на носу, а я с грузами зашиваюсь!

М и с ь я н (*почувствовал, что интонация меняется, ожил*).
Надо, надо, дорогой, торопиться!

Д ю ж и к о в. То-то и оно!

П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...

Д ю ж и к о в. Да?

М и с ь я н (*тихо*). Этот псевдоним меня убивает!

П е в и ц а. Мы, кажется, готовы, товарищ Кирпичников!
Д ю ж и к о в. Готовы? Очень хорошо — давайте!
М и с ь я н (*торопливо поднимаясь*). Я пойду. Потом к тебе
загляну, попозже...

Д ю ж и к о в. Сиди, сиди!

П е в и ц а (*становится в позу*). «Я тебе ничего не скажу»...

Д ю ж и к о в (*вежливо*). Простите, это вы мне?

П е в и ц а. Нет-нет. Это такой романс. На слова поэта Фета.

Д ю ж и к о в. А-а-а! Ну, давайте, давайте!

П е в и ц а (*делает шаг вперед и прижимает ноги к груди*).
«Я тебе ничего не скажу».

Аккомпаниатор играет вступление.

(Поет.)

«Я тебе ничего не скажу,
Я тебя...»

(*Замолчала и жалобно взглянула на аккомпаниатора.*
Тихо.) Леонид Михайлович, но ведь здесь фермата!

А к к о м п а н и а т о р (*равнодушно*). Я в этом не уверен.

П е в и ц а. Уверю вас, что здесь фермата...

*Певица и аккомпаниатор о чем-то тихо и горячо за-
спорили. Дюжиков поглядел на них, покачал головой,
быстро вырвал из блокнота лист бумаги, написал за-
писку, засунул ее в конверт, заклеил, протянул
Мисьяну.*

Д ю ж и к о в. Держи!

М и с ь я н. Что это?

Д ю ж и к о в. Передашь Ивановскому. Скажешь, что я к не-
му завтра зайду.

М и с ь я н. А как же будет со мной, а?

Д ю ж и к о в. Я пишу здесь. Прошу, чтоб он тебя оформил.

М и с ь я н (*очень взволнованно*). Дорогой, слушай... Ой, до-
рогой... Нет, я сейчас тебя не буду благодарить!

Д ю ж и к о в. И не надо.

М и с ь я н. Когда мы с тобой приедем домой — я в первый
день соберу всех ребят и скажу им речь. Она будет
называться — плач полярника, или долой белые брю-
ки! На слова поэта Фета...

Д ю ж и к о в (*фыркнул*). Потихе!

Без стука распахивается дверь. Быстро входит Гришко.

Г р и ш к о (*в дверях*). Все с-сидите?

Д ю ж и к о в (*развел руками*). Сижу! А что у вас?

- Г р и ш к о. Вот расписка Центральной бухгалтерии Главсевморпути. Деньги по госдотации переведены пятнадцатого прошлого месяца. Номер авизо я здесь з-записал.
- Д ю ж и к о в. Большущее вам спасибо! Что в управлении Геологоразведки?
- Г р и ш к о. Там х-хуже. Все опытные инженеры-практики уже з-законтрактованы. Речь может идти только о молодежи...
- П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...
- Д ю ж и к о в. Извините, минуточку...
- Г р и ш к о (*удивленно*). Г-где Кирпичников?
- Д ю ж и к о в (*тихо*). Да это я... А молодежь — это очень хорошо! Край у нас молодой, и работники нам нужны молодые. У нас для стариков неподходящая параллель.
- Г р и ш к о. Так я и условился. Они обещали кое с кем поговорить и направить к вам сюда, в гостиницу. Я о-объяснил.
- Д ю ж и к о в. Превосходно! Теперь вот что. Была у меня ваша знакомая...
- Г р и ш к о. Б-была?
- Д ю ж и к о в. Да.
- Г р и ш к о (*после паузы*). Ну?
- Д ю ж и к о в (*сдержанно*). Я все ей сказал. И о том, что вы любите ее. И о том, что вы остаетесь в Москве.
- Г р и ш к о. Она не с-смеялась?
- Д ю ж и к о в. Нет. Напротив, она была очень серьезна и даже, как мне показалось, взволнованна и удивлена!
- Г р и ш к о. А куда она пошла?
- Д ю ж и к о в. Домой. Я ей велел сидеть дома и ждать вас.
- Г р и ш к о (*тихо*). Спасибо... А вот о том, чтобы остаться в Москве, у меня, кажется, ничего не выходит! Предлагают ряд мест, но только не Москву... Впрочем, мы еще повоюем!
- Д ю ж и к о в (*хмуро*). Воюйте, воюйте.
- Г р и ш к о. А что она о-ответила вам?
- Д ю ж и к о в (*грустно*). Ответила, что будет вас ждать.
- Г р и ш к о. Да? Ну, так я побегу тогда... Большое вам спасибо! За все!
- Д ю ж и к о в. Торопитесь и кланяйтесь ей, счастливый человек!
- Г р и ш к о (*решительно*). Х-хорошо! И-иду! (*Поклонившись, быстро уходит.*)
- Д ю ж и к о в (*задумчиво*). Та-а-ак!.. Ашот!
- М и с ь я н. Да, дорогой!

Д ю ж и к о в. Ты, пожалуйста, не теряй времени — иди. Кстати, взгляни по дороге в Главсевморпуть, узнай насчет сметы. Толкни их еще разок. Лишний раз — не помешает. Сделаешь?

М и с ь я н *(протягивает руку)*. Сделаю, дорогой. Значит, друзья?

Д ю ж и к о в *(пожал протянутую руку)*. Друзья. Ты собратъся-то успеешь?

М и с ь я н. А что мне собираться?! Я уже полгода назад упаковал чемодан! *(Вздыхнув с облегчением, уходит.)*

Но в это время распахивается дверь, и в номер, гневно потрясая кулаками, вбегают дедушка Бабурин. Сталкивается с Мисьяном и даже не замечает этого. Тот пожимает плечами, подмигивает Дюжинову, показывает на голову и выходит.

Д е д у ш к а. Что же это получается, товарищи, а? Форменные надсмешки?!

Д ю ж и к о в. Что случилось?

Д е д у ш к а. Прихожу в Главлес. Иду в отдел заготовок, стыжу их, а они отвечают — некогда. Я их ругаю, маленько ногами на них топаю, а они отвечают — некогда! Я к ним по-сурьезному, на совесть беру, доказываю, что у меня навигация кончается, а они...

Д ю ж и к о в. Вы письмо им отдали?

Д е д у ш к а. Нет.

Д ю ж и к о в. Как — нет?

Д е д у ш к а *(азартно)*. А вот так — нет, и все тут! Не стану я им письмо отдавать. Я теперь из них душу выну...

Д ю ж и к о в. Погодите, но ведь мы же условились, что вы им отдадите письмо.

Д е д у ш к а. Мало ли чего мы условились! Я к шести часам к самому начальнику Главка на прием записался. Вот пускай он ответит мне — правильно они поступают или неправильно?! Вы не сомневайтесь — я эти безобразия на чистую воду выведу. Я из этого Главлеса главщепок понаделаю...

Д ю ж и к о в. Ох, честное слово, зря вы все это затеяли.

Д е д у ш к а. Как зря. Это вам тут сидя так легко рассуждать. А что люди на Таймыре ждут не дождутся — вы об этом подумали или как? Вы меня, молодой человек, не разубеждайте! Кто он ему, Главлесу этому, Таймыр? Чужой, что ли?..

Д ю ж и к о в *(внимательно посмотрел на дедушку, встал)*. Спасибо вам.

Д е д у ш к а (*остывая*). Ладно, ладно. Я не за спасибо...
Я за правду.

П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...

Д ю ж и к о в. Простите, сейчас.

Д е д у ш к а. Где Кирпичников?

Д ю ж и к о в (*тихо*). Я, я.

Д е д у ш к а. Вот как? Замещаете? Мы — туда, а вы — сюда! Внучка-то моя прослушивалась уже?

Д ю ж и к о в. Какая внучка?

Д е д у ш к а (*усмехнувшись*). Робеет! Вот публика! Ничего, сейчас я ее к вам подошлю.

Д ю ж и к о в. Для чего?

Д е д у ш к а. Пускай она вам исполнит чего полагается. А вы, значит, отругаете ее и велите ей ехать в Тамбов. Чтоб людям голову не морочила! Сейчас я ее подошлю.

Д ю ж и к о в (*безнадежно*). Может быть, попозже?

Д е д у ш к а. А что ж тянуть? Отругайте — и с плеч долой! (*Энергично топая, уходит*).

Секундное молчание.

Д ю ж и к о в (*к певице*). Так на чем же мы с вами остановились?

П е в и ц а. Я все-таки хотела попробовать спеть соло. Можно?

Д ю ж и к о в. Да, да, да. Прошу.

П е в и ц а (*становится в позу*). «Я тебе ничего не скажу».

Отыгрыш рояля.

(Поет.)

«Я тебе ничего не скажу,
Я тебя не встревожу ничуть.
И о том...».

Сильный стук в дверь.

Д ю ж и к о в. Простите... Кто там?

Входит Дежурная. В руках у нее метелка и совок.

Д е ж у р н а я. Граждане, что это вы тут с телефончиком делаете? Все занят он у вас да занят!

Д ю ж и к о в. Он не занят. Он включен на междугородную линию.

Д е ж у р н а я. Вон что! То-то, я гляжу, к нам в нишу звонить начали. Один сейчас прямо криком кричит. Подавайте мне, говорит, этого, который с Таймыра! Я, гово-

рит, везу ему... а чего везу, я так и не разобрала! Вы уж ему ответьте, гражданин, а то он обижается!

Д ю ж и к о в. Я не могу уйти из номера — меня каждую секунду могут соединить.

Д е ж у р н а я. Да ведь она рядом, ниша-то! Вы ступайте, а я покараулю пока... Ступайте!

Д ю ж и к о в (*подумав*). Ладно. Извините, сейчас! (*Быстро уходит.*)

Дежурная, опершись на метелку, с интересом разглядывает певичку.

Д е ж у р н а я. Поете?

П е в и ц а. Да. Пою.

Д е ж у р н а я. Хорошее дело. А вы сами откуда будете?

П е в и ц а. Я из филармонии.

Д е ж у р н а я. Откуда?

П е в и ц а. Из филармонии.

Д е ж у р н а я (*с сочувствием*). Да-с, это бывает! И нравится?

П е в и ц а. Ничего.

Д е ж у р н а я. Это конечно. Человек, он ко всему привыкает! Вот знаете, мне тоже предлагали на подсобное хозяйство перейти. Потом еще меня в нижний буфет звали...

Возвращается Дюжиков.

Д ю ж и к о в (*в дверях*). Не было звонка?

Д е ж у р н а я. Нет. А вы поговорили уже?

Д ю ж и к о в. Разъединили нас. Слушайте, товарищ дежурная, у меня к вам огромная просьба: покараульте у телефона, и если мне позвонят, спросите: кто везет и кого везут?! Есть?

Д е ж у р н а я (*растерялась*). Ой, да как же это?.. Да ведь у меня и времени нет... И в трех номерах еще не убрано... Вы лучше администратора попросите, он скоро придет...

Д ю ж и к о в (*с жаром*). Администратор придет — мы для него тоже дело найдем, вы не беспокойтесь! Вы же мне сами говорили, что вы энтузиаст тринадцатого этажа!

Д е ж у р н а я. Я и не отказываюсь.

Д ю ж и к о в (*постучал себя кулаком в грудь*). А кому везут — мне! Одним словом, Таймыру везут! А где Таймыр? Вот он — Таймыр! У вас на тринадцатом этаже! Так сражайтесь же за него, если вы энтузиастка!

Д е ж у р н а я (*нерешительно*). Попробовать разве?

Д ю ж и к о в. Конечно.

Д е ж у р н а я (с сомнением покачала головой). Ох, ладно...
Попробую. (Уходит.)

Дюжиков захлопнул за ней дверь, тяжело перевел дух, обернулся к певице.

Д ю ж и к о в (искренно и смущенно). Еще раз — мои извинения! Мы вас перебили...

П е в и ц а. Да нет, нет, ничего... Просто не понимаю, куда мог пропасть мой партнер — тенор Юнаковский! Просто не понимаю. И потом, Леонид Михайлович не хочет делать фермато...

Д ю ж и к о в. А вы попробуйте без фермато, а?

П е в и ц а. Так ведь сейчас к вам все равно придет девушка, которую вы должны прослушать и отправить в Тамбов...

Д ю ж и к о в (схватился за голову). Совершенно верно! Дедушкина внучка! Я про нее совсем забыл... Впрочем, я думаю, мы успеем до ее прихода. Пока она соберется, пока что...

П е в и ц а. Хорошо, товарищ Кирпичников.

Д ю ж и к о в. Пойте. Я вас слушаю.

П е в и ц а (становится в позу). «Я тебе ничего не скажу». Аккомпаниатор играет вступление.
(Поет.)

«Я тебе ничего не скажу,
Я тебя...».

(Остановилась, посмотрела на Дюжикова.)

Д ю ж и к о в. Что такое?

П е в и ц а (удивленно и радостно). Вы совершенно правы, товарищ Кирпичников, здесь действительно можно обойтись без фермато... Сейчас мы повторим!

В дверь стучат.

Д ю ж и к о в (в отчаянии всплеснул руками). Честное слово, можно сойти с ума.

П е в и ц а. Это, наверно, она!

Д ю ж и к о в. Да!

Входит Люба Попова, нерешительно останавливается на пороге.

Л ю б а. Извините... я помешала, кажется?

Д ю ж и к о в (свирепо). Да уж заходите, заходите! Помешала, но что ж теперь поделаешь — заходите!

Л ю б а. Здравствуйте. Очевидно, вы и есть товарищ Кирпичников?

Д ю ж и к о в. Да! Только, пожалуйста, давайте быстренько, у меня решительно ни одной свободной минуты...
Пойте!

Л ю б а (*удивленно*). Что?

Д ю ж и к о в. Что-нибудь. Мне все равно. Что покороче.

Л ю б а (*помолчав*). Извините, но я не понимаю.

Д ю ж и к о в. А вот когда споете, тогда и поймете. Давайте!
Пойте!

Люба хочет что-то возразить, но в это мгновение, захватившись и размахивая руками, вбегает раскрасневшийся Кирпичников.

К и р п и ч н и к о в. Скорей! Он сидит у меня внизу, в машине!

Д ю ж и к о в. Кто?

К и р п и ч н и к о в. Профессор Синицин! Из Министерства народного хозяйства. Я два часа вожу его по городу — уговариваю... Скорей, он хочет повидаться с вами!

Д ю ж и к о в. Он согласен?

К и р п и ч н и к о в. Не знаю. Насчет согласия пока туманно...

Д ю ж и к о в. Так это вы звонили мне в нишу?

К и р п и ч н и к о в. Да, да. Бегите, я здесь подежурю...
(*Шепотом*.) Это что за женщины?

Д ю ж и к о в (*шепотом*). Постарше — это певица, к вам. А молодая — дедушкина внучка. Пришла прослушиваться. Постарайтесь ее побыстрее спровадить.

К и р п и ч н и к о в. Хорошо, хорошо, бегите!

Д ю ж и к о в. Бегу. (*Убегает*).

К и р п и ч н и к о в (*приятно улыбаясь, обращается к Любе*).
Здравствуйте.

Л ю б а. Здравствуйте.

К и р п и ч н и к о в. Так чем же вы нас порадуете, а?

Л ю б а. Я?.. Я не понимаю...

К и р п и ч н и к о в. Мне товарищ... этот... товарищ Кирпичников поручил вас прослушать.

Л ю б а. Меня?

К и р п и ч н и к о в. Да, да... Что вы будете петь?

Л ю б а. Зачем петь? Товарищ Кирпичников обещал мне сказать...

К и р п и ч н и к о в. Вы чудачка! Какая вам разница, кто вам скажет — он или я? Важно ведь не кто, а что?!
Правда?

- Л ю б а. Да...
- К и р п и ч н и к о в. Ну, ну, вот и пойте.
- Л ю б а (*в отчаянии*). Ничего не понимаю! Я ведь не певица, не артистка...
- К и р п и ч н и к о в (*язвительно перебил*). Это нам, дорогой товарищ, прекрасно известно!
- Л ю б а. Я пришла...
- К и р п и ч н и к о в (*внезапно*). Он уже, наверное, внизу. (*Не слушая Любу, подбежал к открытому окну, лег животом на подоконник, свесился вниз.*)
- П е в и ц а (*вскрикнула*). Осторожно!
- К и р п и ч н и к о в. Где же они, а? Ага, так, так, знакомятся... Очень хорошо... Правильно... Взял под руку... Говорит... Очень хорошо... Правильно... Давай, давай, милый друг, давай!
- Л ю б а. Вы упадете!
- К и р п и ч н и к о в (*обернулся, задумчиво спросил*). Вы думаете? Нет, нет, нет, зачем же я буду падать?! Это же все-таки тринадцатый этаж!
- Л ю б а. Я вам хотела сказать...
- К и р п и ч н и к о в (*слезая с подоконника*). Голубушка, сначала спойте, потом поговорим. Условились?
- Л ю б а (*дрожащим голосом*). Я не буду петь.
- К и р п и ч н и к о в. Не будете?
- Л ю б а. Не буду.
- К и р п и ч н и к о в (*обиделся*). Как угодно! В таком случае не смею вас задерживать.
- Л ю б а. До свидания.
- К и р п и ч н и к о в. Странно вы себя ведете, голубушка! Мы к вам по-дружески, а вы...
- Л ю б а (*гневно, со слезами в голосе*). Вы... по-дружески? И это вы называете по-дружески? Это отвратительно, а не по-дружески. Я со всех ног бежала сюда, а вы устраиваете какую-то дурацкую комедию! Как вам не стыдно? Как вам... (*Неожиданно отвернулась, закрыла лицо руками, плечи ее вздрогнули.*)
- К и р п и ч н и к о в (*растерянно*). Ну вот, как нехорошо... Сами заупрямились, накричали на меня, а теперь...
- Врывается Дюжиков.*
- Д ю ж и к о в (*задыхаясь*). Таймыр не звонил?
- К и р п и ч н и к о в. Нет. А вы с Синициным договорились?
- Д ю ж и к о в. Не совсем. Его надо еще немного покатать. Идите, он ждет. А что с ней?
- К и р п и ч н и к о в (*виновато*). Плачет.

Д ю ж и к о в (*почесал голову*). Бедняга! Ладно, я сам займусь. Идите. Желаю успеха!

К и р п и ч н и к о в. Благодарю. (*Убегает.*)

Дюжиков подходит к Любе, неловко и сокрушенно погоптался на месте.

Д ю ж и к о в (*сочувственно*). Не плачьте... Честное слово, не нужно расстраиваться! Ведь вы еще очень молоды, у вас все образуется, поверьте мне!

Л ю б а (*всхлипывая*). Я сейчас... уйду...

Д ю ж и к о в. Да я вас вовсе не гоню! Я просто хочу, чтобы вы поняли: лучше сразу узнать правду и отказаться, раз и навсегда, чем всю жизнь себя обманывать!

От этих слов Люба расплакалась еще горше.

Л ю б а (*сквозь слезы*). Это он... это он просил мне так сказать?

Д ю ж и к о в. Мы все так считаем!.. Ну, успокойтесь, пожалуйста... Уверяю вас, что не пройдет и полугодя, как вы сами будете смеяться над этим своим увлечением! Поедете в Тамбов...

Л ю б а. Куда?

Д ю ж и к о в. В Тамбов.

Л ю б а. А зачем в Тамбов?

Д ю ж и к о в. Ну, знаете, это, по-моему, само собой разумеется!

Л ю б а (*встала, решительно вытерла слезы*). Какая чепуха! Я не хочу ехать в Тамбов! Зачем я должна ехать в какой-то Тамбов?!

Д ю ж и к о в. А вы что же, рассчитываете остаться в Москве?

Л ю б а. Нет. Мне давали путевку в Ишим, но я сначала не соглашалась, потому что думала... Теперь завтра же поеду оформляться.

Д ю ж и к о в. Ну, это совсем уже глупо! Чем Ишим лучше Тамбова?

Л ю б а. Там есть нефть...

Д ю ж и к о в. Нефть? А зачем вам нефть?

Л ю б а. Как — зачем? Я инженер-нефтяник! Честное слово, мне кажется, что я сплю и вижу все это во сне... До свидания... Извините, закатила истерику, как девчонка!

Д ю ж и к о в (*ошеломленно*). Стойте, стойте! Вы инженер-нефтяник?

Л ю б а. Да.

Д ю ж и к о в. Вы не шутите?

Л ю б а. Нет, конечно.

Д ю ж и к о в. И у вас есть диплом?

Л ю б а (*усмехнулась*). Есть. Даже с отличием. Должна была в будущем году кончать, а подогнала и кончила в этом!

Д ю ж и к о в. У кого вы учились?

Л ю б а. У профессора Старицкого.

П е в и ц а. Товарищ Кирпичников...

Д ю ж и к о в. Минуточку... Черт побери, действительно получается сплошная ерунда! Старик все напутал! Вы совершенно правы, зачем вам ехать в Тамбов! Стало быть, вы не давали еще пока согласия на Ишим?

Л ю б а. Пока нет.

Д ю ж и к о в. В таком случае у меня к вам будет вполне конкретное деловое предложение... (*Быстро вытащил из своего чемодана большую географическую карту, положил ее на стол, развернул.*)

Л ю б а (*разглядывает карту*). Что это?

Д ю ж и к о в. Заполярье. Помните, как у Некрасова:

Да, страшный край! Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Нависнет над страной...

Страшно, правда? Но это, так сказать, дела давно минувших дней. А вот теперь глядите сюда. Вот — между Енисейским и Хатангским заливами находится полуостров Таймыр. Если вас будут уверять, что это самое гиблое место на земле, — не верьте! Конечно, это, может быть, и не Гагры, но я знаю не одну сотню людей, которые никогда в жизни не променяют этот край на какие-нибудь Гагры! Да оно и понятно! Стоит один только раз увидеть, чтобы навсегда влюбиться в эту тишину, в эту ночь, в северное сияние, в удивительный необъятный простор... А когда после этой самой пресловутой стосуточной ночи появляется солнце и видишь при белом свете все, что сделано тобою и твоими товарищами за эту самую стосуточную ночь, то, клянусь вам... Впрочем, об этом и не расскажешь! И только одна беда — мало людей! Вернее, людей много, да все не хватает. Вот, понимаете, нашли в районе реки Хатанги нефть. А специалистов — раз, два и обчелся... Простите, как вас зовут?

Л ю б а. Люба.

Д ю ж и к о в. Люба? Мне сегодня везло на это имя... Так вот, Люба, надеюсь, вам ясно, к чему я клоню?

Л ю б а. Ясно.

Пауза. Аккомпаниатор дочитал журнал, засунул его в карман пиджака, с огромным стуком захлопнул крышку рояля и встал.

А к к о м п а н и а т о р (холодно). Хватит!

П е в и ц а (испугалась). Что с вами, Леонид Михайлович?

А к к о м п а н и а т о р. Хватит! Из-за того, что у вас нет артистического самолюбия, я не желаю пропускать концертмейстерские занятия! Я ушел! Прощайте!

П е в и ц а. Подождите, Леонид Михайлович, подождите, я с вами! До свидания, товарищ Кирпичников.

Д ю ж и к о в. До свидания. Извините, что все так получилось...

П е в и ц а. Вы не виноваты... Но я хочу сказать вам, товарищ Кирпичников, что я к вам не поеду в Черноморск.

Д ю ж и к о в. Да?

П е в и ц а. Да. Теперь я знаю, куда я поеду. До свидания, товарищ Кирпичников. Леонид Михайлович, идемте!

Певица и аккомпаниатор уходят. Дюжиков недоуменно посмотрел им вслед, усмехнулся.

Д ю ж и к о в. Странные люди... Так вот, Люба, что вы мне можете на все это сказать?

Л ю б а. А что я должна вам сказать?

Д ю ж и к о в. Конечно, на ходу такие вопросы обычно не решаются, это я понимаю. Но вся беда в том, что завтра я должен улететь обратно. В управлении Геолого-разведки моя заявка есть, так что с их стороны возражений не будет и все дело только за вами. Соглашайтесь, а? Даю вам слово — не пожалеете! Сегодня же вас оформят в отделе кадров, и вместе полетим! А?

Л ю б а. Куда? В Черноморск?

Д ю ж и к о в. Да нет, я же с Таймыра!

Л ю б а. А почему она...

Д ю ж и к о в (*перебил*). Недоразумение!.. Понимаете, Люба, для начала мы, скажем, законтрактуем вас всего на год, и если вам что-нибудь не понравится... хотя я совершенно убежден в том, что через год вы сами заболаете Таймыром, не хуже нас, грешных!

Л ю б а (*задумчиво*). Так, значит, на Таймыр?

Д ю ж и к о в. Ага!

Л ю б а (*решительно тряхнула головой*). Ну что же! Мне теперь все равно... А Таймыр — это даже заманчиво!

Д ю ж и к о в (*недоверчиво*). Вы согласны?

Л ю б а. Согласна.

Д ю ж и к о в (*после паузы*). Знаете что, подумайте еще три минуты. Пусть вам потом не кажется, что я вам просто не дал опомниться. Я засекаю время...

Л ю б а. Не надо. Я согласна.

Д ю ж и к о в. Слово?

Л ю б а. Слово.

Д ю ж и к о в. Вашу руку!.. А может быть, вы все-таки подумаете?

Л ю б а. Нет. Я решила уже.

Д ю ж и к о в. Вы молодчина! Я сразу понял, что вы настоящая молодчина! Недаром вас зовут Люба.

Л ю б а (*улыбнулась*). Разве это какое-нибудь особое имя?

Д ю ж и к о в. Мне оно нравится...

Открывается дверь, и быстро входит очень взволнованная Дуня. (Радостно.) А вот и еще одна Люба!

Д у н я (*гневно и торопливо*). Происходит какое-то непонятное недоразумение...

Д ю ж и к о в. Что случилось?

Д у н я. Скажите мне честно: я у вас была?

Д ю ж и к о в. Были.

Д у н я. Вы говорили со мной?

Д ю ж и к о в. Говорил.

Д у н я. Я так и знала! Нет, вы понимаете, какой вредный, пускается теперь на всякие хитрости, чтоб только заставить меня ехать с ним! А я не поеду! Все равно не поеду! Я так и сказала ему...

В дверь просовывается голова Дежурной.

Д е ж у р н а я. Гражданин...

Д ю ж и к о в. Да?

Д е ж у р н а я. Опять звонит этот... Ну, который профессора возит...

Д ю ж и к о в (*мгновенно забывая обо всем на свете*). Что у него?

Д е ж у р н а я. Не пойму... Вы сами с ним потолкуйте — он ждет!

Д ю ж и к о в. Ждет? Ладно, бегу... Девушки, вы не уходите никуда, я скоро вернусь!

Дюжиков и Дежурная убегают.

Л ю б а (*помолчав*). Какой он странный, этот Кирпичников, правда?

- Д у н я (*хмуро*). Он не Кирпичников.
- Л ю б а. Как — не Кирпичников? А кто же он?
- Д у н я. Фортунатов. Я сама сначала думала, что Кирпичников, а потом выяснилось, что он Фортунатов. Наверное, это его псевдоним.
- Л ю б а. Почему — псевдоним? Разве он артист?
- Д у н я. Да... А в общем, я сама толком не знаю! До того все непонятно, что прямо хоть садись да реви!
- Л ю б а (*усмехнулась*). А я уже нарevelась!
- Д у н я (*участливо*). У вас беда какая-нибудь?
- Л ю б а. Да... Не знаю... Нет, не беда! Просто была дурой, верила, надеялась на что-то и ждала напрасно...
- Д у н я (*сурово*). Я тоже напрасно ждала. Три часа.
- Л ю б а. Я целый год.
- Д у н я. Целый год. Ой-ой-ой! Ну а он?
- Л ю б а. Он? Он со мною и встретиться не захотел. Попросил своих друзей поговорить...
- Д у н я (*возмущенно*). Неужели друзей попросил?
- Л ю б а. Да. Они мне все сказали. Сказали, чтобы я перестала себя обманывать...
- Д у н я. Подлец!
- Л ю б а. Нет, он не подлец. Он, в конце концов, ни при чем. Это я сама выдумала бог знает что, вот и каюсь!.. Не хочу больше об этом... Вас зовут Люба?
- Д у н я. Нет, Дуня.
- Л ю б а. А мне показалось, что он вас назвал Любой... У вас, Дунечка, тоже неприятности, да?
- Д у н я. Да... Только сначала я не думала, что это неприятности. Сначала я думала, что это наоборот... А потом все стали со мной хитрить, путать... Ну и все равно... все равно я не поеду в Тамбов!
- Л ю б а. Куда?
- Д у н я. В Тамбов.
- Л ю б а. И вы тоже?
- Д у н я. Что?
- Л ю б а (*яростно*). Ну что это за глупый, что это за отвратительный розыгрыш! Ну почему они все хотят, чтобы мы ехали в Тамбов!
- Д у н я (*всхлипнула*). Я не знаю...
- Л ю б а (*всхлипнула*). И я не знаю... Вы только не плачьте, Дуня.
- Д у н я. Не буду.
- Л ю б а. Не плачьте, не плачьте. Погодите, сейчас мы сообщу найдем и для вас какой-нибудь выход.
- Д у н я. А для себя вы нашли?

Люба. Нашла. Собственно, не я нашла, а Кирпичников...

Дуня (*поправляет*). Ну да, да, Fortunатов!

Люба. Он предложил мне ехать работать на Таймыр...

Дуня. Куда?

Люба. На Таймыр.

Дуня. Ой, это ведь очень далеко?

Люба. И пускай далеко! Вот и хорошо, что далеко! Но мне чем дальше, тем лучше!

Дуня. А он?.. Он тоже едет?!

Люба. Конечно.

Дуня (*помолчав, упавшим голосом*). А сперва сказал... Когда он едет?

Люба. Завтра.

Дуня (*едва не вскрикнула*). Завтра?

Молчание. Люба встает, подходит к Дуне, старается заглянуть ей в лицо. Дуня отворачивается.

Люба (*тихо*). Дунечка...

Дуня молчит.

Дунечка, ну хотите, сейчас он вернется, я с ним поговорю, чтобы всем вместе.

Дуня (*резко*). Ни за что!

В номер вбегают Дюжикиов.

Дюжикиов. Можете себе представить — он согласен!

Люба. Кто?

Дюжикиов. Профессор Синицин! Таймыр не звонил?

Люба. Нет.

Дюжикиов (*подошел к Любе, взял ее за руку*). Идемте!

Люба. Куда?

Дюжикиов (*оглядел номер*). Куда? На балкон! Нам надо еще поговорить, а здесь мы будем мешать!

Люба (*пожимая плечами*). Ладно.

Дуня. А я...

Дюжикиов (*значительно*). А вы сидите, пожалуйста, и ждите! (*Берет два стула, папку с делами и, еще раз значительно и загадочно кивнув Дуне, уходит с Любой на балкон.*)

Пауза. Входит Гришко. Близоруко всматривается, узнает Дуню и останавливается перед ней в полном недоумении.

Гришко. Это в-вы?

Дуня. Да, я.

Гришко *(растерянно)*. Очень п-приятно... Очевидно, я не так п-понял...

Дуня *(сердито)*. Очевидно.

Гришко. Я з-задержался... дозванивался из вестибюля одной з-знакомой, а он наскочил на меня и з-заставил идти сюда... Впрочем, я понимаю! Вероятно, он хотел, чтобы я перед вами извинился... Да, конечно!

Дуня. Кто хотел? За что извинились?

Гришко. Ну, за то, что произошло утром, когда вы приходили будить дедушку. Действительно, вы совершенно правы: я все напугал, вел себя недопустимо развязно, и мне до сих пор стыдно... Я вполне разделяю его в-возмущение... Вполне!

Дуня. Чье возмущение?

Гришко. Дюжикова.

Дуня. Понятия не имею, о чем вы толкуете. Если вы насчет утра, так я про это уж и думать забыла...

Гришко. Правда?

Дуня. Правда, правда.

В дверь стучат.

Гришко. Да-да!

Входит пожилая женщина — Тетя Гали Савельевой.

Вам к-кого?

Тетя Гали Савельевой. Мне нужно повидать гражданина Фортунатова.

Дуня. Он здесь. Подождите.

Тетя Гали Савельевой. Хорошо *(Садится в кресло, в углу. Застывает в позе напряженного ожидания.)*

Гришко *(Дуне)*. Какой это Фортунатов? Г-где он?

Дуня. На балконе.

Гришко *(ничего не поняв, на всякий случай кивнул головой)*. Ага! А вы почему такая с-сердитая? Кто вас обидел?

Дуня. Никто.

Гришко. А все-таки?

Дуня. Никто меня не обидел.

Гришко *(улыбаясь)*. Никто не обидел, а сердится! З-значит, просто характер плохой, да?

Дуня *(злость придает ей решимость)*. Ну при чем здесь мой характер? Вот вы сами рассудите: обидно это или нет?! Сперва человек говорит... Говорит, что решил остаться из-за меня... А на самом деле — все неправда! На самом деле — он уезжает на Таймыр...

Гришко. Вот как? Он вам это все сказал?

Дуня. Да.

Гришко. Не может быть!

Дуня (*серьезно*). Я не вру.

Гришко. Слушайте, так ведь это ж з-замечательно! Ведь он же вам тоже нравится, да? П-признавайтесь!

Дуня. Не понимаю, чему вы радуетесь?

С балкона выглянул Дюжиков. Дуня быстро отвернулась.

Дюжиков (*с видом заговорщика*). Ну как? Не кончили еще?

Гришко. Нет, кончили. Можно вас на одну с-секунду?

Дюжиков. Слушаю.

Гришко (*ответ Дюжикова в сторону, тихо*). Поглядите на эту девушку...

Дюжиков (*угрюмо*). Я уже глядел.

Гришко (*шепотом*). Я, правда, не очень хорошо разбираюсь в подобных делах, но, по-моему, вы ей нравитесь... И даже, может быть, больше чем нравитесь!

Дюжиков (*в ужасе*). Что?

Гришко. Да, да, да!

Дюжиков. Я? А вы?

Гришко. Я?..

Дюжиков внимательно посмотрел на Гришко, внезапно резко повернулся, подошел к окну, несколько секунд постоял молча.

Тетя Гали Савельевой (*тихо, Дуне*). Это и есть Фортунатов?

Дуня. Да.

Гришко. Так я пойду.

Дюжиков (*протянул руку Гришко, взволнованно сказал*).

Вы настоящий человек. Я сейчас никак не могу собраться с мыслями, это все так неожиданно и... Но вы настоящий человек!.. Понимаю, как вам должно быть горько... Извините...

Гришко. Н-ничего! Желаю счастья.. Кстати, кто это сидит с вами на балконе?

Дюжиков (*рассеянно*). Один товарищ. По делу.

Гришко (*кивает на Тетю Гали Савельевой*). Его, кажется, ждут. Еще раз желаю счастья! До свидания! (*Вежливо поклонившись, быстро уходит.*)

Дюжиков продолжает стоять у окна, словно не решаясь взглянуть на Дуню.

Тетя Гали Савельевой (*Дуне*). Вы давно знакомы с этим Фортунатовым?

Дуня. Нет.

Тетя Гали Савельевой (*взволнованно*). Вам не следует здесь оставаться, вы понимаете? Вам ни в коем случае не следует здесь оставаться!

Дуня. Почему?

Дюжиков (*наконец, решившись, обернулся к Дуне*). Вот как все получилось! Вы ушли, а я все время о вас думал... И злился на себя за то, что я думаю! И не мог... Вернее, не хотел понять...

Тетя Гали Савельевой (*встала*). Извините, пожалуйста...

Дюжиков. Что такое?

Тетя Гали Савельевой. Я хочу узнать... Меня просили узнать... В общем, вам известна такая Галя Савельева?

Дюжиков. В первый раз слышу!

Тетя Гали Савельевой. В первый раз слышите? А как же... Нет, это вы говорите неправду! Я тетя Гали Савельевой, и она... Я все знаю... Она со мною всегда советуется, и я... Она просила меня... Вот, возьмите, гражданин Фортунатов, ваши письма... Все!.. (*Швырнула под ноги Дюжинову пачку смятых писем и быстро ушла.*)

Молчание.

Дюжиков (*растерянно*). Вот чудачка. Вы знаете, Люба...

Дуня (*тихо*). Я не Люба! И я не Галя Савельева. Вы ошиблись, гражданин Фортунатов! Прощайте! (*Быстро уходит.*)

Дюжиков. Люба! Подождите, Люба!.. Все сошли с ума... Люба!

С балкона быстро выходит Люба.

Люба. Вы звали меня?

Дюжиков. Вас? Нет... Нет, не звал...

Люба. А мне послышалось. Что с вами?

Дюжиков. Ничего... Не знаю... Подождите! (*Размашисто наливает из графина воду, жадно пьет.*)

Люба в недоумении смотрит на него.

(*С трудом.*) Вот что, вы сейчас отправляйтесь в Геолого-разведочное управление, в отдел кадров... Скажите, что мы с вами договорились и что больше ко мне никого

посылать не надо. Пусть они вас оформят. Не возражаете?

Люба. Хорошо, товарищ Фортунатов.

Дюжиков (*яростно*). Я не Фортунатов. Не смейте меня называть Фортунатовым!

Люба. Извините. Я сама думала, что это ошибка. Хорошо, товарищ Кирпичников!

Дюжиков. Я не Кирпичников! И я не Фортунатов! Я... этот, как его... Я — Дюжиков, черт возьми, Дю-жи-ков. Ясно?

В номер без стука входит Муж своей жены. Рядом с ним чрезвычайно угрюмого вида Человек из гардероба.

Муж своей жены (*указывая на Дюжикова*). Он?

Человек из гардероба неопределенно пожимает плечами.

Дюжиков (*резко*). В чем дело?

Муж своей жены. Уличить вас, гражданин Фортунатов, пришли! Вот, человек в гардеробе работает, видел, как вы у жены тридцать рублей брали!..

Дюжиков. Послушайте...

Муж своей жены. А нам вас, гражданин Фортунатов, слушать неинтересно! Нам, гражданин Фортунатов, деньги нужны!..

Распахивается дверь, и в номер бойко вбегает Человек в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Товарищу Кирпичникову привет еще раз!

Дюжиков. Что?

Человек в клетчатом пальто. Я говорю: приветствую вас еще раз, дорогой товарищ Кирпичников! Вы хотели иметь классику, будьте любезны, мы работаем классику. Внимание.

Человек в клетчатом пальто высовывается в коридор, и оттуда по его зову в номер вливается странная компания — два гитариста, старая женщина с бубном, вихрастый паренек в голубой косоворотке и в смазанных сапогах.

Люба в испуге медленно пятится к дверям.

Цыганская-концертная! Чавелы, друзья мои, поехали!

З а н а в е с .

Действие третье

Музыка.

Перед закрытым занавесом проходит Дежурная, останавливается, произносит негромко и загадочно:

— Дальше было... А впрочем, увидите сами! Только очень прошу соблюдать тишину!.. (*Взглянула на часы, вздохнула.*)

До чего ж неохота расставаться с друзьями, может, смену еще отдежурить одну?.. (*Уходит.*)

Открывается занавес.

Ранние сумерки. Дюжиков задумчиво стоит у открытого настежь окна и слушает шум вечернего города. В дверь стучат, Дюжиков молчит. Снова стучат. Дюжиков осторожно, бесшумно подходит к дверям, спрашивает нарочито тонким голосом.

Д ю ж и к о в. Кто там?

За дверью слышен голос бабушки Бабурина.

Д е д у ш к а. Да ну я это! Я! Открывайте!

Дюжиков отпирает дверь.

Д е д у ш к а (*входя*). Это вы от кого же тут прячетесь, а? Д ю ж и к о в (*мрачно*). Да так... Замучили... Что у вас?

Д е д у ш к а (*торжественно*). У меня — пошла писать губерния! Я начальнику Главлеса пожаловался, он совещание созвал, распустил их всех! За бесчувственное, говорит, отношение к Таймыру! Прощения у меня просили... Ну смех, и только!

Д ю ж и к о в. Письма вы им отдали?

Д е д у ш к а. Отдал. Не хотелось, да уж, думаю, ладно.

А вот с подшипниками у нас тю-тю!

Д ю ж и к о в. Как — тю-тю! Наряда не дают?

Д е д у ш к а. Наряд-то дают, да на будущий месяц! У них на август лимит исчерпан. Я им говорю: мне, говорю, будущий месяц не подходит. У меня навигация кончается. Не убедил! Может, Кирпичников чего-нибудь там добьется?

Д ю ж и к о в. А он как туда попал?

Д е д у ш к а. Я по ноль девять позвонил, узнал номерок филармонии и вызвал товарища Кирпичникова на подмогу! Подшипники же нужны!

Д ю ж и к о в (*задумчиво*). Да, неприятно.

Д е д у ш к а. Подождем, товарищ Дюжиков, Кирпичникова.
Д ю ж и к о в. Подождем Кирпичникова.
Д е д у ш к а (*тяжело вздохнул*). Ох-хо-хо! Беспокоюсь я за этот участок... Да, к слову, товарищ Дюжиков, за внучку — низжайшая вам моя благодарность!

Д ю ж и к о в. А что?

Д е д у ш к а. Все в порядке. Лежит у себя в номере, плачет, на вопросы не отвечает.

Д ю ж и к о в. Погодите, как — лежит у себя в номере и плачет? Мы с ней договорились, что она идет оформляться.

Д е д у ш к а. Куда оформляться? Ей в Тамбов оформляться не надо. Она и так самая что ни на есть коренная тамбовская.

Д ю ж и к о в. Не понимаю я вашего упорства, ей-богу!

Д е д у ш к а. В каком смысле?

Д ю ж и к о в. В самом прямом! У вашей внучки золотая специальность...

Д е д у ш к а. Правильно.

Д ю ж и к о в. А что ей делать в Тамбове?

Д е д у ш к а. По специальности и работать.

Д ю ж и к о в. Убейте — не понимаю! Да откуда взялась в Тамбове нефть?

Д е д у ш к а (*подозрительно*). Нефть? Не знаю, откуда она взялась.

Д ю ж и к о в. А если нету нефти, то за каким лешим вы принуждаете специалиста-геолога ехать в Тамбов?

Д е д у ш к а. Это какого еще геолога?

Д ю ж и к о в. Внучку.

Д е д у ш к а. Чью внучку? Мою, что ли?

Д ю ж и к о в. Вашу.

Д е д у ш к а. А кто вам сказал, извините, что она геолог?

Д ю ж и к о в. Да она сама. Только недавно.

Д е д у ш к а. Свят, свят, свят! Ведь вот предупреждал я ее: нечего тебе в Москву ездить! Москва — город шумный, беспокойный, тут у старых людей глаза разбегаются... Вы уж не сердитесь на нее, товарищ Дюжиков, мало ли чего в жару наболтаешь?! Ох, побегу, может, к ней доктора звать надо...

В дверь стучат.

Д ю ж и к о в (*вздохнул*). Войдите.

Входит толстая, веселая, еще не старая женщина — мать Любы Поповой — Елена Николаевна Попова. Она останавливается в дверях и с интересом смотрит на Дюжикова.

П о п о в а. Здравствуйте, мне нужен товарищ Кирпичников.

Д ю ж и к о в (*скорбно*). Это я.

П о п о в а. Вы?

Д ю ж и к о в. Да, я.

Д е д у ш к а. Так я побежал, товарищ Дюжиков!

Д ю ж и к о в (*неестественно засмеялся, грозно посмотрел на дедушку*). Шутите, дедушка... Что это вы меня все Дюжиковым да Дюжиковым дразните?

Дедушка сконфузился, искоса быстро взглянул на Попову и вышел.

Д ю ж и к о в (*Поповой*). Садитесь. Вы по какому вопросу?

П о п о в а. Я — Елена Николаевна Попова. Мать Любы.

Д ю ж и к о в (*тихо*). Вы?

П о п о в а. Да. Может показаться странным то, что я пришла к вам. Но вы должны меня понять... У нас с Любой никогда не было тайн друг от друга! И сейчас я тоже все знаю... Знаю, что она прибегала сюда повидаться с Андреем Николаевичем... Знаю, что говорили с нею вы, и знаю, что она приняла решение ехать с вами на Таймыр...

Д ю ж и к о в. На Таймыр?

П о п о в а. Нет, нет, вы только не поймите меня неверно! Я ведь не против того, чтобы она ехала... Меня просто взволновала и, честно вам скажу, немножко испугала та внезапность, с которой это все произошло... (*Улыбнулась.*) Очевидно, вы были настолько убедительны...

Д ю ж и к о в (*медленно*). Я с нею не говорил о Таймыре.

П о п о в а. Вот как?

Д ю ж и к о в. Да. Я говорил об этом с другой Любой, но не с ней. Решила ехать она сама. И вы первая, от кого я это слышу... Я ужасно рад тому, что вы сюда пришли, Елена Николаевна!

П о п о в а (*после паузы*). Почему?

Д ю ж и к о в (*просто*). Я люблю Любу.

П о п о в а (*с шуточной серьезностью*). И давно?

Д ю ж и к о в. Очевидно, с самой первой минуты нашего знакомства.

П о п о в а. А когда это приключилось?

Д ю ж и к о в. Только сегодня. Не смейтесь! Я понимаю, что это звучит нелепо и я, вероятно, кажусь мальчишкой и чудачком, но это действительно так... Поверьте, я вовсе не из той породы людей, которые, что ни день, теряют голову... На Севере, в долгие зимние ночи, когда ребята рассказывали о своих невестах и женах,

они часто приставали ко мне, чтобы я рассказал тоже! А я молчал! У меня никогда не было ни жены, ни невесты... Я только представлял себе — какой бы я хотел ее видеть! А словами я об этом сказать не мог!

П о п о в а. А теперь можете?

Д ю ж и к о в (*подумав*). Нет, пожалуй, и теперь не могу. Но теперь я знаю хоть — какая она. И теперь, после того как она решила ехать вместе со мной, я уже не боюсь в этом признаться! Впрочем, она оказалась отважней меня... Ох, как это удивительно хорошо, Елена Николаевна, то, что Люба едет к нам на Таймыр!

П о п о в а. И вы думаете, ей не придется об этом жалеть?

Д ю ж и к о в (*твердо*). Нет. Никогда.

П о п о в а (*задумчиво улыбаясь, смотрит на Дюжикова*). Да... удивительно! Когда Люба позвонила мне на работу, я уже по одному ее тону поняла, что случилось нечто необычное... А впрочем, и со мною когда-то все произошло примерно так. Любишь сразу. И не любишь тоже сразу. А вы, по-моему, славный... Я, кажется, понимаю Любу... Правда, немножко сумасшедший!

Д ю ж и к о в. Это плохо, что сумасшедший?

П о п о в а. Нет. Ничего. Мне даже нравится.

В дверь просовывается голова Человека в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Товарищ Кирпичников...

Д ю ж и к о в (*коротко*). Уйдите, пожалуйста!

Человек в клетчатом пальто (*не обижаясь*). Хорошо, Иван Иванович! Я в коридоре буду! (*Исчезает.*)

П о п о в а. Вы свободны сегодня вечером?

Д ю ж и к о в (*злбно кивнул на телефон*). Да вот, жду телефонного звонка. Если меня наконец соединят — буду свободен.

П о п о в а. Приходите к нам. Приходите, посидим запросто, поговорим. Записывайте адрес... Ведь вы, разумеется, не знаете нашего адреса?

Д ю ж и к о в (*смеется*). Не знаю.

П о п о в а. Так я и предполагала! Записывайте!

В дверь стучат.

Д ю ж и к о в. Пожалуйста.

Входит еще одна женщина — маленькая, решительная, в пенсне. В руках у нее кожаный докторский чемоданчик.

Женщина. Здравствуйте! Мне сказал портье, что Иван Иванович Кирпичников находится в этом номере...

Дюжиков. Да.

Женщина. Где он?

Дюжиков *(после паузы)*. Сейчас...

Женщина. Что — сейчас?

Дюжиков. Сейчас.

Попова. Так вы пишете, Иван Иванович.

Дюжиков. Да, да.

Попова *(диктует)*. Метростроевская улица...

Женщина. Где Иван Иванович?

Дюжиков *(от растерянности приятно улыбаясь и подмигивая женщине)*. Сейчас, сейчас...

Женщина *(рассердилась)*. Что вы мне подмигиваете? Я требую, чтоб вы немедленно мне ответили: где Иван Иванович Кирпичников?

Дюжиков. Ну, я, я, я Кирпичников!

Женщина. Вы?

Дюжиков. Да.

Женщина. Иван Иванович Кирпичников?

Дюжиков. Да.

Женщина. Директор Черноморской филармонии?

Дюжиков. Да. У вас что, простите, сопрано или что-нибудь другое?

Женщина *(с загадочной и зловещей улыбкой)*. У меня другое. Совсем другое. Дело в том, дорогой Иван Иванович Кирпичников, что я ваша жена!

Дюжиков *(остолбенев)*. Кто?

Женщина. Жена.

Попова с интересом и удивлением смотрит то на Дюжику, то на Кирпичникову.

Дюжиков *(заплетающимся языком)*. Какая?

Кирпичникова. Законная! Мы с вами, Иван Иванович, уже двадцать пять лет состоим в законном зарегистрированном браке. Вы какого года рождения?

Дюжиков. Двадцать девятого.

Кирпичникова *(меланхолично)*. Значит, вы женились на мне десяти лет от роду. Рано!

Дюжиков. Товарищ Кирпичникова!

Кирпичникова. Ну а теперь шутки в сторону, и извольте отвечать: что здесь происходит? Где Ваня?

Дюжиков. Сейчас я вам все расскажу... Дайте мне только...

Кирпичникова *(великодушно)*. Пожалуйста.

П о п о в а. Да, да... Мне тоже будет интересно послушать!

Дюжиков вытер платком вспотевший лоб, налил в стакан воды, выпил.

Д ю ж и к о в. Уже! Видите ли, я весь день как проклятый сижу в этом номере и дожидаясь телефонного разговора с Таймыром... А у меня сто тысяч дел в городе, а меня вызывает Таймыр... И я не могу уйти. Понимаете?

К и р п и ч н и к о в а. Нет. *(Поповой.)* А вы?

П о п о в а. Я тоже нет.

Д ю ж и к о в *(терпеливо)*. Меня вызывает Таймыр...

В номер врывается бабушка, подступает к Дюжинову. Бабушка настроен воинственно.

Д е д у ш к а. Что же это получается такое, любезный друг? Выходит, что не она вам голову морочила, а вы ей голову морочили? Вот ведь какая история! Она мне все сейчас рассказала!

Д ю ж и к о в. Погодите... О чем вы?

Д е д у ш к а. А все о том же, любезный друг, все о том же! Интересуюсь, зачем вы внучку мою обманываете, это раз! Интересуюсь, кто такая Галя Савельева, которой вы письма писали, это два-с!..

П о п о в а *(резко встала)*. Ну, это уж слишком!

Д ю ж и к о в *(беспомощно)*. Елена Николаевна... Я вам клянусь — это какое-то дикое недоразумение...

Попова, не слушая Дюжинова и не прощаясь, уходит. Дюжиков хочет броситься за нею вслед, но его останавливает телефонный звонок.

(Хватает трубку.) Алло... Да... Слушаю... Междугородная?.. Что, что??. Ждать и не отходить от телефона? Знаете что, междугородная, сейчас я приду к вам, на вашу междугородную, и... ладно! Жду и не отхожу! *(Безнадежно махнул рукой, повесил трубку, непонимающими глазами посмотрел на Кирпичникову и бабушку, потом, словно о чем-то вспомнив, стремительно побежал к дверям.)* Елена Николаевна!

Молчание. Раскланиваясь и улыбаясь, появляется Человек в клетчатом пальто.

Человек в клетчатом пальто. Вы меня, Иван Иванович?!

Д ю ж и к о в *(страшным голосом)*. Уйдите!!!

Человек в клетчатом пальто исчезает. Молчание.

Д е д у ш к а (*горестно*). А я-то слушаю, я-то слушаю — про какую он мне нефть толкует?.. Понятно теперь, какая нефть!

Д ю ж и к о в. Даю вам честное слово...

Д е д у ш к а. Отрицаете, значит?

Д ю ж и к о в (*отчаянно*). Отрицаю... Стойте, вы же сами говорили, что у нее жар...

Д е д у ш к а. Я говорил, потому как я ей дедушка — мне можно! А вам, гражданин, я не позволю! Вот сейчас я схожу за ней, тогда поглядим. (*Уходит.*)

Молчание.

К и р п и ч н и к о в а. И все-таки мне бы очень хотелось узнать: где находится Иван Иванович?

Д ю ж и к о в. Он в Стаьлконструкции.

К и р п и ч н и к о в а. Да? Ну хорошо, если вам угодно начать все сначала — начнем. Значит, он в Стаьлконструкции. Бегает по чужим делам, вместо того чтобы заниматься своими. Это мне ясно. А вас вызывает Таймыр...

Д ю ж и к о в. Да.

К и р п и ч н и к о в а. Пока еще не улавливаю связи.

Д ю ж и к о в. Тут, в двух словах, такая история...

К и р п и ч н и к о в а. Ничего, ничего, не торопитесь. Я человек терпеливый — мы разберемся...

Входит Гришко. Угрюмо и молча, ни на кого не глядя, подходит к своей кровати, достает чемодан.

Д ю ж и к о в. Андрей Николаевич...

Гришко молчит.

Андрей Николаевич, вы не заходили больше в Геологоразведочное управление?

Г р и ш к о. Заходил.

Д ю ж и к о в. Что с вами?

Г р и ш к о. Ничего.

Д ю ж и к о в. Да нет, я же вижу... Андрей Николаевич!

Г р и ш к о. Очень вас прошу не обращаться ко мне. Мне это н-неприятно...

Молчание. Гришко сумрачно и сосредоточенно занимается укладкой своего чемодана.

Д ю ж и к о в (*мягко*). Слушай, Андрей Николаевич, дружище, пойми, что теперь никто из нас не в силах уже ни переделать, ни изменить того, что произошло... Разу-

меется, тебе тяжело, обидно, горько... Иначе и быть не может! Сейчас ко мне заходила Елена Николаевна...

Гришко (*насторожившись*). Кто?

Дюжиков. Ну, Андрей Николаевич, ну, успокойся! Ты пойми, что для меня это тоже вовсе не так просто...

Я, как мальчишка, полюбил ее с первого взгляда и...

Гришко (*не выдержал, крикнул*). Кто-кого, кто-кого вы полюбили-ли?!

Дюжиков. Любу.

Гришко. Л-Любу?

Дюжиков. Да.

Гришко. А она?

Дюжиков (*сдержанно*). Об этом следует спросить у нее.

Молчание.

Кирпичникова. Молодые люди, прошу прощения, это гостиница «Москва»?

Дюжиков. Да. А что?

Кирпичникова (*пожала плечами*). Нет. Ничего. Знаете что, молодые люди, давайте сядем и попробуем спокойно разобраться — кто же кого любит...

Нагруженный кулками, свертками и пакетами, в номер вваливается Кирпичников.

Кирпичников. Товарищ Дюжиков, наряды на подшпники не дают! Сейчас закусим и соберем военный совет...

Кирпичникова (*спокойно*). Здравствуй, Ваня!

Кирпичников (*роняя пакет*). Здравствуй, Лизочка!..

Кирпичникова. Чужало мое сердце, что нужно спешить.

Кирпичников. Как ты? Откуда ты?..

Кирпичникова. Меня взял на самолет один мой пациент. Директор завода. Это что, последняя московская мода — носить пижаму вместо рубашки?

Кирпичников (*сконфуженно оглядывает себя*). Нет, нет, нет... Ну почему вдруг — вместо рубашки?.. Да, действительно... Чудовищно!..

Кирпичникова (*покачала головой*). Ах, Ваня, Ваня! А зачем тебе понадобились подшпники?

Кирпичников. Не мне, Лизочка, Таймыру.

Кирпичникова. Кто он такой? Твой друг?

Кирпичников. Нет... полуостров.

Кирпичникова. Твой?

Кирпичников. Наш, Лизочка.

Кирпичникова. Я не знала.

К и р п и ч н и к о в. Это замечательный полуостров! Там есть все! Руда, нефть, зверье, птица... А ночь? Знаешь ли ты полярную ночь, Лизочка? Нет, нет, нет — это чудовищно, но ты не знаешь полярной ночи! Северное сияние горит, по снегу дикий олень бежит... Да, между прочим, товарищ Дюжиков, есть у меня для вас сюрприз.

Д ю ж и к о в. Какой?

К и р п и ч н и к о в. Был я Главконсерве, получал там для себя кое-что, замолвил и за вас словечко. Завтра забегите — они вам устроят. Превосходнейшая, знаете ли, продукция. Оленье рагу. Вот образец! *(Достал из портфеля какую-то банку, протянул Дюжикову.)*

Д ю ж и к о в *(повертел банку в руках, усмехнулся)*. Да, продукция превосходнейшая!

К и р п и ч н и к о в. Нравится? Нет, нет, не благодарите...

Д ю ж и к о в. А вы не поинтересовались, где изготавливается это рагу? На заводе «Северянин». А находится этот завод на Таймыре. И это мы, с вашего позволения, поставляем консервы всему Северу...

К и р п и ч н и к о в *(растерянно)*. Вот как? На Таймыре?

К и р п и ч н и к о в а *(неожиданно рассердилась)*. Знаете что, дорогие товарищи, мне, наконец, надоело слушать про ваше северное сияние! Да, да, да. Я прямо с аэродрома заехала в филармонию, и там тоже все кричат про северное сияние...

К и р п и ч н и к о в. Почему, Лизочка?

К и р п и ч н и к о в а. А потому, что туда приезжала какая-то певица Захарова и раскричала всем — какой ты замечательный, как ты удивительно рассказываешь про Таймыр и что теперь она поедет только на Север... Кажется, она еще сказала, что чуть ли не влюбилась в тебя... Не понимаю, что ей могло в тебе понравиться?

К и р п и ч н и к о в *(самодовольно)*. А почему, Лизочка, я не могу ей понравиться?

Быстро входит Люба, Гришко, увидев ее, вздрагивает и снова бросается к своему чемодану.

Л ю б а *(протягивает Дюжикову бумагу)*. Вот. Все оформлено.

Д ю ж и к о в. Хорошо.

Л ю б а *(тихо и сдержанно)*. А теперь я хочу узнать: кто же здесь все-таки товарищ Кирпичников? Вы?

Д ю ж и к о в. Да нет, я Дюжиков, Дюжиков я.

Л ю б а. А кто же Кирпичников?

Д ю ж и к о в (*показывает на Кирпичникова*). Вот.

Л ю б а. Вы?

К и р п и ч н и к о в. Да, я.

Л ю б а (*гневно*). Как вам не стыдно! Пожилой человек!

К и р п и ч н и к о в а. Позвольте, позвольте, это любопытно!
Что такое?

Л ю б а. Ну, я допускаю, что у вас были основания смеяться
надо мной и даже... не обо мне речь! Но маме... Смеять-
ся над мамой вы не имели никакого права! Решительно
никакого!

Д ю ж и к о в (*мучительно соображая*). Погодите...

Л ю б а (*не слушая*). Как вы ей смели говорить о том, что
любите меня?

К и р п и ч н и к о в. Я?

Л ю б а. Вы! Вы! Да как вы смели шутить такими вещами?
Как вы смели делать из нас обеих посмешище? Как
вы смели...

К и р п и ч н и к о в а. Ваня!..

К и р п и ч н и к о в. Лизочка...

К и р п и ч н и к о в а. Молчи!

Д ю ж и к о в. Погодите, как зовут вашу маму?

Л ю б а (*по-прежнему не слушая*). Она очень чуткий чело-
век! И она мне сразу так и сказала, что сначала вы
ей понравились, а потом она возненавидела вас. Да,
да, просто возненавидела! Потому что она поняла, что
все это — издевательство и глупая шутка...

Д ю ж и к о в. Ее зовут Елена Николаевна?

Л ю б а. Ну да!

Д ю ж и к о в (*схватился за голову*). Боже мой!

*Отворяется дверь. Спиной входит бабушка, старается
втиснуть в номер Дуню.*

Д е д у ш к а. Я тебе говорю — заходи... А я тебе говорю —
не спорь, заходи... А я говорю — слушайся деда, за-
ходи... Сейчас мы его — на чистую воду. (*Втаскивает
Дуню, подходит к Дюжинову, который по-прежнему
стоит схватившись руками за голову.*) (*Дуне.*) Он?

Д у н я (*шепотом*). Он.

Д ю ж и к о в. Что?

Д е д у ш к а (*торжествующе*). Все!

Д ю ж и к о в (*кричит*). Кого вы привели?

Д е д у ш к а. Свят, свят, свят! Второй тронулся! Это ж внуч-
ка моя — Дуня.

Д ю ж и к о в (*обернулся к Любе*). А вы? Кто вы такая?

Л ю б а. Я — Попова.

Д ю ж и к о в (после паузы, безжизненным голосом). Товарищи, все ясно!

Недоуменное молчание. Сильный стук в дверь. Все испуганно обернулись. Входит Милиционер. Рядом с ним Муж своей жены и Человек из гардероба. Воспользовавшись случаем, вместе с ними проскальзывает в номер Человек в клетчатом пальто. Милиционер подходит прямо к Гришко.

М и л и ц и о н е р. Вы будете гражданин Fortunатов?

Г р и ш к о. Н-нет.

М у ж с в о е й ж е н ы (указывая на Дюжикова). Да вот же он, Fortunатов! Вот он, голубчик этот, гражданин милиционер! Собственной персоной!

Д у н я. Он не Fortunатов!

М и л и ц и о н е р (решительно подходит к Дюжикову). Ваша фамилия?

Человек в клетчатом пальто раньше, чем кто-либо, успевает ответить, стремительно подскакивает к Дюжикову.

Ч е л о в е к в к л е т ч а т о м п а л ь т о. Ах, это милиция! Фамилия этого товарища — Кирпичников. Иван Иванович Кирпичников! Всем нам известный, уважаемый Иван Иванович Кирпичников!

К и р п и ч н и к о в. Минуточку...

М и л и ц и о н е р (строго). Попрошу посторонних граждан не вмешиваться и не скопляться. (Дюжикову.) Ваша фамилия?

Д ю ж и к о в. Дюжиков моя фамилия. Дюжиков!

Д у н я. Как — Дюжиков?!

М и л и ц и о н е р. Значит, кроме фамилии Fortunатов имеются еще фамилии Кирпичников и Дюжиков...

М у ж с в о е й ж е н ы (с восхищением). Вот жулик!

Д ю ж и к о в. Позвольте, я объясню...

М и л и ц и о н е р. В районном отделении милиции объясните. Пожалуйста, гражданин.

Д ю ж и к о в. Я не могу... Я жду телефонного звонка. Поймите...

М и л и ц и о н е р. Все понимаю, гражданин, не в первый раз. Прошу.

Д ю ж и к о в. Я...

Д у н я. Дедушка, да что же это?

Д е д у ш к а. Милиция разберет.

М и л и ц и о н е р. Гражданин, культурно пойдете?

Д ю ж и к о в (*с неожиданной яростью*). Ну, вот что, да, черт побери, я пойду! Мне самому, черт побери, это все надоело. Мы еще посмотрим, кто из нас Фортунатов! Пошли!

Дюжиков, Милиционер, Муж своей жены и Человек из гардероба уходят.

Д ю ж и к о в (*задержался на пороге, обернулся*). И все равно, товарищи... Все равно, что вы — она, а она — вы... Но вы замечательно поете, Дуня... И еще, то, что я говорил вам, — это тоже правда... А вы, Люба Попова, вы не пожалеете, что решили ехать на Таймыр... Вот и все! Прощайте!

Дверь захлопнулась. Минута молчания.

К и р п и ч н и к о в а (*негромко*). Ваня, твой чемодан на месте?

К и р п и ч н и к о в. Да, Лизочка.

К и р п и ч н и к о в а. Проверь. Мало ли что! Живешь-живешь в одном номере с таким Фортунатовым, а потом — чемодана-то и нет!

Д у н я (*пылко*). Он не Фортунатов. Он...

Д е д у ш к а. Помолчи! А я тебе говорю — помолчи!

Г р и ш к о (*неловко подошел к Любе*). Здравствуйте, Люба.

Л ю б а. Здравствуйте, Андрей Николаевич.

Г р и ш к о. З-значит, это все неправда? З-значит, вы его не любите?

Л ю б а. Кого?

К и р п и ч н и к о в а. Цел чемодан?

К и р п и ч н и к о в. Цел.

К и р п и ч н и к о в а. Идем. Здесь жить нельзя! Эту ночь мы переночуем у Ладыжниковых, а там — поглядим. Идем!

К и р п и ч н и к о в. Нет, нет, Лизочка, нельзя! А Таймыр?

Д е д у ш к а (*мрачно*). Таймыр! Сомневаюсь я, граждане, есть ли он вообще, Таймыр этот? Может, его и не было вовсе!

Д у н я (*горячо*). Есть! Полуостров! Я сама час тому назад в атласе его смотрела!

Д е д у ш к а. Смотрела, смотрела. В атласе-то он есть, а вот для кого мы сегодня старались — это неизвестно!

Л ю б а (*растерянно*). Как же так, товарищи! Ведь я дала согласие ехать на Таймыр!!

Стук в дверь. Входит Дежурная с узелком в руках.

Дежурная. Граждане, тут ежели что кому понадобится, так вы прямо к администратору обращайтесь! А то я на час отпущенная. От имени всего нашего тринадцатого этажа несу передачу Фортунатову!

Общий крик.

Кирпичников. Как — Фортунатову?

Дедушка. Уже передачу?

Дежурная. Не уже, а давно надо было! Мы его тут ругаем, а он в больнице, оказывается, пятый день лежит. Сперва без сознания был, а сейчас сестру прислал, чтоб она, значит, за номер рассчиталась!

Кирпичников. Пятый день?

Дедушка. Ай-яй-яй!

Дуня. Ага! Что я вам всем говорила?! *(Хватает Дежурную за руку.)* Бежим... в милицию... Скорей!

Дежурная *(испуганно)*. Зачем в милицию?

Дуня. Скорей.

Дедушка. Стой, оглашенная!

Дуня. Нет!

Дедушка. А я говорю — стой! Пусти гражданку! Я говорю — пусти гражданку!

Кирпичников. Товарищи...

Кирпичникова. Что ты кричишь?

Кирпичников. Товарищи, прежде всего мы должны выяснить — есть Таймыр или нет Таймыра?

Дуня. Есть!

Дедушка. Сомневаюсь!

Гришко. Л-Люба, что вы н-наделали?

Пронзительный телефонный звонок.

Кирпичников *(хватает трубку)*. Слушаю... Что? *(Ужасным голосом.)* Граждане, Таймыр на проводе!

Немая сцена. Дуня, вскрикнув, хватая Дежурную за руку и убегает. Дедушка бросился было вслед за ними, но передумал, остановился и только безнадежно махнул рукой. Напряженное молчание.

Кирпичникова *(взволнованно)*. Ну, что там, Ваня?

Кирпичников. Алло... Алло... Да, да... Слушаю... Девушка, вы кто?.. Междугородная? А, Таймыр? Алло... Алло... Алло!

Дедушка. Что мы отвечать им будем, вот ведь вопрос.

Кирпичников. То есть как — что отвечать? Мы по порядку...

Кирпичникова. Ваня, не отвлекайся!

Кирпичников. Я не отвлекаюсь. *(Дедушке.)* Мы им по порядку рапортуем все, что сделано. Очень просто!

Дедушка. А о том, извиняюсь, что не сделано, Иван Иванович, как быть? Где наряд на подшипники, а?

Кирпичников *(сердито)*. Подшипники — это ваш участок, товарищ Бабурин.

Дедушка *(горячится)*. Я и не отказываюсь! Однако, товарищ Кирпичников, вы тоже...

Крик Человека в клетчатом пальто заставляет всех вздрогнуть и обернуться.

Человек в клетчатом пальто. Так я и знал! Это вы — товарищ Кирпичников! Это вы — настоящий Иван Иванович Кирпичников? Я зову партнеров, да?

Кирпичникова *(спокойно и равнодушно)*. Замолчите, гражданин, и не мелькайте перед глазами. Что за история с подшипниками, товарищ, а?

Дедушка *(горестно)*. Не дают наряда, вот и вся история!

Кирпичникова. Совсем не дают?

Дедушка. Обещают через месяц.

Кирпичникова. А нас это не устраивает?

Дедушка. Нет. У нас навигация кончается. Прямо я не знаю, как мы этому Таймыру в глаза глядеть будем...

Кирпичников. Вот, Лизочка!

Кирпичникова. Что — вот? Есть постановление о порядке первоочередной отгрузки... Так?

Дедушка. Так.

Кирпичникова. Мы первоочередники?

Кирпичников. Первоочередники. Но они говорят...

Кирпичникова *(одним движением руки нахлобучивает шляпку, поправляет пенсне)*. А мне решительно все равно, что говорят они! Важно, что я им скажу! *(Похлопала дедушку по плечу.)* Не беспокойтесь, молодые люди, у вас будут подшипники. Куда надо идти?

Дедушка *(заискивающе)*. Тут рядом. Из окна видно. Называется «Стальконструкция»!

Кирпичникова величественно идет к двери.

Человек в клетчатом пальто. Товарищ Кирпичников, партнеров звать?

Кирпичникова *(обернулась, подошла к Человеку в клетчатом пальто, сказала спокойно и тихо)*. Идемте со мной!

- Человек в клетчатом пальто. Куда? Я пришел, чтобы исполнить редчайший номер!
- Кирпичникова. Вы мне его исполните по дороге. Я прослушиваю все номера. Я зубной врач — я привыкла к крикам! (*Уходит и уводит Человека в клетчатом пальто, который покорно идет за ней.*)
- Кирпичников (*прочувствованно*). Великая женщина. Нет, нет, нет, не спорьте — она великая женщина!
- Дедушка. Мне главное, чтобы подшипники были.
- Кирпичников. Весьма вероятно, что она... Алло... алло... Слушаю! Слушаю! Да, да, да... Совершенно верно... Гостиница «Москва»... Нет, к сожалению, не товарищ Дюжиков... Одну минуточку, всем время дорого... Слушайте внимательно! С кем имеем? Федорченко?
- Дедушка (*неистовым шепотом*). Привет ему передайте... Привет!
- Кирпичников. Товарищу Федорченко пламенный привет с Большой земли! Слушайте наш доклад... Это долго рассказывать... Товарищ Дюжиков... Его повезли по делу... в милицию... А я вас очень хорошо слышу... Алло! Значит так, записывайте! Значит так, ориентировочная смета в Северопроекте утверждена... Утверждена! Не «не утверждена», а «утверждена»... Алло! Утверждена! Вы не поняли? Не «не», а «у»... Поняли? Утка, тучка... Да, да, утверждена! Не за что! Главк портов посылает «Красного полярника». Восемь тысяч тонн. Да. Ведет капитан Шишкин... не «ти», а «ши»... Нет. Штучка, игрушка... Да. Альбом мы вырвали. Двадцать комплектов... Зачем так много? Ничего, пригодятся!.. Да, да... типовые... Нет, ти-по-вые... Теперь наоборот, не «ши», а «ти»... да... Тучка, игрушка... Да, да! Кроме того, в части кадров — к вам вылетает в ближайшие дни крупнейший специалист по морозоустойчивым культурам профессор Синицин. Нет, нет... Не «ши», а «си»... Спица, игрушка.
- Дедушка (*он крайне возбужден*). Завтра, завтра он вылетает, а не на днях...
- Кирпичников. Алло... алло... Завтра он вылетает, а не на днях... Да! Об остальных кадрах еще не знаю... Сейчас вам доложит товарищ, который ими занимался... (*Прикрывает рукой трубку, шипит в сторону Гришко.*) Слушайте, Гудермес, что вы там застыли? Идите докладывать!
- Гришко (*растерянно*). А-а?

Д е д у ш к а *(толкает Гришко в бок)*. К аппарату вас, товарищ геолог! Таймыр ждет! Ай-яй-яй!

Л ю б а *(нервно)*. Идите... идите. Андрей Николаевич.

Г р и ш к о *(машинально берет наконец трубку)*. А? Я слушаю... Что? Что?.. *(С отчаянием)* Не слышу... Что?.. *(Еще отчаяннее)* Я ничего не слышу...

К и р п и ч н и к о в *(вырывает у него трубку)*. Алло... Да, да, я вас прекрасно слышу... Да, товарищ, который должен был докладывать насчет кадров, в тяжелом состоянии... Что? Геологов? Тут у нас полно геологов... *(Любе.)* Может быть, вы подойдете? *(В трубку.)* Сию минуту... Сейчас передаю трубку.

Люба берет трубку.

Л ю б а. Говорит геолог Попова! Да... Не могу вам сказать... По нефти? Да... Спасибо, да, еду... Вероятно, завтра!

Гришко издает какое-то нечленораздельное восклицание.

Как? По черным рудам? Консультанта? Не знаю... Одну минуту... *(Кирпичникову.)* Вы не знаете, консультант по черным рудам едет?

К и р п и ч н и к о в. Это он должен знать!

Д е д у ш к а *(снова толкает Гришко в бок)*. Ну!

Г р и ш к о. А? П-простите?

К и р п и ч н и к о в *(яростно)*. Слушайте, Гудермес, вы консультанта по черным рудам сделали?

Г р и ш к о *(слегка оживляясь)*. Консультанта по черным рудам нет... Пока н-нет... Лю-ба, значит, вы едете?

К и р п и ч н и к о в *(кричит)*. Есть консультант или нет консультанта?!

Г р и ш к о *(тоже кричит)*. Н-нет!

К и р п и ч н и к о в. Позор! *(Любе.)* Скажите им...

Л ю б а *(гневно взглянула на Гришко)*. Алло? Вы слушаете? Консультанта по черным рудам, к сожалению...

Г р и ш к о *(внезапно осененный)*. Стойте!.. Скажите им, что есть к-консультант... Едет!

Л ю б а *(поперхнулась)*. Алло! Алло!..

К и р п и ч н и к о в. Говорите сразу... Сразу, пока он не передумал!

Л ю б а. Алло! Едет консультант... Едет... Нет, «к сожалению» я сказала нечаянно... Да... сейчас передам трубку... Этого я не знаю!

Д е д у ш к а *(он давно уже танцует от нетерпения у телефона; хватая трубку и с силой дует в нее)* Доброго

здоровья, товарищ Федорченко! Бабурин говорит... Бабу-рин... Ба-ба... Потом бу-бу... Да что вы путаете? Вы меня слушайте!.. Главлес? Ну, я им там задал жару... Да... Будет! Бабурин слово дает — обязательно будет... Насчет подшипников знаю... Тут разговор длинный. *(Дует в трубку.)* Да вы не погоняйте меня... Я говорю, не погоняйте...

В дверь влетает Человек в клетчатом пальто. Шляпа у него съехала на затылок, галстук сбит на сторону.

Человек в клетчатом пальто *(одним духом)*. Менья Елизавета Михайловна послала сказать, что подшипники будут. Она в Стаьльконструкции. Сидит и не уходит. Она им сказала, что не уйдет, пока они наряд не выпишут. Будет сидеть хоть до утра. Велела принести ей бутерброды... Пламенный привет — бегу! *(Убегает.)*

Кирпичников. Что такое артист без темперамента — нуль! Нет, нет, нет, он очень хороший человек!

Дедушка. Алло! Так вот, значит, какое дело — есть подшипники... Да... Нет, не так это просто, дорогой товарищ... Сейчас я вам обстоятельно... Что? Слушать вас?.. Так... Сей момент запишем... Говорите... понятно... Пишу... «По данным метеосводок, навигация продлится до десятого числа»... Ну, неужели правда, товарищ Федорченко?.. Ладно, ладно, пишу... «Можете еще неделю задержаться в Москве...». Это кто может задержаться? Дюжиков, что ли?.. Понятно...

Кирпичников. Целая неделя, вы понимаете?!

Дедушка. Алло... Да, да... «Постарайтесь получить в Строительном управлении образцы прокладочных материалов...». Ну, за неделю-то это мы получим... Так... Кто подписал?.. «Начальник строительства — Воронин». Понятно... Передайте ему привет и благодарность... Да... Ну а теперь я вам насчет подшипников... Алло! Барышня... Алло! Алло!.. Как — кончен разговор?.. Как — истекло? Сей же момент Таймыр мне давайте... Что значит — не могу? А я говорю — давайте!.. А я говорю... *(Дует в трубку и гневно бросает ее на рычаг.)*

Кирпичников. Что?

Дедушка. Безобразница какая! Завтра я к ихнему министру связи пойду!

Люба и Гришко стоят и молча смотрят друг на друга.

К и р п и ч н и к о в. Ну, конечно! Голубчики, должен вам сказать, что я мокрый, как будто эти подшипники везли на мне от гостиницы до самого Таймыра... Что ж, теперь мы, очевидно, должны идти выручать Дюжикова...

Д е д у ш к а. Там Дуня воюет! Вы за нее, Иван Иванович, не сомневайтесь! У нее характер мой — с таким характером да не выручить!

Занавес закрывается. На просцениуме вдвоем остаются Гришко и Люба.

Л ю б а (*тихо*). Андрей Николаевич...

Г р и ш к о. Д-да?

Л ю б а. Вы действительно твердо решили ехать?

Г р и ш к о. Твердо! Я не с-сдамся... Не х-хочу... Я слишком много думал о вас, и я не сдамся! Я б-буду б-бороться.

Л ю б а (*улыбаясь*). Бороться? Да за кого же бороться, Андрей Николаевич?

Г р и ш к о. За в-вас! За в-вас и за в-вашу... Да, да, довольно!.. За в-вас и за в-вашу...

Молчание. Люба неожиданно решительно подходит к Гришко, целует его и убегает.

(Дико вскрикнул.) Люб-ба! (Убегает следом за ней.)

Занавес открывается. Тот же номер. Полузакрытые шторы. Свертки и портфели на столе. Три человека, завернутые с головою в одеяло, лежат на кроватях. Мирный сон. С оглушительным грохотом распахивается дверь. На пороге стоит сияющий Дюжиков. Руки у него заняты свертками, из которых подозрительно торчат горлышки бутылок. За его спиной видно веселое лицо Дуни.

Д ю ж и к о в (*громким голосом*). Друзья! Вставайте! Побудка! Подъем! Сейчас мы, черт побери, выпьем с вами за ваше здоровье, за наше здоровье, за здоровье всех тех в нашей стране, для кого не существует чужого дела, чужой радости, чужой беды!.. Дунечка, давайте за этот стол!

С кроватей поднимаются три головы с всклоченными от сна волосами. Три незнакомых человека смотрят на хлопчущего Дюжикова.

Ч е л о в е к с б о р о д о й. Граждане, что этому сумасшедшему здесь надо?

Дуня. Ой! *(Быстро становится лицом к стене.)*

Дюжиков *(вглядываясь)*. Фу ты... Не в тот номер попали? *(Озирается.)* Нет, вроде тот... Что же это такое?

Моряк. Вот именно, что это такое? Приехал в командировку, хотел отдохнуть перед деловым днем, и вдруг — на тебе...

Узбек *(широко улыбается)*. Еще с женой пришел... Ну, садись, гостем будешь!

Дюжиков *(бормочет)*. Извините, товарищи. Здесь наши друзья жили...

Человек с бородой. Ну и что?

Дюжиков *(оживляясь)*. А ничего! Правда, ничего такого особенного не случилось! Понимаете, еще вчера я с ними даже не был знаком, а уже сегодня они целый день работали для Таймыра...

Моряк. Для чего?

Дюжиков. Для Таймыра. Полуострова. Для стройки, которую мы мы...

Человек с бородой. Ну и что?

Дюжиков. Ну и сделали все, что надо.

Моряк. Правильно. А чего ж шум поднимать?

Дюжиков. Да я с ними выпить хотел на прощание. Друзья ведь.

Человек с бородой. Ну и выпей.

Дюжиков. Так их нет.

Моряк. Что ж ты хочешь от нас, чужак? Их нет, давай, в таком случае, пей с нами.

Человек с бородой. Граждане, это правильная идея... А?

Моряк. А чего ж? Они были — они помогли, мы были бы — мы бы помогли, о чем речь?

Узбек. А у меня урюк есть...

Человек с бородой. Подъем!!!

Все поднимаются на кроватях, завернутые в одеяла.

Дюжиков *(радостно)*. Дунечка, давайте, можно смотреть — они завернутые.

Дуня оборачивается, хохочет. К ее смеху присоединяются остальные. Летят пробки из бутылок. Распахивается дверь, и появляется шумная и возбужденная компания: Кирпичников с женой, бабушка Бабуриной, Люба Попова, Гришко и Дежурная.

Кирпичников. Нет, нет, нет, это чудовищно! Мы его ждем, волнуемся, ищем по всем отделениям милиции,

Матросская тишина

*Драматическая хроника
в четырех действиях*

Действие первое

Детство. Город Тульчин.

Август тысяча девятьсот двадцать девятого года. Первая пятилетка. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув голову, с грустным недоверием разглядывают звездное небо. Следом за пьяными почтительными стайками ходим мы — мальчишки.

В ту пору нам было по десять — двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых: о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками.

Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоем — отец, Абрам Ильич, и Давид. Они занимали большую полуподвальную комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось, их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на место. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в черной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами. Старуха неодобрительно смотрела на входящих. Вечер. Абрам Ильич Шварц, маленький человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги,

исчерканные карандашом. Давид стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, вздернутый нос и чуть оттопыренные уши. Он играет на скрипке и время от времени умоляющими глазами поглядывает на круглые стенные часы. У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и веселый человек — кладовщик Митя Жучков.

Сухо пощелкивают костяшки на счетах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с богом. За окном равнодушный голос протяжно кричит на одной ноте: «Сереньку-у...»

Шварц (*бормочет*). ...Вчера, семнадцатого августа одна тысяча девятьсот двадцать девятого года, было отправлено в Херсон шесть вагонов и еще девять вагонов в Одессу... Так, пишем!

Давид. Раз, и два, и три!.. Раз, и два, и три, и!..

Митя. Гуревичи уже сложились... Чистый цирк, честное слово! Отчего это, Абрам Ильич, у евреев так барахла завсегда много?

Шварц (*уткнувшись в бумаги*). Семейные люди, очень просто!

Митя (*усмехнулся, помогал головой*). Нет, я на Розу Борисовну прямо-таки удивляюсь. Это надо же — с малыми детьми, с больным мужем — и на такое отчаянное дело подняться! Прямо не старуха, а Махно какая-то, честное слово!

Давид (*опустил скрипку*). Папа, уже без четверти девять.

Шварц. Ну и что?

Давид. Я устал.

Шварц. Устал?! (*Покосился на Митю*.) Он устал — как вам это понравится, Митя?! Между прочим, целый божий день я стою больными ногами на холодном цементном полу. И целый божий день мне морочат голову. И на вечер я еще беру работу домой... Так почему же я никому не жалуясь, что я устал? Что? (*Подумав*.) Сыграй Венявского и можешь отправляться на двор. (*Усмехнулся*.) Ему, видите ли, Митя, с отцом скучно! Ему нужны его голь, шмоль и компания... Сыграй Венявского, ну!

Давид. Хорошо. (*Снова поднимает скрипку*.)

Печальная и церемонная музыка Венявского. Абрам Ильич слушает, чуть наклонив набок голову и почесывая в затылке карандашом.

Шварц (*шепотом, с торжеством*). А, Митя?!

Митя (*развел руками*). Талант!

Шварц. А теперь еще разок упражнения Ауэра.

Давид. Папа!..

Шварц (*неумолимо*). Упражнения Ауэра, и тогда пойдешь!

Молчание. Давид в ожесточении принимается за очередное упражнение. Шварц уткнулся в бумаги. Равнодушно кричит женщина: «Сереньку-у-у!..»

Митя (*словоохотливо*). Уезжают, значит, от нас Гуревичи. В Москву едут, к братцу. Братец ихний, Сема, агентом работает — жуликов ловит... Слышите, Абрам Ильич, чего говорю? Сема Гуревич, говорю, жуликов ловит! Мелкоту небось, вроде нас с вами, Абрам Ильич, верно?

Шварц (*зашипел*). Откройте дверь! Откройте дверь, чтобы слышал весь двор, сумасшедший!

Митя (*счастливо захохотал*). От нас Москва далеко, Абрам Ильич, нас не поймают!

Давид. Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!..

Шварц. И еще десять вагонов в Николаев. Всего это будет двадцать пять вагонов... Так, пишем!

Митя (*вздыхнул*). Да-а, поехал бы я в Москву. Поехал бы — и знаете, Абрам Ильич, чего первым бы делом сделал? В магазин бы пошел, честное слово! Купил бы себе булку французскую, франхоль! Я ее, сволочь такую, сперва бы маслом намазал, а потом... А потом я бы — ах ты, братцы мои, — потом я съел бы ту булку! Всю!

Давид. Папа, уже девять часов.

Шварц. Меня интересует — ты играешь на скрипке или ты смотришь на часы?

Митя (*добродушно*). Да ладно, Абрам Ильич, отпустите вы его, пускай человек побегает...

Шварц (*со смешком*). Вот как? Вы меня извините, Митя, я вас очень уважаю как хорошего кладовщика, и всякое такое... Но если я не ошибаюсь — я имею в виду музыку, — так профессор Столярский это не ваша фамилия?!

Митя (*неожиданно обиделся*). Моя фамилия Жучков, это все знают! А что я цельную кучу братьев своими руками поднял — это тоже все знают!

Шварц (*высокомерно*). Ну, и кем же они стали, ваши братья, позвольте спросить? Они закончили консерва-

торию? Они адвокаты? Врачи? *(Снова усмехнулся.)*
Каждому свое, Митя! Давайте лучше займемся делами...

М и т я *(показал глазами на Давида)*. Давайте, только...

Ш в а р ц. А-а, да-да! Давид, можешь отправляться во двор.

Д а в и д. Хорошо. *(Аккуратно укладывает скрипку в футляр. Ставит футляр на полку.)*

Ш в а р ц. Упадет. Поставь глубже.

Д а в и д. Хорошо... Теперь я могу идти?

Ш в а р ц. Иди, сынок.

Давид уходит.

М и т я *(поглядел вслед)*. Замучили вы паренька, Абрам Ильич!

Ш в а р ц *(резко)*. Митя, это не ваше дело! *(Помолчав.)*
Знаете, о чем я мечтаю? Когда-нибудь я получу отпуск и премию. И тогда я возьму Давида и поеду с ним к морю. В Крым. Мы будем жить как цари, в белом дворце, и по утрам горничная в крахмальном фартуке прямо в постель будет приносить нам яичницу с колбасой из четырех яиц и кофе с крендельками...
Что?

М и т я. Чудак вы, Абрам Ильич! В прошлом году вы на Турксиб собрались, теперь в Крым...

Ш в а р ц. Да, я чудак... Займемся делом! В субботу я вам дал ящик мыла. Сто кусков, за которые я сам заплатил три рубля. Что вы сумели с ними сделать?

М и т я. Есть один человек, дает три сотни и еще тридцать бумажек. Говорит — через неделю мы и этого не получим. Вам решать, Абрам Ильич.

Ш в а р ц. Триста тридцать рублей?! Кошмар! За удовольствие заниматься коммерцией мы скоро будем, кажется, докладывать из собственного кармана! Триста тридцать рублей! Это же просто грабеж! Что?.. Ну а с вельветом?

М и т я. Вельвет берут. Тут такая история...

В дверь стучат.

Ш в а р ц. Тихо!.. Кто там?

Входит человек в мохнатой шляпе, в светлом заграничном костюме. В руках трость, плащ и маленький чемодан. Это Мейер Вольф. Он высок и широкоплеч.

В о л ь ф. Добрый вечер! Как поживаете, Абрам?

Шварц (*растерянно*). Простите... я не...

Вольф. Может быть, вам нужна моя визитная карточка?

Шварц (*приглядываясь*). Боже мой!..

Вольф. Ну же!

Шварц. Мейер!.. Мейер Вольф!

Вольф. Наконец-то! Здравствуйте, Абрам!

Шварц (*в волнении*). Мейер Вольф!.. Подождите! Подождите, дайте мне вас потрогать! Невероятно! Когда вы приехали?

Вольф. Минут сорок назад.

Шварц. Почему? Зачем? На какой предмет?

Вольф. Я расскажу.

Шварц. Да... Да... Только давайте сядем, а то у меня ноги дрожат.

Митя (*поднялся*). Я, Абрам Ильич, другим часом зайду.

Шварц (*отмахнулся*). Конечно!

Митя торопливо уходит.

Вольф. А где Давид?

Шварц. Где-нибудь бегают... Слушайте, Мейер... Нет, я все еще никак не могу поверить в то, что это действительно вы! Последняя ваша открытка была из Рош-Пина...

Вольф. Вы получили ее?

Шварц. Получил, получил. Это было год... или полгода назад, не помню.

Вольф (*сел, огляделся*). Ну, так как же вы тут живете?

Шварц. Какой об нас разговор?! Человек приехал из Палестины, и он еще спрашивает — как мы тут живем! Или вы не знаете Тульчина? Не знаете, как тут можно жить?!

Вольф. Знал когда-то. Но теперь, если верить газетам, многое переменилось — строительство, индустриализация...

Шварц (*иронически*). В Тульчине? Наша индустриализация — это паточный завод имени Розы Люксембург, бывший «Арон Сунник и сыновья». (*Засмеялся.*) Ну, хорошо! Я считаю, что по случаю вашего приезда мы имеем полное право выпить рюмку-другую... Как вы?

Вольф. Не возражаю.

Шварц лезет в шкаф, достает графин с водкой, два граненых стакана, хлеб, помидоры. Кладет все это на стол, на газету, разливает водку в стаканы.

Шварц. Будем живы-здоровы! С приездом. Ешьте помидоры... Так зачем же вы вернулись, Мейер?

В о л ь ф. Просто так.

Ш в а р ц (*насмешливо*). Ах, просто так? Ладно, можете не говорить, это ваша забота. (*Понизив голос.*) Я хочу знать одно — не политика?

В о л ь ф. Упаси бог!

Ш в а р ц (*с облегчением*). Правильно! Политика — это занятие для англичан и поляков... Слушайте, Мейер, так вы действительно своими глазами видели Иерусалим, и Стену Плача, и Средиземное море?

В о л ь ф. Да, конечно.

Ш в а р ц. Можно сойти с ума! Сидит разодетый как граф и спокойно говорит: да, конечно! Ну, за Средиземное море!

В о л ь ф. Мне довольно.

Ш в а р ц. Как хотите. А я, с вашего разрешения, повторю. Будем живы-здоровы!

В о л ь ф. А что слышно у Гуревича? Яша все лежит?

Ш в а р ц. Лежит. Старуха увозит его и детей в Москву! Завтра едут! Можете себе представить?

В о л ь ф (*задумчиво*). Вот как? А ведь и вы когда-то тоже собирались в Москву, Абрам!..

Ш в а р ц (*он уже слегка захмелел*). Собирался! Чего только я не собирался сделать! Я всю жизнь безвыездно живу в этом городе. И всю жизнь, сколько я себя помню, я хочу отсюда уехать. (*Помогал головой.*) Нет, Мейер, нет, никуда я уже теперь не уеду и ничего не увижу! Ничего, кроме пьяных мужиков на Рыбаковой балке, и моего товарного склада, и поездов — скорых, курьерских, почтовых... Всяких...

В о л ь ф. Вы все еще ходите по вечерам на станцию?

Ш в а р ц. Случается. Иногда. Помните ту красавицу из скорого, что попросила нас сбежать за кипятком?

В о л ь ф. Ирину?

Ш в а р ц. Да, Ирину... То есть нет, не Ирину... Это мы уже сами потом придумали, что ее звали Ириной! Впрочем, это не важно. Тогда мы еще были вполне приличными кавалерами... Что?

В о л ь ф. Хоть куда.

Ш в а р ц (*поднимает стакан*). Ну, за Ирину!

Быстро вбегают высокая крупная женщина со страдальческим и вдохновенным лицом, растрепанная, с хитрыми молодыми глазами. Это Старуха Гуревич.

С т а р у х а Г у р е в и ч (*торжественно*). Еще два дня таких

сборов, и меня повезут... Но только не в Москву, а на еврейское кладбище! У вас есть шпагат?

Шварц. Поищем.

Вольф. А «здравствуйте» вы не умеете говорить?

Старуха Гуревич (*равнодушно*). Здравствуйте.

Шварц (*засмеялся*). Смотрите — она не узнала! Это же Мейер Вольф.

Старуха Гуревич. Какой Мейер Вольф? (*Вздрыгнула, вскинула голову*.) Бросьте! Мейер Вольф!.. Это вы?

Вольф. Я.

Старуха Гуревич. Оттуда?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Насовсем?

Вольф. Да.

Старуха Гуревич. Крупное дело?

Вольф. Как вам сказать...

Старуха Гуревич (*почти угрожающе*). Ну-ну-ну!

Вольф (*пожал плечами*). Допустим.

Старуха Гуревич. Он хочет меня обмануть. (*Усмехнулась*.) Имейте в виду: мужчин я вижу насквозь. (*Неожиданно всхлипнув*.) А Яшенька все лежит, знаете? Лежит, не встает. Доктор Ковальчик, этот умник, говорит: везите его на грязи! Так я его спрашиваю, этого умника: зачем нам куда-то ехать и тратить деньги, когда грязь — это как раз то единственное, что мы всю жизнь имеем дома! И притом совершенно бесплатно! (*Снова всхлипнула, засмеялась, двумя пальцами благоговейно ухватила Вольфа за рукав пиджака*.) Костюмчик тоже оттуда? Пустяки — выделка. А про меня вы уже слышали, Мейер? Везу своих в Москву. Великий путешественник! Колумб!.. Абрам, вы мне найдете шпагат?

Шварц. Держите.

Старуха Гуревич. Спасибо... Знаете что? Приходите к нам. Через полчаса, когда мы поужинаем. Посмотрите наши железнодорожные билеты, сделаете с Яшенькой немножко лохайм на дорогу. Ну а потом вы нам, Мейер, про все расскажете... Хорошо?

Вольф. Можно.

Старуха Гуревич. Так я за вами зайду! (*Убегает. В дверях задерживается, оборачивается, видимо, собирается что-то спросить, затем, передумав, машет рукой и исчезает*.)

Шварц (*помолчав*). Полное впечатление, что она действительно едет открывать Америку, — она так шумит.

В о л ь ф. Да, Абрам, кстати, а как поживает ваше собрание почтовых открыток?

Ш в а р ц (*гордо*). Благодарю вас. Мое собрание поживает хорошо. У меня уже две с половиной тысячи штук! (*С надеждой.*) Может, хотите взглянуть?

В о л ь ф. С удовольствием.

Шварц вынимает из ящика стола толстый, переплетенный в кожу альбом, осторожно кладет на колени.

Ш в а р ц (*шепотом*). Здесь у меня Европа... Вот объясните мне, Мейер, почему такое: когда я вижу нарисованную картинку «Лес шумит» или там «Море волнуется», так я поглядел на нее один раз, и мне довольно, клянусь вам! А вот — простая фотография, и под ней подписано: «Пляс де ля Конкорд», и ходят люди, и всякое такое — так на эту фотографию я могу смотреть целые сутки, и мне не скучно.

Вольф вытаскивает из кармана несколько почтовых открыток, протягивает их Абраму Ильичу.

В о л ь ф. А такие у вас есть?

Ш в а р ц (*всплеснув руками*). Мейер! (*Бережно разложил открытки на столе.*)

В о л ь ф. Такие есть?

Ш в а р ц. Нет, таких у меня нет... Ни одной такой нет... Вот это что?

В о л ь ф. Берлин, Аллея Победы... Видите в углу газетный киоск? Там я купил эти открытки.

Ш в а р ц. Вы были в Берлине?

В о л ь ф. Проездом.

Ш в а р ц (*восторженно*). Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!

В о л ь ф (*улыбнулся*). А как вам нравится Испания?

Ш в а р ц. Про Испанию я даже говорить не хочу! Сокровище, Мейер! Они же странные люди, эти испанцы. Обычно они снимают одну Альгамбру! Какую открытку ни возьми — Альгамбра, и снова Альгамбра, и нох-а-мул Альгамбра... А тут Барселона, Кордова — сокровище! (*Перелистывает альбом, останавливается, вскрикивает.*) Боже мой!

В о л ь ф. Что случилось?

Ш в а р ц. Булонский лес пропал... Вот здесь он был, видите, и вот он пропал!.. Ой, и Марселя тоже нет... Двух открыток Марселя...

В о л ь ф. Может быть, вы их выронили?

Шварц (*медленно*). Нет, Мейер, я их не выронил! (*Встает, подходит к двери, кричит.*) Давид!

Вольф. Не горячитесь, Абрам!

Шварц. Хорошо, хорошо... Давид!

В дверях появляется Давид.

Ты мой альбом брал?

Давид (*замялся*). Ннет!

Шварц. Тебе кто позволил брать мой альбом?

Давид. Я не брал.

Шварц. Не брал? Значит, ты еще и врешь? Воруешь и врешь, босяк! (*В ярости шагнул к Давиду, схватил его за ворот рубахи, встряхнул, ударил ладонью по лицу.*) Я тебя отучу воровать и врать! Я у тебя вышибу из головы эту манеру — воровать и врать!

Давид молча с ненавистью смотрит на отца. Рот у него в крови.

Давид. Я не брал.

Шварц. Куда ты дел Булонский лес и Марсель?

Давид. Я не брал.

Шварц. Так, значит, это я взял? Да? Это я — вор?..

Давид. Не знаю.

Гулко хлопает дверь. Вбегают Митя.

Митя (*задыхаясь*). Абрам Ильич!

Шварц (*медленно повернул голову, холодно спросил*).

Ну? В чем дело? Почему вы кричите?

Митя. Абрам Ильич, Филимонов вас требует... Ревизия!

Шварц (*помолчав*). Вот как? Интересно! А зачем же кричать? (*Усмехнулся.*) Запомните, Митя, хорошенько: когда человек честный, так ему нечего бояться. (*Поднял палец.*) Вы меня поняли? Идемте! Подождите меня, Мейер, я скоро вернусь! (*Берет со стола початую бутылку водки, сует ее в карман, кивает Мите, и они вдвоем быстро уходят.*)

Молчание. Вольф встает.

Вольф (*Давиду*). У тебя кровь... Возьми платок — вытри.

Давид. Черт проклятый!

Вольф. Это отец?

Давид (*сквозь слезы*). Отец, отец... Убить его надо к черту, и все!

Вольф (*спокойно*). Ну что ж, убить — это правильно.

Давид. Что?

В о л ь ф. Я говорю, что это ты правильно придумал — убить. А пистолет или ножик у тебя есть?

Д а в и д (*растерянно*). Нет...

В о л ь ф. Чем же ты его убьешь? Впрочем, пожалуй, ты прав — мальчик из Тульчина может обойтись без ножика и без пистолета. Мальчик из Тульчина должен убить папу так: нужно взять обыкновенную пустую бутылку и насыпать в нее вишневых косточек. И вот когда папа возвращается с работы домой и садится к столу ужинать, ты должен подойти к нему сзади и ударить его бутылкой...

Д а в и д (*испуганно, не отрывая взгляда от лица Вольфа*). Что вы говорите?

В о л ь ф (*резко*). А ты что говоришь?! Глупости болтаешь — убить, убить... Умный мальчик, а болтаешь глупости. Садись-ка, братец, лучше сюда — рядом. Вот так. Ты помнишь меня?

Д а в и д. Да. Вы — дядя Мейер.

В о л ь ф (*кивнул*). Правильно! (*Помолчав.*) Вот и все. Как будто я и не уезжал никуда. Все как прежде, вечер, мы сидим с тобой рядом, и я рассказываю тебе сказку...

Темнеет. Протяжно кричит за окном женщина: «Сереньку-у-у!..»

Д а в и д. Опять Сережку Соколова мать ищет.

В о л ь ф (*усмехнулся*). Ты знаешь, сколько лет кричит эта женщина? На моей памяти она кричит уже сорок с лишним лет! Ищет своего Сереньку, Петьку, Мишку...

Снова на пороге появляется Старуха Гуревич.

С т а р у х а Г у р е в и ч. Я за вами, вы готовы? А где Абрам?

В о л ь ф. Его вызвали на склад. Он скоро придет.

С т а р у х а Г у р е в и ч (*после паузы*). Вот что, Мейер, как старые друзья... Я же сразу поняла, что при Абраме вы не хотите всего говорить! Помилуй бог, я ничего не имею против него, но ведь это же всем известно, какой у него язык, когда он напьется... Вы затеваете большое дело, да?

В о л ь ф. Нет.

С т а р у х а Г у р е в и ч (*не слушая Вольфа, задумчиво*). Может быть, я делаю глупость, что еду в Москву? Так всегда — это еще говорил мой папа, — когда евреи становятся прапорщиками, так перестают отдавать

честь! Мы уезжаем в Москву, а вы начинаете здесь большое дело...

В о л ь ф. Я же вам говорю — нет!

С т а р у х а Г у р е в и ч. Толкуйте, что я, маленькая?! (*Прищелкнула пальцами.*) Ладно, пошли. Все ждут вас.

К нам все-таки не каждый день приезжают гости из Палестины.

В о л ь ф. Сейчас я приду. Еще десять минут.

С т а р у х а Г у р е в и ч. Мы ждем. (*Уходит.*)

Молчание.

В о л ь ф (*негромко, без улыбки*). Завтра с утра по всей Рыбаковой балке будут говорить о том, что Мейер Вольф собирается рыть нефтяные скважины, или продавать пальмы, или промывать золотой песок... Что-нибудь в этом роде.

Д а в и д. А разве нет?

В о л ь ф. Нет.

Д а в и д (*разочарованно*). А зачем же вы приехали?

В о л ь ф. Я приехал домой. Я просто приехал домой. Неужели это так непонятно?

Д а в и д. А в вашей квартире Сычевы теперь живут.

В о л ь ф (*заходил по комнате*). Чепуха! Найдем где жить.

Не в комнате счастье. Я уехал с маленьким чемоданом и вернулся с маленьким чемоданом. И этот костюм, который на мне, — это мой единственный костюм. И никакие квитанции на получение груза не лежат у меня в кармане! (*Остановился.*) Когда я был таким, как ты, Давид, мой отец торговал перчатками, сумками, пуговицами, поясами. Мы ездили с ним в Польшу, в Галицию, на Украину... Тысячи тысяч местечек. И в каждом местечке новое горе, новые заботы и старый разговор: «В будущем году в Иерусалиме». И в каждом местечке имелся свой праведник, который на старости лет отправлялся умирать на святую землю: «Четыре шага по святой земле, и вы очиститесь от всех земных грехов» — так было обещано в старых книгах! И вот с той поры всю жизнь я мечтал накопить денег и поехать туда — в Иерусалим...

Д а в и д. Так оно и вышло.

В о л ь ф (*покачал головой*). Нет, милый, совсем не так. Оказалось, что Стена Плача — это просто грязная старая стена. И что приехал я не на родину, а в чужую страну, где можно только плакать и умирать. И что люди там — чужие мне люди! Что мне Сион и что Сиону

переплетчик Вольф из русского города Тульчина?!
Ты понимаешь меня?

Д а в и д. Не очень.

В о л ь ф (*улыбнулся*). Ну и хорошо. Тебе и не нужно этого понимать! (*Вздыхнул.*) Да-а, а небо там действительно очень синее. И песок очень желтый. И по вечерам все плачут и молятся. А я, видишь ли, привык, чтобы в тот час, перед сном, когда я кончил работу, вымыл руки и сел у окна, я привык слышать, как женщина зовет своего Сереньку, а мальчишки играют в казаки-разбойники и где-нибудь идут девушки и поют песню... И вот тогда я снова взял в руки свой чемодан...

Бьют часы.

Д а в и д. Половина десятого.

В о л ь ф. Ладно, я пойду. Скажешь папе, что я у Гуревичей.

Д а в и д. Да.

В о л ь ф. Будь умником, Давид.

Д а в и д. Да.

Вольф встал, пошел к двери, обернулся. Говорит медленно, с растерянной и странной улыбкой.

В о л ь ф. Самое нелепое... Вот — я вернулся домой... Прошло каких-нибудь полтора часа, и мне уже начинает казаться, что, может быть, я снова ошибся, а? Может быть, я был совсем не в том Иерусалиме и видел не ту Стену Плача?! (*Махнул рукой.*) Ну да, впрочем, этого ты уж и вовсе не поймешь! Спокойной ночи, Давид! (*Уходит.*)

Тишина. Давид отломил ломоть хлеба, густо посыпал солью. Уселся на стол, жует. В окне появляются две головы — темная и светлая, две смеющихся рожицы. Это Т а н ь к а и Х а н а.

Т а н ь к а. Маугли, братец! Доброй охоты! Мы одной крови, ты и я!

Х а н а. Додька!

Т а н ь к а. Месяц скрылся за тучи... Доброй охоты, братец! Мы одной крови, ты и я!

Д а в и д (*грубо*). Чего надо?

Т а н ь к а. Играть выйдешь?

Д а в и д. Нет.

Т а н ь к а. Почему?

Д а в и д. Потому что... Одним словом, это мое дело — почему!

Танька. Что ешь?

Давид. Хлеб.

Танька. С чем? С вареньем?

Давид. Нет, просто хлеб с солью.

Танька. Тю! А у нас сегодня мать пироги с капустой пекла. Я вот таких четыре куска съела!

Давид. Я не люблю пирогов с капустой.

Танька (*иронически*). Черный хлеб вкуснее?

Давид. Да.

Танька. Нарочно говоришь? Ты пойдешь с нами в Маугли играть?

Давид. Нет, не пойду.

Танька. А в Буденного?

Давид. И в Буденного не пойду!

Танька (*наконец обиделась*). Ну и не надо, подумаешь. Мы Вовку Павлова возьмем. Он и как тигр Шер-хан умеет рычать, и лает, и все!

Давид. Вот и валяй. Зови Вовку Павлова.

Танька. И позову!

Давид. Зови, зови.

Танька (*чуть не плача*). И позову! (*Исчезает.*)

Давид. Танька!

Хана. Она убежала уже.

Давид (*после паузы*). Ну и пусть!

Хана. А я к тебе прощаться пришла. Мы ведь завтра рано уедем — ты еще спать будешь.

Давид. Вы почтовым, восемьдесят третьим?

Хана. Да.

Давид. Плохой поезд! Что ж, до свиданья, Хана.

Хана (*протянула нараспев*). До свиданья! Ты так говоришь, как будто мы через неделю опять встретимся. А мы, может, и не встретимся никогда больше.

Давид. Встретимся. Я тоже в Москву приеду — учиться. В консерваторию. Кончу школу и приеду.

Хана. Правда?! (*Задумчиво улыбнулась.*) Ты приедешь, а я тебя встречу... Ты мне письмо пришли, ладно? И я тебя встречу. Запиши мой адрес.

Давид. Говори, я запомню.

Хана (*торжественно*). Москва, Матросская тишина, дом десять, квартира пять. Гуревичу, для Ханы. Повтори.

Давид. Москва, Матросская тишина... Погоди, а что такое — Матросская тишина?

Хана. Не знаю. Улица, наверное.

Давид (*повторил, с интересом прислушиваясь к звучанию слов*). Матросская тишина! Здорово! Ведь вот не

назовут у нас так... Только это, конечно, не улица. Это гавань, понимаешь? Кладбище кораблей. Там стоят всякие шхуны, парусники.

Хана. В Москве нет моря.

Давид. Ну — река. Это все равно, чудачка. И там, понимаешь, стоят всякие шхуны, парусники, а на берегу в маленьких домиках живут старые моряки. Такие моряки, которые уже не плавают, а только вспоминают...

Слышен голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Хана. Мне пора. Мама зовет... Давид, ты скоро приедешь?

Давид. Не знаю.

Хана. Слушай, ты подари мне на память чего-нибудь, ладно?

Давид. У меня нет ничего! *(Подумав.)* Вот, возьми, что ли. *(Протягивает Хане в окно листок бумаги.)*

Хана смотрит, хмурится, затем решительным жестом возвращает листок обратно.

Хана. Не надо мне!

Давид. Ты что?

Хана *(взволнованно)*. Танька не уезжает, а ты ей целых три открытки подарил! А я уезжаю, так ты мне какую-то картинку вырезанную даешь!

Давид. Зато на ней корабль нарисован. Я эту картинку над своим столом повесить хотел.

Голос старухи Гуревич: «Хана-а-а!»

Хана. Бегу. До свидания.

Давид. До свидания, Хана.

Хана. Адрес не забудь.

Давид. Да, да.

Хана. Пиши непременно.

Давид. Ладно.

Хана. До свидания, Давид!

Давид. До свидания, Хана!

Хана убегает. Давид один. Он садится в кресло, вытирает рот платком. Тикают часы. Прогрохотал поезд. Стало совсем темно. Где-то далеко, на другом дворе, захрипела шарманка:

И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мной.

Шарманка захлебнулась и умолкла. Внезапно с грохотом открывается дверь, на пороге появляется маленькая, нелепая, растерзанная фигура Шварца.

Шварц *(еле ворочает языком)*. Додик!

Давид *(не двигаясь)*. Явился!

Шварц. Почему здесь так темно, а?

Давид. Я лампу зажгу.

Шварц. Ой, не надо! Я лягу спать... Я сейчас лягу спать. Ты раздеться мне помоги...

Давид. Еще чего!

Шварц *(пытаясь быть строгим)*. Давид!

Давид. Что?.. Испугался один такой! Проспишься, все равно ни черта помнить не будешь!..

Шварц. Раздеться мне помоги...

Давид. Сам разденешься.

Шварц. Ботинки... Ботинки с меняними... Додик...

Давид. Я свет зажгу.

Шварц. Не надо.

Давид. А я говорю — надо! *(Подходит к столу. Возится с настольной лампой.)*

Шварц уселся на пол.

Шварц. Ботинки с меняними...

Давид. Успеется... *(Зажег наконец лампу. Поставил ее на пол рядом со Шварцем.)*

Шварц *(испугался)*. Ты что это, а?.. Ты чего? Ты спалить меня хочешь?..

Давид. Нужен ты мне!

Шварц *(его совсем развезло)*. Ты погоди... А ты — кто?.. Я извиняюсь, а вы кто?.. Вы по какому праву?..

Давид. Да помолчи ты, честное слово.

Шварц неожиданно привстал на колени и заплакал.

Шварц. Ваше благородие, не погубите! Не для себя... Клянусь вам, не для себя!.. Не погубите, ваше благородие!

Давид подошел к бочке у двери. Зачерпнул ковшом воды, выплеснул на Шварца. Шварц ткнулся ничком в пол, забормотал что-то невнятное. Молчание.

Давид. Ну!

Шварц *(почти трезво)*. Додик, помоги мне раздеться.

Давид поднял Шварца, усадил в кресло. Перенес лампу на стол.

Шварц. А что с лицом у тебя? Почему губа распухла?

Давид. Ты не помнишь?

Шварц. Нет... Это — я?

Давид. Ты!

Шварц (*вскрикнул*). Нет!

Давид. Да.

Шварц (*горестно*). Додик, милый!.. Ну, ударь теперь ты меня!.. Ну, хочешь — ударь теперь ты меня!

Давид. Папа!

Шварц порывисто обнял Давида, зашептал.

Шварц. Ничего, Додик! Ничего, мальчик! Ты не сердись на меня... Ничего... Мы с тобой вдвоем... Только мы вдвоем... Больше нет у нас никого! Я ведь знаю — и что жуликом меня называют, и мучителем, и... А-а, да пусть их! Верно? Пусть! Я же целый день как белка в колесе верчусь на своем товарном складе: вешаю гвозди и отпускаю гвозди, принимаю мыло и отпускаю мыло, и выписываю накладные, и ругаюсь с поставщиками... Но в голове у меня не мыло, и не гвозди, и не поставщики! Я выписываю накладные и думаю... Знаешь, о чем? (*Взмахнул руками.*) Большой, большой зал... Горит свет, и сидят всякие красивые женщины и мужчины, и смотрят на сцену... И вот объявляют: Давид Шварц, и ты выходишь и начинаешь играть! Ты играешь им мазурку Венявского, и еще, и еще, и еще... И они все хлопают и кричат: «Браво, Давид Шварц!» — и посылают тебе цветы, и просят, чтобы ты играл снова, опять и опять! И вот тогда ты вспомнишь про меня! Тогда ты непременно вспомнишь про меня! И ты скажешь этим людям: это мой папа сделал из меня то, что я есть! Мой папа из маленького города Тульчина! Он был пьяница и жулик, мой папа, но он хотел, чтобы кровь его, чтобы его сын — узнал, с чем кушают счастье! Сегодня они устроили ревизию! Ха, кудаки!.. Натё — ищите!..

Загудел поезд.

А тебя я сделаю человеком... Понял? Чего бы это ни стоило, но я тебя заставлю быть человеком!..

Гудит поезд.

Вот этого я слышать не могу — поезда, поезда... Уезжают, приезжают... Не могу этого слышать!

Гудит поезд.

Да что он, взбесился, что ли? *(Встает. В руках у него керосиновая лампа. Стоит на середине комнаты, маленький, страшный, взъерошенный, покачиваясь и угрожающе глядя в окно.)*

Гудит поезд.

Д а в и д. Папа!

Гудит поезд.

Ш в а р ц *(в окно, смешным, тонким голосом)*. Замолчи!.. Замолчи!.. Немедленно замолчи!..

Равнодушно кричит женщина: «Сереньку-у-у!»

Гудит поезд.

Занавес.

Действие второе

Юность. Москва.

Май тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Строительные леса на улице Горького. Открытые бежевые «линкольны» возят по городу иностранных туристов. Туристы вежливо улыбаются, вежливо восхищаются, вежливо задают двусмысленные вопросы и с некоторой опаской поглядывают на бойких девушек-переводчиц. По вечерам не протолкаться на танцевальных площадках, в цветочных киосках нарасхват ландыши и сирень, а на площади Пушкина, у фотовитрин «Известий», с утра до ночи взволнованно и безмолвно толпится народ, разглядывая фотографии далекой Испании, где фашистам все еще не удалось отрезать от Мадрида Университетский городок.

В тот год мы окончательно стали москвичами. Еще совсем недавно робкие провинциалы, мы впервые разинув рты бродили по набережным, почтительно следовали правилам дорожного движения и писали длинные, восторженные и подробные письма домой. Потом письма стали короче. Всего несколько слов: о том, что мы здоровы, об институтских отметках и о том, что нам опять нужны деньги. Мы научились торопиться. Мы были одержимы, влюблены, восторженны и упрямы. Нам исполнилось девятнадцать лет. Вечер. Комната в общежитии студентов Московской консерватории. Две кровати, два стула, две тумбочки и

большой стол, у которого табурет заменяет отломанную ножку. На стене — пыльная маска Бетховена. Д а в и д, в тапочках, в теплой байковой куртке, с завязанным горлом, расхаживает по комнате. Он играет на скрипке, зажав в зубах докуренную до мундштука папиросу. Т а н я — тоненькая, ясноглазая — караулит у электрической плитки закипающее молоко.

Д а в и д. ...Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и! *(Со злостью опускает скрипку.)* Нет, ни черта не выходит сегодня.

Т а н я. Что такое?

Д а в и д *(оттопыривая губы)*. Ты знаешь, иногда я слышу все. Даже то, что никто не слышит. Ну, например, слышу, как плывут облака, как ты улыбаешься, как Славка думает... А иногда — вот как сегодня — наступает вдруг какая-то полнейшая и совершеннейшая глухота... Который час, между прочим?

Т а н я. Половина девятого. Тебе температуру мерить пора.

Д а в и д. А ты уходишь?

Т а н я. Я вернусь.

Д а в и д. Это ужасно! Мы не виделись целую вечность — то у меня зачеты, то у тебя зачеты...

Т а н я. Я вернусь. Получу новое платье и вернусь! *(Заломила руки.)* Ах, я буду очень красивая в новом платье.

Д а в и д *(ворчливо)*. Ты и так очень красивая. Даже, я бы сказал, чересчур! Ладно, давай градусник. *(Прячет скрипку в футляр, садится на кровать.)*

Таня, выключив плитку, снимает молоко.

Т а н я. Надо же ухитриться — заболеть ангиной в мае месяце.

Д а в и д *(засовывает градусник под мышку)*. А я, как известно, человек необыкновенный.

Т а н я. Хвастун.

Д а в и д. Э-э, старо! «Хвастун», «хвастун» — а почему я хвастун? Я персональную стипендию получаю? Получаю! В «Комсомолке» про меня писали? Писали! За муж ты за меня выйдешь? Выйдешь! Почему же я хвастун?..

В комнату без стука входит очень худая и высокая, стриженная по-мужски и с мужскими ухватками, длинноногая и длиннорукая девица. Это — Людмила Шугова из Литинститута.

Людмила Шугова подходит к столу, берет стакан с

молоком, отпивает глоток, неодобрительно морщится и ставит стакан обратно.

Л ю д м и л а. Привет!

Д а в и д. Слушай, Людмила, ты почему не стучишь?

Л ю д м и л а. А потом постучу. На обратном пути. Шварц, ну-ка давай быстро: в каком году был Второй съезд партии?

Д а в и д. В девятьсот третьем.

Л ю д м и л а. Так. Нормально. А где?

Д а в и д. Сначала в Брюсселе, а потом в Лондоне.

Л ю д м и л а. Так. А закурить нету?

Д а в и д. Нет.

Л ю д м и л а. И Славка Лебедев отсутствует! Судьба! Хотите, стихи прочту новые? Гениальные!

Д а в и д. Твои?

Л ю д м и л а. Мои, конечно!

Д а в и д. Не надо. Будь здоров.

Л ю д м и л а. Теплое!

Т а н я *(возмущилась)*. Послушайте!..

Л ю д м и л а *(не обращая на Таню ни малейшего внимания)*.

Мы пьем молоко и пьем вино,
И мы с тобою не ждем беды,
И мы не знаем, что нам суждено
Просить, как счастья, глоток воды!

(Раскланивается и уходит — не забывая в коридоре постучать в дверь.)

Д а в и д. Психическая! *(Вытащил градусник.)* Тридцать семь и семь.

Т а н я. Ого! Ну-ка, ложись немедленно!

Д а в и д. Ложусь. А ты не уходи. *(Скинув тапочки, ложится поверх одеяла.)*

Тишина. Тикает будильник. Далеко гудит поезд.

Т а н я *(тихо)*. Поезд гудит... Вот и лето скоро! Кажется, уж на что большой город Москва, а поезда, совсем как в Тульчине, гудят рядом... Помнишь?

Д а в и д *(с неожиданной злостью)*. Нет. Не помню. И не хочу помнить. И я тебе уже говорил. Для меня все началось два года назад, на площади у Киевского вокзала! Вот — слез с поезда, вышел на площадь у Киевского вокзала, спросил у милиционера, как проехать в Трифоновский студенческий городок — и с этого дня

себя помню... Хана злится, что я к ним в гости не прихожу, а я не могу!

Т а н я. Почему?

Д а в и д. Не могу! Местечковые радости! Хана, Ханина мама, Ханин папа. Детям дадут по рюмке вишневки, а потом начнут пить чаем с домашними коржиками... Смертная тоска, не могу!

Т а н я. И ты ни разу не был у них?

Д а в и д. Ни разу. *(Усмехнулся.)* Смешно! Сколько лет я мечтал побывать на улице Матросская тишина...

Т а н я. Поправишься — поедем.

Д а в и д. Нет. Зачем? Это ведь самая обыкновенная улица. А кто-то придумал, что это кладбище кораблей, где стоят шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки... А там на самом деле живут Ханины родственники! Нет, не надо ездить на Матросскую тишину!

Молчание. Гудит поезд.

Т а н я. А зимою поездов почти не слышно, ты заметил? И осенью, когда дожди... А летом и особенно весною, по вечерам, они так гудят... Почему это?

Д а в и д. Не знаю.

Т а н я. А хочется уехать, верно?

Д а в и д. Куда?

Т а н я. Куда-нибудь. Просто — сесть в поезд и уехать. Чтобы чай в стаканах с большими серебряными подстаканниками и сухари в пакетиках... А на остановке — яблоки, помидоры, огурцы... И бежать по платформе в тапочках на босу ногу... А утро раннее-раннее, и холодно чуть-чуть... Будет так?

Д а в и д. Будет. Непременно.

Т а н я. Я стала очень жадная, Додька! Хочу, чтобы все исполнилось. Все, что придумала. Самая малая малость. Ничего не желаю уступать. Вот кончим, и тогда...

Быстро входит сосед Давида — С л а в а Л е б е д е в. Он коренастый, косолапый, у него открытое мальчишеское лицо и большие, солидные роговые очки.

Л е б е д е в. Добрый вечер.

Т а н я. Добрый вечер, Славочка.

Л е б е д е в. Тебе письмо, Давид. *(Через стол перебрисил Давиду письмо. Сел на свою кровать, закрыл руками лицо.)*

Т а н я. Что с вами?

Л е б е д е в. Голова болит.

Т а н я. И вы захворали?! Честное слово, прямо не общезжитие, а лазарет!

Д а в и д. Слава, а что в газетах?

Л е б е д е в. Все то же. Продолжаются бои на подступах к Мадриду.

Давид вскрыл конверт, быстро пробежал глазами письмо.

Т а н я. Откуда?

Д а в и д. Из Тульчина. Целый месяц шло. *(Встал, со злостью разорвал письмо, бросил в пепельницу.)*

Т а н я. Что такое?

Д а в и д. А какого черта он денег не шлет?!

Т а н я. Кто?

Давид, не отвечая, грустно примостился на подоконнике.

В общем, я уйду... Через час вернусь. Хотите, Слава, я пирамидона вам принесу?

Л е б е д е в. Спасибо, у меня есть. Большое спасибо.

Т а н я *(наклоняясь к Лебедеву)*. Славочка, вы очень хороший человек! Правда, правда! И вот что — можно, я вам буду говорить «ты»? *(Засмеялась.)* Мальчики, сидите и ждите — я скоро вернусь, и мы что-нибудь вместе придумаем! *(Снова засмеялась, перекружилась на каблуках и исчезла.)*

Долгое молчание.

Л е б е д е в. Никто не спрашивал меня?

Д а в и д. Нет, никто.

Л е б е д е в. Голова смертельно болит. А Таня откуда знает? Ты ей сказал?

Д а в и д. Да.

Л е б е д е в. Ну, правильно. Я ведь и не скрываю... Черт, голова как болит! Весь день пропался по городу! Все думал!

Д а в и д. О чем?

Л е б е д е в. Об отце. Ты пойми, ведь я не просто любил его. Я им всегда гордился. И всегда помнил о нем. Даже на зачете, когда Чайковского играл, — помнил об отце. О том, что это он научил меня говорить, читать, запускать змея, переплывать Волгу...

Д а в и д *(вспыхнув)*. Перестань!

Лебедев. Что ты?

Давид (*помолчал*). Ничего, извини.

Лебедев. А теперь мне говорят — он враг... Должен я в это верить или не должен?

Давид. Должен.

Лебедев. Почему?

Давид. Потому что ты комсомолец...

Лебедев (*резко*). А я не комсомолец!

Давид (*опешил*). Что-о?

Лебедев. Меня исключили сегодня. И со стипендии сняли. Вот, брат, какие дела!

Давид (*недоверчиво*). Врешь! (*Поглядел на Лебедеву, сжал кулаки.*) Ну, это уж слишком! Это ерунда, Славка!

Лебедев (*взорвался*). Да? А что не слишком? На каких это весах меряют, что слишком, а что не слишком?! (*Поморщился.*) Черт, как болит голова! А в общем, Додька, тяжело! Очень тяжело. Из консерватории придется, конечно, уйти!

Давид. Ты шутишь?

Лебедев (*усмехнулся*). Разве похоже? Нет, не шучу. У меня в Кинешме мать, сестренка маленькая — мне помогать им теперь надо... Уйду в какое-нибудь кино...

Давид. В какое кино?

Лебедев. Ну, в оркестр, который перед сеансами играет... Что я, «Кукарачу», что ли, сыграть не смогу?!

В дверь стучат.

Давид. Кто там?

Входит, прихрамывая, высокий русоволосый человек в гимнастерке, в сапогах. Это секретарь партийного бюро консерватории — Иван Кузьмич Чернышев. Ему сорок лет, не больше, но и Давиду и Славке Лебедеву он, разумеется, кажется стариком. У него широкое рябое лицо, добрые близорукие глаза. В руке у Чернышева полевая сумка, чем-то туго набитая, повидавшая виды.

Чернышев. Добрый вечер, друзья! К вам можно?

Давид (*удивленно и радостно*). Иван Кузьмич? Здравствуйте. Конечно, можно. Милости просим.

Лебедев (*коротко*). Здравствуйте.

Чернышев неторопливо придвигает стул к постели Давида, вытирает платком лицо.

Чернышев. Жарко. Как здоровье, Давид?

Д а в и д. Температура.

Ч е р н ы ш е в (*покачал головой*). Беда-а! (*Улыбнулся*.) По-
правляйся скорей, дела есть.

Д а в и д (*внимательно поглядел на Чернышева, прищурил
глаза*). Иван Кузьмич, это очень хорошо, что вы при-
шли! Очень хорошо. Я сейчас... Мне сейчас сказал
Лебедев...

Л е б е д е в. Давид, перестань!

*Отворяется дверь, и снова появляется Л ю д м и л а
Ш у т о в а.*

Л ю д м и л а. Шварц!

Д а в и д (*резко*). Людмила, к нам сейчас нельзя!

Л ю д м и л а. Ничего, ничего! Мне можно! Шварц, а какой
основной вопрос стоял на Втором съезде?

Д а в и д. До чего же ты мне надоела! Программа партии.

Л ю д м и л а. Так, нормально. А закурить нет, Славка?

Л е б е д е в. Нет.

Ч е р н ы ш е в (*с улыбкой*). И я не курю.

Л ю д м и л а. Жалеете! Все у вас, ребята, есть — только
совести у вас, ребята, нет...

Д а в и д. Людмила, уходи!

Л ю д м и л а. Между прочим, Славка, держи тридцать руб-
лей. Я зимой у тебя брала. Не помнишь? Держи, держи
и не спорь! (*Положила руку Лебедеву на плечо*.) И не
горюй, Славка! Выше голову!

Мы еще побываем у полюса,
Об какой-нибудь айсберг уколемся,
И добраться — не красные ж девицы —
К мысу Доброй Надежды надеемся!
И, желанье предвидев заранее,
Порезвимся на мысе Желания!

Д а в и д. Людмила!

Л ю д м и л а. Поэма не кончена, продолжение в следующем
номере... Прощай, прощай и помни обо мне! (*Уходит*.)

Молчание.

Ч е р н ы ш е в (*засмеялся*). Занятная гражданочка! Это кто
же такая?

Д а в и д. Шутова Людмила. Из Литинститута. Она не то
гениальная, не то ненормальная! Не поймешь!

Л е б е д е в (*с виноватой и смущенной улыбкой спрятал
деньги в карман пиджака*). Какой-то долг выдумала...

Молчание.

Д а в и д (*волнуясь*). Вот, кстати, Иван Кузьмич, я начал говорить, а она перебила... Я хотел... Мне сейчас сказал Славка, что его исключили из комсомола и сняли со стипендии.

Ч е р н ы ш е в (*негромко*). Ну, насчет комсомола — этот вопрос будет окончательно решать райком. А насчет стипендии — зайди в понедельник, Лебедев, в дирекцию к Фалалю — он тебе даст приказ почитать.

Л е б е д е в. А я уже читал, спасибо.

Ч е р н ы ш е в. Ты утренний приказ читал. А это другой — вечерний.

Д а в и д. О чем?

Ч е р н ы ш е в. Об отмене утреннего! (*С невеселым смешком.*) Как говорится — круговорот азота в природе. Вы проходили в школе такую штуковину?

Д а в и д. Видишь, Славка?

Л е б е д е в (*зачем-то снял очки, подышал на стекла; встал*). Вижу! До свидания!

Ч е р н ы ш е в. погоди! Ты смотрел новое кино «Депутат Балтики»?

Л е б е д е в. Нет еще.

Ч е р н ы ш е в. И я не смотрел. А говорят, стоит! Может, сбегаешь, если не лень, возьмешь билеты на девять тридцать.

Л е б е д е в (*растерялся*). А кто пойдет?

Ч е р н ы ш е в. А вот мы с тобой вдвоем и пойдем... Или моя компания тебя не устраивает?

Л е б е д е в. Нет... Только я... Хорошо...

Ч е р н ы ш е в. Возьми деньги.

Л е б е д е в. Иван Кузьмич!

Ч е р н ы ш е в. Бери, не выдумывай! Я ж не девица, что тебе за меня платить. Беги, я тебя здесь обожду!..

Л е б е д е в. Хорошо. (*Быстро уходит.*)

Чернышев снова усмехается, встал, потрогал рукой электрический чайник, включая штепсель, вытащил из полевой сумки завернутые в бумагу бутерброды с колбасой, положил на стол.

Ч е р н ы ш е в. Очень хитрый был человек — Иван Кузьмич Чернышев. И поесть успею, и чаю напьюсь, и кино посмотрю, и с тобой пошепчусь... Разумеешь?

Д а в и д. О чем, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. О жизни, милый друг.

За окном по улице проходит отряд. Торжественно и грозно гремит марш:

Мы идем боевыми рядами,
Дело славы нас ждет впереди,
Знамя Ленина реет над нами,
Имя Ленина мы носим в груди...

Д а в и д (*тихо*). Неужели все-таки возьмут Мадрид? Тогда это конец, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Нет, не конец. Совсем не конец. Боюсь, только начало! (*Разломил бутерброд, протянул половину Давиду.*) Хочешь?

Д а в и д. Нет, спасибо!

Ч е р н ы ш е в. Дело хозяйское! (*С наслаждением принялся за еду.*) Так вот, Давид, ты насчет Всесоюзного конкурса скрипачей слышал что-нибудь?

Д а в и д (*насторожился*). Слышал.

Ч е р н ы ш е в. У нас по этому поводу в консерватории был нынче ученый совет. Составляли список — кого пошлем.

Д а в и д. Ну?

Ч е р н ы ш е в. До седьмого пота спорили. Каждому, конечно, хочется, чтобы его ученика послали, это вполне естественно. Ну а я, как тебе известно, не музыкант, я в подобные дела обычно не вмешиваюсь... Но как-то оно так сегодня вышло, что предложил я твою кандидатуру...

Д а в и д (*восторженно*). Иван Кузьмич!

Ч е р н ы ш е в. погоди! Предложил, знаешь, и сам не рад. Такую на тебя критику навели, только держись! И молод еще, и кантилена рваная, и то, и другое...

Д а в и д (*упавшим голосом*). Иван Кузьмич!

Ч е р н ы ш е в (*улыбнулся*). погоди огорчаться! Включили тебя. (*Погрозил пальцем.*) Но только смотри! Насчет кантилены ты подзаймись! Ведь не зря люди говорят, что хромает она у тебя... Да я и сам вижу. Ты подумай об этом, Давид, подтянись!

Д а в и д (*с силой*). Я как зверь буду заниматься! И сейчас, и летом, и осенью! (*После паузы.*) А еще кого наметили, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Всего пять человек.

Д а в и д. И Славку Лебедева?

Ч е р н ы ш е в (*нахмурился*). Нет.

Д а в и д. Нет? Но, Иван Кузьмич, вы поймите, надо же разобраться — ведь ничего же, в сущности, не известно...

Ч е р н ы ш е в (*сухо*). Разберутся...

Д а в и д. Кто? Когда?

Чернышев (*помолчав, сдержанно*). Видишь ли, Давид, я семнадцать лет в партии. И я привык верить: все, что делала партия, все, что она делает, все, что она будет делать, — все это единственно разумно и единственно справедливо. И если когда-нибудь я усомнюсь в этом, то, наверно, пушу себе пулю в лоб! (*Снова помолчав.*) А у тебя есть отец?

Давид (*сжался*). Есть.

Чернышев. Чем занимается? Музыкант?

Давид. Да, музыкант... Вернее, не совсем музыкант, а он... (*Мучительно подбирая слова, он выпаливает неожиданно для самого себя.*) Он дирижер! Руководит оркестром в кино... Знаете — который перед сеансом играет! (*Деланно засмеялся.*) Ну, всякую там «Кукарачу»! Знаете?

Чернышев (*кивнул*). Слышал!

Осторожный стук в дверь.

Давид. Да?.. Кто там?..

Входит худенькая смуглая девушка. Длинные черные косы уложены короной вокруг головы. Это — Хана Гуревич.

Хана. Можно?

Давид. Хана? (*Поморщился.*) Здравствуй... Ну, чего ты стала в дверях? Входи.

Хана. Здравствуй. Добрый вечер.

Чернышев. Добрый вечер.

Давид. Как ты нашла меня?

Хана (*пожала плечами*). Нашла. Ты ведь к нам не приходишь, вот мне и пришлось самой тебя искать. Ты нездоров?

Давид. Ангина. Как встану, обязательно к вам приду... Через недельку, наверное...

Хана (*улыбнулась*). Что ж, приходи. Наши будут очень рады тебе.

Давид. А ты?

Хана. А я уеду уже.

Давид. Куда?

Хана. На Дальний Восток!

Давид. На каникулы?

Хана. Нет. Работать... Помнишь — было в газетах письмо Хетагуровой?

Давид. Помню.

Хана. Ну, вот я и еду.

- Чернышев. Молодчина какая! *(Протянул руку.)* Здравствуйте! А мы с вами знакомы, Хана!
- Хана *(очень удивленно)*. Знакомы?
- Чернышев. Да. И я даже был у вас дома — на Матросской тишине. Я с вашим папой, с Яковом Исаевичем, служил у Буденного, в Первой Конной!..
- Хана *(радостно всплеснула руками)*. Ой, тогда и я вас знаю! Вы — Чернышев Иван Кузьмич. Верно?
- Чернышев. Нет.
- Шварц. Впрочем, там был не Чернышев, а этот...
- Чернышев. Иван Кузьмич... Здравствуйте, Хана!
- Хана. Здравствуйте, Иван Кузьмич!
- Чернышев. А вы похожи, между прочим, с Давидом... Вы не родственники?
- Хана. Нет. Мы просто из одного города. Земляки.
- Давид *(торопливо)*. Да, да, земляки!.. Слушай, а как тебя мамаша твоя отпустила — вот чего я понять не могу!
- Хана *(махнула рукой)*. Досталось мне! Сперва она плакала, потом шумела, теперь опять плачет... А я рада! Так рада, даже пою целыми днями от радости! Представляешь — сесть в поезд и уехать... Хорошо!
- Давид. Когда едешь?
- Хана. Скоро. На днях.
- Давид. Чудеса.
- Хана. И снова мы с тобой прощаемся, Додька. Не видимся годами, а как увидимся — так прощаемся.
- Давид. Придется мне к вам на Дальний Восток с концертами ехать.
- Хана *(усмехнулась)*. Правда? Ты пришли телеграмму — я тебя встречу.
- Давид. Забавно получается — ты от меня, а я за тобой.
- Хана. Да, а я от тебя. *(Облокотилась на подоконник.)* А как Танька живет? Ты встречаешь ее?
- Давид *(уклончиво)*. Встречаю. Иногда. Она ничего живет — учится на юридическом, переходит на второй курс.
- Хана *(скривила насмешку)*. Ты кланяйся ей... Если увидишь. *(Быстро взглянула на Давида и засмеялась.)* А что из дома пишут?
- Давид *(скривился)*. Да ну!.. Пишут.
- Хана. Скучаешь?
- Давид. Нет.
- Хана. А я скучаю. Очень хочется поехать туда... Не жить, нет! Мне бы только пройтись по Рыбаковой балке, под акацией нашей посидеть, поглядеть, какие все стали...

В дверь стучат.

Чернышев. Стучат, Давид!

Давид. Разве?.. Ну, кто там? Не заперто!

Отворяется дверь, и входит Абрам Ильич Шварц. Он в длинном черном пальто. В старомодной касторовой шляпе. В руках чемодан, картонки и пакеты. Он останавливается на пороге, взволнованно и чуть виновато улыбается.

Шварц. Здравствуйте, дети мои! Шолом-алейхем!

Давид (*испуганно*). Кто?!

Хана. Абрам Ильич!

Давид. Папа!..

Шварц. Здравствуй, Давид, здравствуй, мальчик! (*Роня картонки и пакеты, подбежал к Давиду, обнял.*)

Молчание.

Давид (*задыхаясь*). Как ты?! Откуда ты?..

Шварц (*тихо*). Ты не знаешь, куда я мог деть носовой платок? Дай мне свой... Извините меня, это от радости!..

Молчание.

(Уселся на кровати рядом с Давидом. Вытер глаза носовым платком, высморкался, внимательно оглядел комнату.)

А ты прилично устроился. Вполне прилично... устроился. Вполне прилично... А почему ты лежишь? Ты болен?

Давид (*все еще задыхаясь*). Нет... Послушай... Зачем ты приехал? Каким образом?

Шварц. Сел на поезд и приехал. Теперь, слава богу, никто от меня права на жительство не требует... Погодите-ка, вы, девушка, вы не Хана Гуревич?

Хана. Да. С приездом, Абрам Ильич.

Давид. Папа!

Хана засмеялась.

Шварц (*весело*). Она смеется! Ну-с, так я взял деньги и приехал в Москву. А на складе меня замещает Митя Жучков... Ты помнишь, Давид, моего Митю? Кладовщика? Того самого Митю, с которым мы когда-то занимались всякими комбинациями...

Давид (*стиснув зубы*). Папа!

Шварц. Что? Это же было давно, милый. Мы крутились

и комбинировали, крутились и комбинировали, а потом я сказал — хватит! Кого мы обманываем? Самих себя! Нам дали всю землю, а мы хотим украсть серебряную ложку и сбежать, как дурак из сказки... Зачем нам не спать ночей? Зачем нам прятать глаза? Попробуем жить так, чтобы наши дети нас не стыдились! Очень интересный был разговор, можете мне поверить... Почему вы не кушаете чернослив? Кушайте все... Это для всех поставлено. Кушайте, товарищ, не знаю вашего имени-отчества.

Чернышев. Иван Кузьмич Чернышев.

Шварц (*припоминая*). Чернышев, Чернышев... Где я слышал эту фамилию? Вы не из Херсона?

Давид. Папа!

Чернышев. Нет.

Шварц. Впрочем, там был не Чернышев, а этот...

Давид (*в ярости*). Папа!

Шварц. Ну, не важно... Вы приятель Давида?

Давид. Иван Кузьмич — секретарь партийного бюро консерватории.

Шварц. Вот как? (*Вскочил, протянул Чернышеву руку*.) Извините, будем знакомы! Шварц, Абрам Ильич... Папа Давида.

Чернышев (*улыбнулся*). Об этом я уже догадался.

Шварц. Я очень рад познакомиться с вами, товарищ Чернышев. Очень рад. Что вы скажете про Давида? Как он учится?

Чернышев. Хорошо учится.

Шварц. Да? И его ценят? К нему подходящее отношение?

Давид. Папа, перестань!

Шварц. Почему? Почему я должен перестать? (*Покачал головой*.) Нет, друзья мои, когда всю жизнь ты думаешь только о том, чтобы твой сын вышел в люди, так ты имеешь право спросить: стоило тебе думать, и работать, и мучиться или не стоило? Пришла, как говорится, пора собирать пожитки и кончать ярмарку. И вот я хочу знать: с пустыми руками я уезжаю или нет? Понимаете?

Чернышев. Понимаю.

Шварц (*взволнованно*). Нет, товарищ Чернышев, извините, конечно, но вы этого никогда не поймете как следует! Чтобы такое понять, нужно родиться в Тульчине, на Рыбаковой балке. И как господа бога бояться околоточного надзирателя. И ходить на вокзал смотреть на дальние поезда. И прятаться от погрома. Нужно влю-

биться в музыку за чужим окном и в женский смех за чужим окном. Нужно купить на базаре копилку, глиняную копилку, на которой фантазер вроде тебя написал красивую цифру — миллион! И положить в эту копилку рваный рубль! На эти деньги ты когда-нибудь будешь учить сына, если бог позволит тебе иметь детей!.. А-а! (*Махнул рукой.*) Можно, я поцелую тебя, Давид?

Д а в и д (*грубо*). У меня насморк!

Х а н а. Давид!

Ш в а р ц. С насморком нельзя целовать девушек. Ханочку нельзя целовать с насморком, а папу можно. Ну, ничего, ничего... Кушайте чернослив. Я, наверно, очень много говорю. Но это просто потому, что я взволнован. Я почти три года не видел Давида... И я, стыдно признаться, в первый раз в жизни в Москве.

Ч е р н ы ш е в. Нравится?

Ш в а р ц. Не знаю... Понятно, нравится... Но я еще ничего не видел. Прямо с вокзала — сюда. Завтра ты меня поведешь, Давид, в Третьяковскую галерею. А потом в Мавзолей Ленина. А потом в Парк культуры... У меня записана вся программа! Да, в Большой театр трудно попасть?

Х а н а. Трудно.

Ш в а р ц. А что если мы попросим товарища Чернышева?

Вы не сумеете помочь, товарищ Чернышев?

Ч е р н ы ш е в. Постараюсь.

Ш в а р ц. Большое спасибо! (*Внезапно нахмурился.*) И потом, у меня есть еще одно дело... Вы понимаете, дети мои, посадили Мейера Вольфа!

Х а н а. Дядю Мейера? За что?

Ш в а р ц. Деточка моя, кто это может знать? «За что?» — это самый бессмысленный в жизни вопрос! (*Обернулся.*) Понимаете, товарищ Чернышев, этот Вольф — одинокий, больной человек... Ну, и мы собрались — несколько его друзей — и написали письмо на имя заместителя народного комиссара товарища Белогуба Петра Александровича... Так вот, вы не знаете, куда мне отнести это письмо?

Ч е р н ы ш е в (*сухо*). Не знаю. Пройдите на площадь Дзержинского — там вам скажут.

Ш в а р ц (*записал в книжечку*). На площадь имени товарища Дзержинского? Так, спасибо! (*Усмехнулся.*) Вам не кажется, что было бы лучше, если бы площадь назы-

валась именем товарища Белогуба, а наше письмо прочел бы товарищ Дзержинский?!

Д а в и д. Папа.

Вбегает С л а в а Л е б е д е в.

Л е б е д е в (*в дверях*). Иван Кузьмич!.. (*Шварцу.*) Здравствуйте!

Ш в а р ц (*добродушно*). Здравствуйте, милости просим.

Л е б е д е в. Иван Кузьмич, я достал... Только надо быстрее — там уже в зал пускать начинают!

Ч е р н ы ш е в. Побежали. (*Встал, застегнул полевую сумку.*)

Ш в а р ц. Вы уходите? Посидите, товарищ Чернышев, а?

Ч е р н ы ш е в. Извините, Абрам Ильич, мы в кино... Всего вам хорошего! До свидания...

Ш в а р ц. До свидания. Вы не забудете — насчет Большого театра?

Ч е р н ы ш е в. Нет, нет, не забуду.

Ш в а р ц. Давид вам напомнит.

Д а в и д (*умоляющими глазами смотрит на Чернышева*). Иван Кузьмич! Вы не думайте... Вы... Я вам потом объясню...

Ч е р н ы ш е в. Ладно, ладно. Поправляйся скорее. Бежим, Слава! Кланяйтесь вашим родным, Хана, я к ним заеду на днях.

Х а н а. Спасибо. До свидания!

Ч е р н ы ш е в. Счастливый путь!

Чернышев и Лебедев уходят. Молчание. Шварц внимательно посмотрел на Давида, осторожно прикоснулся к его руке.

Ш в а р ц. Чем ты расстроен, милый, ты мне можешь сказать?

Д а в и д (*угрюмо*). Ничем... Ничем не расстроен.

Ш в а р ц. Я как-нибудь не так выразился? Или у тебя неприятности с этим Чернышевым?

Д а в и д. Нет.

Ш в а р ц. А почему ты все время молчишь?

Д а в и д (*со злостью*). А что я должен делать, по-твоему? Петь? Плясать? Мало тебе того, что...

Ш в а р ц (*не дождавшись продолжения*). Чего?

Д а в и д. Ничего! Ничего — и оставь меня в покое! Ничего!

Шварц еще раз внимательно посмотрел на Давида. Неожиданно легко и поспешно встал. Зачем-то надел шляпу.

- Шварц** (*почти торжественно*). Давид, я знаю, почему ты расстроен! Ты недоволен тем, что я приехал! Да?
- Давид** (*уткнулся лицом в подушку*). Что ты наделал! Если бы только мог понять, что ты наделал! Все теперь кончено. Все! Все!
- Хана** (*возмущенно*). Давид!
- Шварц** (*строго*). Подождите, Ханочка! (*Помолчав.*) Ничего такого страшного не произошло, глупый! Все можно поправить. Всякое горе можно поправить. Поезда ходят не только сюда — обратно они тоже ходят... Ты хочешь, чтобы я уехал домой, да?
- Давид** (*с отчаянием*). Да!
- Хана**. Давид!
- Шварц**. Хорошо, милый. А когда? Скоро? Завтра?
- Давид молчит. Шварц странными кругами заколесил по комнате. В одной руке у него чемодан, в другой — пакетик с черносливом.*
- Хана**. Немедленно извинись!
- Давид молчит.*
- Шварц** (*бормочет*). Я должен был это предвидеть. Я обязан был предвидеть. У мальчика хорошие дела. Его навещают большие люди. И вдруг является старое чучело из Тульчина и говорит: здравствуйте, я ваш папа, кушайте чернослив... Идиот! Мне просто очень хотелось, Додик, посмотреть, как ты живешь и какой ты стал... И послушать, что о тебе говорят... И погордиться тобой... Мне хотелось сидеть в зале, когда ты играешь, и чтобы все показывали на меня пальцем и шептали: это папа Давида Шварца! Кому это важно, чей я папа?.. Не сердись на меня, милый, я завтра уеду, обещаю тебе... Ну, так я не увижу Третьяковскую галерею... Вот — я оставлю, что привез...
- Давид**. Не надо!
- Шварц**. Обязательно надо. Ты, наверное, удивлялся, почему я не присылаю тебе денег? А я хотел их сам привезти... Вот — я положил. Тут хватит надолго! (*Потер пальцами лоб — взглянул на Хану.*) Так мне можно пойти к вам, Ханочка?
- Хана**. Да. Непременно.
- Шварц**. Хорошо. На одну ночь придется вам потесниться! (*Помолчал.*) Ну, пойдем.
- Хана**. Уже сейчас?
- Шварц**. Да. Я почему-то вдруг устал. И, вероятно, Давиду

нужно заниматься. Пойдемте, Ханочка... Будь здоров, милый. *(Обнял Давида.)*

Долгая пауза.

Д а в и д *(бессвязно)*. Я не хотел обидеть тебя!.. Я не хотел. Честное слово, я не хотел обидеть тебя!

Ш в а р ц *(ласково)*. Ну, конечно, конечно. Что я, не понимаю? Конечно, не хотел. Будь счастлив, родной. Я уеду завтра... В крайнем случае послезавтра... Как достану билет. Ханочка тебе позвонит... Тут есть телефон?

Д а в и д. Есть.

Ш в а р ц. Ханочка позвонит. И если ты сможешь, ты приедешь меня проводить. Правда?

Д а в и д. Да.

Ш в а р ц. Если сможешь.

Д а в и д. Папа!.. Папа!..

Ш в а р ц. Ну?! Ты прав, Додик, — зачем же ты плачешь?

Д а в и д. Папа!

Ш в а р ц. Идемте, Хана!

Шварц и Хана медленно идут к дверям, Абрам Ильич обернулся.

Да, скажи товарищу Чернышеву, чтоб он не трудился напрасно. Скажи, что я не сумею пойти в Большой театр. Скажи, что мне расхотелось! *(Помедлив.)* Ну, бог с тобой, Давид!

Шварц и Хана уходят. Давид один. Он рванулся было вслед за ушедшими, но у самой двери остановился, постоял, вернулся назад и сел. Он сидит молча, неподвижно, опустив голову. Тикает будильник. Бегом возвращается Хана.

Д а в и д *(испуганно)*. Что? Плохо ему?

Х а н а. Я косынку забыла.

Д а в и д. Вот она. Возьми.

Х а н а. Ты отвратительно поступил... Мерзко...

Д а в и д. Я знаю.

Х а н а. Он чудесный старик, твой отец.

Д а в и д. Я знаю.

Х а н а. Все ты знаешь...

Закипел чайник.

Д а в и д. Выключи, будь добра.

Хана вытащила шнур, бросила на стол, остановилась перед Давидом.

Хана. Ничего ты не знаешь! Даже того, как сильно я тебя люблю, ты не знаешь! Такой простой вещи не знаешь!

Давид. Хана!

Хана. Что? Теперь можно сказать. Больше мы все равно с тобой не увидимся! *(Печально улыбнулась.)* Я так ждала, когда ты приедешь. Так ждала... А ты не зашел даже... Все некогда было... Три года было некогда! А я на это разозлиться не сумела. Узнавала о тебе... О тебе и о Таньке... На концерты ходила в консерваторию. Думала — встречу! А на первомайском вечере ты даже и заметить меня не захотел...

Давид. Ты была разве?

Хана. Была. В пятом ряду сидела. Громче всех тебе хлопала. Ты превосходно играл в тот вечер. Превосходно. Особенно Венявского. Ты будешь знаменитым скрипачом, Додька, и очень счастливым человеком. Я так загадала! Прощай!

Давид *(растерянно)*. Погоди, Хана!

Хана. Абрам Ильич ждет. Прощай! *(Убегает.)*

Давид снова один. Он бесцельно слоняется по комнате. Берет скрипку. Кладет ее обратно. Накрывает чайник подушкой. Входит Людмила Шуртова.

Людмила. Шварц!

Давид обернулся и внезапно бросился с кулаками на Людмилу.

Давид. Уходи отсюда ко всем чертям!.. Убирайся... Убирайся отсюда.

Молчание.

Людмила *(тихо)*. Зачем же ты лезешь на меня с кулаками, свинья! Я папиросы тебе принесла, а ты... На — кури, свинья! *(Бросила на кровать Давида пачку папирос и вышла.)*

Тишина. Сумерки. Зажглись огни в доме напротив. Давид садится на подоконник. Хрипит и захлебывается уличный репродуктор: «...В танковом сражении под Узской войсками республиканцев... Сегодня — массированный налет фашистской авиации на Мадрид...» Бесшумно отворяется дверь, и входит Таня. Она в новом нарядном платье, радостная и возбужденная.

Таня. Вот и я! Ну, гляди, я нравлюсь тебе в новом платье?

Давид. Не вижу. Темно.

Т а н я. А ты зажги свет.

Д а в и д. Не хочу.

Т а н я. Что с тобой?

Д а в и д. Ничего.

Т а н я. Со Славкой поругались?

Д а в и д. Нет.

Т а н я (*после паузы*). Что случилось? Может быть, я напрасно пришла?

Д а в и д. Пожалуй.

Т а н я. Ах, так?! (*Постояла еще секунду, словно соображая, а затем решительно повернулась и пошла к дверям.*)

Д а в и д. Танька!

Т а н я (*звонко*). Ты грубый, невоспитанный, наглый, самовлюбленный, нахальный...

Д а в и д (*насмешливо*). Ну а еще?

Т а н я. И не приходи больше ко мне, и не звони, и... Все! (*Уходит, оглушительно хлопнув дверью.*)

Молчание. Давид перегнулся через подоконник, высунулся на улицу, крикнул.

Д а в и д. Танька-а-а!

Тишина. Только по-прежнему хрипит и захлебывается репродуктор: «...Боец интернациональной бригады батальона имени Эрнста Тельмана заявил...»

Давид встал, прошелся по комнате, взял скрипку.

Д а в и д. Ну и хорошо... Очень хорошо! И пожалуйста! (*Подняв скрипку, зашагал по комнате. Играет бесконечные периоды упражнений Ауэра, зажав в зубах незажженную папиросу.*) И раз, и два, и три, и!... Раз, и два, и три, и!..

Загудел поезд, Давид играет все громче и ожесточеннее.

Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!.. Раз, и два, и три, и!..

Гудит поезд.

Занавес

Действие третье

Война.

Октябрь тысяча девятьсот сорок четвертого года. Советская Армия движется с боями на запад. В сумерки

над осажденными городами стоит невысокое зарево пожаров. Медленно падают черные хлопья пепла, похожие на белые хлопья снега. Ветер гудит рваным листовым железом. Ахают дальнобойные. И немногие уцелевшие жители, забившись в погреба и подвалы, устало и нетерпеливо ждут. Жизнь и смерть начинаются одинаково — ударом приклада в дверь.

В этот год мы возвращались в родные города, шагали по странно незнакомым улицам, терли кулаками слезящиеся глаза и внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивой узнавали сказочную гору нашего детства, вспоминали первую пятилетку, шарманку на соседнем дворе, неподвижного голубя в синем море и равнодушный женский голос, зовущий Сереньку.

Мы научились вспоминать. Мы стали взрослыми. Санитарный поезд. Так называемый кригеровский вагон для тяжелораненых. По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким проходом посередине. Верхний свет не горит, и в предутренних сумерках видны только первые от тамбура четыре койки — верхняя и нижняя, верхняя и нижняя. И на одной из этих коек, запрокинув голову на взбитую высоко подушку, сжав запекшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Д а в и д Ш в а р ц.

Беспокойно и смутно спят раненые: мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне. Кто-то выкрикивает отрывисто и невнятно: «Первое орудие — к бою! Второе орудие — к бою! По фашистским гадам прямой наводкой — огонь!» Но никто не торопится выполнять приказание, не гремят орудия, не взлетает в небо вопящая взорванная земля — мирно гудит поезд, постукивают колеса, и лишь по временам за дребезжащими окнами вагона как напоминание об огне пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза.

Возле койки Давида на низком табурете, положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшими от йода пальцами, в белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры сидит Л ю д м и л а Ш у т о в а, молча и тревожно поглядывая на Давида.

Д а в и д (с закрытыми глазами, ровным, тусклым голосом).

Пить. Пить. Пить дайте. Пить.

Л ю д м и л а. Ну нельзя же тебе пить... Нельзя, милый! Ну, хочешь, я смочу тебе губы... Хочешь, Давид?

Д а в и д. Пить. Пить дайте. Пить.

На верхней койке, над головой Давида, заворочался старшина О д и н ц о в — скуластый, с рыжеватой щетиной на небритых щеках, с веселыми от жара, возбужденно блестящими, очень синими глазами.

О д и н ц о в (глядя в окно, хрипло, останавливаясь после каждого произнесенного слова). Сестрица! Ты не знаешь, проехали мы Курск?

Л ю д м и л а. Час назад.

О д и н ц о в. Вот что! То-то, я гляжу, — места знакомые. Скоро, значит, и Сосновка.

Д а в и д. Пить. Пить дайте. Пить.

О д и н ц о в. Переедем сперва мост через реку. Потом лесок будет. А за лесом перегон еще — и Сосновка... Водоканчка, склады дорожные, садочек при станции. А в садочке том — рынок... Родина моя, между прочим!

Л ю д м и л а. Много говоришь, Одинцов.

О д и н ц о в (не то засмеялся, не то закашлялся). Как поезд подойдет, так бабы, девчонки, огольцы — прямо в окна полезут. Кто с чем. Кто, понимаешь, с яблоками, кто с яичками калеными, кто с варенцом...

Чей-то голос в темноте, коверкая слова, мечтательно проговорил: «А у нас в Каласури шашлык продают! Шампур в окно подадут — ешь!»

Напротив Одинцова — на верхней койке через проход — поднимает голову «сын полка» Женька Жаворонков, мальчишка лет семнадцати, с красивым наглым лицом, с прищуренными глазами и темной родинкой над припухлой губой.

Ж е н ь к а (с развязностью любимца публики). Душа любезный шашлычка захотел! Эй, кацо, не горюй, тебе завтра ногу рубанут — вот мы шашлычок из нее и сготовим!

По вагону прокатился смешок:

— Ай, Женька!

— Женька скажет!..

О д и н ц о в (быстро и тихо). Сколько я этих населенных пунктов в сорок первом оставил, сколько я их обратно отвоевал — сосчитать даже немислимо... Немислимо сосчитать... А Сосновки моей не увижу!

Л ю д м и л а. Это почему же?

Одинцов (спокойно). Не дожить мне, сестрица. Никак не дожить.

Людмила (сердитым шепотом). Ну что ты, Одинцов, глупости болтаешь?! (Поспешно встала, взяла руку Одинцова, сосчитала пульс).

Одинцов. Тяжко.

Людмила. Говоришь много, оттого и тяжело. У тебя легкое осколком задето, тебе молчать надо... Неужели не ясно? (Позвала.) Ариша!

Из темноты, бесшумно ступая в мягких войлочных тапках, появляется санитарка, маленькая, круглолицая, в белой косынке, надвинутой на самые брови.

Санитарка. Да, Людмила Васильевна?

Людмила. Кислородную подушку.

Санитарка исчезает и тут же появляется снова, с тугой кислородной подушкой в руках.

Санитарка. Вот, Людмила Васильевна.

Людмила (живнула). Я сделаю укол, а ты сбегай разыщи доктора Смородина.

Санитарка. Сюда попросить? Хорошо, Людмила Васильевна!

Санитарка убегает. Людмила Васильевна приставила раструб подушки к губам Одинцова, отвернула кран. Тонко зашипел кислород.

Одинцов. Не надо.

Людмила. Молчи, пожалуйста. (Достала из стерилизатора шприц, разбила ампулу, наполнила шприц маслянистой жидкостью, сделала Одинцову укол.)

Одинцов (деревенеющими губами). Не надо.

Людмила. Сейчас тебе станет легче. Постарайся уснуть.

Одинцов откинулся на подушку. Тишина. Гудит поезд. Постукивают колеса.

Давид (внезапно открыл глаза). Людмила, Людмила, ты здесь?

Людмила. Здесь, милый, здесь. Тебе что-нибудь нужно?

Давид. Да. Пить. Нет, нельзя пить! (После паузы.) Я шел по Тульчину, по Рыбаковой балке... Я хотел найти... Я непременно хотел найти... А потом... Я присел на лавочку под акацией, и тут чем-то ударило сверху и... (Скрипнул зубами.) У-у-у-у...

Людмила. Додик!

Д а в и д. Людмила, ты здесь?

Л ю д м и л а. Здесь, милый.

Д а в и д. Здесь. Все-таки это удивительно, что ты здесь.

И Чернышев. Только на войне бывает такое! Правда?!

Ну, рассказывай.

Л ю д м и л а. Про что, Додик?

Д а в и д. Про Таню. Про то, как ты с ней встретила. И что она тебе сказала. И какой она была.

Л ю д м и л а. Так ведь я уже рассказывала тебе об этом.

Д а в и д. Расскажи еще. Пока со мной снова не началось.

Только громче — а то я что-то совсем плохо слышу.

И вижу плохо. Плохо вижу и совсем плохо слышу.

Л ю д м и л а. Это контузия, Додик. Это пройдет.

Д а в и д. Громче... Что?

Л ю д м и л а (*медленно, нарспев, как рассказывают сказку*). Я говорю: это было в Москве, в сорок первом, шестнадцатого октября... Ровно три года назад... Рано утром меня разбудил Сережка Попов — из ИФЛИ, ты его, наверное, не помнишь — и сказал, что немцы в Истре. Я включила радио — передавали почему-то объявления треста ресторанов и столовых. И музыку. И тогда я решила ехать в военкомат — проситься на фронт. Ты слышишь, Давид?

Д а в и д. Слышу. Рассказывай. Что?

Л ю д м и л а. Я говорю: на улицах было полным-полно народу. И одни куда-то спешили — с вещами, с чемоданами, с подушками, а другие молча стояли у репродукторов и ждали. Ждали, что им хоть что-нибудь скажут... И вдруг объявили: «Передаем мазурку Венявского в исполнении лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей Давида Шварца...» И тут я увидела Таню. Она стояла под репродуктором — в белом платье, с красным букетиком астр. Очень нарядная. Очень красивая. И слушала, как ты играешь. Я подошла к ней, мы обнялись — все это как-то само собой получилось, ведь мы и знакомы толком не были — и стали вдвоем слушать, как ты играешь...

Д а в и д. Это была запись... Что?

Л ю д м и л а. Да, конечно, это была запись. Но доиграть тебе не пришлось. Началась воздушная тревога, и все побежали в убежище, в щели, в парадные. А мы с Таней пошли по улице Горького, и я ее спросила, где ты. А она ответила: «Мой муж на фронте...»

О д и н ц о в (*бормочет в забытѣ*). Мост переедем, лесок переедем, а там и Сосновка... Водокачка, склады дорож-

ные, садочек у станции. Бабы с девчонками яблоками торгуют, яичками калеными, варенцом... Мост передем, лесок передем...

Женька (*раздраженно*). А он свое, он свое! Прямо как заведенный!

Давид. Она так и сказала: «мой муж»? Ты хорошо это помнишь? Не Давид, а именно — муж?

Людмила. Муж.

Давид. Громче... Что?

Людмила. Она сказала: «мой муж».

Давид (*слабо улыбнулся*). Милая моя! Ты знаешь, мы поженились в сороковом, в мае... Мне как раз комнату дали. На Ленинградском шоссе. Там многие наши получили. И Чернышев, между прочим. Хорошая комната, двадцать метров. Мы из нее две сделали. А Танька хотела... Погоди, так ты говоришь, что она была очень красивая в тот день? И не было заметно?

Людмила. Что?

Давид. Нет, ничего... Значит, она была очень красивая?

Людмила. Очень.

Давид. Правильно. Она всегда очень красивая. Но в какие-то минуты она бывает такой красивой, что просто сердце заходится...

Возвращается санитарка.

Санитарка. Людмила Васильевна!

Людмила. Разбудила?

Санитарка. Он с товарищем Чернышевым в операционной. Сказал — кончит операцию и придет.

Женька (*громко*). Сестра! Эй, сестра!

Людмила (*обернулась*). Что ты кричишь, Женя? В чем дело?

Женька. Не в «чем дело», а койку мне надо поправить!

Людмила. Ариша, поправь.

Санитарка подходит к Жаворонкову, но Женька, со злым лицом, грубо отталкивает ее.

Женька. Уйди! У тебя руки кривые! Уйди ты к... Сестра!

Людмила (*встала*). Господи, наказание! (*Подошла к Женьке*.) Что тебе? Ты же видишь — я возле тяжелых дежурю.

Женька (*с внезапно истерическими слезами в голосе*). А тут все тяжелые! Тут не с чирьями люди лежат! Вот погоди, я доложу начальнику, что ты со своим лейтенантом как не знаю с кем возишься! (*Передраз-*

нивая.) «Додик, Додик!» И кислород ему, и пантапончик ему... А как другие у тебя пантапон попросят, так выкуси!

Л ю д м и л а. Не дам я тебе пантапона.

Ж е н ь к а. А я знаю, что не дашь... Я ж не еврей!

Л ю д м и л а. Что-что? (*Помолчав, брезгливо и тихо.*) Какая гадость.

Ж е н ь к а. Почему это — гадость? (*Со смешком.*) Правильно майор Зубков в полку у нас говорил. «Еврей, — говорил он, — они свое дело знают! Они и на гражданке, и на войне ближе всех к пирогу садятся...» Это точно!

Он обернулся, ожидая, как обычно, смеха и возгласов одобрения. Но вагон молчит. И только нижний Женкин сосед — ефрейтор Лапшин, немолодой человек с забинтованной головой — отложил в сторону письмо, которое он читал при слабом свете синего ночника, и с любопытством снизу вверх посмотрел на Женьку.

Л а п ш и н. Точно говоришь?! (*Покачал головой.*) Ах, Женька ты, Женька! Сколько тебе годков?

Ж е н ь к а. А это к делу не касается! (*Разозлился.*) Брось, Лапшин, понял?! Всякий ефрейтор будет меня учить! Не нарвись я на эту мину чертову, я бы и сам к ноябрю ефрейтором стал! Мне майор Зубков так и сказал...

Л а п ш и н. Опять майор Зубков?

Ж е н ь к а (*срываясь на крик*). Опять! Да, опять! Не нравится? Он мне вместо отца родного был, если желаешь знать! Он меня из горящего дома спас, он в полк меня записал, солдатом сделал, воевать научил...

Л а п ш и н (*сердито*). Воевать он тебя, может, и научил. А думать не научил! Я вот вторую неделю с тобой еду, разговорчики твои слушаю — и просто диву даюсь! Ты же отравленный, Женька! Трупным ядом отравленный! (*Передразнил.*) «Солдат, солдат»... Солдатом стать легко, человеком стать трудно! Ну скажи ты мне, дорогой товарищ, кто тебе в малолетнюю твою башку столько всякого вздора понабивал?! Женщины у тебя все — бабье, ППЖ... Кикнадзе — душа любезный, Каспарян — карапет и армяшка...

Ж е н ь к а (*чуть струсил*). Да это же я в шутку, чудака-человек! Подумаешь, делов — карапетом назвал. Каспарян и не обижается... Верно, Каспарян? У нас в полку майор Зубков не такое откалывал, и...

С другого конца вагона спокойный голос отчетливо и внушительно проговорил: «Он сукин сын, твой майор Зубков! Сукин сын и дурак!»

(Даже растерялся от ярости.) Дурак?! Майор Зубков — дурак?! Это кто сказал?..

С п о к о й н ы й г о л о с . Это я сказал — подполковник Захаров... И довольно! Заткнись, Женька! Дай людям спать!..

Долгое молчание. Гудит поезд. Громяхают колеса.

Ж е н ь к а *(тихо)*. Товарищ подполковник, вы не сердитесь! Ведь у меня ни отца, ни матери, товарищ подполковник!..

Молчание. Подавленный, Женька натягивает на себя одеяло и отворачивается к стенке. Лапшин улыбается, берет письмо. Людмила снова садится на табурет возле койки Давида.

О д и н ц о в *(все глуше и глуше)*. Мост проедем, лесок проедем... А там и Сосновка... Стойте, остановите!.. Остановите поезд — дайте сойти!..

Л ю д м и л а . Что ты, Одинцов? До Сосновки еще далеко... Ехать и ехать!

О д и н ц о в . Мятою пахнет! Ах, как мятою пахнет! *(Чуть приподнимается.)* Девчонки мои маленькие, парнишечки мои беленькие — здоровья вам желаю!.. Ах ты боже мой, до чего же мятой, мятой, мятой отчаянно пахнет!..

Д а в и д . Пить... Людмила!.. Людмила, ты здесь?

Л ю д м и л а . Здесь, милый.

Д а в и д . Людмила! Слушай, а про что он там все говорит? Там, наверну, про что?

Л ю д м и л а . Вспоминает. Родные места его проезжаем. Он и вспоминает.

Д а в и д *(усмехнулся)*. Матросская тишина... У каждого непременно есть своя Матросская тишина... И не бывает так, чтобы не было... Ни черта человек не стоит, если у него нет или не было... И сколько бы он ни прошел, сколько бы ни проехал, всегда у него есть такая заветная улочка — Матросская тишина, на которой он еще не успел побывать... А я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке... Людмила, ты здесь?

Л ю д м и л а . Здесь, Додик.

Д а в и д . Я ходил по Тульчину, по Рыбаковой балке, и хотел найти!.. Нет, не могу говорить!

Л ю д м и л а. Как ты себя чувствуешь?

Д а в и д. Не знаю. Очень пить хочется.

Л ю д м и л а. Нельзя.

Д а в и д. Глоток... А я помню — у тебя стихи были про
глоток воды, верно? Прочти мне.

Л ю д м и л а (*помедлив*).

Мы пьем молоко и пьем вино,
И мы с тобою не ждем беды,
И мы не знаем, что нам суждено
Просить, как счастья, глоток воды!

Д а в и д. Вот как все сходится... А еще? Прочти еще что-
нибудь. Мне, как ты читаешь, легче. Боль легче. И во-
обще мне с тобой спокойно. Ты спокойная. Быть бы
тебе, Людка, врачом. Медиком. (*После паузы.*) Ну,
прочти же мне что-нибудь!

Л ю д м и л а (*задумчиво и печально*). Я позабыла все свои
стихи.

*Гудит поезд. Громяхают колеса. За дребезжащими
окнами вагона все те же серые предрассветные сумер-
ки. Одинцов перестал бормотать и закашлялся. Он
кашляет каким-то резким, лающим кашлем, сотря-
саясь всем телом и разрывая черными пальцами ру-
башку на груди.*

С а н и т а р к а (*испуганно*). Людмила Васильевна!

Л ю д м и л а. Одинцов! (*Растерянно оглянулась.*) Ну что же
они там так долго?! Вот что, Ариша, ты побудь здесь,
а я сбегая потороплю.

С а н и т а р к а. Боюсь, Людмила Васильевна!

Л ю д м и л а (*прикрикнула*). Глупости!

Д а в и д. Людмила?.. Людмила, ты здесь?

Л ю д м и л а. Сейчас, Додик. Сейчас я вернусь. Губы смочи,
если попросит. Сейчас я вернусь. (*Поспешно уходит.*)

*Одинцов кашляет, рвет на груди рубашку. Санитарка
смотрит на него расширенными от испуга глазами.*

С а н и т а р к а. Миленький, потерпи!.. Потерпи!.. Сейчас!..
Миленький, потерпи!..

*Одинцов захлебывается кашлем. Санитарка отворачи-
вается, прижимается лбом к оконному стеклу.*

Д а в и д. Пить. Пить дайте!.. Людмила!

Г о л о с. Что тебе нужно, Додик?

Дрожащее и зыбкое пятно света — не то из окна, не то откуда-то сверху — падает на табурет, стоящий возле койки Давида.

Д а в и д. Кто это?.. Кто?.. Это ты, Людмила?

Г о л о с. Нет, это я, Додик.

Д а в и д. Папа?!

В зыбком пятне света возникает А б р а м И л ь и ч Ш в а р ц. Он сидит на табурете, наклонившись к Додиду, все в том же, лучшем своем черном костюме, в котором он когда-то приезжал в Москву. И все та же старомодная касторговая шляпа лежит у него на коленях. И все тот же серебристый пушок вокруг головы. Он стал совсем прозрачным и легким, этот пушок, и только там, с левой стороны, где прошла пуля, виден черный след запекшейся крови. К рукаву пиджака припилена английской булавкой грязная повязка с желтой шестиконечной звездой и черной надписью «Юде».

Ш в а р ц. Здравствуй, мой дорогой! Шолом-алеихем!

Д а в и д. Папа, ты?! Откуда ты?.. Почему ты здесь?.. Ты живой, папа?..

Ш в а р ц *(спокойно и грустно)*. Нет, милый. Меня убили. Год тому назад. Я думал, что ты знаешь, милый, об этом.

Д а в и д. Да, я знаю, но мне показалось... *(Вскрикнул.)* Но ведь я вижу тебя! Почему же я вижу тебя?.. Ты чудисься мне, да?

Ш в а р ц. Возможно, Додик! *(Улыбнулся.)* Человек не таракан, ему всегда что-нибудь чудится. Женщинам чудятся неприятности, мужчинам — удачи. *(После паузы.)* И даже мне в тот самый последний день, когда нас вели под конвоем на Вокзальную площадь, — мне чудилось, что я иду встречать твой поезд.

Д а в и д *(строго)*. Как это было, папа?

Ш в а р ц. Это было совсем просто, милый. В один прекрасный день по всему гетто развесили объявления, что нас отправляют на поселение в Польшу и что мы должны в воскресенье с вещами явиться на Вокзальную площадь...

Д а в и д. И ты понял?

Ш в а р ц. Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись и такие, которые поверили. На одного умного всегда найдется два с половиной дурака!..

Д а в и д. А что было дальше?

Ш в а р ц. Ну, в воскресенье мы все собрались у выхода из нашего гетто, нас пересчитали, построили в колонну и повели! (*Усмехнулся.*) Это же все-таки Тульчин, а не Киев. В Киеве, говорят, для этого дела подавали автобусы... А нас повели... И мы шли — женщины, старики и дети... Был дождь и ветер... И мне помогали идти — этот каменщик из дома восемь, Наум Шехтели, и его жена Маша, сестра Филимонова... И вот мы шли, шли... И лил дождь, и лаяли собаки, и плакали дети... А на улицах было пусто... Совсем пусто... Все попрятались по домам, и только, когда мы проходили, шевелились занавески на окнах... И этому как раз я был рад!

Д а в и д. Почему?

Ш в а р ц (*помолчав*). Понимаешь ли, милый, — я родился в Тульчине. И жил в Тульчине. И умер в Тульчине. Я почти всех знал в нашем городе, и мне не хотелось, чтобы старые мои знакомые, увидев меня в тот день, отворачивались и прятали глаза... Ну, и нас привели на Вокзальную площадь. И снова пересчитали. Они очень аккуратные люди, эти эсэсовцы. Они пересчитали нас и приказали сдать вещи. А мне нечего было сдавать. Я ничего не взял. Только твою детскую скрипочку, твою половинку, на которой ты когда-то сыграл первое упражнение Ауэра. Только твою скрипочку и мой альбом с фотографиями. А с немцами был Филимонов... Оказалось, между прочим, что его фамилия Филимон... И даже фон-Филимон... Так, во всяком случае, он утверждал! И когда этот Филимон увидел у меня в руках скрипочку, он засмеялся и крикнул: «А ну-ка, пархатый черт, сыграй нам кадыш! Сыграй нам поминальную молитву, пархатый черт!»

Д а в и д. Сволочь!

Ш в а р ц. А потом он заметил свою сестру Машу. И он сказал ей: «Зачем ты здесь?.. Ты же немка, дура, уходи!» Но она сказала: «Я русская» — и обняла своего Наума, и не ушла!.. Ах, Маша, Маша! Ты помнишь, какая она была красивая, Додик? Я как-то спросил у нее: за что она любит своего рыжего Наума? А она засмеялась и ответила... Знаешь что? «Меня все называют Машей, — сказала она, — но никто, ни один человек на свете не умеет так говорить «Маша», как это умеет мой Наум». Ах, Маша...

Д а в и д (*сквозь сжатые зубы*). Дальше! Что было дальше?!

Шварц. Мы стояли. И лил дождь. И где-то далеко гудел поезд. А немцы, очевидно, кого-то ждали. Какого-то начальника. И тогда этот Филимон снова крикнул: «Ну, сыграй же нам кадыш, пархатый черт!» И знаешь, Додик, я вдруг ужасно рассердился... И на этого Филимона, и на немцев, и даже на самого себя! Ну почему я стою в грязи, с опущенной головой, и почему у меня дрожат руки... И я поднял твою скрипочку, твою половинку, на которой ты учился играть упражнения Ауэра, и подбежал к господину Филимону, и ударил его этой скрипочкой по морде, и даже успел крикнуть: «Когда вернутся наши, они повесят тебя, как бешеную собаку!»

Давид (*яростно*). А дальше? Что было дальше?

Шварц (*после паузы*). Это все. Для меня уже не было никакого «дальше». Дальше, милый, начинается твое «дальше».

Давид (*сдержанно*). Да, пожалуй.

Шварц. Что же было дальше, Давид?

Давид (*приподнялся*). Я расскажу тебе... Хорошо... Слушай, слушай, что было дальше! Мы взяли Тульчин после семи суток непрерывных сумасшедших боев...

Шварц. Вы пришли?

Давид. Мы пришли, папа. Мы выбили фрицев к дьявольской бабушке, куда-то на Чукаринские болота, и на восьмые сутки под вечер вошли в Тульчин!.. Знаешь, я как-то не задумывался прежде над тем, что значат слова «земля отцов»! Но когда наша головная машина остановилась на площади Декабристов и я услышал запах Тульчина, увидел землю Тульчина, небо Тульчина и в небе не самолеты, нет, и не следы трассирующих пуль — от края до края, — а сизого голубя, первого сизого голубя, которого выпустил в нашу честь мальчишка с Рыбаковой балки... И когда мой шофер обернулся ко мне и сказал: «Вот вы и на родине, товарищ старший лейтенант...»

Шварц (*удивленно и радостно*). Ты старший лейтенант, Додик?

Давид. Да, папа.

Шварц. О-о-о, милый, поздравляю! Старший лейтенант — это большой чин! (*Усмехнулся*.) Прости, я тебя перебил... Что же было дальше?

Давид. А на следующее утро мои ребята привели господина Филимона... Мы уже кое-что слышали про его «по-

двиги». Он пытался скрыться, но мои ребята поймали его и привели в отдел...

Шварц. И ты его видел?

Давид. Видел.

Шварц. А он тебя видел?

Давид. Видел. Он только меня одного и видел. Он смотрел на меня во все глаза. Хотел узнать и не мог. Но я ему напомнил, кто я такой. Я сказал ему: «Да, да, это я — Давид Шварц, сын Абрама Ильича Шварца с Рыбаковой балки...»

Шварц. Додик! *(Помедлив.)* Ну а потом?

Давид *(со злой улыбкой)*. А потом все было точно так, как ты ему пророчил!

Шварц *(тихо)*. Вы его...

Давид *(кивнул)*. Да. На Вокзальной площади. И в тот вечер, когда все уже было кончено, ко мне пришла его сестра Маша.

Шварц. Она осталась жива?

Давид. Она осталась жива. Ее только ранило. Два дня и две ночи она пролежала там — с вами, во рву... А на третью ночь она выбралась и приползла домой... Ее прятали по очереди Митя Жучков и Танькины родные — Сычевы... И вот она пришла ко мне, и мы отправились с нею вдвоем за линию железной дороги, к разъезду...

Шварц *(мягко)*. Не надо об этом, Додик!

Давид. Надо. *(Прищурив глаза.)* Мейер Вольф всю жизнь копил деньги, чтобы увидеть Стену Плача. Он видел ее теперь, эту Стену. Она находится за линией железной дороги, на разъезде Тульчин-товарный. Это простая пожарная стена, кирпичный брандмауэр, щербатый от автоматических очередей. И к этой стене по вечерам приходит плакать русская женщина — сестра предателя, жена честного человека — красавица Маша Филимонова.

Шварц. Дальше? Что было дальше, Давид?

Давид. А потом, через день, меня контузило, папа. И ранило.

Шварц *(медленно, боясь услышать ответ)*. Куда тебя ранило?

Давид. В плечо. И в живот. Прости меня. Много раз я был перед тобой виноват. Особенно в тот вечер, когда ты приехал в Москву...

Шварц. Я забыл об этом, Давид...

Давид *(крикнул)*. Но я помню!

Шварц (*мягко, но настойчиво*). И ты тоже должен забыть! Мы оба виноваты. И я даже больше. Много больше. Потому что ведь это я когда-то заставил тебя поверить в то, что сначала — счастье, а уже потом все остальное... Нет, Додик, нет! (*Покачал головой, улыбнулся.*) Знаешь, о ком я сейчас подумал? О моем внуке, о твоём маленьком сыне! Ах, как он будет гордиться тобой, Додик! И уж он-то обязательно скажет людям: «Это мой папа — Давид Шварц, старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, награжденный орденами и медалями...» И уж ему-то в голову не придет стыдиться тебя! И тебе тоже не нужно будет ни лгать, ни ловчить для того, чтобы твой маленький сын узнал, как выглядит счастье... Что? Разве не так?

Давид. Да, папа, да.

Шварц. Кстати... Меня давно мучает один вопрос... Как-то раз из моего альбома пропали три открытки... И я не поверил тебе, когда ты сказал, что не брал их...

Давид. Я солгал тебе. Я их взял.

Шварц (*помолчав*). Надеюсь, что больше этого никогда не повторится, Давид! (*Прислушался к чему-то, что слышно только ему одному, встал.*) Надеюсь, не повторится... Ну, мне пора!

Давид. Ты уходишь, уже?

Шварц. Мне пора.

Давид. Как скоро! Но ведь мы еще когда-нибудь увидимся, правда?

Шварц. Нет, милый. Больше мы уже не увидимся. Оттуда не ходят поезда, не приносят писем и телеграмм. Мы не увидимся больше. Может быть, я тебе приснюсь... Впрочем, я не люблю, когда люди вспоминают и рассказывают свои сны... Мало ли что кому может присниться! Прощай, мой родной!..

Давид. Папа!

Шварц. Прощай.

Давид. Папа, погоди... Папа!..

Но Абрама Ильича уже нет. Исчезает и дрожащее, зыбкое пятно света, падавшее на табурет. Гудит поезд. Стук колес становится громче. Это санитары выносят в тамбур носилки, покрытые белой простыней. Людмила дрожащими руками торопливо прибирает опустевшую койку Одинцова, разглаживает одеяло, взбивает подушку. Захлопывает дверь в тамбур. Тиши-

на. За окнами вагона понемногу начинает светать. Людмила садится на табурет возле койки Давида.

Папа!.. Папа, я хотел тебе сказать...

Людмила. Что, Додик? Что ты?

Давид. Я хотел тебе сказать... Нет... Это ты, Люда?

Людмила. Да, милый.

Давид. Громче. Я ничего не слышу. Что?... Как долго!..
Что?.. Это ты, Люда?

Людмила. Да. Все будет хорошо, милый.

Давид. Громче.

Людмила (*тихо*). Все будет хорошо... Я тебя выхожу!
Я выхожу тебя, мой любимый, ненаглядный мой. Ты будешь слышать. Ты будешь видеть. Ты встретишься с Таней... (*Сжала руки.*) Ах, какая простая беда приключилась со мной: я люблю тебя, а ты любишь свою красивую Таню...

Давид. Громче.

Людмила (*еще тише*). А ведь я все придумала, милый. Я не видела Таню в тот день, шестнадцатого октября. Я даже не знаю где она была и что делала. И это я одна стояла под репродуктором на площади Пушкина и слушала, как ты играешь мазурку Венявского. И ревела в три ручья, как самая последняя дура...

Сгорбив плечи и шмыгая носом, входит маленькая санитарка.

Санитарка. Людмила Васильевна!

Людмила. Отнесли, Ариша?

Санитарка. Отнесли, Людмила Васильевна. (*Еще раз шмыгает носом и отворачивается в сторону, к окну.*)

Давид. Люда!

Людмила. Что, милый?

Давид. Где мы сейчас едем, Люда?

Людмила. Подъезжаем к реке. Лодки. Качаются у причала. А на берегу стоит маленький домик. Совсем игрушечный. Поблескивают окна. Из трубы идет дым. Там, верно, живет бакенщик! (*Вздыхнула.*) Если бы я могла, милый, — я остановила бы сейчас поезд, взяла тебя на руки, постучалась бы в двери этого домика... Многим, я думаю, многим, и не один раз, это приходило в голову! И еще, я думаю, никто и никогда не отважился почему-то на это! А ведь как, казалось бы, просто — остановить поезд, соскочить вдвоем со ступенек вагона...

Давид (*неожиданно*). Земля!.. Большая моя земля!..

Л ю д м и л а. Что ты говоришь, Додик? О чем ты?

Долгое молчание. Снова, громче и резче, застучали колеса, замелькали за окнами чугунные стропила моста.

С а н и т а р к а (*странным, сдавленным голосом*). Мост, Людмила Васильевна!

Л ю д м и л а. Ну и что?

С а н и т а р к а. Одинцов говорил — помните?

Гудит поезд. Мелькают за окнами вагона стропила моста. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тревожный шепот прокатывается по вагону:

— Мост проезжаем!

— Старшина-то все увидеть хотел!

— Мост!

— Мост!

Л ю д м и л а (*прислушиваясь*). Проехали.

С а н и т а р к а. А теперь лесок будет!..

Тишина. Стучат колеса. Молчание.

Л ю д м и л а. Проехали лесок...

С а н и т а р к а (*глядя в окно*). Водокачка... Склады дорожные...

И весь вагон повторяет вслед за нею:

— Водокачка!

— Склады дорожные!

— Водокачка!

С а н и т а р к а. Сосновка!

И едва только произносит она это слово, как в окна вагона врывается стремительный разнобой голосов:

— Яички каленые, яички!

— Варенец, варенец!

— Покупайте яблоки, братья и сестры! Давай налетай, полтора рубля штука, на десять рублей!..

Но поезд, не останавливаясь, пронесется мимо. Замирают вдалеке голоса. Стучат колеса. Поскрипывает и покачивается на ремнях пустая койка над головой Давида. Тишина. И вдруг кто-то закричал, задыхаясь и захлебываясь слезами: «А-а-а!.. Не хочу, не хочу!..»

Л ю д м и л а (*поспешно встала, прошла в конец вагона*). Что с вами, Гаспарян?! Успокойтесь, успокойтесь, го-

лубчик! Нельзя так! Ну, тише, тише, тише, успокойтесь!..

Рванув дверь тамбура, в вагон быстро входит Иван Кузьмич Чернышев — в белом халате, туго обтягивающем квадратные плечи.

Чернышев. Людмила Васильевна! У вас радио включено?

Людмила. Нет, товарищ начальник... А что? Письма из дома?

Чернышев. Сообщение Информбюро. Сейчас должны повторить. Я был в третьем вагоне, там точка в неисправности — я не все расслышал! *(Положил руку Людмиле на плечо, тихо проговорил.)* Держитесь, дружок, на вас лица нет. Держитесь, прошу вас!

Людмила. Стараюсь! *(Позвала.)* Ариша! Включи радио!

Санитарка. Письма из дома?

Людмила. Сообщение Информбюро.

Санитарка. Ой, сейчас, Людмила Васильевна! *(Включает репродуктор.)*

Тишина. Стук метронома.

Чернышев. Как Давид?

Людмила. Плохо.

Чернышев *(наклонился к Давиду)*. Здравствуй, Давид... Это я — Чернышев... Ты слышишь меня?

Молчание.

Людмила *(тихо)*. Он не слышит. Он совсем, совсем ничего не слышит!..

Молчание. Обрывается стук метронома, слышен голос диктора: «От Советского Информбюро. В последний час! Сегодня, шестнадцатого октября, наши войска, прорвав глубоко эшелонированную оборону противника, перешли границы Восточной Пруссии и овладели рядом крупных населенных пунктов, в том числе стратегически важными городами Гумбинен и Гольдап... Наступление продолжается!..» Гремит марш.

Чернышев *(взмахнув рукой)*. Товарищи! Вот... Что мы сделали! *(У него перехватило дыхание.)* Я поздравляю вас!.. Вот что мы с вами сделали, дорогие мои!

Гремит марш. Постукивают колеса. Протяжно гудит паровоз.

Занавес

Действие четвертое

Середина века. Москва. Май месяц.

Точнее — девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз отмечаем мы День Победы — день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что сделано было нами в годы Великой войны, возвращаются в наши дома старое горе и старая боль. А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы приезжих и москвичей неутомимо бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва, уходили на целину комсомольские эшелоны, развевались знамена, гремели оркестры на привокзальных площадях, молодые голоса запевали старую песню — все ту же самую, что пели когда-то и мы, старшие, уезжая на Магнитку и в Комсомольск:

*Наш паровоз, вперед леги,
в Коммуне остановка!..*

И все чаще и чаще в эту весну бывало так: люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, поблуднев, но все не решаясь протянуть руку, бросался к другу и спрашивал, задыхнувшись: «Это ты?! Ты вернулся?!»

Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами. Вечер. Над стадионом «Динамо» в светлом еще небе мирно, как шмель, гудит самолет. Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздаются веселое, нахальное треньканье велосипедных звонков. Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать — хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок. В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Т а н я. Рядом, на стуле, — Ч е р н ы ш е в. Он выглядит необыкновенно торжественно и парадно, в белой рубашке с галстуком, над карманом пиджака — орденская колодка. На низком столике — какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку

и две рюмки. Таня и Чернышев, надо полагать, уже выпили, и поговорили, и повспоминали, а теперь Чернышев, разомлев и расчувствовавшись, поет, а Таня плачет. Она не всхлипывает, не закрывает лицо руками, она даже улыбается, слушая Чернышева, но по лицу ее катятся слезы, частые, крупные, которые она время от времени с досадою смахивает кончиками пальцев.

Чернышев *(покачиваясь на стуле, поет).*

Гаснет в низкой печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке огонь
Про улыбку твою и глаза...

Давай еще?

Таня. С ума сошел? Я уже и так совсем пьяная.

Чернышев. Праздник же.

Таня. Не «гаснет», а «бьется».

Чернышев. Что?

Таня. Не «Гаснет в тесной печурке огонь», а «Бьется в тесной печурке огонь».

Чернышев. Не имеет значения! *(Потянулся к бутылке.)*
Давай еще?

Таня. Хватит! *(Вскочила, убрала бутылку и рюмки.)* Людмила приедет, увидит — убьет меня.

Чернышев. А если не приедет?

Таня. Ну, не знаю. Она была на вызове, но я просила передать, что звонили из дома... В котором часу салют?

Чернышев. В десять... Татьяна, ну давай еще по маленькой.

Таня. Нет. Ты, милый мой, становишься к старости пьяницей!

Чернышев. Так ведь праздник... День Победы!

Таня *(нараспев)*. Праздник, праздник, праздник! Из-за этого праздника я сегодня с утра реву... Чай будешь пить?

Чернышев. Не хочется! *(Презрительно сморщился.)*
Чай!

Татьяна подходит к двери в соседнюю комнату, чуть приоткрывает ее.

Таня. Давид, хочешь чаю? *(После паузы, не расслышав ответа.)* Я спрашиваю — ты хочешь чаю?

Из соседней комнаты слышен голос: «Нет».

(Закрывает дверь.) Как угодно!

- Чернышев (*усмехнулся*). Очередной разрыв дипломатических отношений?
- Таня. «Холодная война».
- Чернышев (*понижив голос*). Слушай-ка, у него все еще продолжается эта переписка?
- Таня. Кажется! (*Прошлась по комнате, остановилась у открытого окна, вздохнула.*) Ох, Ваня, если бы ты только знал, до чего мне все надоело! День за днем — консультация, суд, арбитраж. И все дела какие-то унылые... А тут еще теперь выяснение отношений!
- Чернышев. Он тебя просто ревнует.
- Таня (*хмыкнула*). Было бы к кому! Ну, ничего! Скоро я, слава богу, уеду. Мне с конца месяца дают отпуск.
- Чернышев. Куда поедешь?
- Таня. Куда-нибудь к морю. Буду весь день ходить — до изнеможения, чтобы ничего не снилось, чтобы ни о чем не вспоминать и не думать... Скажи, Ваня, у тебя бывает так: привяжется один какой-нибудь сон и снится чуть не каждую ночь?
- Чернышев. Я вообще сны вижу редко.
- Таня. А мне вот уже который раз снится все одно и то же... Как будто мы с Давидом едем куда-то в поезде... И так все, знаешь, ясно — мы в купе вдвоем, большой чемодан с вещами выброшен наверх, в багажник, маленький чемодан и сумка с продуктами — в сетке... Гудит поезд, стучат колеса, звенят и подрагивают ложечки в стаканах... А потом — и все это как-то сразу, вдруг — уже не поезд, а Большой зал консерватории... И не Давид, а я почему-то стою на эстраде и рассказываю про то, как все было...
- Чернышев (*сухо*). Что — было?
- Таня (*грустно улыбнулась*). Ну, про то, как у нас, на Рыбаковой балке, во дворе росла старая акация... И под этой акацией по вечерам сидели две девчонки — беленькая и черненькая — и слушали, как сердитый мальчик с вечно расцарапанными ногами играл мазурку Венявского...
- Чернышев (*внимательно поглядел на Таню*). Почему ты нервничаешь?
- Таня (*помолчав*). Не знаю. Ты нервничаешь, и я стала нервничать... Ты только, пожалуйста, не делай такого невинного лица! Ты же не стал бы меня просто так, за здорово живешь, просить, чтобы я звонила Людмиле, у которой дежурство... Что-то случилось, да?
- Чернышев (*пожал плечами*). Праздник...

Т а н я. Тьфу, заладил!

В коридоре раздаются быстрые шаги. Стремительно, без стука распахивается дверь, и в комнату почти бежит Людмила — в белом халате, с докторским чемоданчиком в руке.

Л ю д м и л а (*еще с порога*). В чем дело? (*Взглянула на Таню и Чернышева, задохнулась*.) Ну неужели вы не понимаете... Неужели вы не понимаете, что мне нельзя так звонить?! Что всякий раз, когда мне говорят — звонили из дома, у меня останавливается сердце?

Т а н я. Но я же просила передать, что все в порядке, что он здоров, сидит у нас...

Л ю д м и л а. Мало ли что ты просила передать! (*Плюхнулась на диван, с трудом перевела дыхание*.) А я, пока ехала, представила себе, что он опять, как тогда... шел по улице и упал... И опять — уколы, кислород, бессонные ночи, страх... (*Помолчала, тряхнула головой*.) У меня дежурство, мне надо ехать, — в чем дело?

Ч е р н ы ш е в (*медленно*). Дело, дорогие мои, в том, что... (*Не договорив, вытаскивает из кармана партийный билет и, отряхнув предварительно крошки со скатерти, бережно кладет его перед собою на стол*.)

Л ю д м и л а (*вскрикнула*). Ваня!

Ч е р н ы ш е в. Вот, как говорится, таким путем.

Молчание.

Т а н я. Когда?

Ч е р н ы ш е в. Вчера. Я вернулся, а ты уже уехала на дежурство.

Т а н я. И молчал! Слушай, но ведь не один же день...

Ч е р н ы ш е в (*вдруг почти весело засмеялся*). Нет, не один день. Совсем не один день. Исключили меня двадцатого декабря пятьдесят второго... Больше двух лет! Вот и посчитай — сколько это получается дней? И я, между прочим, долго не мог понять — правильно ли и кого.

Людмила всхлипнула.

Ну, Люда, Люда, Люда!.. Ну что вы в самом деле — такой сегодня день, а вы обе ревете!

Л ю д м и л а (*вытерла кулаком глаза, протянула партийный билет Чернышеву*). Спрячь! И учти — я еще ничего не знаю, Ты ничего не говорил... Все и со всеми подробностями! (*Взглянула на часы*.) О боги! (*Подошла*

к телефону, сняла трубку, набрала номер.) Это Чернышева. Ай, беда, а я-то надеялась! Ну, говорите... Так... фамилия?.. А-а, я ее знаю... Что с ней?.. У нее всегда болит! Ладно! *(Повесила трубку.)* Надо ехать! Таня. Подбросишь меня до Белорусского? Я к машинистке — забрать работу. Забегу заодно в гастроном — куплю чего-нибудь к вечеру. Людмила. Давай, только быстро.

Таня, кивнув, начинает собираться. Людмила подсаживается к Чернышеву на ручку кресла, обнимает Чернышева за плечи.

Чернышев *(тихо и ласково)*. Что?

Людмила. Знаешь, Ваня, у меня еще нет слов... Ничего нет — ни слов, ни радости... Это все, наверное, придет потом! А ты? Как ты себя чувствуешь?

Чернышев. Нормально.

Людмила. Ты оставайся здесь. Татьяна скоро вернется. Ты ведь скоро вернешься, Татьяна?

Таня. Скоро, скоро.

Людмила. Ну вот... Нитроглицерин у тебя при себе?

Чернышев. При себе, при себе.

Людмила и Чернышев, обнявшись, смотрят, как Татьяна собирается, надевает туфли, прихорашивается перед зеркалом.

Людмила *(вздыхнула)*. До чего же ты все-таки красивая, Танька!

Таня *(не оборачиваясь)*. Была.

Людмила. Нет, ты и сейчас красивая. Иногда ты бываешь такая красивая, что просто сердце заходится!

Таня *(резко обернулась)*. Откуда... Это ты не сама придумала!.. Кто тебе это сказал?

Людмила. Один человек, ты не знаешь! *(С беспокойным смешком.)* Ох, как я когда-то завидовала и восхищалась тобой. Я запомнила один вечер — в студгородке, на Трифоновке... Меня кто-то обидел, я сидела на подоконнике и хныкала, а ты шла по двору — красивая, нарядная, легкая, как будто с другой планеты. *(Снова засмеялась, но теперь уже легко.)* Я и представить себе не могла в тот вечер, что когда-нибудь выйду вот за него замуж, буду жить с тобой в одном доме, брошу стихи, стану доктором...

Таня. А я, между прочим, до сих пор помню твои стихи.

Л ю д м и л а. Какие?

Т а н я *(медленно)*.

Мы пьем молоко и пьем вино,
И мы с тобою не ждем беды,
И мы не знаем, что нам суждено
Просить, как счастья, глоток воды!

Л ю д м и л а *(странно дрогнувшим голосом)*. Почему именно эти?

Т а н я. Потому что я не знала других! *(Вытащила из шкафа, из-под белья, деньги, отсчитала, сунула в сумочку.)* Ну, я готова!

Л ю д м и л а *(встала)*. Ваня, мы поехали! Дежурство у меня, будь оно неладно, до двенадцати, но, может, я отпущусь! Ты действительно хорошо себя чувствуешь?

Ч е р н ы ш е в. Честное слово!

Т а н я *(поглядела на дверь в соседнюю комнату, негромко)*. Вот что... Если у тебя с ним тут без меня возникнет какой-нибудь разговор... Ну, в общем, ты сам понимаешь!

Ч е р н ы ш е в *(усмехнулся)*. Соображу.

Т а н я. Едем! *(Бросила на себя взгляд в зеркало, поправила волосы.)* И никакая я не красивая, все сказки! Таня и Людмила уходят. Чернышев один. Во дворе отчаянно кричат девчонки: «Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!..» Далекий гудок паровоза. Чернышев включает висящий на стене радиорепродуктор. Марш. Это тот самый марш, который гремел в санитарном поезде, в кригеровском вагоне для тяжело раненых, на рассвете, когда диктор сообщил, что наши войска перешли границу Германии. В дверь стучат.

Ч е р н ы ш е в. Кто там?

Входит высокий широкоплечий человек с очень обветренным загорелым лицом и крупной седой головой. Если бы не резкие морщины, не хромота и не стальные зубы, он был бы даже красив — внушительной и спокойной стариковской красотой. Это Мейер Вольф. Остановившись в дверях, он с интересом и волнением оглядывает комнату.

В о л ь ф. Здравствуйте, я звонил, но...

Ч е р н ы ш е в. Звонок не работает.

В о л ь ф. Возможно. Мне нужен Давид Шварц. Он дома?

Ч е р н ы ш е в *(помедлив, громко зовет)*. Давид!

Отворяется дверь, ведущая в соседнюю комнату, и на пороге появляется Давид. Ему четырнадцать лет, у него светлые рыжеватые вихры, вздернутый нос и слегка оттопыренные уши.

Давид *(хмуро)*. Ну что?

Чернышев. Во-первых, здравствуй.

Давид. А мы днем виделись.

Чернышев. А во-вторых... *(Вольфу.)* Вот пожалуйста — Давид Шварц!

Вольф. Так! *(Взгляделся, улыбнулся, кивнул головой.)* Да, это Давид Шварц! Ошибиться трудно! Глупые люди сказали бы, что все повторяется — род уходит, и род приходит... Но мы теперь знаем, что все имеет свое начало и свой конец!

Давид *(с внезапно посветлевшим лицом)*. Мейер Миронович?!

Вольф. Догадался!

Давид. Здравствуйте, Мейер Миронович! Когда вы приехали?

Вольф. Вчера. Собственно говоря, сегодня я уже должен был ехать дальше, но очень уж мне хотелось на тебя посмотреть! *(Огляделся, придвинул кресло, сел.)* Если не возражаешь, я немножко присяду.

Давид *(смугился)*. Ой, да, конечно! *(После паузы.)* Мейер Миронович, а вы мое последнее письмо получили?

Вольф. Получил. Но не успел ответить, я уже собрался в дорогу... Впрочем... *(Из кожаной папки, которая у него в руках, достал какой-то конверт, из конверта старую фотографию и протянул фотографию Давиду.)* Смешно, что из всех моих старых вещей у меня уцелела именно эта фотография... Вот, взгляни! Это некоторым образом ответ на твое последнее письмо! Ты просил, чтобы я рассказал тебе про твоего дедушку Абрама, — вот мы с ним вдвоем.

Давид *(сдвинул брови)*. Он — слева?

Вольф. Да! *(Обернулся к Чернышеву.)* Извините, но я как-то сразу не сообразил... Вы, наверное, товарищ Чернышев?

Чернышев *(протянул руку)*. Иван Кузьмич! Про вас, Мейер Миронович, я тоже слышал. С приездом.

Вольф. Спасибо. Большое спасибо.

Давид *(с недоумением разглядывая фотографию)*. Странно!

Вольф. Что тебе странно, милый?

Д а в и д. Ну, вы не знаете... Я вам писал... Дедушку Абрама расстреляли фашисты. Он набил морду одному гестаповцу, и они его расстреляли!

В о л ь ф *(с улыбкой)*. Ну и что же?

Д а в и д. А здесь, на фотографии, он какой-то маленький, и...

В о л ь ф *(слегка насмешливо)*. А ты думал, что он был похож на Чапаева или на Спартака? Нет, нет, милый, — он был маленького роста, и, когда работал, надевал очки, и очень боялся темноты... И вообще всю свою жизнь он чего-нибудь боялся!

Д а в и д *(возмущенно)*. Но он набил морду гестаповцу!

В о л ь ф *(с той же интонацией)*. Ну и что же? Не повторяй ошибки глупцов — не ищи прямых связей! У портных есть поговорка: если клиент заказывает к костюму две пары брюк, это еще не значит, что у него четыре ноги! *(Помедлив.)* Маленький трусоватый человек бросается с кулаками на гестаповца... Он выходит один против целой армии. Впрочем, нет, это тоже ошибка! Он был не один! Родина его, сыновья и внуки стояли за ним! Вот в чем секрет! И этот секрет, наверно, в самую последнюю минуту своей жизни понял твой дедушка Абрам... Понял и перестал наконец бояться!

Д а в и д *(растерянно)*. А я не думал... Я ведь совсем... Ну просто совсем про него ничего не знал! С папой — другое дело, у меня и фотографии его есть, и письма с фронта, и пластинки, на которых записано, как он играл...

В о л ь ф. Где он погиб?

Д а в и д. Он умер в госпитале, в Челябинске. Он был контужен и ранен, и все надеялись, что он останется жить, но он умер. На руках у дяди Вани! *(С сердитым смешком.)* Мама почему-то считает, что я не могу его помнить! А я его прекрасно помню, прекрасно!

Ч е р н ы ш е в *(покачал головой)*. Ну что ты, братец, сочиняешь?

Д а в и д *(неожиданно и мгновенно взрывается)*. Я сочиняю, да?! Это мама всех вас уговорила, что я сочиняю, что я маленький, что я ничего не знаю, не помню, не понимаю! А я, между прочим, если хотите знать, все помню, все! Вы думаете, я не помню, как мама с вами советовалась... Не изменить ли мне... Ну, одним словом, не взять ли мне ее фамилию! Вы думаете, я не помню, как тетя Люда прибежала к нам сюда ночью и плакала — когда вас исключили из партии?!

В о л ь ф (*взглянул на Чернышева*). Ах вот как! Было и это?
Ч е р н ы ш е в. Все было.

В о л ь ф. Когда?

Ч е р н ы ш е в. В пятьдесят втором. «За потерю бдительности и политическую близорукость» — так записано было в решении.

В о л ь ф (*задумчиво усмехнулся*). Близорукость?! Один профессор-глазник... мы с ним вместе работали в шахте... Так вот, он рассказывал мне, что бывают случаи, когда ранняя близорукость переходит в позднюю дальнорукость!..

*Снизу, со двора, раздается чей-то истошный крик:
«Дави-и-ид!»*

Д а в и д (*подбегает к окну, перевешивается через подоконник*). Чего-о-о?

Несколько секунд продолжается таинственный, главным образом при помощи жестов, разговор между Давидом и невидимым собеседником во дворе. Наконец Давид слезает с подоконника.

Дядя Мейер, вы извините — вы не очень торопитесь?

В о л ь ф. Не очень... А тебе нужно куда-то идти?

Д а в и д (*махнул рукой*). Да нет... Там Вовка Сидельников...

И он просит... Ну, я только сбегаю вниз и тут же вернусь, хорошо?

В о л ь ф. Хорошо, конечно.

Д а в и д. Я мигом! (*Убегает.*)

Молчание. Снова загремел по радио торжественный марш.

В о л ь ф. День Победы сегодня.

Ч е р н ы ш е в. Да. День Победы.

В о л ь ф. Большой праздник!

Чернышев достает спрятанную Таней бутылку коньяку, две чистые рюмки.

Ч е р н ы ш е в. Хотите?

В о л ь ф (*помолчав*). А вы знаете, я — с удовольствием.

Ч е р н ы ш е в (*наливает коньяк в рюмки*). Ну, ладно.

Выпьем. Помянем. Помолчим.

Вольф и Чернышев, не чокаясь, пьют. Молчание.

В о л ь ф (*внезапно*). Хороший мальчик.

Ч е р н ы ш е в. Трудный.

- В о л ь ф. А разве бывают легкие? Главное, чтоб и ему не свела скулы оскомина!
- Ч е р н ы ш е в. В каком смысле?
- В о л ь ф. В Библии сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина...» Закон возмездия! *(Снова помолчал, зажег спичку, закурил.)* Под старость мне все чаще и чаще вспоминается детство, местечко, где я родился, и лохматые местечковые мудрецы — те самые, что с утра и до ночи вбивали этот закон в наши ребячьи головы! *(Грозным движением поднял тяжелую руку.)* «Помните всегда, ты, чернявенький, и ты, рыжий, ты, конопатый, и ты, быстроглазый, помните и не забывайте, что на вас лежат грехи отцов ваших, дедов ваших и прадедов... И сколько бы ни молились вы и ни каялись, все равно будут дни ваши безрадостными и долгими и ночи душными и короткими. И сердца ваши будут вечно сжиматься от страха — и все потому, что отцы ели кислый виноград, а у вас, детей, на зубах оскомина...» Знаете, Иван Кузьмич, я пролетел сейчас через всю страну — из Магадана в Москву... Может быть, некоторым я казался немножко сумасшедшим — но и в пути, и здесь я хожу и заглядываю в лица молодым... Мне, понимаете, хочется убедиться, что они уже есть, что они существуют — эти молодые с добрыми глазами и добрым сердцем, которые только добрые люди, только подвиги их отцов и старших братьев принимают в наследство!
- Ч е р н ы ш е в *(осторожно)*. Видите ли, Мейер Миронович... Кстати, я ведь не очень-то в курсе: как это у вас получилось с Давидом? Как у вас началась переписка?
- В о л ь ф. Сначала — когда мне уже было можно — я написал в Тульчин, Абраму Ильичу. Но открытка вернулась обратно с пометкой: «За ненахождением адресата»... Тогда я запросил через московский адресный стол — так мне посоветовали умные люди — адрес Давида Шварца. *(Улыбается.)* Конечно, я имел в виду другого Давида — но ответил мне этот...
- Ч е р н ы ш е в *(встал, прошелся по комнате, остановился)*. Вы сказали: добрые дела! *(В упор взглянул на Вольфа.)* А заблуждения и ошибки?! Нет, нет, погодите, дайте мне договорить! Вчера мне вернули партийный билет! И вот я шел из райкома и так же, как и вы, заглядывал в лица встречным... Когда-то я воевал на гражданке, потом учился, был секретарем партийного бюро консерватории, начальником санитарного поезда,

комиссаром в госпитале... Работал в Минздраве... После пятьдесят второго мне пришлось, как выразился этот... ну, Остап Бендер, переквалифицироваться в управдомы... И вот я шел из райкома и думал... *(Снова взволнованно зашагал по комнате.)* ...Нет, Мейер Миронович, не так-то все просто!.. И они, эти молодые, они обязаны знать не только о наших подвигах, но и о наших ошибках... Мы сейчас много говорим о нравственности. Так вот, нравственность начинается с правды! *(Посмотрел на портрет старшего Давида.)* Вот ему когда-то на один его вопрос я ответил: разберутся! Понимаете? Не я разберусь, не мы разберемся, а они там разберутся! И я знаю: Тане нелегко с этим мальчиком, но мне нравится... Мне, черт побери, нравится, что он хочет и пытается до всего дойти сам... Пришло, видимо, такое время — время задавать вопросы и время отвечать на них!..

Возвращается Д а в и д. Он прижимает к груди проекционный фонарь и круглую жестяную коробку с диапозитивами.

Д а в и д. Извините!..

В о л ь ф. Что это у тебя?..

Д а в и д. Это?.. Вы понимаете, у нас есть кружок, астрономический... Он объединяет сразу несколько школ... Там даже из десятого класса ребята... И вот моему другу, Вовке Сидельникову, и мне — нам поручили доклад: «Есть ли жизнь на Марсе?» И вот — Вовка достал проекционный фонарь и диапозитивы к нашему докладу...

В о л ь ф. Очень интересно!

Д а в и д *(с надеждой)*. Может, хотите поглядеть?

В о л ь ф *(помолчав, со странной улыбкой)*. А почтовые открытки ты, случайно, не собираешь?

Д а в и д *(удивленно)*. Нет, а что?

В о л ь ф. Ничего, ничего... Просто ты так спросил — таким голосом и с такой интонацией, что я невольно вспомнил... Ну, не важно! *(Оглянулся на Чернышева.)* Мы с Иваном Кузьмичом с большим удовольствием послушаем твой доклад! Правда, Иван Кузьмич?

Ч е р н ы ш е в. Разумеется.

Д а в и д *(засуетился)*. Тогда так... Тогда вы, Мейер Миронович, садитесь к дяде Ване на диван, а я... Минутку! Минутку!

Вольф садится рядом с Чернышевым на диване. Давид ставит проекционный фонарь на круглый столик, принимается ввинчивать лампочку.

Чернышев (*подождав*). Ну как? Будет кино или кина не будет?

Давид. Сейчас, сейчас! (*Ввернув лампочку, щелкнул крышкой фонаря.*) Так! Ну, я могу начинать!

Чернышев. Внимание! Внимание!

Давид включил проекционный фонарь. На противоположной дивану стене, возле двери в соседнюю комнату, появился желтый прямоугольник света и в нем надпись: «ЗЕМЛЯ — КОЛЫБЕЛЬ РАЗУМА, НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЖИТЬ В КОЛЫБЕЛИ».

Вольф. Совсем неглупо сказано, между прочим.

Давид (*тоном лектора*). Эти слова принадлежат великому русскому ученому, отцу звездоплавания Константину Эдуардовичу Циолковскому.

Чернышев. Прекрасные слова!

Надпись на стене исчезает, и вместо нее появляется изображение планеты Марс.

Давид. Перед вами — планета Марс. Эти длинные тонкие полосы, которые вы видите на рисунке, итальянский астроном Скиапарелли условно назвал «каналами»... Уже много лет ученые всего мира спорят по поводу того, являются ли эти «каналы» естественными или это искусственные сооружения. Мы с товарищем Сидельниковым предполагаем собственную гипотезу... Гипотезу «Сидельникова — Шварца»... По-нашему...

Чернышев (*перебил*). ...А по-моему, они нахалы!

Давид. Кто?

Чернышев. Авторы новой гипотезы. Товарищи Сидельников и Шварц!

Давид. Ну дядя Ваня!..

Чернышев (*засмеялся*). Молчу, молчу.

Снова меняется изображение на стене. Теперь это чердак. За спиной Давида неслышно отворяется дверь, ведущая в прихожую. На пороге — Таня с пакетами, старуха Гуревич и какой-то худенький мальчик лет десяти, с тоненькой девичьей шейкой и большими бархатными глазами. Чернышев и Вольф делают движение встать, но Таня предостерегающе прикладывает палец к губам.

- Д а в и д (*увлеченно, ничего не замечая*). Сейчас вы видите чертеж-схему распределения теплового баланса. Это очень важный для нашей гипотезы вопрос... В северном полушарии, например, весна и лето длинные, но холодные...
- С т а р у х а Г у р е в и ч. Боже мой, это где же такое? В Москве? Или на Дальнем Востоке?
- Т а н я. На Марсе.
- С т а р у х а Г у р е в и ч. Ах, на Марсе?! (*Со смешком.*) Ну, на Марсе пожалуйста! На Марсе у меня пока еще нет родственников!
- Д а в и д (*упавшим голосом*). Ну — всё! (*Выключает проекционный аппарат, обернулся к Тане.*) Мама, познакомься, пожалуйста, это товарищ Вольф Мейер Миронович...
- С т а р у х а Г у р е в и ч (*шагнула вперед*). Мейер Вольф?! (*Всплеснула руками.*) Я это предчувствовала!
- В о л ь ф (*тихо*). Здравствуйте, Роза! (*Поклонился Тане.*) Здравствуйте... Извините... Я, как говорится, без приглашения...
- Т а н я. Я очень рада, Мейер Миронович...
- С т а р у х а Г у р е в и ч (*перебила*). Подождите радоваться. И подождите здороваться. Слушайте сначала, что скажу я! (*Вышла вперед, на середину комнаты, уничтожающе посмотрела на Вольфа.*) Когда вы прилетели в Москву, Мейер Вольф?
- В о л ь ф. Вчера.
- С т а р у х а Г у р е в и ч. Во Внуково?
- В о л ь ф. Во Внуково.
- С т а р у х а Г у р е в и ч. Вы меня видели?
- В о л ь ф (*засмеялся*). Ну... видел...
- С т а р у х а Г у р е в и ч. Вы мне не «нукайте»! Почему же вы ко мне не подошли?
- В о л ь ф. Мне показалось...
- С т а р у х а Г у р е в и ч. Ему показалось! (*Вздохнула.*) Да-а, вы умный человек, Мейер Вольф, но вы очень большой дурак!
- В о л ь ф (*с непонятой радостью*). Ну что вы, Роза!
- С т а р у х а Г у р е в и ч. Можете мне поверить. В чем, в чем, а в дураках я разбираюсь неплохо! (*Обращаясь ко всем.*) Понимаете, дети мои, вчера я ездила на аэродром во Внуково встречать одного гражданина из Владивостока... Я стою, мой самолет опаздывает, я волнуюсь — все хорошо! В это время прилетает другой самолет, не из Владивостока... Я стою, мимо

проходят люди, проходит вот он и смотрит на меня так, как будто очень хочет со мной познакомиться! *(Усмехнулась.)* А как-то так случилось, надо вам сказать, что с прошлой недели я перестала интересоваться мужчинами... Он на меня смотрит, а я отворачиваюсь — он мне не нужен, ко мне летит совсем другой кавалер... Так как поступает умный человек? Умный человек подходит и говорит: «Здравствуйте, Роза, я ваш старый друг... Мейер Вольф. Можно я вас поцелую?»

В о л ь ф *(улыбаясь)*. Можно я вас поцелую, Роза?

С т а р у х а **Г у р е в и ч**. Нет, теперь вы меня еще об этом хорошенько попросите! *(Неожиданно всхлипнула, сама обняла Вольфа, расцеловала.)* Как же вам не совестно, Мейер?! *(Снова, ко всем.)* Он, видите ли, прошел мимо. Он гордый. Он граф Люксембургский... Ему показалось, что я не хочу его узнавать из-за того, что... Ну, все понятно. *(Перевела дыхание.)* А я действительно не узнала вас, Мейер! Просто не узнала. И потом, я волновалась: я встречала внука, который — один — летел из Владивостока! Где ты там, Мишенька? Иди сюда! Смотрите, Мейер, это мой внучок, сын Ханы... Поздоровайся, золотко, с дядей Мейером!

М а л ь ч и к. Здравствуйте!

С т а р у х а **Г у р е в и ч** *(Чернышеву)*. Ванечка, я, во-первых, поздравляю вас с праздником, а во-вторых, смотрите — это сын Ханы! *(Давиду.)* Познакомься, Додик... Это твой дружок. Будешь с ним дружить... Ну!

Д а в и д *(не выказывая особой радости)*. Привет. Меня зовут Давид.

М а л ь ч и к *(робко)*. Мишка.

С т а р у х а **Г у р е в и ч**. Внучок, а? Мишенька! К бабушке прилетел! Михаил Константинович Скоробогатенко! Как вам нравится? Я даже не знала, что есть такие фамилии!

Т а н я. Он очень похож на Хану, очень.

С т а р у х а **Г у р е в и ч**. Глаза мамыны, фамилия папина, а жить будет у бабушки с дедушкой... Будет учиться на скрипке. Или на рояле. Чтобы весь день играл, а бабушка с дедушкой слушали и радовались! *(Махнула рукой.)* Ладно! Расскажите-ка нам, Мейер... Или нет! Лучше сделаем так: взрослые пойдут в соседнюю комнату, а мальчики полчаса поиграют здесь...

И если они будут умными мальчиками, так через полчаса их позовут пить чай и дадут им по хорошему куску мороженого торта! (*Наклонилась, что-то шепнула мальчику на ухо.*) Не надо?

Мальчик (*энергично замотал головой*). Нет, нет, нет! **Старуха Гуревич**. Ну, гляди! Бабушку не конфузь!..

Вольф (*негромко*). И это не наваждение, вздор! Дворы есть дворы, дети есть дети! Все продолжается — и это прекрасно! (*Притянул к себе Давида за плечи.*) Мне очень понравился твой доклад... Мне очень понравилось, что у тебя такая большая Земля, Давид!

Старуха Гуревич. Пошли, пошли! Танечка, детка, ты не беспокойся, я помогу тебе по хозяйству... Давид... не обижай тут Мишеньку! Пошли!

Старуха Гуревич, Таня, Мейер Вольф и Чернышев уходят в соседнюю комнату. Мальчики остаются одни. Давид принимается укладывать диапозитивы в жестяную коробку, громко и фальшиво поет:

По разным странам я ходил,
И мой сурок со мною,
И весел я, и счастлив был,
И мой сурок со мною...

Таня (*из соседней комнаты*). Врешь, врешь! Немыслимо врешь, перестань!

Давид (*обиженно*). А я развиваю слух. Это что — тоже нельзя?

Таня. Можно. Развивай. Но только в те часы, когда никого нет дома!..

Молчание.

Давид. Слушай-ка... Скоробогатенко твоя фамилия?

Мальчик. Скоробогатенко.

Давид. Это верно, что ты вчера прилетел из Владивостока?

Мальчик. Верно.

Давид. Один?

Мальчик. Один.

Давид (*со смешком*). Представляю! Всю дорогу небось дрожал!..

Мальчик (*спокойно*). Нет, я не очень боялся. Я уже летал с мамой. Но одному, конечно, страшнее.

Давид. Еще бы! А здесь ты у бабушки с дедушкой будешь жить?

М а л ь ч и к. Да. На улице Матросская тишина! (*Неожиданно оживился.*) Ты знаешь, мы с папой никак не могли понять, что это такое — Матросская тишина? А мама смеялась над нами и говорила, что это такая гавань, кладбище кораблей...

Д а в и д. Ну, правильно!

М а л ь ч и к. Как же правильно, когда Матросская тишина... улица! Самая обыкновенная улица. Бабушка говорит, что ее так называли потому, что в старые времена там была больница для моряков...

Д а в и д (*презрительно*). Бабушка говорит, дедушка говорит... Много они понимают! Есть Матросская тишина — улица. А есть другая — гавань, где стоят каравеллы, шхуны и парусники, а в маленьких домиках на берегу живут старые моряки со всего света...

М а л ь ч и к. А где она?

Д а в и д. Так тебе и скажи! Сам должен найти!

М а л ь ч и к. А ты нашел?

Д а в и д (*явно уклоняясь от ответа*). Слушай-ка, Скоробогатенко, а чего ты вообще приехал сюда? Чего ты во Владивостоке не остался?

М а л ь ч и к. Мне нельзя.

Д а в и д. Почему?

М а л ь ч и к (*гордо*). Потому что у меня слабые легкие. Меня из-за них папа в этом году даже в кругосветку не взял. Обещал и не взял. Врачи не разрешили.

Д а в и д. В какую кругосветку?

М а л ь ч и к. В кругосветное плавание. Через Индийский океан, через Суэцкий канал... В общем, вокруг всего шарика!

Д а в и д (*сурово*). Знаешь, Скоробогатенко, легкие у тебя, может, и слабые, но уж зато врать ты здоров! (*После паузы.*) У тебя кто отец?

М а л ь ч и к. Капитан дальнего плавания. Он на лайнере ходит. Он уже четыре раза в кругосветку ходил!..

Давид молчит. Отворяется дверь, ведущая в прихожую, и быстро входит Людмила.

Л ю д м и л а. Привет, лопушок. Вы чего тут без света? А где все? Там?

Давид молча кивает. Людмила проходит в соседнюю комнату, где ее появление встречается громкими возгласами и смехом.

Д а в и д (*пожевал губами*). Вот что, Скоробогатенко... А ты, между прочим, слышал, как мой папа играет?

М а л ь ч и к. Слышал. У нас пластинка есть. На одной стороне — «Грустная песенка» Калинникова, а на другой — Сарасате, «Цыганский танец»...

Д а в и д. А мазурку Венявского слушал? Нет? Ничего ты, выходит, не слушал. Хочешь, поставлю?

М а л ь ч и к. А можно?

Д а в и д. Если я говорю — значит, можно! (*Размахивая руками.*) Ты мой гость, я тебя развлекать обязан!

Давид соскакивает с подоконника, в темноте на ощупь находит пластинку, придерживает пальцами диск, ставит пластинку и возвращается на подоконник. Мальчик садится с ним рядом. Сумерки. И как только раздаются первые такты печальной и церемонной мазурки Венявского — и здесь, и в соседней комнате наступает удивительная тишина. Звучит мазурка Венявского. В освещенном проеме двери появляется Т а н я. Она останавливается на пороге, как бы на границе между светом и тенью, и, прислонившись головой к дверному проему, слушает, а затем коротко всхлипывает, как всхлипывают дети после плача. И тогда Давид подбегает к Тане, обеими руками крепко, точно оберегая, обхватывает ее руку.

Т а н я (*шепотом*). Что, милый?

В темное вечернее небо взлетают разноцветные гирлянды торжественного салюта.

Д а в и д. Салют.

Т а н я. Да. День Победы.

Д а в и д. Знаешь, мама... Ты не сердись...

Т а н я. Что, милый?

Д а в и д (*после долгой паузы*). Знаешь, мама... Ты не будешь смеяться?

Т а н я. Нет, милый. Что?

Д а в и д (*серьезно*). Знаешь, мама... Мне почему-то кажется, что я никогда не умру! Ни-ког-да!..

Звучит музыка Венявского. Взлетают в небо и гаснут залпы торжественного салюта. Далеко гудит поезд. Женщина зовет дочку со двора: «Катюша-а-а!..»

Занавес

(1945—1956)

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

«Генеральная репетиция»

Генеральная репетиция

...Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред Лицом Твоим
О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах...

Александр Блок. Возмездие

Глава первая

...Земля была пустынной — выжженной, вытопанной, залитой кровью. Жаркий ветер, сметая пепел и прах, по-свистывал в черных развалинах. И мимо этих развалин, что еще недавно хвастливо и гордо называли себя «столицей мира» — городом Карфагеном, бесстрастно шагали римские легионеры и мерными движениями, как сеятели, разбрасывали соль.

Пусть во веки веков на этой земле, опозоренной грехом и гордыней, не вырастет, не пробьется к свету ни одна былинка.

Горе тебе, Карфаген!

...В ту мокрую снежную зиму, когда произошли события, о которых я собираюсь здесь рассказать, в Москве, возможно, были перебои с песком (в Москве всегда с чем-нибудь перебои), а возможно, и по какой-нибудь другой причине, — но уже не римские легионеры, а самые обыкновенные московские дворники посыпали проходную часть улицы крупной серой солью, оставлявшей на обуви несмываемые противные белесые разводы.

— Горе тебе, Карфаген! — негромко сказал я жене, когда мы вылезли из такси и через улицу, заваленную сугробами, перешли на другую сторону, к подъезду Дворца культуры комбината «Правда».

Здесь в это утро очередная студия Художественного театра — впоследствии она будет называться Театр-студия

«Современник» — показывала генеральную репетицию моей пьесы «Матросская тишина».

Впрочем, и студийцам, и мне — автору, и многим другим заинтересованным лицам было известно, что пьеса уже запрещена, но при этом запрещена как-то странно.

Официально она запрещена не была, у нее — у пьесы — даже оставался так называемый разрешительный номер Главлита, что означало право любого театра пьесу эту ставить, но уже зазвенели в чиновных кабинетах телефонные звоночки, уже зарокотали, минуя пишущие машинки секретарш, приглушенные начальственные голоса, уже некое весьма ответственное и таинственное лицо — таинственное настолько, что не имело ни имени, ни фамилии, — вызвало к себе директора Ленинградского театра имени Ленинского комсомола и приказало прекратить репетиции «Матросской тишины».

— Но позвольте, — растерялся директор, — спектакль уже на выходе, что же я скажу актерам?!

Таинственное лицо пренебрежительно усмехнулось:

— Что хотите, то и скажите! Можете сказать, что автор сам запретил постановку своей пьесы!..

Нечто подобное происходило и в других городах, где репетировалась «Матросская тишина». И нигде никто ничего не говорил прямо — а, так сказать, не советовали, не рекомендовали, предлагали одуматься!

И вот — перестали сколачивать декорации, прекратили шить костюмы, помрежи отобрали у актеров тетрадки с ролями, режиссеры-постановщики спрятали экземпляры пьесы в ящики письменных столов.

Когда-нибудь на досуге они перечитают пьесу, вздохнут и помечтают о том, какой спектакль они бы поставили, если бы...

И только маленькая студия — еще не театр, не организация с бланками и печатью — упорно продолжала на что-то надеяться.

То ли на высокое покровительство Московского Художественного театра, то ли на малопонятную упрямую поддержку пьесы парторгом ЦК при МХАТ, неким Сапетовым, поддержку, за которую он впоследствии схлопочет «строгача» — строгий выговор с предупреждением за потерю бдительности и политическую близорукость.

Но, быть может, самой главной основой надежды, основой основ, было то, что никто из нас — ни я, ни студийцы — не могли понять, за что, по каким причинам наложен запрет на эту почти наивно-патриотическую пьесу. В ней

никто не разоблачался, не бичевались никакие пороки, совсем напротив: она прославляла — правда, не партию и правительство, а народ, победивший фашизм и сумевший осознать себя как единое целое.

Я начал писать эту пьесу весной сорок пятого года.

Это была воистину удивительная весна! Приближался День Победы, незнакомые люди на улицах улыбались, обнимали и поздравляли друг друга, я был смертельно и счастливо влюблен в свою будущую жену, покончил навсегда с опостылевшим мне актерством и решил заняться драматургией.

Казалось, что вот теперь-то и вправду начнется та новая, безмятежная и прекрасная жизнь, о которой все мы столько лет мечтали; казалось — а может быть, так оно и было на самом деле, — в первый раз, в самый первый и единственный раз, которому уже никогда больше не суждено было повториться ни в нашей судьбе, ни в судьбе страны, в те дни везде и повсюду возникало в людях радостное чувство общности, единства, причастности к великим событиям и самому дыханию истории.

И мы не знали — не хотели знать, а потому и не знали, — что уже тащатся, отстаиваясь днями на запасных путях, тащатся в Воркуту, в Магадан, в Тайшет арестантские эшелоны, битком набитые теми самыми героями войны, о которых мы — вольные — распевали такие прекрасные и задушевные песни; что распухают в восстановленных архивах НКВД папки с делами бывших и будущих зэков; что совсем скоро выйдут постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и вываляют в грязи, ошельмуют великих русских писателей Ахматову и Зощенко; что бездарнейший Жданов, причастный к культуре только тем, что умел с грехом пополам играть на рояле «Сентиментальный вальс» Чайковского, будет с высокомерием невежды обучать Прокофьева и Шостаковича правилам, сути и смыслу музыки.

А еще чуть позже начнется и вовсе страшное — дело Вознесенского, убийство Михоэлса, физическое уничтожение Еврейского театра и Еврейского антифашистского комитета, борьба с космополитизмом, унижительная в своей ничтожности «борьба за приоритет», знаменитая сессия ВАСХНИЛа, на которой лысенковцы навсегда — так они думали — покончат с «лженаукой» генетикой.

Так вот, повторяю, могли ли мы знать в ту удивительную и прекрасную весну сорок пятого года, какой кровавый

шабаш, какая непристойность безумия и преступлений ожидает нас в ближайшие годы?!

Еще несколько лет назад я не задумываясь ответил бы: нет, не могли знать!

Но теперь —

...На этом горьком рубеже,
Когда отрублены канаты
И сходни убраны уже... —

теперь, сейчас, когда я, да и не один я, многие с пристрастием допрашиваем сами себя и поверяем сегодняшним отчаянием и завтрашними надеждами всю нашу прошлую жизнь, имею ли я право с той же определенностью сказать: нет, ничего мы знать не могли!

Как же так?! Ведь знали же мы, знали, прекраснейшим образом знали, какой унижительной проверке — а подчас и не только проверке — подвергаются и старики, и малыши, жившие «под немцем» или, как деликатно писали в газетах, «оказавшиеся на временно оккупированной территории»!

Знали мы и о том, какая участь ждала офицеров и солдат, попавших в плен, сумевших выжить в лагерном аду и освобожденных «родными советскими войсками»! Знали о судьбе немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев и ингушей, кабардино-балкарцев! Знали, но...

Прошивали вечерние небеса разноцветные стежки салютов, гремели торжественные залпы, пели и танцевали на Красной площади, строгий голос диктора Левитана сообщал по радио о начале штурма Берлина — и по-детски пронзительная вера в чудеса, вера в то, что все будет хорошо и удивительно, что вот сейчас, вон за тем углом, за тем поворотом, вдруг откроется и заплещется море, которому здесь отродясь быть не положено, — эта счастливая и, в глубине своей, трусливая вера заставляла нас не слышать, не думать, не видеть и не помнить обо всем, что могло хоть на мгновение помешать или омрачить нашу общую радость.

В те дни я начал писать эту пьесу. Потом, по вполне естественным причинам, я ее отложил в сторону, стал — без особых, между прочим, угрызений совести — сочинять водевили и романтическую муру вроде «Вас вызывает Таймыр» и «Походного марша» и вернулся к «Матросской тишине» только много лет спустя, после Двадцатого съезда КПСС и разоблачений Хрущевым преступлений Сталина, вернулся в ту пору, которая с легкого пера Ильи Эренбурга получила название «оттепель».

Название это, кстати, при всей своей пошлости, довольно точно отражает эту насморочно-хлипкую кутерьму, ту восторженно-потную неразбериху, которая эту пору отличала.

И опять мы поверили! Опять мы, как бараны, радостно заблеяли и ринулись на зеленую травку, которая оказалась вонючей топью!

Я дописал пьесу, отпечатал ее в четырех экземплярах, прочитал нескольким друзьям. Никакому театру я ее почему-то — хотя и был в те годы вполне преуспевающим драматургом — не предложил.

И вот однажды, без предварительного звонка, ко мне пришли актер Михаил Козаков (когда он работал в Театре имени Маяковского, он играл в моей пьесе «Походный марш» главную роль) и актер Центрального детского театра Олег Ефремов — один из основателей Театра-студии «Современник», а ныне главный режиссер Московского Художественного театра.

Они сказали, что достали у кого-то из моих друзей экземпляр пьесы, прочли ее на труппе, пьеса понравилась, и теперь они просят меня разрешить им начать репетиции, с тем чтобы Студия открылась как театр двумя премьерами: пьесой В. Розова «Вечно живые» и «Матросской тишиной».

Так начался год нашей дружной, веселой, увлекательной работы — которая в это зимнее утро должна была завершиться никак не ожидаемым нами финалом.

...Небольшая толпа, состоявшая в основном из молодежи — друзья студийцев, знакомые, родственники, — томилась у подъезда Дворца культуры.

Как выяснилось, Александр Васильевич Солодовников, тогдашний директор Художественного театра, не только распорядился строжайшим образом не пускать на «генералку» никого, кроме лиц, поименованных в особом списке, но и вызвал на подмогу беспечным сторожам Дворца культуры мхатовских билетеров, вымуштрованных наподобие кремлевской охраны.

Вальяжный, как все работники МХАТа, белолицый администратор стоял рядом с билетерами и держал в руке составленный Солодовниковым список.

Увидев меня с женой, он приветливо, хотя и несколько печально, улыбнулся, кивнул и сказал билетерам:

— Пропустите!

В толпе, томившейся у входа, раздались недовольные голоса:

— Почему это одних пускают, а других...

— Это АВТОР!

— Ну и что же?! — хрипло сказала какая-то девчужка.

И она была, разумеется, права! Что есть автор для театральных чиновников, как не докучливый недотепа, доставляющий лишние хлопоты начальству, обремененному и без того высокими, даже высочайшими государственными заботами?! А тут на тебе — читай пьесу или того пуще — трать драгоценное время, смотри спектакль и придумывай формулировки, на основании каких следует этот спектакль запретить!

Так при чем же, спрашивается, автор?! Решительно ни при чем!

...Несколько лет спустя мы с одним приятелем сочинили шуточную песню:

Мы поехали за город,
А за городом дожди,
А за городом заборы,
За заборами вожди!

Там — трава несмятая,
Дышится легко!
Там — конфеты мятные,
Птичье молоко!

За семью заборами,
За семью запорами,
Там — конфеты мятные,
Птичье молоко!

О упоение — величайшее из величайших! О непреходящая страсть и забота партийно-правительственных чиновников — создание и узаконение всякого рода неравенств и предпочтений, воздвигание заборов и навешивание табличек с надписью:

«Посторонним вход воспрещен!»

«Посторонним вход строго воспрещен!»

«Посторонним вход строжайше воспрещен!»

Я видел такую табличку, повешенную дирекцией какого-то военного санатория на воротах знаменитого парка в Гурзуфе. Я смотрел на эту табличку и с грустью думал, что Александр Сергеевич Пушкин, который, как известно, числился за гражданским ведомством, не мог бы гулять в наши дни по дорожкам своего любимого парка и, возможно, не знали бы мы с вами строк:

...Там некогда и я,
Сердечной мукой полный...

...Итак, мы отдали с женою наши пальто унылому гардеробщику, привели себя в порядок перед зеркалом — все-таки генеральная репетиция — и направились в зал.

Я никогда не забуду того сиротливо-тоскливого чувства, которое охватило меня, как только я переступил порог дверей, ведущих в зрительный зал. Верхняя люстра не горела, и в огромном помещении, рассчитанном тысячи на полторы мест, сидело человек пятнадцать, не больше. И еще, усиливая ощущение сиротливости, стоял в зале какой-то непонятный и неприятный запах, словно в нем долго сушили плохо постиранное белье и курили скверный табак.

Этот запах будет еще долго меня преследовать и даже иногда сниться. Мне вообще снятся запахи:

Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...Запахи Севастополя — первого города, живущего в моей памяти, — были летними: мокрые и теплые камушки, соленая морская вода в нефтяных разводах и гниющие на берегу водоросли, сладковатый запах пыльной акации, которая росла на нашем дворе. А в знаменитой панораме «Оборона Севастополя» пахло совсем замечательно — скипидаром, лаком и деревом, нагретым солнцем.

Мы медленно шли с мамой по круглой галерее панорамы — мимо окон, за которыми расстилались форпосты береговой обороны и виднелись окутанные дымом корабли с распущенными парусами.

Но, как ни странно, корабли меня заинтересовали не слишком. Мы жили недалеко от Графской пристани, большую часть дня я проводил на берегу и кораблей — и военных, и торговых, и парусников — навидался предостаточно.

А вот у окна, выходящего на четвертый бастион, я застрял. И застрял надолго. Здесь все было замечательно: и реющий в дымном тумане Андреевский флаг, и раскаленные жерла пушек, и суетящиеся возле этих пушек орудийные расчеты, и храпящие, мчащиеся неведомо куда боевые кони.

А совсем рядом со мной, внизу, лежал на земле беззвучно кричащий раненый морячок, и молоденькая сестра милосердия, встав около него на колени, бинтовала ему окровавленную грудь.

Я смотрел и смотрел, а потом даже высунулся из от-

крытого окна, чтобы разглядеть еще лучше — куда именно ранен морячок и почему у него так странно подвернута нога, я высунулся, наклонился, и с головы моей слетела матросская шапочка и упала на руки сестре милосердия.

И тут я не то чтобы испугался — я просто-напросто окаменел.

Я понял, что сейчас должно произойти нечто ужасное — гром, молния, Божья кара!

Но ничего не произошло.

Появился хромой сторож, мама попросила его достать мою шапку, сторож улыбнулся и снова куда-то исчез. А потом — и это уже было совсем невероятно и ни на что не похоже — хромой сторож оказался там, на поле боя. Как ни в чем не бывало, постукивая деревяшкой протеза, он подошел к раненому морячку и сестре милосердия, наклонился, поднял с земли — а вернее сказать — с пола — мою матросскую шапочку и, отряхнув, протянул ее — отсюда! — нам.

— Спасибо, — сказала мама, — большое спасибо!

— Не об чем говорить, мадам! — весело, с певучей южной интонацией ответил сторож.

...А запахи Москвы были зимними. Удивительно, но я совершенно не могу себе представить Москву моего детства весной и летом. Может, и впрямь — есть летние города и зимние города?! Я отчетливо помню запах снега на Чистых прудах, запах крови во рту (какой-то великовозрастный болван уговорил меня в лютый мороз попробовать на вкус висевший на воротах железный замок), запах мокрой кожи и шерсти — это сушились на голландской печке мои вываленные в снегу ботинки и ненавистные рейтузы, которые перед каждой прогулкой со скандалом натягивала на меня мама.

...Я усну, и мне приснятся запахи
Мокрой шерсти, снега и огня!..

...В зрительном зале Дворца культуры наиболее многочисленной — человек десять — была группа административных работников Художественного театра и каких-то незначительных чиновников из Управления культуры. Сапетов — наш защитник и друг — на репетицию не пришел, и возглавлял эту группу важный, в хорошо сшитом костюме Александр Васильевич Солодовников. Человек неглупый, но решительно ничтожный, он, говорят, имел какое-то родственное отношение к знаменитой купеческой династии Солодовниковых и во искупление своего подмоченного социального

происхождения прислуживал власть имущим с таким старанием, что постоянно пересаливал, совершал какие-нибудь промахи, — и тогда на некоторое время он исчезал, словно проваливался в небытие, из которого снова возникал в очередном кресле очередного директорского кабинета — Художественного театра, Большого театра, Малого театра, Комитета по делам искусств, Министерства культуры, и так далее и тому подобное.

Если Барон в пьесе Горького «На дне» говорит, что он всю жизнь только и делал, что переодевался, то Солодовников всю жизнь пересаживался из одного кресла в другое. А табличку со скромной и лаконичной надписью «Директор А. В. Солодовников» он, верно, носил в портфеле — сам привинчивал ее к дверям, сам отвинчивал.

...В стороне, совершенно отдельно от всех, закинув голову и что-то внимательно изучая на потолке, сидел Георгий Александрович Товстоногов — художественный руководитель Ленинградского Большого драматического театра имени Горького. Решительно непонятно — как и зачем он попал на эту генеральную репетицию, хотя именно ему суждено будет сказать роковую фразу, которой воспользуется Солодовников, когда, после окончания спектакля, возникнет долгая и неловкая пауза.

Человек по-настоящему талантливый, Товстоногов добился ведущего положения в театральном мире благодаря своему дарованию, энергии, даже некоторой смелости.

Но одно дело — пробиться наверх. И совсем другое — на этом верху удержаться.

Тут уж никакой творческий дар, никакая энергия и уж тем более смелость помочь не могут. И начинается позорный путь компромиссов, сделок с собственной совестью, рассуждений вроде: ну ладно, поставлю к такому-то юбилею или торжественной дате эту дерьмовую пьесу, но уж зато потом...

Но и потом будет юбилей и очередная торжественная дата — в нашей стране они следуют друг за другом непрерывною чередой — и: «Все мастера культуры, все художники театра и кино должны откликнуться, обязаны осветить, отобразить, увековечить, прославить!..»

И откликаются, освещают, отображают, увековечивают, прославляют!

И не наступит, никогда уже не наступит это заветное «потом» — вянет талант, иссякает энергия и навсегда исчезает из словаря даже само слово «смелость».

...Когда мы с женой вошли в зал и заняли места — где-то примерно ряду в пятнадцатом, все головы обернулись

к нам и на всех лицах изобразилось этакое печально-сочувственное выражение — таким выражением обычно встречаются на похоронах не слишком близких родственников усопшего.

А Солодовников посмотрел на меня особо. Солодовников посмотрел на меня так, что я, сам того не желая, усмехнулся.

Я хорошо, на всю жизнь, запомнил подобный взгляд.

...После того как мы переехали из Севастополя в Москву, мы поселились в Кривоколенном переулке, в доме номер четыре, который в незапамятные времена — сто с лишним лет тому назад — принадлежал семье поэта Дмитрия Веневитинова. Осенью тысяча восемьсот двадцать шестого года, во время короткого наезда в Москву, Александр Сергеевич Пушкин читал здесь друзьям свою только что законченную трагедию «Борис Годунов».

В зале, где происходило чтение, мы и жили. Жили, конечно, не одни. При помощи весьма непрочных, вечно грозящих обрушиться перегородок зал был разделен на целых четыре квартиры — две по правую сторону, если смотреть от входа, окнами во двор, две по левую — окнами в переулок, и между ними длинный и темный коридор, в котором постоянно, и днем и ночью, горела под потолком висевшая на голом шнуре тусклая электрическая лампочка.

Окна нашей квартиры выходили во двор. Вернее, даже не во двор, а на какой-то удивительно нелепый и необыкновенно широкий балкон, описанный в воспоминаниях Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова».

А во дворе, в одноэтажном выбеленном сараеобразном доме, который все по старинке называли «службами», жил дворник Захар.

Был он добрейшей души человек, но горький пьяница. В конце концов он допился до белой горячки и умер.

Жена Захара решила после похорон и поминок уехать домой, в деревню. Собралась она быстро, а перед отъездом, вроде бы на прощанье, устроила распродажу оставшихся после Захара и не нужных ей в деревне вещей.

Прямо во дворе, на деревянном столе, очищенном от снега и застеленном газетами, было разложено для всеобщего обозрения какое-то немыслимое шмотье — все, что попадалось Захару в те недавние смутные годы, когда в веневитиновском доме чуть не каждый месяц — а то и чаще — сменялись жильцы. Одни уезжали — неведомо

куда, другие переезжали — неведомо откуда. И все они что-нибудь бросали, оставляли. А Захар подбирал. И теперь это брошенное и подобранное лежало на деревянном столе, под открытым небом, на желтых газетах — и некрупный снежок падал на рваную одежду и разрозненную обувь, на искалеченные люстры, на чемоданы и кофры с продранными боками и оторванными ручками, на всевозможнейшие деревянные и железки неизвестного назначения.

А совсем с краю, уже даже и не на газете, как вещь воистину и в полном смысле этого слова бесполезная и пустая, лежал альбом с марками.

Альбом был очень толстый и очень замурзанный. Марки в него были вклеены как попало — неряшливо и небрежно, иные прямо обратной стороной к бумаге. Наклеивал их, видно, какой-то совершеннейший дурак и невежда. Но альбом, повторяю, был очень толстый. И марок в нем было очень много. И когда я спросил у жены Захара, сколько она за него хочет, она — не взглянув в мою сторону и даже, кажется, не разобрав, к чему именно я прицениваюсь, — равнодушно ответила:

— Пять гривен.

Я понимал, что пятьдесят копеек — это большие деньги, но я все-таки выпросил их у отца. И я купил этот альбом.

Несколько дней подряд я, как скупой рыцарь, подсчитывал количество неиспорченных («небракованных» — так полагалось говорить) марок в «альбоме Захара». Их оказалось что-то около двух с половиной тысяч штук. В основном это были русские дореволюционные марки.

Как большинство начинающих, я мечтал о «треуголках» с далекого острова Борнео, о черных лебедях Тасмании и Новой Зеландии, о красочных марках Бельгийского Конго. А тут все были какие-то двуглавые орлы и унылые портреты государей-императоров.

Но я не огорчился. Я знал, что есть чудачки, которые собирают именно старые русские марки, что можно совершить обмен — но для этого полагалось, по всем законам, определить хотя бы приблизительную ценность марок в «альбоме Захара». Нужен был каталог.

А каталог, даже плохонький (я уж не говорю о знаменитом французском каталоге Ивера), стоил так дорого, что я и заикнуться не смел, чтобы мне его купили.

Но и тут отыскался выход.

Недалеко от нашего дома, у Мясницких (Кировских) ворот, находился Главный почтамт. И ежедневно, часов с двух и до позднего вечера, в здании почтамта, у окошечка,

за которым красномордый старик продавал открытки и марки, собирались филателисты и нумизматы со всей Москвы.

Не было тогда, наверное, ни клуба, ни филателического общества, и поэтому все охотники за марками и старинными монетами толпились здесь, на этом неприятном и шумном пятачке.

Прелюбопытнейшее это было зрелище: — азартные мальчишки, вроде меня, мал мала меньше, и почтенные седобородые старцы, пожилые мужчины эдакого профессорского обличья — в пенсне и старомодных глубоких калошах, и мятые юркие личности неопределенного возраста, общественного положения и даже пола. И у всех, не исключая самых седых и почтенных, были прозвища. Так, например, глава всего этого сборища, непререкаемый авторитет по любым вопросам филателии и нумизматики, длинный худой старик с козлиной бородкой и противным скрипучим голосом назывался дядя Меша, или Мешок.

Здесь можно было купить, продать, совершить обмен, получить справку и консультацию, и, что самое главное, у красномордого «дедушки в окошке» был каталог Ивера, в который он разрешал заглядывать всем желающим.

И вот я отправился на Главный почтамт. Для начала я взял с собой только одну марку — ту, которую я по неизвестным причинам особенно невзлюбил. Марка эта и вправду была какая-то ужасно скучная: большая, квадратная, с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф».

...В ответ на мою робкую просьбу «дедушка в окошке» взял со стола вождеденный, в синем матерчатом переплете каталог Ивера и, еще не давая его мне, коротко спросил:

— Какая страна?

— Россия.

«Дедушка в окошке» перелистал каталог, нашел нужную страницу, заложил ее бумажной полоской и протянул наконец каталог мне.

Я взглянул на заложенную страницу и обомлел.

Некрасивая, большая, почти квадратная марка с невыразительным рисунком и надписью «Русский телеграф» — словом, та самая марка, которая — запрятанная в пакетик — лежала сейчас у меня в нагрудном кармане, открывала раздел марок России. Она была отмечена тремя звездочками, что, кажется, означало крайнюю степень редкости, и стояла, если мне не изменяет память, не то двадцать пять, не то тридцать пять тысяч франков.

— Ну, давай каталог! — проворчал «дедушка в окошке»

и, увидев на моем лице выражение идиотского восторга, граничащего с испугом, поинтересовался: — Ты чего?

Я молча показал ему марку.

«Дедушка в окошке» издал горлом какой-то булькающий странный звук, и окошко внезапно закрылось. Через мгновение (случай небывалый!) дедушка вышел из стеклянной двери в перегородке и напрямик направился к дяде Меше. Я уж и не знаю, что он ему там сказал, но только дядя Меша, мгновенно прервав беседу с каким-то чрезвычайно франтоватым молодым человеком, обернулся, поглядел на меня и, не здороваясь, протянул длинную худую руку:

— Покажите! Это ваша марка? — спросил он меня через секунду и, не дожидаясь ответа, вытащил из кармана бумажник и бережно спрятал в него конвертик с маркой. — Вот что, — сказал дядя Меша, — я сегодня покажу эту марку экспертам... Завтра ровно в три часа я буду здесь! Если ваша марка не подделка, не «фальшак», то я предложу вам за нее чрезвычайно интересный и выгодный для вас обмен!.. Будьте здоровы!..

..Но назавтра — ни в три, ни в четыре, ни в пять — дядя Меша на почтамт не пришел. Он явился только на третий день, и когда еще издали я увидел, как он проталкивается сквозь тяжелую вращающуюся дверь, я, не помня себя от радости, со всех ног бросился к нему:

— Здравствуйте!

— Мое почтение?! — удивленно, холодно и небрежно ответил дядя Меша.

— Ну, как моя марка? — спросил я, глупо улыбаясь. Лохматые брови дяди Меши полезли вверх:

— Ваша марка? Какая ваша марка?

— Ну как же?! — залепетал я, уже чувствуя, что происходит что-то ужасное и непоправимое. — Ну, вы же помните... Вы взяли у меня марку... «Русский телеграф»...

— «Русский телеграф»?!

Дядя Меша скорчил презрительную усмешку.

— Милостивый государь! — сказал он, добывая меня окончательно, поскольку ни до, ни после никто не называл меня «милостивым государем». — Я занимаюсь филателией больше сорока лет... Только недавно мне впервые удалось достать «Русский телеграф», и то в довольно плохой сохранности! Я знаю коллекционеров — настоящих коллекционеров, которым за всю жизнь так и не посчастливилось достать этот раритет...

Что такое «раритет», я не знал, но мне уже было все равно.

Несколько мятых личностей обступили нас, с мрачным интересом прислушиваясь к нашему разговору.

Усмешка на губах дяди Меши стала еще язвительнее:

— Позвольте, позвольте... Теперь я припоминаю... Да, действительно, вы дали мне на обмен марку, но она оказалась такой бессовестной, такой грубой подделкой, что я ее просто-напросто выбросил!..

...Вот так же точно, как дядя Меша, посмотрел на меня Александр Васильевич Солодовников. И хоть он и не назвал меня «милостивым государем», но то же язвительно-скучное осуждение читалось в его взгляде: зачем, мол, ты, братец, подсовываешь нам, занятым людям, какую-то грубую подделку, какой-то фальшак?!

Великое правило «черного рынка», первейшая заповедь всех и всяческих шулеров и мошенников — обманутого следует объявить обманщиком!

...Весь год ни валко и ни шатко,
Все то же в новом январе.
И каждый день горела шапка,
Горела шапка на воре!
А вор белье тащил с забора,
Снимал с прохожего пальто
И так вопил:
«Держите вора!» —
Что даже верил кое-кто!

...И только две дамочки, сидевшие в первом ряду, не проявили к нашему появлению ни малейшего интереса и, обернувшись, продолжали шушукаться о чем-то своем.

Как выяснилось, эти дамочки-то и были самыми главными, это для них устраивалась генеральная репетиция, это от них ждали окончательного и решающего слова.

...Я довольно хорошо запоминаю лица людей, которых встречал даже мельком, но сегодня, как я ни бьюсь, я не могу восстановить в памяти светлый облик этих ответственных дамочек.

Помню только, что они были почти пугающе похожи друг на друга, как две рельсы одной колеи. Одинаковые бесцветные жидкие волосы, собранные на затылке в одинаковые фиги, одинаковые тускло-серые глазки, носы — пуговкой, тонкогубые рты. И даже фамилии (честное слово, я ничего не придумываю!) у них были одинаково птичьи: дамочка из ЦК звалась Соколовой, а дамочка из МК — Соловьевой.

Причем как-то так получилось по сложнейшей системе партийно-чиновной иерархии, что дамочка из МК (в платье кирпичного цвета) была почему-то главнее дамочки из ЦК (в платье бутылочного цвета), и, как говорили, они далеко не всегда и не во всем ладили.

Но сегодня они были заранее заодно и мирно шушукались, не обращая ни на кого ни малейшего внимания. В довершение пугающего сходства у обеих дамочек был насморк, и они время от времени почти одинаковыми движениями вытирали покрасневшие носы-пуговики и чинно запихивали платочек в рукава бутылочного и кирпичного платьев.

О чем они шушукались, кто знает!

Уж наверняка не о студии, не о пьесе, не о спектакле. Даже (я допускаю и это!) не о государственных делах, а, скорее всего, о чем-нибудь уютном, мирном, домашнем: о здоровье, о детях, о том, как готовить капустные котлеты — с яйцом или без.

Есть три раза в день хотяют все, даже палачи.

...Когда-то, в тысяча девятьсот сорок девятом году, я, как молодой кинематографист, был приглашен на торжественное собрание в Дом кино, посвященное избиению космополитов от кинематографа.

Принцип единообразия действовал с железной последовательностью: если были поначалу обнаружены космополиты в театре, теперь, естественно, следовало их обнаружить и разоблачить в кинематографе, в музыке, в живописи, в науке.

Среди тех, кого собирались побивать камнями на этом торжище, были и мои тогдашние друзья: драматург Блейман, критики Оттен, Коварский.

Именно это обстоятельство заставило меня пойти в Дом кино и даже сесть вместе с ними в первом ряду — они все сидели в первом ряду для того, чтобы выступавшие могли обрушивать с трибуны свой пламенный гнев не куда-нибудь в пространство, а прямо в лицо изгоям, безродным космополитам, Иванам и Абрамам, не помнящим родства!..

А вел собрание, председательствовал на нем, управляя им Михаил Эдишерович Чиаурели — любимый режиссер и непрменный застольный шут гения всех времен и народов, вождя и учителя, отца родного, товарища Сталина.

Зычным и ясным голосом Чиаурели объявлял фамилию очередного оратора, что-то задумчиво чертил в блокноте,

поворачивал к говорившему свой медальонный — как у Остапа Бендера — профиль, то хмурился, то язвительно усмеялся, то неодобрительно поджимал губы.

Он негодовал, он скорбел, он переживал.

И вдруг, поглядев в зал, он увидел меня, и что-то изменилось в его лице. Он даже чуть приподнял руку и, встретившись со мной взглядом, несколько раз призывно покивал мне головой.

Я похолодел. Я понял, что после уже объявленного перерыва Чиаурели хочет, чтобы выступил я и от имени молодых заклеил, кого положено заклеить, и заверил, кого положено заверить, в том, что уж мы-то, молодые, не подведем, не подкачаем, не посрашим!

«Надо смываться!» — решил я.

А Чиаурели все продолжал призывно кивать мне головой, и я мысленно обругал своего ни в чем не повинного младшего брата, на свадьбе которого я и познакомился с Михаилом Эдишеровичем.

Когда объявили перерыв, я ринулся к выходу, но меня почти мгновенно перехватил администратор Дома кино:

— Вас просил задержаться товарищ Чиаурели, он хочет с вами поговорить!..

Чиаурели спустился со сцены в зал, подошел, взял меня дружески под руку, отвел в угол.

Задумчиво, как бы изучающе глядя мне в лицо, он негромко спросил:

— Слушай, это правда, что у тебя большое сердце?

— Правда, правда, Михаил Эдишерович, — заторопился я, надеясь, что это обстоятельство поможет мне отказаться от выступления, — правда!

Но уже следующий вопрос Чиаурели меня буквально ошеломил:

— Слушай, а сколько раз ты не боишься?

Я ничего не понял:

— Как это — «сколько раз»?

— Ну, ты понимаешь, — Чиаурели повертел пуговицу на моем пиджаке и печально улыбнулся, — у меня тут, в Москве, одна очень прекрасная девочка... Цветочек! Но когда я ее... — он употребил как нечто совершенно естественное грубое непечатное слово, — больше двух раз, у меня начинает болеть сердце! А сколько раз ты не боишься?..

Так вот о чем он думал, этот почтенный председательствующий на торжественном аутодафе, вот какая мысль томила его и не давала ему покоя, вот о чем он размышлял,

делая вид, что с глубоким вниманием прислушивается к истерическим выкрикам Всеволода Пудовкина и хрипению Марка Донского.

Теперь я знаю, что означало покачивание головой, поджимание губ, саркастическая усмешка!

А вот о чем шушукались бутылочная и кирпичная, я не узнаю уже никогда. Тем более что и сами они давным-давно позабыли и эту генеральную репетицию, и мою пьесу — столько их было потом! — других театральных залов, других спектаклей, других пьес, которые по той или иной причине следовало запретить.

...Когда мы с женой заняли свои места, Солодовников встал. Он подошел к первому ряду и что-то почтительно спросил у ответственных дамочек.

Кирпичная кивнула.

— Олег Николаевич! — позвал Солодовников.

В проеме занавеса в ту же секунду появилось испуганное лицо Олега Ефремова.

— Олег Николаевич, — сказал Солодовников и посмотрел на часы, — я думаю, будем начинать!.. А то товарищи, — он значительно указал на бутылочную и кирпичную, — торопятся!

— Хорошо, Александр Васильевич!..

Ефремов скрылся и через мгновение, когда в зале погас свет, снова появился на авансцене в луче бокового софита и начал — он исполнял в моей пьесе роль Чернышева и одновременно рассказчика — читать вступительную ремарку:

— «Детство. Город Тульчин. Первая пятилетка. Август одна тысяча девятьсот двадцать девятого года. Очереди у хлебных магазинов. Вечерами по Рыбаковой балке слоняются пьяные. Они жалобно матерятся, поют дурацкие песни и, запрокинув головы, с грустным недоверием разглядывают звездное небо. Следом за пьяными почтительными стайками ходим мы, мальчишки.

В ту пору нам было по десять — двенадцать лет. Мы не очень-то сетовали на трудную жизнь и с удивлением слушали ворчливые разговоры взрослых о торговле, которая пришла в упадок, и о продуктах, которых невозможно достать даже на рынке. Мы, мальчишки, были патриотами, барабанщиками, мечтателями и спорщиками...

Шварцы жили в нашем дворе. Вдвоем — отец, Абрам Ильич, и Давид — они занимали большую полуподвальную

комнату. Вещи в этой комнате были расставлены самым причудливым образом. Казалось — их только что сгрузили с телеги старьевщика и еще не успели водворить на места. Прямо напротив двери висел большой портрет. На портрете была изображена старуха в черной наколке, с тонкими, иронически поджатыми губами. Старуха неодобрительно смотрела на входящих...»

...Двинулся занавес. Так как спектакль уже перестали финансировать, то декорации были сооружены из так называемого «подбора»: кое-что удалось смастерить самим, кое-что выпросить в постановочной части Художественного театра.

Ефремов медленно, спиной к зрительному залу — словно разглядывая внимательно то, что происходит на сцене, — перешел из левой кулисы в правую, остановился и вполоборота к залу договорил слова вступления:

— «Вечер. Абрам Ильич Шварц (актер Е. Евстигнеев), маленький пожилой человек, похожий на плешивую обезьянку, сняв пиджак, разложил перед собой на столе скучные деловые бумаги, исчерканные красным карандашом. Давид (актер И. Кваша) стоит у окна. Ему двенадцать лет. У него светлые рыжеватые вихры, слегка вздернутый нос и оттопыренные уши. Он играет на скрипке, время от времени умоляющими глазами поглядывая на круглые стенные часы-ходики.

У дверей, развалившись в продранном кресле, сидит толстый и веселый человек — кладовщик Митя Жучков (актер И. Пастухов)».

Ефремов, слегка понизив голос:

— «Сухо пощелкивают костяшки на счетах. Упражнения Ауэра утомительны и тревожны, как вечерний разговор с Богом. За окном равнодушный женский голос протяжно кричит на одной ноте: «Сереньку-у-у-у!..»

Ефремов скрылся в кулисе, и сцена, до тех пор неподвижная, ожила: запиликала скрипка, защелкали костяшки на счетах, где-то далеко протяжно прокричал женский голос:

— Сереньку-у-у-у!..

Глава вторая

Закончилось первое действие. В зале снова зажегся тоскливый и тусклый боковой свет.

Ответственные дамочки разом встали и твердыми шагами командора направились в туалет, сохраняя на безлицых

лицах выражение этакой начальственной отрешенности. Отрешенность эта должна была, очевидно, означать — хоть мы и идем в туалет, но мы слишком ответственные работники, чтобы кто-нибудь посмел подумать, что мы идем в туалет!

Поравнявшись с Солодовниковым и встретив его вопро- сительный взгляд, кирпичная сказала сокрушенно и очень громко — в пустом зале голос ее прозвучал как-то особенно громко и гулко:

— Никакой драматургии... Ну совершенно, совершенно никакой драматургии!..

Солодовников понимающе кивнул.

Моя жена, точно окаменев, сидела, вцепившись руками в подлокотники кресла.

В этом первом антракте мы, оба заядлые курильщики, даже не вышли в фойе покурить.

Белолицый администратор, почтительно проводив ответ- ственных дамочек до выхода и тут же вернувшись, вдруг быстро подошел ко мне, наклонился и со вздохом шепотом проговорил:

— Дали бы мне этот спектакль месяца на три — на че- тыре... Я бы им закатил таких сто аншлагов, что...

Он поцокал языком и так же быстро отошел.

А я сидел и нетерпеливо ждал начала второго действия. Я прекрасно — даже и тогда — понимал все его недостатки, но с этим вторым действием у меня были какие-то свои, тайные и особые отношения.

Дело в том, что я никогда не жил и даже не бывал в Тульчине. Я его придумал, вообразил, «вычислил» — как принято теперь говорить.

Детство свое я провел в Севастополе, в Ростове, в Ба- ку — в разных больших и малых городах, куда забрасы- вало неугомонное время моих неугомонных родителей.

А в Тульчине я не бывал.

Уже в середине двадцатых годов семья моя навсегда поселилась в Москве, я очень быстро стал московским мальчиком и в Трифоновский студенческий городок, где жили многие мои иногородние друзья, ездил чуть ли не ежедневно — именно в том самом тридцать седьмом году, именно в тот самый Трифоновский студенческий городок, где и происходит второе действие.

Тут уж я ничего не воображал и не придумывал — тут я помнил.

...В тысяча девятьсот тридцать пятом году, окончив девять классов десятиклассной средней школы, которая

обрыдла мне до ломоты в скулах, я нахально решил поступить в Литературный институт.

Как ни странно, меня приняли на поэтическое отделение необыкновенно легко и даже почти без экзаменов. Сыграла свою роль, наверное, заметка Эдуарда Багрицкого в газете «Комсомольская правда», которую он написал незадолго до своей смерти и где он в чрезвычайно лестных тонах упоминал мое имя.

Но, уже поступив в Литературный институт и болтаясь по Москве в ожидании начала занятий — дело происходило летом, — я вдруг узнал, что на улице Горького (тогда она еще называлась Тверской), в доме номер двадцать два, где помещалась ранее Малая сцена Художественного театра, открывается новая театральная Школа-студия под руководством самого Константина Сергеевича Станиславского, в каковую студию и производится набор лиц обоего пола в возрасте от семнадцати до тридцати пяти лет!

Я затрепетал и заметался!

...Передо мной на столе лежат пожелтевшая от времени программа и пригласительный билет на закрытое заседание Пушкинской комиссии Общества любителей российской словесности, посвященное столетней годовщине чтения Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых.

Программки были отпечатаны тиражом всего в шестьдесят экземпляров. И то это было много, потому что торжественное заседание происходило не где-нибудь, а в нашей квартире — в одной из тех четырех квартир, что были выгорожены из зала веневитиновского дома. И хотя квартира наша состояла из целых трех комнат, комнаты были очень маленькими, и как разместились в них шестьдесят человек — я до сих пор ума не приложу.

Все, однако же, каким-то непостижимым образом разместились.

В воскресенье двадцать четвертого октября (двенадцатого по старому стилю) тысяча девятьсот двадцать шестого года состоялся этот незабываемый для меня вечер.

Съезд приглашенных ожидался к восьми часам, но еще с утра, еще в первой половине дня началось волшебное преображение нашего дома.

У моих родителей довольно часто бывали гости, и я прекрасно знал, что это значит, когда в наших комнатах натирают полы, накрывают стол парадной скатертью, когда на кухне — которая помещалась в темном коридоре за занавеской — что-то шипит и жарится и отец, священнодействуя, настаивает водку на лимонных корочках.

Но теперь все было совсем по-другому. Преображение не имело внешних примет, а шло как бы изнутри. Преображалась самая суть нашего дома — воздух его, звуки, запахи, настроение. Дом ожидал чуда — и все это понимали, а я, как мне казалось, понимал с особенной, страстной отчетливостью.

Первым, часам к шести, приехал старший брат моего отца — профессор Московского университета, пушкинист, один из организаторов этого вечера. Он рассеянно бродил по комнатам, теребил мягкую седую бородку, бесцельно переставлял стулья с места на место, и вообще по всему было видно, что он очень волнуется.

И вот наконец пробило восемь и начали появляться приглашенные. Они здоровались с дядюшкой и отцом, целовали руку маме, улыбались мне, но все это еще не было чудом, я знал — чудо было впереди.

Открыл вечер председатель Общества любителей российской словесности профессор Сакулин. Потом с короткими сообщениями выступили профессор Цявловский и дядюшка, а потом, после недолгого перерыва, началось чудо. В программке чудо это называлось так:

«Чтение отрывков из «Бориса Годунова» артистами Московского Художественного театра. Сцену «Келья в Чудовом монастыре» исполняет Качалов и Сеницын, сцену «Царские палаты» — Вишневецкий, сцену «Корчма на литовской границе» — Лужский, сцену «Ночь, сад, фонтан» — Гоголева и Сеницын, и отрывок из воспоминаний Погодина о чтении Пушкиным «Бориса Годунова» у Веневитиновых исполнит Леонидов...»

Чудо произошло мгновенно и незаметно: просто Василий Иванович Качалов сел в глубокое кожаное кресло (которое отец по случаю приобрел где-то на распродаже), а у ног Качалова, на низкой скамеечке, моей скамеечке, устроился Сеницын.

И вдруг стало зябко и сумрачно, и окно нашей столовой вытянулось и сузилось, и на нем появилась решетка, и кожаное кресло превратилось в деревянное, и зазвучал несравненный голос Качалова — Пимена:

— Еще одно, последнее сказанье,
И летопись окончена моя!..

Само собой разумеется, что с этого вечера я стал бредить театром. Я выучил наизусть чуть не всего «Бориса Годунова» и, вышагивая по нашему темному коридору, декламировал, безуспешно подражая качаловским интонациям:

— Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному!..

Как же я мог теперь, увидев объявление о наборе учеников в Студию Константина Сергеевича Станиславского, удержаться и не подать заявления о приеме?! Правда, мне еще не исполнилось семнадцати лет, но меня это смущало не слишком, тем более что заявление у меня приняли и даже назначили день, когда я должен явиться на первый экзамен.

Если в Литературный институт, как уже было сказано выше, я попал сравнительно легко, то на экзаменах в Студию пришлось натерпеться и волнения, и страхов.

Конкурс был немислимый — сто человек на одно место. Приемные испытания проводились в четыре тура, причем с каждым новым туром экзаменаторы были все более знаменитыми и все более строгими.

На предпоследнем, третьем, туре председательствовал Леонид Миронович Леонидов, великий театральный актер и педагог, прославленный Митя Карамазов.

На этом экзамене я показывал с партнершей, назначенной мне на втором туре — до сих пор помню, что звали ее Верочкой Поповой, — сцену из «Романтиков» Ростана.

Мы поставили один на другой два шатких стола, что должно было означать сцену, влезли наверх и принялись, по выражению старых провинциальных актеров, «рвать страсть в клочки», изображая несчастных влюбленных.

Как выяснилось потом, экзаменационная комиссия во главе с Леонидовым смотрела на наши безумства стоя, ибо мы каждую секунду грозили свалиться с нашей верхотуры им на головы.

На следующий день я с совершенно искренним удивлением узнал, что допущен к четвертому туру — то есть, в сущности, принят в Студию, так как четвертый тур заключался в показе самому Константину Сергеевичу Станиславскому уже отобранных будущих учеников.

...Я очень плохо помню тот день. Все мы волновались — до заикания, до дрожи в коленях, до слез в глазах.

«Театральный роман» Булгакова еще не был напечатан, и я не мог оценить ту насмешливую точность, с которой в главе «Сивцев Вражек» описаны двор дома Станиславского, и знаменитая деревянная лестница, ведущая на второй этаж, и прихожая с беленькими колоннами и черной-пречерной печкой.

Впрочем, в тот день я не сумел бы оценить Булгакова, даже если бы и читал роман. Я был в беспамятстве.

...И вот я стою в зале, где такие же, как в прихожей, беленькие колонны, и прямо передо мною сидит Станиславский, а рядом с ним Леонидов, и еще кто-то, и еще кто-то — десятки лиц, сливающихся в одно зыбкое пятно.

Надсадным голосом я читаю Пушкина: «Графа Нулина» и «Погасло дневное светило».

Потом я вижу, как Станиславский приподнимает большую белую руку — помню, что я еще тогда сразу поразился величине, белизне и необыкновенно выразительной пластичности этой руки, — и подзывает меня.

Я подхожу. Я вижу совсем рядом лицо Станиславского, седую голову и по-прежнему темные брови, слышу горьковатый запах одеколона и негромкий голос:

— Скажите, а монолог вы какой-нибудь приготовили?

— Монолог «Скупого рыцаря»! — с готовностью выпаливаю я.

Леонидов почему-то фыркает, как будто он поперхнулся. И вокруг тоже раздаются смешки.

Станиславский улыбается и совсем тихо — мне приходится к нему наклониться — спрашивает:

— Голубчик, а поскромней у вас чего-нибудь нет? Вам сколько лет?

— Семнадцать, — отвечаю я.

— Семнадцать?! — переспрашивает Станиславский и вдруг, откинувшись назад, начинает весело и по-детски заразительно смеяться.

Через несколько дней после этого показа нам торжественно вручили удостоверения, в которых черным по белому было написано, что мы являемся студийцами первого курса Оперно-драматической студии народного артиста СССР Константина Сергеевича Станиславского.

Начались занятия. Все очень старались — боялись отсева. Всем было трудно, а мне труднее, чем остальным.

Целый учебный год, с осени до весны, я метался как заяц из Литературного института в Студию, а потом снова в институт и снова в Студию — благо хоть находились они недалеко друг от друга.

Перед весенними экзаменами меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте и в студии читал историю русского театра, и характерным своим ворчливым тоном сказал:

— На тебя, братец, смотреть противно — кожа да кости! Так нельзя... Ты уж выбирай что-нибудь одно... — Помолчав, он еще более ворчливо добавил: — Если будешь

писать — будешь писать... А тут все-таки Леонидов, Станиславский — смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал студию.

Не пройдет, между прочим, и месяца, как я в первый раз — а впоследствии не однажды — пожалую об этом решении.

Теперь, когда мне уже не надо было мчаться с лекций в институте на занятия в студию, у меня неожиданно образовалось свободное время и я мог спокойно, не торопясь совершать обходы букинистических магазинчиков, которых в ту пору было на Тверской превеликое множество.

Однажды в дверях одного из таких магазинчиков я столкнулся с Леонидом Мироновичем Леонидовым.

Устремив на меня свой знаменитый прищуренный — «пулевидный» — правый глаз, он зловеще сказал:

— Ага, так, так! Книжечками интересуетесь?

— Да, — виновато признался я.

— Прекрасно! — сказал Леонид Миронович и взял меня под руку. — Здесь сегодня ничего хорошего нет, а вот, говорят, напротив, у Кузьмича...

Леонидов был страстным книжником и знал по имени-отчеству всех букинистов Москвы. Он собирал издания «Академии» и книги по театру, а я поэзию. Мы, так сказать, не были конкурентами (да и возможности у нас были, разумеется, разные), и после занятий — а Леонид Миронович репетировал с нами «Плоды просвещения», где я исполнял роль гипнотизера Гроссмана, — он иногда, если был в хорошем настроении, предлагал мне:

— Пройдемся, Саня, по книжкам?

Один из таких походов я запомнил особенно хорошо — этот пронзительный весенний день с холодным ветром и ярким солнцем. Только что на занятиях Леонидов похвалил меня за какой-то этюд, и теперь я шагал рядом с ним возбужденный, радостный и без умолку трещал о ролях, которые я мечтаю сыграть.

Я не слишком утруждал свою фантазию, а просто почти без изменений повторял репертуар легендарного провинциального актера на ампула «неврастеников» Павла Орленева, мемуарами которого мы все тогда зачитывались: Треплев в «Чайке», Освальд в «Привидениях» Ибсена, «Орленок» Ростана.

Леонидов шагал, посмеиваясь — большой, грузный, — постукивал палкой. А потом он вдруг остановился, положил руку мне на плечо и сказал:

— Вот что... Ты теперь уже взрослый, на второй курс

переходишь... Можешь попросить завтра в канцелярии — скажи, что я разрешил, — свое заявление о приеме и мою на нем резолюцию! Почитай!..

...Я держал в руках свое заявление, я читал и перечитывал надпись, сделанную Леонидовым — красным карандашом, крупным, угловатым, каким-то готическим почерком: «ЭТОГО принять обязательно! Актера не выйдет, но что-нибудь получится! Л. М.».

Сердце мое было разбито. На несколько дней. Свойственное мне до седых волос легкомыслие и вера в то, что все еще как-то обернется к лучшему, заставили меня усомниться в справедливости слов Леонидова.

Я пробыл в студии еще целых три года.

Странное это было заведение — последняя студия гениального мастера, последнее детище величайшего актера и режиссера, одного из основателей Московского Художественного театра, создателя прославленной и изучаемой во всем мире «системы Станиславского».

Странное это было заведение, очень странное!

Ну, например, едва ли не треть педагогов студии состояла из близких и не очень близких родственников самого Константина Сергеевича Станиславского. Предмет «мастерство художественного чтения» вела Зинаида Сергеевна Соколова — несостоявшаяся актриса, родная сестра Станиславского. Брат — милейший старик — Владимир Сергеевич Алексеев занимался с нами и вовсе загадочной дисциплиной — правилами истинно московского произношения.

Был Владимир Сергеевич рассеян до чрезвычайности. Однажды мы поднимались с ним вместе из гардероба на второй этаж, где находились учебные классы студии.

И вот, пройдя несколько ступенек, Владимир Сергеевич, с которым я уже здоровался в гардеробе, остановился, поглядел в мою сторону, мило улыбнулся и протянул руку:

— Здравствуйте, голубчик, здравствуйте! Как поживаете?

— Спасибо, Владимир Сергеевич, здравствуйте, хорошо!

Пока мы успели подняться наверх, эта процедура здорования повторилась раз пять, не меньше.

Была еще в студии какая-то сгорбленная и скрюченная старушенция, уже из дальних родственников, которая обучала нас пластике движения. Была и другая старушка — шепелявая, картавая и злая, — она занималась с нами постановкой голоса.

Уроки эти мы ненавидели страстно — в течение часа

старуха негнушится пальцем выдалбливала на рояле простейшие трезвучия, а мы должны были с разной степенью громкости тянуть за нею:

— Ми-ма-мо!.. Ми-ма-мо!..

Но конечно же, конечно — были и Станиславский, Леонидов, Подгорный, Книппер-Чехова, были опытнейшие педагоги и воспитатели Раевский и Карев, были студийные вечера, на которых мы совсем рядом могли видеть и слышать великих актеров Москвина, Качалова, Тарханова...

И тем более многие, причастные к студии — и я в том числе, — не раз задумывались над таким простейшим вопросом: как случилось, как могло случиться, что из тридцати человек, отобранных из трех тысяч (потом еще было два набора, и всего на драматическом отделении — а существовало еще и оперное — занималось человек пятьдесят), что из этих избраннейших из избранных, из этих счастливиц, которым завидовали студенты всех театральных школ, — как случилось, что из них не вышло ни одного, ни единого сколько-нибудь значительного актера, за исключением разве что Михаила Кузнецова, который сразу же по окончании студии ушел работать в кино.

Ответ, как я теперь думаю, прост: никого по-настоящему и не интересовало — станут студийцы актерами или не станут. Нам преподавали актерское мастерство — как же иначе! — но были мы, в сущности, деревянными фигурками на шахматной доске, именуемой пышно «Театром — Храмом», мы были подопытными кроликами, на которых Константин Сергеевич Станиславский проверял свою последнюю теорию — «теорию физических действий».

Писалось об этой теории достаточно много, а в двух словах сводилась она к следующему: правильные физические действия должны привести исполнителя к правильному поведению, правильное поведение — вызвать правильное состояние, правильное состояние — помочь обрести правильные слова.

Я сам каждую неделю принимал участие в репетициях «Гамлета» под руководством Константина Сергеевича.

Распределение ролей никакого значения не имело: роль Гамлета была почему-то поручена девушке, Ирине Розановой, я — восемнадцатилетний, худющий как щепка — изображал короля Клавдия.

Заучивать шекспировский текст нам было строжайшим образом запрещено. Предполагалось, что если мы будем правильно действовать, в соответствии с сюжетом пьесы, то и найдем в конце концов правильные слова.

Разумеется, многие из нас жульничали. И я жульничал чаще других.

Пользуясь своей хорошей памятью, я время от времени вставлял в эту чудовищную ахию, которую мы все несли, подлинные, хотя и слегка ритмически измененные, шекспировские слова, и тогда Константин Сергеевич радостно улыбался, хлопал в ладоши и с глубоким удовлетворением говорил:

— Вот видите: Саня правильно действовал — и он нашел почти правильные слова.

Много лет спустя, когда я наконец прочту удивительный «Театральный роман» Булгакова, я узнаю и этот особняк в Леонтьевском переулке, и фойе-прихожую с вечно раскаленной печкой, и маленький домашний театральный зал, и кабинет Константина Сергеевича, где проходили наши репетиции.

Но если в годы действия «Театрального романа» еще возможно было такое чудо, как приезд Ивана Васильевича (то бишь Константина Сергеевича) на репетицию в театр, то в годы последней студии Станиславский никуда и никогда из дома не выходил.

Запершись в своем особняке, отгородившись от всего света, он жил в иллюзорном, совершенно нереальном мире, где единственной святыней, началом всех начал и смыслом всех смыслов было некое «Театральное Искусство» с большой буквы, которому он истово продолжал служить до глубокой старости, тогда как «там»...

Презрительная усмешка и великолепный жест большой выхоленной руки давали нам понять, что под словом «там» подразумевается нынешний Художественный театр, которым заправляет единолично Владимир Иванович Немирович-Данченко и где ставятся какие-то немыслимые современные пьесы, названия которых и запомнить-то невозможно.

У нас в студии подобные глупости не допускались. Если художественное чтение — то «Семейное счастье» Толстого, или, на худой конец, «Герой нашего времени», или «Стихотворения в прозе» Тургенева.

Если пьесы, то «Три сестры», «Плоды просвещения», «Гамлет» и «Ромео и Джульетта».

И, покоренные великим талантом нашего великого учителя, замороженные его неслыханным обаянием, величием его имени и человеческой мужской красотой, — мы тоже жили в придуманном, нереальном, иллюзорном мире. Нет, конечно же, у нас бывали комсомольские собрания, мы читали газеты — Константин Сергеевич газет не читал, —

мы слушали радио и смотрели кино. Но все это делалось как-то мельком, мимоходом, все это было не главным. Сокрушительные события этих страшных лет не имели, казалось, к нам, студийцам, ни малейшего отношения.

Многие из нас — многие, если не большинство, — жестоко поплатятся за эти, словно лишенные зрения и слуха годы юности. Поплатятся разочарованием и утратой таланта, неверием в собственные силы, горестным ощущением непоименованных потерь и почти звериной ненавистью ко всем и вся за то, что собственная судьба так и не состоялась.

Я не кощунствую!

Я пишу о себе и пытаюсь разобраться в том, почему так странно и нелепо сложилась моя жизнь, почему так поздно пришло ко мне — не прозрение, нет, прозрение — это слишком высокое и ответственное слово, — а просто хотя бы понимание элементарнейших истин и почему понимание это далось мне с таким трудом и такой великой ценой, в то время как мои более молодые друзья обрели и мужество и зрелость естественно, как дыхание.

Станиславский умер седьмого августа тысяча девятьсот тридцать второго года. Мы — несколько студийцев, случайно оказавшихся в Москве (остальные разъехались на каникулы, а Художественный театр был где-то на гастролях), — до глубокой ночи помогали приводить в порядок дом: завешивали зеркала, перевивали черным крепом колонны в прихожей и в зале, расставляли цветы.

Утром мы пришли снова, но уже не поднялись наверх, а остались во дворе. Мы сидели на лавочке, молчали, курили.

Было жарко, и душно, и как-то нестерпимо жестоко светло, будто на свете вовсе перестала существовать тень.

Мы услышали, как к воротам подъехала машина, хлопнула дверца, и во двор быстро вошел Качалов. Он был без шляпы, в темном — а тогда мне показалось, да и по сей день кажется, в черном, — костюме.

Мы встали.

Качалов еще издали, глазами, спросил нас: правда ли?

И мы тоже молча ответили: да, правда.

И тогда Качалов, как-то нелепо, боком прислонившись к белой стене дома, заплакал. Он плакал открыто, в голос, страшно. И страшней всего было то, что сам Качалов как бы исчез, его не было — был только черный костюм, распластанный на ослепительно белой стене.

После того как умер Константин Сергеевич и тяжело

заболел Леонидов, из студии и вовсе словно выпустили воздух, и я совершил очередной отчаянный шаг: не окончив учебного курса, перешел в другую студию — Московскую театральную студию, которой руководили режиссер Валентин Плучек и драматург Алексей Арбузов.

О, в этой новой студии не только не шарахались от современности — здесь жили современностью, дышали современностью, клялись современностью.

Она и создавалась-то, эта студия, на общественных началах: мы сами, за свои деньги (большую часть давал Арбузов), снимали помещение школы на улице Герцена, напротив Консерватории, и в этой школе по вечерам репетировали пьесу «Город на заре» — о строительстве Комсомольска.

Мы все делали сами: сами эту пьесу писали (под редакцией Арбузова), сами режиссировали (под руководством Плучека), сами сочиняли к ней песни и музыку, рисовали эскизы декораций.

Жить делами и мыслями сегодняшнего дня — вот лозунг, который мы свято исповедовали!

Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что занимались мы чистейшим самообманом: мы только думали, что живем современностью, а мы ею вовсе не жили, мы ее конструировали, точно разыгрывали в лицах разбитые на реплики и ремарки передовые из «Комсомольской правды».

С одержимостью фанатиков мы сами ни на единую секунду не позволяли себе усомниться в том, что вся та ходульная романтика и чудовищная ложь, которую мы гордились, есть доподлинная истина.

Впрочем, нам — двадцатилетним — нужно было, наверное, как-то для самих себя оправдать все то непонятное и страшное, что происходило в мире. Возможно, если, размышляя и раздумывая, мы прозрели бы уже в те годы, мы бы задохнулись и не смогли жить!

Да и в самой какой-то слегка «вечериночной», взвинченной атмосфере студии была, видимо, особая притягательная сила: в группу так называемых «друзей студии» входили и многие уже известные писатели, и студенты из ИФЛИ и Литературного института, и даже знаменитый боксер Николай Королев.

Пятого февраля 1941 года спектаклем «Город на заре» студия открылась и стала существовать как театр.

У меня до сих пор хранится наша первая афиша, на которой авторами пьесы и спектакля были названы в алфавитном порядке все студии.

Честно говоря, я просто не помню другой подобной премьеры: толпы студенческой молодежи, жаждущей попасть на спектакль, буквально осаждали театр, в зрительном зале люди стеною стояли в проходах, сидели вдоль рампы на полу.

Так было на первом, на втором и на третьем спектакле. А на четвертом — толпа поредела. А последующие спектакли мы играли уже и вовсе при полупустом зале.

Что же произошло? Вероятно, рядовому зрителю было наплевать на наши формальные изыски — введение хора, использование приемов японского театра и комедии дель арте, — а сама пьеса про очередное строительство и очередное вредительство его, рядового зрителя, привлечь не могла.

Двадцать второго июня, в день начала войны, студия как-то сразу перестала существовать. Большинство студийцев — не только мужчины, но и женщины — уйдут на фронт, и многие, среди них и сын поэта Эдуарда Багрицкого — Всеволод, погибнут. Вместе с Севою и другим студийцем, впоследствии известным драматургом Исаем Кузнецовым, мы написали пьесу «Дуэль», которую студия репетировала до самого последнего дня своего существования.

А меня в армию не взяли. Уже первые врачи — терапевт, глазник и невропатолог — на медицинской комиссии в райвоенкомате признали меня по всем основным статьям негодным к отбыванию воинской повинности.

Тогда, чтобы хоть что-то делать, я устроился коллектором в геологическую экспедицию, уезжающую на Северный Кавказ.

Но доехали мы только до города Грозного — дальше нас не пустили.

Возвращаться в Москву казалось мне бессмысленным — там в эту пору не было ни близких, ни друзей.

Из грязной и шумной, похожей на огромное бестолковое общежитие гостиницы «Грознефть» я перебрался на частную квартиру — в маленькую комнатенку в маленьком домике, стоявшем в саду на спокойной окраинной улице Алхангуртовской.

Как-то неожиданно легко я устроился завлитом в городской Драматический театр имени Лермонтова, начал переводить чеченских поэтов — и с некоторыми из них подружился, организовал с группой актеров и режиссером Борщевским Театр политической сатиры.

Я писал для спектаклей этого театра песни и интер-

медии. Песни были лирические, интермедии идиотские. В некоторых из них я сам играл.

...Испуганный помреж вбежал в мою актерскую уборную, где я сидел перед зеркалом и с отвращением отклеивал рыжие усы — я только что изображал какого-то немецкого полковника.

— Александр! — больше, чем обычно, коверкая слова, задыхаясь, проговорил помреж. — Иди... Скорей иди... Тебя в правительственную ложу зовут.

«Правительственной» называлась у нас в театре ложа, где на премьерах и парадных спектаклях сидели ответственные чины из обкома партии и горсовета.

— Брось разыгрывать! — сказал я помрежу. — Я же смотрел со сцены — там сегодня никого нет!

— Там есть! — трагическим шепотом выдохнул помреж и схватился за голову. — Там Юля Дочаева... Иди скорей!

Знаменитую грозненскую красавицу, жену одного из секретарей обкома партии Юлию Дочаеву, я до этого вечера видел только один раз: на коне, в мужском седле, она лихо промчалась по центральной улице, провожаемая восторженным цоканьем мужчин и осуждающим шепотом женщин.

Она была худенькой, темноглазой и темноволосой. У нее был низкий, тихий и очень спокойный голос.

— Здравствуй! — сказала она и протянула руку. — Ты из Москвы?

— Да, — сказал я, с первой же секунды отчаянно влюбляясь в нее.

— Я тоже из Москвы, — сказала Юля, — училась на медицинском, собиралась врачом на Сахалин, а мой дикарь приехал на какой-то пленум и похитил меня... — Она засмеялась. — А тебе сколько лет?

— Двадцать два. Завтра, девятнадцатого октября, в день годовщины открытия Пушкинского лицея, мне исполняется двадцать два!

Я проговорил эту тираду слегка хвастливо, так как всю жизнь почему-то чрезвычайно гордился этим случайным совпадением.

А Юля снова засмеялась, потом сказала быстро и тихо:

— Я приду тебя поздравить, хочешь? Ты где живешь?

— Алхан-юртовская, сто десять.

Юля кивнула.

— Я приду. У меня завтра ночное дежурство в боль-

нице, но часов в двенадцать я постараюсь сбежать... Ты меня жди!

...Я начал ее ждать с утра.

Мне удалось путем неслыханной лести и еще более неслыханных посулов выпросить у администратора театра бутылку спирта, потом, пользуясь все той же лестью и посулами, я уговорил мою хозяйку испечь ее коронное блюдо — тыквенный пирог. Потом я отправился на базар — купил яблок, слив и цветов.

Базар был в этот день как-то странно и подозрительно малолюден, но я не обратил на это внимания.

Уже приготовив все для вечернего пира, я принялся просто слоняться по городу — думал о Юле и влюблялся в нее все больше и больше.

А между прочим, вокруг меня в этот день происходили события, на которые, будь я в здравом уме, следовало бы обратить внимание: куда-то за черту города тянулся поток стариков и детей, проезжали телеги с убогим скарбом, плелись навьюченные ослики, и к обычному запаху грозненской пыли примешивался сладковатый и ядовитый запах дыма — во время одного из разведывательных налетов немцы бросили зажигательную бомбу в нефтяной резервуар, и вот уже третьи сутки над городом и днем и ночью стояло невысокое радужное зарево.

Вечером пошел дождь. Лаяли собаки — безостановочно и надсадно.

В сотый раз я оглядел свою комнату: в центре стола красовался тыквенный пирог, цветы я расставил по всем углам и зажег свечи.

Тогда еще не было написано замечательное стихотворение Пастернака, еще не пришла мода ужинать при свечах — просто свет в городе вырубали в девять часов вечера, а керосиновая лампа стояла на рынке целое состояние.

Я ходил по комнате и сочинял для Юли стихи.

В тот первый военный год я написал довольно много стихов, но черновики я растерял, стихи позабыл, а вот эти две альбомные строфы почему-то запомнил:

Лают азиатские собаки,
Гром ночной играет вдалеке...
Мне б ходить в черкеске и папахе,
А не в этом глупом пиджаке!

Мне б кинжал у талии осиной
И коня — земную благодать,

Чтоб с тобою, с самую красивой,
На скаку желанье загадать!..

Еще задолго до двенадцати я услышал быстрый и тихий стук.

Как во многих южных домах, дверь моей комнаты открывалась прямо на улицу. Сначала в дождливой темноте, которую не подсвечивало даже зарево пожара, я вовсе ничего не мог различить. Потом, взглядевшись, я увидел странное зрелище — двух оседланных лошадей.

— Что такое? — спросил я. — Кто?

— Тихо! — проговорил кто-то шепотом, невысокая фигура в бурке отделилась от лошадей, и я узнал своего приятеля, поэта Арби Мамакаева, которого за буйный нрав называли «чеченским Есениным». — Собирайся, Александр, поехали!

— Куда? — изумился я.

Арби притянул меня к себе за плечи и зашептал мне в самое лицо:

— У нас точные сведения... Немцы будут в Грозном через неделю... Ты чужой, ты еврей, ты дурацкие спектакли играл — тебя сразу повесят! А в горах мы тебя спрячем! Поскакали!..

А я никуда не мог ехать — я ждал Юлю!

— Я не поеду, Арби, — сказал я.

— Ты совсем дурак? — грозно спросил меня Арби.

— Слушай, — попытался я найти компромисс, — вот что — приезжай за мной утром.

— Ты совсем дурак! — уже утвердительно повторил Арби. — Я сейчас еле проехал... Патрули всюду... Ты поедешь?

— Нет, — сказал я.

Арби молча сплунул, повернулся ко мне спиной и медленно, тихо увел лошадей в темноту.

А Юля не пришла. А я под утро свалился в приступе жесточайшей лихорадки — у меня время от времени бывают такие непонятные приступы, которые не сумел разгадать еще ни один врач.

Дня через два меня пришли проведать актеры нашего театра.

Они рассказали мне, что в ночь с девятнадцатого на двадцатое октября — в ту самую ночь — муж Юли, Идрыс Дочаев, в начале двенадцатого застрелился в своем служебном кабинете.

Командование Северо-Кавказского военного округа от-

дало распоряжение прочесать горные аулы и выловить всех, уклоняющихся от воинской службы. Ответственным за эту операцию был по неизвестным причинам назначен штатский человек Идрыс Дочаев. Снова, в который раз, проявила себя во всем блеске «мудрая» национальная политика Вождя народов: поручить чеченцу возглавить карательный рейд по чеченским аулам — большее оскорбление и унижение трудно было придумать.

А немцы до Грозного так и не дошли.

Когда Отец родной повелел выслать чеченцев и ингушей в отдаленные районы Казахстана, Юля, русская Юля, уже не жена чеченца, уехала вместе со всеми. Попала она куда-то под Караганду и меньше чем за полгода сгорела от туберкулеза.

Многие говорили, что ей повезло!

...Через Баку и Красноводск я добрался до города Чирчика, где собрался во главе с Валентином Плучеком остатки студии. В немыслимо короткий срок мы подготовили два спектакля и несколько концертных программ, написали письмо в Политуправление Советской Армии с просьбой оформить нас как фронтовой театр, получили это разрешение и всю войну проездили по армейским частям, играя спектакли и концерты.

С концом войны театр распался.

Людам, как бы ни менялись они с годами, трудно отделаться от сентиментально-снисходительного отношения к собственной юности: еще в конце сороковых и начале пятидесятых годов мы — уцелевшие участники спектакля «Город на заре» — созванивались, а порою и встречались в день пятого февраля, день премьеры.

Когда в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году драматург Алексей Арбузов опубликовал эту пьесу под одной своей фамилией, он не только в самом прямом значении этого слова обокрал павших и живых.

Это бы еще полбеды!

Отвратительнее другое — он осквернил память павших, оскорбил и унизил живых!

Уже зная все то, что знали мы в эти годы, он снова позволил себе вытащить на сцену, попытаться выдать за истину ходульную романтику и чудовищную ложь: снова появился на театральных подмостках троцкист и демагог Борцаговский, снова кулацкий сынок Зорин соблазнил честную комсомолку Белку Корневу, а потом дезертировал со стройки, а другой кулацкий сынок Башкатов совершал вредительство и диверсию.

Политическое и нравственное невежество нашей молодости стало теперь откровенной подлостью.

В разговоре с одним из бывших студийцев я высказал как-то все эти соображения. Слова мои, очевидно, дошли до Арбузова — и пятнадцать лет спустя, на заседании секретариата, на котором меня исключат из членов Союза советских писателей, Арбузов отыграется, Арбузов возьмет реванш и назовет меня «мародером».

В доказательство он процитирует строчки из песни «Облака»:

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял...
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям!..

— Но я же знаю Галича с сорокового года! — патетически воскликнет Арбузов. — Я же прекрасно знаю, что он никогда не сидел!..

Правильно, Алексей Николаевич, не сидел! Вот если бы сидел и мстил — это вашему пониманию было бы еще доступно! А вот так, просто взваливать на себя чужую боль, класть «живот за други своя» — что за чушь!

Потом голосом, исполненным боли и горечи, Арбузов скажет еще несколько прочувствованных слов о том, как потрясен он глубиной моего падения, как не спал всю ночь, готовясь к этому сегодняшнему судилищу.

Он будет так убедительно скорбеть, что все выступающие после него, словно позабыв, на какой предмет они здесь собрались, станут говорить не столько обо мне и моих прегрешениях, сколько о том, как потрясла и взволновала их речь Арбузова, будут сочувствовать ему и стараться помочь.

Не медведи, не львы, ни лисы,
Не кикимора и сова —
Были лица — почти как лица
И почти как слова — слова.

За квадратным столом по кругу
(В ореоле моей вины!)
Всё твердили они друг другу,
Что друг другу они верны!..

Так завершится мое очень долгое, затянувшееся больше чем на четверть века прощание с театром! От резолюции Леонида Мироновича Леонидова до заседания секретариата!

Бросив в конце войны актерство и занявшись драматургией, я все равно как бы оставался в мире театра.

Потом я начну прощаться и с драматургией — это будет после того, как подряд запретят мои пьесы — «Матросскую тишину» и «Август», — а последнюю точку, как ни странно, поставит Арбузов.

Он так прямо и скажет:

— Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта — и тут он кончился!

Ну что ж, кончился так кончился. Я ни о чем не жалею. Я не имею на это права. У меня есть иное право — судить себя и свои ошибки, свое проклятое и спасительное легкомыслие, свое долгое и трусливое желание верить в благие намерения тех, кто уже давно и определенно доказал свою неспособность не только созерцать благо, а просто даже понимать, что это такое — благо и добро!

Я ни о чем не жалею.

Это раньше я бессмысленно и часто сокрушался по разным поводам.

Пути Господни неисповедимы, но не случайны.

Не случайна была та бессонная ночь в вагоне поезда Москва — Ленинград, когда я написал свою первую песню, «Леночка».

Нет, я и до этого писал песни, но «Леночка» была началом — не концом, как полагал Арбузов, — а началом моего истинного, трудного и счастливого пути.

И нет во мне ни смирения, ни гордыни, а есть спокойное и радостное сознание того, что впервые в своей долгой и запутанной жизни я делаю то, что положено было мне сделать на этой земле.

Это гордыня? Не знаю. Надеюсь, что нет!

Бутылочная и кирпичная с просветленными лицами вернулись в зал и, сморкаясь, заняли свои места в первом ряду.

И тотчас же, словно кто-то подсматривал в глазок занавеса (впрочем, так оно, наверное, и было), в зале погас свет и в луче бокового софита снова появился Олег Ефремов.

Прислушиваясь к звукам далекого марша, он медленно начал слова вступления ко второму действию:

— «Юность. Москва. Май тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Строительные леса на улице Горького. Открытые бежевые „линкольны” возят по городу иностранных туристов: туристы вежливо улыбаются, вежливо восхищаются, вежливо задают двусмысленные вопросы — главным

образом об исчезающих за ночь портретах — и с некоторой опаской поглядывают на девушек-переводчиц».

...Марш звучал громко.

Ефремов, не двигаясь, продолжал:

— «По вечерам не протолкаться на танцевальных площадках, в цветочных киосках продают нарасхват ландыши и сирень, а на площади Пушкина, у фотовитрины „Известий“, с утра и до ночи толпится народ, разглядывая фотографии далекой Испании, где фашистам все еще не удалось отрезать от Мадрида Университетский городок.

В тот год мы окончательно стали москвичами. Еще совсем недавно робкие провинциалы, мы разинув рты бродили по набережным, почтительно следовали правилам уличного движения, ездили, восхищаясь, в метро и писали длинные, восторженные и подробные письма домой...»

Ефремов улыбнулся:

— «Потом письма стали короче. Всего несколько слов — о том, что мы здоровы, об институтских отметках и о том, что нам опять очень нужны деньги. Мы научились торопиться. Мы были одержимы, влюблены, восторженны и упрямы... Нам исполнилось девятнадцать лет!»

...Пошел занавес. Ефремов встал к залу вполоборота и сказал, указывая рукою на декорацию и действующих лиц:

— «Вечер. Комната в общежитии студентов Московской консерватории. Две кровати, два стула, две тумбочки и большой стол, у которого табурет заменяет отломанную ножку. На стене пыльная гипсовая маска Бетховена.

Давид, в тапочках, в теплой байковой куртке, с завязанным горлом, расхаживает по комнате. Он играет на скрипке, зажав в зубах докуренную до мундштука папиросу. Таня — тоненькая, ясноглазая — караулит у электрической плитки закипающее молоко...»

Ефремов незаметно скрылся в кулисе.

Глава третья

Во втором антракте мы с женой быстро и молча поднялись и пошли курить.

Мы стояли в курилке возле урны — с двух сторон, как часовые, — часто и с отвращением глотали дым.

— Во втором действии Евстигнеев был лучше, — сказала жена.

— Да, — сказал я, — а в третьем действии он будет еще лучше... Только это не имеет никакого значения!

— Да, — согласилась жена, — разумеется.

Помолчав, она спросила:

— Ты очень огорчен?

— Нет, — сказал я, — все давно ясно... Это ребята на что-то еще надеются!..

И в ту же секунду, точно в подтверждение моих слов, в курилку вбежал, влетел, ворвался Олег Табаков — в белой рубашке, заправленной в ватные штаны, и в тапочках на босу ногу. Во втором действии он исполнял роль Славы Лебедева, а в третьем будет играть роль «сына полка» Женьки Жаворонкова. В ту пору основной состав студии насчитывал человек двадцать, и ряд актеров, занятых в моей пьесе, играли по две роли.

...Как странно мне бывает теперь — изредка, очень изредка — встречаться и церемонно раскланиваться с важным и представительным директором театра «Современник» Олегом Николаевичем Табаковым!..

Милое мальчишеское лицо Табакова блестело от пота. Он подбежал ко мне и проговорил задышающимся, плачущим голосом:

— Александр Аркадьевич, ребята просят... Ну, вы поговорите там с кем-нибудь!

— С кем, Олег? — изумился я.

— Ну, я не знаю... Ну, с этими — Соколовой, Соловьевой, черт их там разберет!

— О чем говорить? — спросил я.

Откуда-то раздался отчаянный вопль:

— Табаков?! Давай по-быстрому!..

Олег махнул рукой и убежал.

Мы с женою переглянулись. Ничего еще, по сути, не было сказано, но тоскливое чувство обреченности, предрешенности, безнадежности и бессмысленности всего, что происходит, — это чувство, так всевластно царившее в зале, уже перелетело по каким-то неведомым законам через рампу и дошло до исполнителей.

— Ну что ж, пойдём, — сказал я жене.

— Пойдем, — сказала она. — Может быть, ты хочешь зайти за кулисы? Посоветоваться? Может быть, действительно еще что-то можно предпринять?

— Нет, — сказал я.

Мы вернулись в зрительный зал, заняли свои места.

Товстоногов, по-прежнему сидевший в стороне, неожиданно обернулся и через несколько пустых рядов, разделяв-

ших нас, сказал мне негромко, но внятно, так что слова эти были хорошо слышны всем:

— Нет, не тянут ребята!.. Им эта пьеса пока еще не по зубам! Понимаете?!

Солодовников внимательно, слегка прищурившись поглядел на Товстоногова.

На бесстрастно-начальственным лице изобразилось некое подобие мысли. Слово было найдено! Сам того не желая, Товстоногов подсказал спасительно обтекаемую формулировку.

Ничего не нужно объяснять, ничего не нужно запрещать; что касается автора, то он волен распоряжаться собственной пьесой по собственному усмотрению; что же касается студийцев, то это, в конце концов, неплохо, что они в учебном порядке поработали над таким чужеродным для них материалом, — а теперь надо искать соответствующую, близкую по духу, жизнеутверждающую драматургию, — спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..

Все это Солодовников выпалит за кулисами после конца спектакля бодрой, слегка пришепетающей скороговоркой. Потом он пожмет руку мне, пожмет руку Ефремову, еще раз — благодарно — улыбнется всем участникам спектакля и быстро, не допуская никаких вопросов, уйдет.

И все будет кончено!..

А из-за закрытого занавеса раздавался стук молотков, невнятные голоса, что-то грохотало, что-то падало.

Декорация третьего действия — учитывая отсутствие настоящих декораций — была наиболее сложной. Действие происходит в санитарном поезде, в так называемом кригеровском вагоне для тяжелораненых.

...Мне в подобном вагоне лежать не приходилось, а вот выступать в войну доводилось не раз. Чувствуя, как першит в горле от сладковатого запаха карболки, йода, запекшейся крови, я читал «Графа Нулина», пел под гитарный аккомпанемент частушки.

Я сочинял их обычно тут же, на ходу, после предварительного разговора с комиссаром или начальником поезда.

Частушки эти были крайне незамысловатыми, но зато в них упоминались подлинные имена раненых и медицинского персонала, описывались подлинные события — чаще всего комедийные, и поэтому они пользовались неизменным, незаслуженно шумным успехом.

После концерта нас обычно вели в вагон-столовую — кормить ужином.

Санитарки — «хожалочки», всегда миловидные, в белых халатиках, перетянутых в талии, в кокетливо примятых белых шапочках, подавали нам еду в жестяных мисках, посмеивались и перемигивались.

А потом появлялся начальник поезда, садился во главе стола, делал выразительный жест большим пальцем правой руки — и все догадливо хихикали: артист — он, мол, и есть артист, ему без ста граммов никак невозможно!

Приносили бутылки со спиртом и большие кружки. Спирт наливали в граненые стаканы, а в кружки — воду, запивать.

Тот же начальник, как правило, произносил первый тост — за родного, любимого, дорогого вождя и учителя, гениального полководца всех времен и народов товарища Сталина, который ведет нас от победы к победе.

И мы все, стоя в торжественном молчании — а кое-кто и со слезами на глазах, — пили за этот тост.

Постукивали колеса поезда, проносились за окнами, не отпечатываясь в сознании, какие-то перелески и разбитые поселки, дребезжали на столе, покрытом клеенкой, миски, кружки, стаканы.

А мы пили спирт, и в груди у нас что-то теплое, мы смотрели друг на друга с участием и любовью — нам было хорошо! Ах, как нам было хорошо!

Мы все вместе — пусть каждый по-своему — делали одно великое общее дело: мы защищали нашу Родину, наше прекрасное прошлое и еще более прекрасное будущее, наши светлые коммунистические идеалы, нашу свободу, равенство, братство.

И почти с той же неизменностью, как первый тост, появлялась в разгар ужина какая-нибудь санитарка или нянечка, подходила, смущаясь, к начальнику поезда, что-то негромко говорила ему.

И начальник смотрел на меня, ухмылялся:

— Извините, вас, товарищ артист, в кригеровский вагон просят... Очень хотят снова частушки прослушать!.. — Начальник ухмылялся еще шире: — Ну, насчет Дорофеева и других...

И я поднимался, выходил из-за стола, брал гитару и шел в кригеровский вагон для тяжелораненых — петь частушки про Дорофеева и других.

Кригеровский вагон для тяжелобольных! Санитарный поезд!

Пожалуй, это единственное лечебное заведение, в котором я только выступал, а не лежал сам. Я валялся в полевых походных и тыловых госпиталях — с ожогом второй степени, с флегмоной, с подозрением на бруцеллез.

После войны, когда у меня совершенно неожиданно обнаружилась тяжелая болезнь сердца, я не реже, чем раз в два года — а порою и значительно чаще, — попадал в какую-нибудь очередную больницу.

Я лежал, случалось, и в привилегированных отделениях, принадлежащих Санитарному управлению Кремля, — в отдельных палатах с собственным санузлом, где только на одно питание выделяется два рубля тридцать копеек в день на человека.

Отделения эти у простых смертных называются «отделениями для слуг народа».

И лежал я в отделениях «для народа»: в палатах по двадцать — двадцать пять человек, где, чтобы попасть в уборную, надо становиться в очередь, где дозваться нянечку или сестру можно только после получасового непрерывного крика — звонков нет — и где питание обходится в восемьдесят копеек.

Разумеется, я никогда не лежал в лечебницах для самых главных «слуг народа», для самых бескорыстных и беззаветных его слуг — в Кремлевке, в Барвихе, в Кунцеве.

О том, какие условия и какие яства подаются там, рассказывают только шепотом, недоверчиво покачивая головами и молитвенно закатывая глаза.

Впрочем, и условия и яства для больного человека — для действительно больного человека — все-таки дело второстепенное. Гораздо важнее другое — уход и лекарства. Так вот, с лекарствами в отделениях «для народа» особенная беда. Я уж не говорю о редких заграничных препаратах: анальгина и кодеина — и тех не допросишься!

У меня на глазах в отделении гнойной хирургии Московской Боткинской больницы тридцатилетний прелестный парень Сергей Донцов — школьный учитель из-под Смоленска — в течение трех недель превратился из человека в животное, в жесточайшего и законченного наркомана.

Возвращаясь из школы домой, он попал в пургу, сбился с пути, обморозил ноги. В результате — тяжелейший эндартериит.

Боли адские, которые снимались только большими дозами анальгина.

Но в одной из главных больниц Москвы — в знаменитой Боткинской больнице — в отделении гнойной хирургии

анальгин в необходимых количествах больным выдавать не могут: слишком дорогое лекарство, целых тридцать две копейки пачка.

Значительно проще снять боль инъекцией морфия — ампула морфия стоит около двух копеек.

Сначала Донцову кололи морфий раза два в сутки, а в промежутках он потихоньку глотал аналгин, который приносила ему моя жена.

Но постепенно дозы морфия все увеличивались — три раза в сутки, четыре раза в сутки.

А когда я выписывался, милого, золотоголового, с белозубой улыбкой Сережу Донцова уже невозможно было узнать. Он сидел в постели полузакрыв глаза, страшный, взлохмаченный, с какими-то черными запекшимися губами, покачивался из стороны в сторону и непрерывно, на одной протяжной звериной ноте то выл, то матерился и требовал морфия.

А его жалели. И ему давали морфий. И врачи не виноваты. И сестры не виноваты. И вообще никто не виноват.

Да здравствует одно из величайших достижений советской власти — всеобщая бесплатная медицинская помощь!

...А начальник мой, а начальник,
Он в отдельной палате лежит.
Ему нянечка шторку повесила,
Создают персональный уют!
Возят к гаду еврея-профессора...

Сколько их было в моей жизни — профессоров, врачей, сестер, нянечек! Сколько их было — умных и не слишком, опытных и еще совсем зеленых, добрых и сердитых, талантливых и просто «трудяг».

Я не каждого помню по имени, но всем им низко кланяюсь в ноги — спасибо вам, дорогие, спасибо вам за ваше терпение и усердие, за ваш благородный, каторжный, бескорыстный труд.

А бескорыстным он был в самом доподлинном смысле — до недавнего времени труд медицинских работников, наравне с трудом учителей, был в нашей стране по оплате одним из самых нищенских.

Потому-то в пятидесятые и шестидесятые годы так мало было среди врачей мужчин — только именитые старики, а в остальном все больше женщины.

Про одну из таких замечательных женщин, про хирурга Анну Ивановну Гошкину, я не могу, не имею права не рассказать!

Ночью в Ленинградской гостинице я почувствовал, что у меня начинается приступ стенокардии. Принял нитроглицерин — не помогло. Тогда я попросил дежурного по этажу вызвать врача.

Приехала «неотложная помощь», врач сделал мне инъекцию, мне стало легче, и я уснул.

А наутро меня начал бить сумасшедший болевой озноб, температура поднялась до сорока с десятыми, рука на месте укола покраснела и вспухла.

Я позвонил друзьям. Они примчались в гостиницу и после долгих совещаний — совещания, даже дружеские, не бывают у нас короткими — решили перевезти меня на квартиру нашей общей знакомой, биолога-генетика Раисы Львовны Берг.

Несколько дней я пролежал у Раисы Львовны, не решаясь дать знать о своей болезни в Москву. А мне становилось все хуже. Температура не падала, домашние средства, которыми меня пытались лечить, не помогали.

Тогда я все-таки поднялся и, обливаясь потом, на подгибающихся ватных ногах добрался до телефона и позвонил в Москву жене.

Уже через три часа после моего звонка она была в Ленинграде. Она почему-то прилетела в шубе, хотя стоял невероятно жаркий апрель, и в первые часы была совершенно растеряна и подавлена. Она тыкалась, как слепой щенок, из угла в угол — а углов в квартире Берг предостаточно — и соглашалась со всем, что ей говорили.

Говорили: его надо отправить в больницу — она соглашалась.

Говорили: надо лечить дома — она тоже соглашалась.

Но на следующий день, проведя бессонную ночь на продавленной раскладушке, она взяла себя в руки — в трудные минуты она всегда умеет взять себя в руки — и принялась действовать.

На счастье, мы с нею оба не вспомнили о Союзе писателей и Союзе кинематографистов — в ту пору я еще был членом и того и другого Союза, — а просто нашли знакомых врачей, которые и устроили меня в самую обыкновенную городскую клиническую больницу имени Эрисмана, в отделение общей хирургии.

А позвони мы, между прочим, в один из Союзов — меня непременно, как московского гостя, устроили бы в Свердловку (ленинградский вариант Кремлевки), где бы я и отдал, как говорится в просторечии, концы!

Меня ввезли на каталке в огромную, человек на три-

дцать, палату. Все кровати у стен были заняты, и каталку оставили стоять посредине. На какое-то время я провалился в беспамятство — температура в это утро была уже сорок один градус.

Когда я очнулся, я увидел, что у моей каталки стоят двое: седой старик с морщинистым смуглым лицом и раскосыми глазами — это был профессор, заведующий отделением, и его хитроумную татарскую фамилию мне так ни разу и не удалось выговорить правильно, и рядом с ним, тоже пожилая, женщина с широким, добрым и каким-то домашним — я не могу подобрать другого слова — лицом.

И именно домашним, а не врачебным движением она положила ладонь на мой лоб, вздохнула и покачала головой.

Профессор наклонился ко мне:

— Сейчас вам сделают обезболивающий укол и отвезут в операционную... Вас будет оперировать наш ведущий хирург — Анна Ивановна Гошкина.

Анна Ивановна покивала мне.

— А почему так сразу? — спросил я.

— А потому что, голубчик, плохо дело, — чрезвычайно спокойно, как-то даже уютно сказала Анна Ивановна, — очень плохо дело!..

Как ни странно, эти ее слова ничуть не взволновали меня.

Анна Ивановна вообще не принадлежала к породе тех врачей-оптимистов, которые, входя в палату, игриво тычут больного пальцем в живот и спрашивают:

— Ну-с, как поживает наш рачок?!

Напротив, еще много дней после первой, а потом и после второй операции Анна Ивановна, осматривая меня или делая мне перевязку, будет сокрушенно покачивать головой и повторять свое: «Плохо дело, очень плохо дело!»

А дела мои, кстати, были и вправду довольно плохи.

Врач из «неотложной помощи» занес мне, делая укол, тяжелейшую инфекцию — золотистый стафилококк. В результате — заражение крови, рожистое воспаление отечной формы и флегмона.

В первые недели моего пребывания в больнице большинство врачей считали, что самым благоприятным исходом будет ампутация руки. И только Анна Ивановна, не преминув сказать: — «Плохо дело! — добавляла: — А руку мы ему все-таки попытаемся спасти!»

Уже старая женщина, она приходила в клинику раньше всех — всегда без четверти восемь утра.

А уходила, случалось, чуть ли не за полночь. Она не

только оперировала, перевязывала и вела факультетские занятия со студентами — она с не меньшей охотой ассистировала другим хирургам, сама, не дожидаясь, пока это сделают сестры или санитарки, перевозила больных на каталке из перевязочной в палату. Она порою сама мыла своих больных.

В войну Анна Ивановна работала фронтовым хирургом.

Мне рассказывали, что однажды, когда она перевозила в санитарной машине раненых через Ладогу по знаменитой «ледяной дороге», случайным шальным осколком убило шофера. Тогда Анна Ивановна, не имевшая ни малейшего понятия, как надо водить машину, села за руль и под обстрелом немецкой артиллерии благополучно доставила раненых на тот берег, в полевой госпиталь.

Когда я как-то в перевязочной спросил ее об этом, она лаконично ответила:

— Пришлось.

...После первой операции меня перевели из огромной палаты в маленькую комнатенку, изолятор для особо тяжелых больных, и разрешили, вернее, даже попросили мою жену круглосуточно дежурить возле меня.

Она и дежурила круглосуточно — спала сидя на стуле около моей постели или в коридоре, в кресле. Изредка, когда кто-нибудь умирал, ей удавалось полежать часок-другой на незастеленной койке.

За день на опухших от усталости ногах она проходила с добрый десяток километров по бесконечно длинным коридорам клиники: то на кухню сварить мне кофе или что-нибудь приготовить, то к сестре-хозяйке за чистой наволочкой или полотенцем — рана моя непрерывно кровоточила.

Я смутно помню эти дни. Мне становилось все хуже. Температура держалась, отек угрожающе поднимался все выше к плечу, не помогало ничто — ни бесконечные переливания крови, ни удвоенные дозы антибиотиков.

Я бредил, распевал какие-то песни без слов — жена потом смеялась, что хорошо, что без слов, — разговаривал с отсутствующими собеседниками.

В редкие минуты просветления я сочинял стихи — читать я не мог.

В первомайский вечер, когда над всем Ленинградом гремела веселая музыка и в почти светлом небе плясали лучи прожекторов, дежурный хирург, осмотрев меня, решительно сказал:

— Сейчас вас подготовят... Необходима — и немедленно — повторная операция!

Честно говоря, мне эта вторая операция улыбалась не слишком, и я попытался скитрить:

— Ну какая же операция — Первое мая! И потом, это даже как-то неудобно — моего хирурга, Анны Ивановны, нету сегодня...

Дежурный врач, не дослушав меня, быстро вышел из палаты.

Успокоенный, я задремал. Я дремал, как мне казалось, не больше пяти минут, а когда открыл глаза — возле моей кровати стояли профессор — заведующий отделением, Анна Ивановна, еще несколько врачей.

Из-под белых халатов выглядывала парадная праздничная одежда.

— Ну, поехали! — мирно сказала Анна Ивановна, наклонилась, приподняла меня — откуда у нее только сила бралась?! — и с помощью сестры переложила на каталку.

Анна Ивановна! Милая моя, прекрасная Анна Ивановна! Я вам обязан не только жизнью и не только тем, что у меня остались обе руки!

Знаете, когда я — в самую, казалось бы, неподходящую минуту — вспомнил о вас?

Сейчас я вам расскажу!

Происходило это, между прочим, все в том же семьдесят первом году, весной которого я лежал в вашей клинике.

Но только теперь уже был декабрь, самые последние дни декабря, веселая и оживленная предновогодняя суетня.

В здании Центрального Дома литераторов было шумно, людно.

В малом зале шла бойкая торговля — писателей снабжали всевозможной снедью к праздничному столу, в ресторане устанавливали огромную елку, развешивали цветочные и электрические гирлянды.

А наверху, на втором этаже, в комнате номер восемь, которую еще называют «дубовым залом», шло заседание секретариата Московского отделения Союза советских писателей, и вопрос на повестке дня стоял один-единственный: об исключении писателя Галича Александра Аркадьевича из членов Союза советских писателей за несоответствие его — Галича — высокому званию члена данного Союза.

Я сидел в удобном кресле, курил и с интересом слушал, что говорил обо мне Аркадий Васильев — тот самый, что выступал общественным обвинителем на процессе Синявского и Даниэля; что кричал обо мне некто Лесючевский, кото-

рого в конце пятидесятих годов чуть было тоже под горячую руку не исключили из Союза, когда была доказана его плодотворная деятельность в сталинские годы в качестве стукача и доносчика, но потом его, конечно, простили — такие люди всегда пригодятся — и даже назначили директором издательства «Советский писатель» и ввели в члены секретариата Московского отделения.

Мне было крайне интересно узнать, что думает обо мне неистовый человеконенавистник Николай Грибачев. А он думал обо мне, бедном, очень плохо. Он просто ужасно обо мне думал!

И знаете, Анна Ивановна, именно во время его гневной и пламенной речи я вдруг представил себе, что вот здесь, сейчас, на этом секретариате, сидите и вы, Анна Ивановна Гошкина, фронтовой хирург, врач, человек среди человекоподобных.

...Однажды в дубовой ложе
Был поставлен я на правез —
И увидел такие рожи,
Пострашней балаганьих рож!..

Простите меня, Анна Ивановна, но я вовсе не тешу себя иллюзиями, я не сомневаюсь, что вы поверили бы всему, что говорилось обо мне на этом судилище: и о моих связях с сионистами, и о моей дружбе с антисемитами, и о моих заигрываниях с церковниками, — поверили бы и Аркадию Васильеву, и Лесючевскому, и Грибачеву, и всем этим пузырям земли: лукониным, медниковым, стрехниным, тельпуговым.

Вы давно уже, Анна Ивановна, не то чтобы приняли, а равнодушно привыкли к правилам этой подлой игры, этого шаманства: вы читаете на ходу газеты, слушаете — не слушая — радио, сидите долгие часы на профсоюзных и партийных собраниях.

Смертельно усталая, вы голосуете за решения, смысл которых вам не очень-то понятен и уж вовсе не важен — куда важнее, начался ли отток гноя у больного А, и не подскочила ли опять температура у оперированной вчера Б. Вас закружили в этом шутовском хороводе, и у вас нет ни времени, ни сил выбраться из него, остановиться, встряхнуть головой, подумать.

Еще раз простите меня, Анна Ивановна, но я даже уверен, что если бы вам на этом достопамятном секретариате предложили принять участие в голосовании — вы, как и все, проголосовали бы за мое исключение. Это одно из правил

игры в советскую демократию — решение должно быть, решение не может не быть единогласным.

Но я не сомневаюсь и в другом: если бы на следующий день меня снова на скрипучей каталке ввезли в операционную вашей клиники — вы надели бы ваш клеенчатый фартук, и приказали бы хирургической сестре готовить инструменты, и бинты, и тампоны, и, позабыв обо всех моих смертных грехах, так же точно, как и тогда, не обращая внимания на усталость и время, вступили бы в борьбу за мою жизнь.

Потому что здесь, на пороге операционной, перестают действовать правила той подлой игры, потому что здесь вы становитесь тем, кто вы есть: человеком, цель и назначение которого — приносить людям добро, облегчать страдания страждущих.

Бедная, счастливая, несчастная Анна Ивановна!

Очнулся я после повторной операции уже под утро.

Откуда-то, очень издалека, доносились протяжные поющие голоса — последние празднователи расходились по домам. Из окон на мою постель падал странноватый желтомолочный свет, и свет этот пронизывал тоненький луч солнца, высвечивая запеленатую бинтами и скованную лубком — лангеткою — руку и серебряную голову моей жены. Она спала на низком неудобном стуле, положив голову мне на ноги.

Почувствовав, что я очнулся, она слегка приоткрыла глаза:

— Тебе что-нибудь нужно?

— Нет, — сказал я. — Мне лучше, Асенька?

— Нет, — сказала она и снова закрыла глаза, — тебе еще не лучше!

И я успокоился. Мне почему-то стало очень спокойно и даже радостно. И я сказал этому мгновению: остановись, запомнись — ныне, присно и во веки веков! Аминь!

Навсегда запомнись, это мгновение, и совсем не потому, что ты было прекрасно! Ты больше, чем просто прекрасно!

Ты мгновение, ты секунда того высшего душевного покоя, когда вдруг приходит к человеку понимание, что он на земле не один, что есть, существуют человеческие судьбы, связанные с его судьбой так же, как и он связан с ними, и связь эта нерасторжима и определена чем-то высшим, нежели обстоятельства или случай.

Будь благословенно это мгновение — молочно-желтый

свет, пронизанный солнцем, легкое покалывание озноба, словно вспыхивающие в стакане минеральной воды пузырьки, и серебряная голова, лежащая у меня в ногах на больничном байковом одеяле.

И было еще в моей жизни.

Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов Патриаршего подворья — бывшей вотчины Колычевых, — и внезапно пришедшие наконец строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака:

Как гордимся мы, современники,
Что он умер в своей постели!..

Будь благословенно это мгновение! Останься в памяти, не исчезни!..

И еще.

Зал Дома ученых в новосибирском Академгородке. Это был, как я теперь понимаю, мой первый и последний открытый концерт, на который даже продавались билеты.

Я только что исполнил как раз эту самую песню, «Памяти Пастернака», и вот, после заключительных слов, случилось невероятное: зал, в котором в этот вечер находилось две с лишним тысячи человек, встал и целое мгновение стоял молча, прежде чем раздались первые аплодисменты.

Будь же благословенным это мгновение!

И еще.

Я пишу эти главы в Серебряном Бору, под Москвою, в деревянном доме, стоящем над рекою. В этом доме скрипят полы и как-то особенно гулко хлопают двери. И все-таки я физически чувствую благословенную и тяжелую тишину. Я приехал в этот дом, когда на земле еще лежал снег, а потом, за одну ночь, началась удивительная весна.

...Было небо вымазано суриком,
Белую поземку гнал апрель.
Только вдруг, прислушиваясь к сумеркам,
Услыхал я первую капель!
И весна — священного священнее! —
Вырвалась внезапно из окон,
И простую тайну причащения
Угадал я в таянье снегов.
А когда в тумане, будто в мантии,
Поднялась над берегом вода,

Образок Казанской Божьей Матери
Подарила мне моя Беда!..

Будь благословенно это мгновение! Запомнись, не сгинь, останься со мной навсегда!..

Шум за занавесом затих, погас без предупреждения свет, и в темном пустом зале снова зазвучал голос Олега Ефремова:

— «...Война! Октябрь тысяча девятьсот сорок четвертого года. Советская Армия движется с боями на запад. В сумерки над осажденными городами стоит невысокое зарево пожаров. Медленно падают черные хлопья пепла, похожие на белые хлопья снега. Ветер гудит рваным листовым железом. Ахают дальнобойные. И немногие уцелевшие жители, забившись в погреба и подвалы, устало и нетерпеливо ждут... Жизнь и смерть начинаются одинаково — ударом приклада в дверь!..

В тот год мы возвращались в родные города, шагали по странно незнакомым улицам, терли кулаком слипающиеся глаза и внезапно в невысоком холме с лебедой и крапивою узнавали сказочную гору нашего детства, вспоминали первую пятилетку, шарманку на соседнем дворе, неподвижного голубя в синем небе и равнодушный женский голос, зовущий Серёньку...

Мы научились вспоминать. Мы стали взрослыми».

...Пошел занавес.

До сих пор не могу понять, как удалось ребятам из столов и скамеек соорудить такую сложную декорацию, — но это им удалось. Во всяком случае, я отчетливо помню, что у меня было полное ощущение и вагона, и движущегося поезда, и покачивающихся подвесных коек.

Ефремов продолжал, чуть понизив голос, точно боясь потревожить спящих:

— «Санитарный поезд. Кригеровский вагон для тяжело раненых. По обе стороны вагона двойной ряд подвесных коек с узким проходом посередине. Верхний свет не горит, и в предутренних сумерках видны только первые от тамбура четыре койки — верхняя и нижняя, верхняя и нижняя.

И на одной из этих нижних коек, запрокинув голову на взбитую подушку, сжав запекшиеся губы и закрыв глаза, лежит старший лейтенант Давид Шварц.

Беспокойно и смутно спят раненые: мечутся, бредят, скрипят зубами, плачут и разговаривают во сне. Кто-то выкрикивает отрывисто и невнятно: «Первое оружие — к бою!

Второе орудие — к бою! По фашистским гадам прямой наводкой — огонь!..»

Но никто не торопится выполнять приказание, не гремят орудия, не взлетает в дымное небо вопящая взорванная земля — мирно гудит поезд, постукивают колеса, и лишь по временам за окнами, как напоминание об огне, пролетают быстрые, мгновенно гаснущие искры от паровоза.

Возле койки Давида, на низком табурете, положив на колени длинные усталые руки с пожелтевшими от йода пальцами, в белом халате и затейливой белой косынке медицинской сестры сидит Людмила Шутова, молча и тревожно поглядывает на Давида...»

Олег Ефремов неторопливо ушел за кулисы.

Глава четвертая

В конце третьего действия что-то случилось с занавесом.

Он закрывался медленно, судорожными рывками, и в еще темном зале мне послышалось, что кто-то всхлипывает. Я помнил острогу Генриха Гейне, что читателя или зрителя легче всего заставить плакать — для этого достаточно обыкновенной лувовицы.

Но после того как в течение целых трех действий на лицах *этих* зрителей в *этом* зале не отразилось ровным счетом ничего, мысль о том, что кого-то из них все-таки прошибла слеза, доставила мне минутное горькое удовлетворение.

Впрочем, когда занавес наконец закрылся и в зале включили свет, оказалось, что я ошибся. Никто и не думал плакать. Просто бутылочную начальницу окончательно расхватил насморк.

Отсморкавшись и с достоинством закинув платочек в рукав, она обернулась к Солодовникову и сказала с искренним огорчением:

— Как это все фальшиво!.. Ну ни слова правды, ни слова!..

И тут я не выдержал!

Бешенство залило меня как озноб, и, уже не помня себя, я проговорил отчетливо и громко:

— Дура!

Жена вцепилась мне рукою в плечо.

Бутылочная и кирпичная внимательно, словно хорошенько запоминая на будущее, посмотрели на меня, кирпичная сокрушенно покачала головой, а бутылочная совершенно неожиданно улыбнулась.

Дней через десять мы будем сидеть с нею вдвоем в ее служебном кабинете на Старой площади, в здании ЦК КПСС.

Уступив настояниям Олега Ефремова, который бессмысленно продолжал надеяться, что еще можно что-то спасти, я позвонил бутылочной и попросил разрешения прийти к ней побеседовать.

Как ни странно, она чрезвычайно охотно согласилась на свидание. И даже без обычного «позвоните на будущей неделе». Нет, она сказала:

— Приходите, пожалуйста. Завтра вам удобно?

— Да.

— Ну, давайте завтра.

И вот мы сидим с нею вдвоем в ее служебном кабинете. Очень, как выражаются в пивных, культурно сидим. Соколова — за столом, в кресле, я — напротив, на стуле. За окном — серенький зимний день. Бесшумно падает мелкий снежок. И вообще вокруг как-то удивительно, почти неправдоподобно тихо. Так уж положено в этом здании — говорить негромко, по коридорам ходить чуть ли не цыпочках. Здесь не смеются и не балагурят, здесь даже телефонные звонки звенят настороженно-приглушенно.

Здесь сердце и мозг страны, здесь ее святая святых!

И в этой святой святых я услышал такие слова, — доверительно наклонившись ко мне через стол, округлив маленькие бесцветные глазки, Соколова сказала:

— Вы что же хотите, товарищ Галич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?! Это евреи-то!

Я сделал неуверенный протестующий жест, но Соколова строго сказала:

— Нет, вы обождите, вы не перебивайте меня! Вы ведь ко мне пришли, чтобы мое мнение выслушать, верно? Вот я вам его и выскажу!

Она побарабанила пальцами по столу:

— Еврейский вопрос, Александр Арка-ди-е-вич, — она необыкновенно тщательно, по слогам, выговаривала мое отчество, — это очень сложный вопрос! К нему, знаете ли, с кондачка подходить нельзя. В двадцатые годы — так уж оно получилось, — когда русские люди зализывали, что называется, раны, боролись с разрухой, с голодом, представители еврейской национальности в буквальном смысле слова заполонили университеты, вузы, рабфаки... Вот и получился перекосяк! Возьмите, товарищ Галич, к примеру, кино... — Она сделала паузу и, понизив голос, почти шепотом прого-

ворила: — Ведь одни же евреи! — Она снова повысила голос и почти в упор спросила меня: — Должны мы выправить это положение?

И сама, не дождавшись моего ответа, твердо сказала:

— Должны! Обязаны выправить! Вот, говорят — я сама слышала, — будто мы, как при царском режиме, собираемся процентную норму вводить!.. Чепуха это, поверьте!.. Чепуха, если еще не хуже! Никакой процентной нормы мы вводить не собираемся, но... — Она погрозила пальцем какому-то незримому оппоненту. — Но, дорогие товарищи, предоставить коренному населению преимущественные права — это мы предоставим! Хотите, обижайтесь на нас, хотите, жалуйтесь, — но предоставим!..

Так впервые зимою 1958 года, во вполне дикарском изложении бутылочной Соколовой — инструктора Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, — я услышал о теории «национального выравнивания».

Впоследствии в целом ряде выступлений, статей и даже в докторской диссертации преподавателя Горьковского университета, некоего Мишина — напечатанной, кстати, отдельной книгой в семидесятом году под названием «Общественный прогресс», — теория эта получит свое вполне наукообразное оформление. Впрочем, от наукообразия дикарская суть этой теории не изменится. Это будет все то же вечное «бей жидов, спасай Россию!», все то же стремление к созданию гетто — правда, нового типа, такого интеллектуального гетто, которое оградит наши больницы и институты, наши издательства и редакции, наши киностудии и театры от проникновения в них представителей сионистской пятой колонны.

После шестидневной войны и разрыва дипломатических отношений с Израилем обо всем этом заговорят уже не стесняясь, в полный голос, открытым текстом...

А Соколова, покончив с вводной частью, перешла наконец непосредственно к моей пьесе:

— Вот у вас, товарищ Галич, есть там сцена в санитарном поезде... Я сказала, что в ней все фальшиво, а вы меня за это «дурой» обругали.

Я снова попытался сделать не слишком искренний протестующий жест, и Соколова снова не дала мне возразить:

— Нет, нет, вы не подумайте, что я в обиде на вас! Бывает — вырвется слово, потом сам не рад, да уж поздно! Не в этом, Александр Ар-ка-ди-е-вич, дело! Давайте мы лучше разберем с вами эту сцену! Кто в ней главный герой? Скрипач этот ваш, Додик! И что же получается? Когда в

конце диктор читает правительственное сообщение и комиссар говорит — вот, дескать, что мы с вами сделали, — то получается, что это Додик все сделал?! — Она горестно усмехнулась. — А с папашей у вас и вовсе полная путаница! То он жуликом был, то вдруг в герои вышел — ударил гестаповца скрипкою по лицу! Да не было этого ничего, товарищ Галич, не было! Я признаю — еврейский народ очень пострадал в войну, это так!.. Но ведь, между прочим и другие народы пострадали не меньше. Но только русские люди, украинцы, белорусы с оружием в руках защищали свою землю — не в регулярных частях, так в партизанских, — били фашистов, гнали их, уничтожали... И стар, понимаете, и мал! Возьмите хотя бы краснодонских героев! Дети, а каких делов понаделали! А еврей? Шли, как... Извините, товарищ Галич, но я даже слова приличного подобрать не могу, — шли покорно на убой — молодые люди, здоровые... Шли и не сопротивлялись! Трагедия? Да! Но для русского человека, Александр Ар-ка-ди-е-вич, есть в этой трагедии что-то глубоко унижительное, стыдное...

И тут со мною что-то случилось!

Соколова продолжала говорить, но я уже больше не слушал и не слышал ее слов, не видел ее лица.

Я увидел другое, прекрасное в своем трагическом уродстве, залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили, Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы — документы и фотографии о восстании в Варшавском гетто.

Всклипывая, он все перекладывал и перекладывал эти бумажки и фотографии на своем огромном столе, все перекладывал и перекладывал их с места на место, словно пытаясь найти какую-то, ведомую только ему горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил:

— Ты не забудешь?

Я покачал головой.

— Не забывай, — настойчиво сказал Михоэлс, — никогда не забывай!

Я не забыл, Соломон Михайлович!

...Уходит наш поезд в Освенцим,
Наш поезд уходит в Освенцим —
Сегодня и ежедневно!

И другое лицо увидел я — зеленоглазое, слегка насмеш-

ливое, необычайно красивое лицо поэта Переца Маркиша.

...Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей (существовала когда-то такая секция!). После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно — хоть и не знал даже языка — должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженным, при галстукке (часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью), и где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому.

И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мною и проговорил нарочито громко и грубо:

— А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка, убирайтесь отсюда вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!..

Я опешил. Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось?

Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы огорчения и обиды.

Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы, многие — и среди них Маркиш — физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование.

И теперь я знаю, что Маркиш — в ту секунду, когда он громогласно назвал меня «чужим» и выгнал с заседания, — просто спасал мне, мальчишке, жизнь.

Я этого не забыл, Перец, я этого никогда не забуду!

...Откуда-то из липкого тумана, из болотной хляби, мерзкий, словно его соскребли со стены привокзального сортира, прозвучал голос Соколовой:

— А можете ли вы, товарищ Галич, гарантировать, что на вашем спектакле — если бы он, конечно, состоялся — не будут происходить всякие националистические эксцессы?! Не можете вы этого гарантировать! И что же получится? Получится, что мы сами, своими руками, как говорится, даем повод и для сионистских, и для антисемитских выходов...

Но я уже опять перестал слушать ее и слышать.

...Сначала заиграл духовой оркестр — песни Дунаевского и старинные вальсы. Потом зажглись круглые матовые фонари, заблестел лед, зазвенели коньки — и закружились, понеслись все быстрее и быстрее нарядные фигурки конькобежцев.

В начале тридцатых годов мы переехали из венеитиновского дома на Малую Бронную, и моим миром стали Никитские ворота, Тверской бульвар, Большая и Малая Бронная и, конечно же, Патриаршие пруды: летом — зеленый сквер с прудом и лодочной станцией, а зимой — каток.

Каток на Патриарших прудах! Как часто, с какой благодарностью и нежностью я вспоминаю тебя!

Вьюга листья на крыльцо намела,
Глупый ворон прилетел под окно
И выкаркивает мне номера
Телефонов, что умолкли давно!
Словно встретились во мгле полюса,
Прозвенели над огнем топоры —
Оживают в тишине голоса
Телефонов довоенной поры!
И внезапно, обретая черты,
Шепелявит в телефон шепоток:
— Пять — тринадцать — сорок три? Это ты?
Ровно в восемь приходи на каток!..

И, подхватив чемоданчик (а ходить на каток без чемоданчика считалось дурным тоном), как бы ни был я устал или занят, я мчался на Патриаршие пруды.

Это был не просто каток. Это был своего рода клуб, место, где мгновенно возникали и так же мгновенно кончались неистовые и стремительные юношеские романы, где выяснялись отношения и обсуждались планы на будущее.

И все это под шум, смех, звон коньков и похрипыванье духового оркестра, повторявшего раза три в вечер свой коронный номер — вальс «На сопках Маньчжурии»:

Спит гаолян,
Сопки покрыты мглой...

В последнюю предвоенную зиму на нашем катке появилась новая девушка, которую никто не знал. Причем появилась она и как-то внезапно, и как-то очень определенно.

Мой приятель Яшка Лифшиц — в сорок девятом году он будет расстрелян в Лефортовской тюрьме как враг народа и не то японский, не то английский шпион — сказал про нее:

— Вот ее не было — и вот она есть!

Да, она была, она существовала — тоненькая, золотоволосая, с удивительными прозрачно-синими глазами. И одета она была тоже для тех лет необыкновенно: золотистые волосы перехвачены широкой белой лентой, белый свитер и короткая, торчком, похожая на балетную пачку белая юбка.

Через несколько дней после первого появления этой девушки на Патриарших прудах все тот же всеведущий Яшка сообщил нам в раздевалке катка все, что ему удалось узнать о ней:

— Зовут ее Лия... Фамилия Канторович... Отец — еврей, наверное... А мать была немка, но мать умерла... Она много лет прожила в Австрии, отец ее там в торгпредстве работал... Они вон в том доме живут — напротив катка...

Это были и вправду чрезвычайно ценные сведения. И самым ценным было то, что Лия жила в доме, выходившем окнами на Патриаршие пруды, и, стало быть, появление ее на нашем катке не было случайным — зачем ей ездить в Парк культуры или на Петровку, на каток «Динамо»?!

К этому катку на Петровке мы испытывали откровенное, давнее и стойкое недоброжелательство. Мы считали, что на этот каток ходят одни пижоны — с Кузнецкого моста и Столешникова переулка, и ходят не столько кататься на коньках, сколько глазеть на знаменитых завсегдатаев — актеров и спортсменов.

На нашем катке знаменитости не бывали — здесь мы сами были знаменитостями.

В тот же день, после Яшкиного сообщения, мы познакомились с Лией. Мы просто подъехали всей компанией к скамейке, на которой она отдыхала, остановились и хором сказали:

— Здравствуйте, Лия, мы хотим с вами познакомиться!

— Очень приятно, — серьезно ответила Лия, — а кто вы такие?

Мы по очереди начали представляться, но Лия улыбнулась:

— Не надо, не надо! Я буду знакомиться постепенно!..

Так, естественно и спокойно — а она все делала естественно и спокойно, — Лия стала полноправным членом нашей компании.

Мы звонили ей по телефону — сообщали время, когда придем на каток, иногда провожали ее все вместе до дома, но никто из нас в нее почему-то не влюблялся.

Лия была Лией — самой красивой, самой, пожалуй, ум-

ной из всех нас и немножко загадочной, а влюблялись мы в девушек попроще и попонятнее.

Однажды — это было в январе сорок первого года, — еще задолго до закрытия катка, Лия сказала мне:

— Знаешь, я что-то сегодня устала! Проводишь меня?

— Хорошо, — сказал я с некоторым недоумением, так как обычно мы уходили с катка самыми последними, когда оркестранты начинали запихивать в чехлы свои тромбоны и трубы и один за другим гасли матовые шары-фонари. — Сейчас я скажу ребятам!

— Не надо, — сказала Лия, — проводи меня один.

Мы медленно шли с нею по дорожкам сквера. Мы шли, молчали, и веселые голоса, доносившиеся с катка, звуки музыки словно подчеркивали тишину нашего молчания и поскрипывания снега под ногами.

Неожиданно Лия спросила:

— Это правда, что ты пишешь стихи?

— Да.

— Прочти что-нибудь.

Я подумал и прочел стихи, которые когда-то хвалил Багрицкий, — стихи о тютчевской усадьбе в Муранове.

Стихи эти, как и большинство стихов той поры, у меня не сохранились, теперь я их уже и не помню, помню только одну строфу:

...А здесь с головы и до самых пят
Чужой нежилой уют,
Здесь даже вещи не просто скрипят,
А словно псалмы поют!..

— Еще! — потребовала Лия.

Я прочел что-то еще.

— А зачем ты работаешь в театре? — спросила Лия.

Я пожал плечами:

— Интересно.

— Какая чушь! — вздохнула Лия.

Мы подошли к подъезду ее дома, остановились. Лия посмотрела на меня снизу вверх — я уже вымахал тогда все свои сто восемьдесят три сантиметра, и золотая Лиина голова едва доходила мне до плеча — и сказала:

— Мне понравились твои стихи... И вообще ты мне немножко нравишься! Но только ты как-то совершенно не умеешь думать!.. — Она усмехнулась. — Вот мне и придется хорошенько подумать — за тебя и за меня.

— О чем? — тупо спросил я.

Лия не ответила.

— Я позвоню тебе завтра, — сказал я.

— Нет, — сказала Лия, — ты не звони... Я сама тебе позвоню. Но, наверное, не скоро — когда все обдумаю.

Она оглянулась и неожиданно приказала:

— Поцелуй меня!

Являя собой вполне идиотское зрелище: в одной руке у меня был Лиин чемоданчик, а в другой руке — мой, я наклонился и поцеловал Лию в холодную щеку и краешек губ. Она снова снизу вверх посмотрела на меня, засмеялась, выхватила свой чемоданчик, показала мне язык и убежала.

И все-таки я позвонил ей первым — позвонил и пригласил ее на премьеру «Города на заре».

— Хорошо! — сказала Лия. — Мне не хочется, но я приду!

...Когда закончился спектакль, я быстро разгримировался, переоделся и вышел в фойе, где кипела возникшая стихийно дискуссия: что-то кричал, размахивая руками, поэт Павел Антокольский, что-то гудел драматург Александр Гладков, ребята из ИФЛИ пели хором песню из нашего спектакля:

У березки мы прощались,
Уезжал я далеко,
Говорила, что любила,
Что расстаться нелегко!..

А Лия стояла в стороне, совсем одна, опершись локтями на подоконник, какая-то неправдоподобно красивая и грустная, в темном платье, в туфельках на высоких каблуках.

— Лия, — задыхаясь, сказал я, — поедem с нами, хорошо?! Мы сейчас все к Севке Багрицкому собираемcя... Поедem?

— Будете праздновать? — насмешливо спросила Лия.

— Да, — сказал я, — а что?

— А я не хочу с вами праздновать, — с необычной резкостью сказала Лия, — мне не понравился ваш спектакль! Мне не понравилось, как ты играешь!

Я обиделся и, как всегда, не сумел этого скрыть. В спектакле «Город на заре» я играл одну из главных ролей — комсомольского вожака Борщаговского, которого железобетонный старый большевик Багров и другие «хорошие» комсомольцы разоблачают как скрытого троцкиста. В конце пьесы я уезжаю в Москву, где, совершенно очевидно, буду арестован.

— Вернее, мне не понравилось — что ты играешь! — сама себя поправила Лия, увидев мое обиженное лицо. — Как ты

можешь — такое играть?! Я же говорила, что ты совершенно, совершенно не умеешь думать!.. И вот что еще: я поняла, что у нас ничего не получится! Ты мальчишка, а я женщина...

— Что значит — женщина?! — нетерпеливо спросил я.

Я спешил: Севка с ребятами — и среди них девушка, которая мне очень нравилась, — уже ждали меня внизу, и у меня не было ни времени, ни желания выяснять с Лией отношения.

— А ты не знаешь, что это значит? — усмехнулась Лия и с вызовом вскинула голову. — Я спала с женщиной, понятно тебе? Со взрослым мужчиной!.. — Она легонько толкнула меня ладошкой в грудь: — Иди! Иди празднуй!..

И я ушел. И мы уже никогда больше не встречались.

Несколько раз я звонил Лие, но она была очень занята, готовилась к весенней сессии, да я и сам был очень занят: через день, по вечерам, мы играли спектакль, в первой половине дня с Исаем Кузнецовым и Севой дописывали пьесу «Дуэль», начинали репетиции «Рюи Блаза» Гюго.

Недели через две после начала войны мама сказала, что ко мне заходила прощаться необыкновенно красивая девушка, просила передать мне привет и сказать, что ей очень жалко.

А почему и чего было жалко Лие, не понял ни я, ни тем более мама.

Лия ушла на фронт медсестрой. За свою недолгую военную службу она вынесла с поля боя больше пятидесяти раненых, а когда под Вязьмою был тяжело контужен командир роты, Лия оттащила его в медсанбат, вернулась на позицию и подняла бойцов в контратаку.

Я уверен, что она не кричала: «За Родину, за Сталина!» или: «Смерть немецким оккупантам!» Конечно же, нет! Она сказала что-нибудь очень простое, что-нибудь вроде того, что говорила обычно в те давние-давние времена, когда мы выходили из раздевалки на наши Патриаршие пруды и Лия, постукав коньком об лед, весело бросала нам:

— Ребята, за мной!..

Уже в сентябре сорок первого года Лия была убита.

Посмертно ей присвоили звание Героя Советского Союза.

...Снова возник голос Соколовой:

— Вот почему, товарищ Галич, я и сказала после третьего действия, что все это насквозь фальшиво!.. Всякая пьеса, Александр Ар-ка-ди-е-вич, какая бы она ни была —

мне лично ваша пьеса кажется плохой пьесой, — но все равно всякая пьеса дает обобщенные типы... У вас они тоже обобщенные — но неправильно! Ну, насчет геройства и всего такого прочего!.. Неправильные обобщения!..

Она встала, давая понять, что на этом наша беседа с нею закончена.

— Мы, — сказала она, подчеркивая это «мы» и голосом, и интонацией, и даже телодвижением, — мы вашу пьесу рекомендовать к постановке не можем! Мы ее не запрещаем, у нас даже и права такого нет — запрещать! — но мы ее не рекомендуем! Рекомендовать ее — это было бы с нашей стороны грубой ошибкой, политической близорукостью!..

По длинному и чистому, стерильно чистому коридору я попал на лестничную площадку, спустился вниз, отдал мордастому и очень вежливому охраннику свой разовый пропуск и вышел на улицу.

Дни стояли короткие — февраль, уже смеркалось, по-прежнему падал с неба мелкий снежок, проезжали машины с включенными фарами, дворники посыпали тротуары крупной серой солью.

Горе тебе, Карфаген!

...Я медленно шел по Китайскому проезду к площади Дзержинского. Я был слегка оглушен всем, что сегодня услышал, но мне почему-то не было ни обидно, ни грустно — скорее, противно!

К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притерпеться. Я высидел сотни часов на сотнях прокуренных до сизости заседаний, где говорились высокие слова и обдeldывались мелкие делишки.

Но такой воистину дикарской откровенности, такого самозабвенного выворачивания мелкой своей душонки, которое продемонстрировала Соколова, мне до сих пор не приходилось еще ни видеть, ни слышать.

Со мной — о моей пьесе, о проблемах типического и национального вопросе — говорила, в сущности, та самая знаменитая кухарка, которая, по идее Ленина, должна была научиться управлять государством.

В раннем детстве, в первых классах школы, мы разучивали и пели на уроках пения песню с такими восхитительными строчками:

Чтобы каждая кухарка
Не коптела б, как дикарка,
А училась непременно
Управлять страной отменно!..

Вот она и научилась! Вот она и управляет!

Это же так просто — управлять страной: выслушивай мнение вышестоящих товарищей и пересказывай их нижестоящим товарищам. Нечто подобное происходит на всех этажах, на всех ступенях огромной пирамиды, называемой «партией и правительством»!

А я не стоял ни на одной из этих ступенек, даже на самой нижней. Я не существовал. Меня не было. Я не значился. Так чего же ей, Соколовой, которая так отменно научилась управлять государством, чего же ей было меня стесняться?

Она и разоткровенничалась. И была в этой откровенности и простая бабья месть за брошенное мною на репетиции словцо «дура», и подлинная дурость, и злорадное торжество имущего власть над никакой властью не имущим.

И все-таки, все-таки самого главного обстоятельства, по которому моя пьеса не могла быть поставлена, не должна, не имела права быть поставленной, — Соколова мне в тот день не сказала.

Допустим, что она и не думала об этом обстоятельстве, вернее, не умела еще выразить его в слове, но она уже чувствовала его — тем особым, обостренным чутьем животного, знающего только звериные правила борьбы за существование.

И тут я должен вернуться к вопросу, которого я мельком коснулся в первой главе, — к вопросу создания всякого рода неравенств, каковая система, по искреннему убеждению соколовых обоюбого пола, и есть способ «отменного» управления государством.

Вечерами по загородным шоссе с не предусмотренной автоинспекцией скоростью мчатся машины — черные «Волги», черные «Чайки», черные «ЗИЛы». С основного шоссе они лихо и круто сворачивают на неразличимые для неопытного глаза асфальтовые тропинки — и тогда, позванивая, поднимаются шлагбаумы, отворяются ворота, начинается суетиться охрана, преисполненная сознанием ответственности исполняемого ею государственного долга. Потом, через некоторое время, все затихает.

Отдыхает начальство, отдыхают «слуги народа», «народные избранники», плоть от плоти и кровь от крови, отдыхают на своих госдачах, отгородившись от народа заборами и охраной, под сенью табличек: «Посторонним вход воспрещен!»

Но как бывают разными запретительные знаки: от скромной таблички до милицейского кирпича и вооруженной ох-

раны, так бывают разными и сами госдачи. О, тут существуют тончайшие оттенки: на одних полагаются картины, чешский хрусталь, столовое серебро, обслуживающий персонал, или, как его называют, «обслуга», — человек двадцать, не меньше, собственный кинозал; на других дачах перебьются и без картин, обойдутся простым стеклом и нержавеющей сталью, «обслуга» — человека два, и кино приходится смотреть в общем — разумеется, тоже закрытом для простых смертных — кинозале. Хитроумнейшая система!

Даже сотрудники одного и того же учреждения получают пропуска разной формы и цвета. По одним — скажем, розовым и продолговатым — вы можете в обеденный перерыв посетить спецбуфет, где икра, и вобла, и американские сигареты, и весь обед стоит гроши, а по другим — допустим, зеленым и квадратным — извольте спуститься в обыкновенную столовую, где о вобле и слыхом не слыхали, где лучший сорт сигарет — дубовые «Столичные» и обед стоит столько же, сколько в любой другой городской столовой.

Возможно, вы не знаете историю, давно уже ставшую анекдотом.

Знакомая одних наших знакомых совершенно случайно попала в загородную правительственную больницу «Кунцево».

И вот какой разговор она услышала за завтраком. Поедая бутерброд с лососяной, жеманная жена одного «народного избранника» жаловалась другой:

— Ну, я-то понимаю, почему я сюда попала! Я заехала к одной своей школьной подруге — не из наших... Она стала угощать чаем, неудобно было отказаться — выпила чаю, покушала городской колбасы — и пожалуйста, вспышка гастрита!..

Вот ведь оно как: уже не принимают, не переваривают *их* желудки «городскую» колбасу!

Но добро бы дело сводилось только к сигаретам и колбасе.

Иметь розовый пропуск — это значит жить в особом мире, где свои деньги и порядки, свои книжки и газеты, вроде «Белого ТАССа», где смотрят особые заграничные фильмы, где почти бесплатно отдыхают в спецсанаториях и где, наконец, на государственный счет — то бишь на счет обладателей зеленых пропусков и прочих — ездят в заграничные командировки.

Вот и попробуйте теперь сравнить — куда там! — страстную мечту Акакия Акакиевича о новой шинели с мечтою современного Башмачкина, обладателя зеленого пропуска, о пропуске розовом!

Господи, да прикажи ему вышестоящий товарищ, от которого может что-то зависеть, спинку почесать — почешет, в дерьмо нырнуть — нырнет, прикажи дать по рылу «кому совсем невиноватому» — даст, за милую душу даст! Лишь бы держать на потной ладони этот розовый продолговатый выигрышный лотерейный билет, этот волшебный пропуск в иной, волшебный мир — и чтобы на этом пропуске таким красивым, с завитушками, почерком было написано твое собственное имя!..

А уж когда Акакий Акакиевич пропуск этот получит — попробуйте-ка его отнять! Тут уж он не только по рылу даст — тут он на что угодно пойдет: на любую подлость и преступление, на любой донос и предательство.

И все-таки — случается — отнимают!

Все на свете преходяще: и молодость, и здоровье, и розовые пропуска!

И приходится на старости лет, как пришлось это «деятелям антипартийной группы и примкнувшему к ним Шепилову», обзаводиться не государственными, а своими, купленными на обычные деньги «городскими» вилками, ложками и тарелками!

Страшно!

И ноют, мучительно ноют сердца соколовых, тяжело ворочается вермишель чиновных мозгов: а нет ли такой системы неравенства, которая была бы не преходящей, а вечной, не зависела бы от звания и чинов, от того, кто сегодня на самом верху, от времени и обстоятельств и с лихвою искупала бы собственную дурость?!

Оказалось, что такое неравенство — есть!

Простейший канцеляризм, невинный «пятый пункт», ответ на вопрос анкеты о национальности, а вот поди ж ты, каким могучим смыслом и содержанием наполнила его чиновная догадливость!

Ведь вот же он, не дававшийся в руки средневековым алхимикам философский камень мудрости, — неравенство прекрасное и вечное, неравенство неизменное навсегда.

Разумеется, известно оно было давно и не соколовы его придумали, но как-то так, до поры, за разговорами о нашем интернационализме как о великой силе международной братской солидарности они об этом неравенстве не то чтобы забыли, а вроде упустили из виду, а уж когда спохватились...

А ведь я-то в своей пьесе «Матросская тишина» пытался, по наивности и глупости, доказать, что в Советской России для представителей еврейской национальности путь ассими-

ляции — не только разумный, но и самый естественный, нормальный, самый закономерный путь.

Я не случайно, а вполне обдуманно и намеренно выдал замуж за Давида не Хану, а Таню, а Хану отправил на Дальний Восток, где на ней женится некий капитан Скоробогатенко, — об этом в четвертом действии расскажет старуха Гуревич.

Кстати, по настоянию Ефремова в программке, отпечатанной на пишущей машинке для зрителей генеральной репетиции, пьеса называлась не «Матросская тишина», а «Моя большая земля» — по последним словам Давида в третьем действии, словам, которые для начальственных дамочек должны были прозвучать как прямое кощунство и оскорбление.

Его земля, изволите ли видеть!

Сам того не понимая, я посягнул на святыню, покусился на основу основ — вот чего не сказала мне Соколова.

Повторяю, в тот год она еще, возможно, и не могла бы мне этого сказать, это еще только носилось в воздухе, формулировки еще не были найдены, хотя необходимость их найти была очевидна.

Странно: казалось бы, уже избивались космополиты, уже был уничтожен Еврейский театр, расстреляны ведущие еврейские писатели и поэты, уже готовилось, после завершения «дела врачей», распределение всех евреев Советского Союза на четыре группы: немногочисленные первые две — «евреи нужные» и «евреи полезные» и многочисленные — «евреи, подлежащие выселению в отдаленные районы страны» и «евреи, подлежащие аресту и уничтожению».

Все это уже было, но внезапная смерть Сталина, а потом доклад Хрущева на Двадцатом съезде КПСС снова на время спутали карты. Впрочем, кого-кого, а чиновников сбить с толку не так-то просто. Скоро, очень скоро все возвратится на круги своя, а «шестидневная война» подведет окончательные итоги — фокус не удался, факир был пьян, как дрова, чиновники могут торжествовать: «пятый пункт», и никаких гвоздей!

Перефразируя известные слова Оруэлла из «Скотского хутора», можно сказать: все граждане Советского Союза неравны, а евреи неравнее других!

И не может быть естественной и нормальной ассимиляции в той среде, которая больше всего на свете, всеми своими помыслами, узаконениями и инструкциями — этой ассимиляции не хочет и не допустит.

Орден — пожалуйста, звание — милости просим, не возражаем (и орденам и званиям уже давно три копейки цена,

а на худой конец, их можно и отобрать!), но восхитительного «пятого пункта», каиновой печати во веки веков, знака качества второго сорта, — этого мы вам не подарим, этого не уступим! А тот факт, что множество людей, воспитанных в двадцатые, тридцатые, сороковые годы, с малых лет, с самого рождения привыкли считать себя русскими и действительно всеми своими корнями, всеми помыслами связаны с русской культурой, — тем хуже для них!

Это как с возрастом: сам себя считаешь еще хоть куда, князь, да и только, а уже вежливый пионерчик, уступая тебе место в метро, говорит:

— Садитесь, дедушка!

Сидите, дедушки! Сидите, бабушки! Сидите и не рыпайтесь! Ассимиляции им захотелось!

Современная анкета уже интересуется, бабушки и дедушки, вашей национальностью. Ей отца и матери мало. Ей наплевать, что фамилия заполнявшего анкету Иванов.

Вот он пишет в биографии — русский,
Истый-чистый, хоть станомь напоказ.
А родился, между прочим, в Бобруйске,
И у бабушки фамилиё — Кац.

Значит, должен ты учесть эту бабку
(Иванову, натурально, молчок!),
Но положи его в отдельную папку
И поставь на ней особый значок!..

Я пишу обо всем этом без гнева и даже без горечи!

Я уже говорил и охотно повторяю, что я просто пытаюсь разобраться в собственной жизни и понять — почему запрещение (пардон, не рекомендация!) пьесы «Матросская тишина» так много для меня значило и сыграло такую важную роль в моей судьбе.

Наверное — так я думаю теперь, — потому, что это была последняя иллюзия (а с последними иллюзиями расставаться особенно трудно), последняя надежда, последняя попытка поверить в то, что все еще как-то образуется.

Все наладится, образуется,
Так что незачем зря тревожиться,
Все безумные образуются,
Все итоги непременно подытожатся!..

Вот они и подытожились.

Сегодня я собираюсь в дорогу — в дальнюю дорогу, трудную, извечно и изначально горестную дорогу изгнания. Я уезжаю из Советского Союза, но не из России! Как бы напыщенно ни звучали эти слова — и даже пускай в разные годы многие повторяли их до меня, — но моя Россия остается со мной!

У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы — и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться, ибо родина для меня — это не географическое понятие, родина для меня — это и старая казачья колыбельная песня, которой убаюкивала меня моя еврейская мама, это прекрасные лица русских женщин — молодых и старых, это их руки, не ведающие усталости, — руки хирургов и подсобных работниц, это запахи — хвои, дыма, воды, снега, это бесмертные слова:

Редает облаков летучая гряда!
Звезда вечерняя, печальная звезда —
Твой луч осеребрил уснувшие долины,
И дремлющий залив,
И спящие вершины...

И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные — печальные и нежные — глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит — убитый и накрытый шинелью — у подножия горы Машук и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых своих последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертельный — уже оттуда — вздох.

Кто, где, когда может лишить меня этой России?!

В ней, в моей России, намешаны тысячи кровей, тысячи страстей веками терзали ее душу, она была в набаты, грешила и каялась, пускала «красного петуха» и покорно молчала — но всегда в минуты крайней крайности, когда казалось, что все уже кончено, все погибло, все катится в тартарары, спасения нет и быть не может, искала — и находила — спасение в Вере!

Меня — русского поэта — «пятым пунктом» отлучить от этой России нельзя!

Генрих Бёлль недавно заметил, что в наши дни наблюдается странное явление: писатели в странах с тоталитарными режимами обращаются к Вере, писатели в демократических странах — к безбожию.

Если наблюдение это верно, то надо с грустью признать,

что человечество, как и прежде, упорно не желает извлекать уроков из чужого опыта.

Повторяется шепот,
Повторяем следы,
Никого еще опыт —
Не спасал от беды!

Что ж, дамы и господа, если вам так непременно хочется испытать на собственной шкуре — давайте, спешите! Восхищайтесь председателем Мао, вешайте на стенки портреты Троцкого и Гевары, подписывайте воззвания в защиту Анджелы Дэвис и всевозможных «идейных» террористов.

Слышите, дамы и господа, как звонко и весело постукивают пули, вгоняемые в обойму, — это для вас, уважаемые, сколачиваются плахи, это вам, почтеннейшие, предназначена первая пуля! Охота испытать? Поторапливайтесь — цель близка!

Волчица-мать может торжествовать: современные Маугли научились бойко вопить: мы одной крови, ты и я!

Только, дамы и господа, это ведь закон джунглей, это звериный закон. Людям лучше бы говорить: мы одной Веры, ты и я!

...Но пришла пора вернуться в зрительный зал. Пьеса еще не кончена, еще предстоит четвертое действие.

Ох уж это четвертое действие!

Сколько я с ним бился, сколько раз правил и переписывал, но так и не сумел до конца высказать в нем все то, что я хотел в ту пору сказать...

Если бы я писал это действие сегодня, я бы уж знал — как нужно его написать. Как и о чем.

Но я умышленно (в противном случае весь этот рассказ потерял бы смысл) не переставил в нем ни одной запятой.

Вот — последняя надежда, последняя иллюзия, последняя попытка поверить и оправдать то, чему оправдания нет, — четвертое действие.

И снова погас свет, снова появился в луче прожектора Олег Николаевич Ефремов — на сей раз уже не в военном, а в парадном черном костюме, — проговорил вступительные слова:

— «Середина века. Москва. Май месяц.

Точнее — девятое мая 1955 года. Вот уже в десятый раз

встречаем мы День Победы — день славы и поминовения мертвых, день, когда вместе с гордостью за все то, что было сделано нами в годы Великой войны, возвращается в наши дома старое горе и старая боль.

А май в тот год был теплым и солнечным. Толпы москвичей и приезжих бродили по дорожкам Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, вновь открытой в Москве после многолетнего перерыва; уходили на целину комсомольские эшелоны, гремели оркестры на привокзальных площадях.

И все чаще и чаще в эту весну бывало так: люди встречались на улице, или в театре, или в метро и сначала, не обратив друг на друга внимания, равнодушно проходили мимо, а потом вдруг оборачивались, растерянно улыбались, и один, побледнев, но все еще не решаясь протянуть руку, бросался к другому и спрашивал, задыхнувшись:

— Это ты?! Ты вернулся?!

Москва живет вокзалами. И проводы в тот год были легкими и недолгими, а встречи начинались слезами...»

Пошел занавес.

Ефремов продолжал:

— «Вечер. Над стадионом „Динамо” в светлом еще небе мирно гудит самолет.

Окна в комнате открыты настежь, и отчетливо слышно, как внизу, во дворе, галдят ребятишки, воинственно вопят коты и раздаётся веселое, нахальное треньканье велосипедных звончков.

Между двумя книжными полками, на одной из которых в черном футляре лежит скрипка, висит портрет Давида. На портрете ему лет двадцать — хмурое лицо с напряженно сжатыми губами склонилось к скрипке, тонкие пальцы уверенно держат смычок.

В уголке дивана, скинув туфли и поджав под себя ноги, сидит Таня.

На низком круглом столике — какая-то нехитрая снедь, бутылка коньяку и две рюмки...»

Ефремов — Чернышев вдруг резко повернулся спиной к зрительному залу и шагнул прямо на сцену.

Он сел на стул рядом с Таней, налил себе рюмку, выпил.

Глава пятая

Кончилось, кончилось, кончилось!

Кончилось четвертое действие, кончился спектакль, кончилась эта проклятая генеральная репетиция, эта мука муче-

ническая, когда ни единая реплика на сцене не встречала ответа в зрительном зале.

Закрылся в последний раз занавес, зажегся свет.

Солодовников встал, подошел к бутылочной и кирпичной. Кирпичная что-то сказала, и Солодовников, словно бы извиняясь, развел руками. И в это самое мгновение проходивший мимо меня Товстоногов сделал точно такой же жест — развел руками и покачал головой.

В суровом молчании, с каменными лицами покидали зрительный зал немногочисленные зрители. Только белолицый администратор снова сокрушенно поцокал языком.

Ушли, не взглянув на меня, бутылочная и кирпичная.

Солодовников сказал:

— Давайте, Александр Аркадьевич, зайдем за кулисы.

— Хорошо, — сказал я и встал.

— Это надолго? — спросила меня жена.

— Подожди меня в фойе, — сказал я, — думаю, что я скоро вернусь.

Я оказался прав.

Все дальнейшее заняло не больше двадцати минут. Мы прошли за кулисы, где Солодовников и сказал свою речь, уже описанную мною раньше: речь-скороговорку, речь-бормотанье, речь, единственной целью которой было не сказать ничего.

...Василий Андреевич Жуковский — этого поэта в детстве я почитал превыше всех других — заметил однажды, что судьба, как и поэты, любит инверсии.

Да, судьба и вправду чрезвычайно любит инверсии. Надо же было такому случиться: в одной из комнат почти пустого деревянного дома, что стоит в Серебряном Бору над Москвой-рекой, в доме, где я дописываю эту книгу, живет с женою и Александр Васильевич Солодовников. Мы встречаемся за завтраком, обедом и ужином; вечерами — если идет дождь и нельзя гулять — сидим и смотрим телевизор.

Его жена иногда беседует со мной, а сам Александр Васильевич при встречах отводит в сторону глаза и как-то неопределенно дергает головой. Они живут на втором этаже, а я под ними, на первом.

И ежедневно по несколько раз в день я пишу его фамилию и имя-отчество, вспоминаю его слова, голос, повадку — того Солодовникова, каким он был пятнадцать лет тому назад; а он, сегодняшний, об этом, разумеется, и знать не знает.

Он очень постарел и словно бы высох, но по-прежнему чиновно надменен и занимает, несмотря на свой преклонный возраст, почетную и бессмысленную должность — состоит при

министре культуры советником по вопросам театра. А что такое советский театр и каким ему быть надлежит — это Александр Васильевич усвоил прекрасно!

Сколько раз принимал он в правительственной ложе почетных гостей и выслушивал их замечания, сколько раз председательствовал на совещаниях, посвященных проведению очередного фестиваля или декады национального искусства!

Ах, малинка-калинка,
Калинка моя,
В саду ягода-малинка,
Малинка моя!..

...Новый, победный сорок пятый год генерал — командующий бронетанковыми частями — встречал под Веной, в доме, принадлежавшем знаменитому фокуснику.

Хозяина с женою и детьми попросили на время переселиться в подвал. Впрочем, на новогодний прием они были любезно приглашены. И вот после часа ночи, когда уже были сказаны все положенные тосты, когда гости уже выпили, разомлели, размякли, старый фокусник решил позабавить присутствующих своим искусством.

В никуда взлетали голуби,
Превращались карты в кубики,
Гасли свечи стеариновые,
Зажигались фонари!..

Гости ахали, восхищались, недоумевали, аплодировали.

И только командующий после каждого нового фокуса становился почему-то все мрачнее и мрачнее.

Наконец не выдержал, кивком головы подозвал к себе адъютанта и шепотом спросил:

— Слушай, а кто-нибудь из наших так может?

Адъютант виновато пожал плечами:

— Бряд ли, товарищ генерал! О же всемирно известный... Я афиши его видел — там прямо так и написано: король европейских фокусников!

Генерал вздохнул и решительно сказал:

— Ладно, вызывай армейский ансамбль песни и пляски — возьмем количеством!..

Гремит, гудит, грохочет, посвистывает и повизгивает вселенская «калинка-малинка»! Стучат каблуками молодцы в охотничьих костюмах, проплывают уточками девицы в расшитых бисером сарафанах — на весь мир размахнулась

купеческая «Стрельня», выдаваемая за русское национальное искусство.

Графу Шереметеву с его крепостным театром или братьям Виельгорским с их домашним оркестром в самом горячем сне не могло бы такое присниться: десятки, сотни тысяч крепостных актеров, музыкантов, певцов, танцоров, атлетов. Даже прославленные балетные труппы Большого и Мариинского театров, даже такие великие музыканты-исполнители, как Ойстрах, Гилельс, Рихтер, Ростропович, Коган — все они, по существу, отбывают самую доподлинную крепостную повинность. Мало того, что больше двух третей получаемых ими за границей гонораров забирает государство — они не вольны принимать решения, строить планы, давать или не давать согласие на выступления.

Все обдумают, решат, обо всем договорятся за них. А потом их вызовут и скажут: надо или не надо ехать туда-то и туда-то, можно или нельзя играть то-то и то-то.

У графа Шереметева, случалось, нерадивого или не в меру строптивного лицедея могли и на конюшне посесть, и в простые дворовые разжаловать.

В наши времена на конюшне уже не секут, неудобно. Но нерадивость или, что куда хуже, строптивность не должны оставаться безнаказанными: посекут не на конюшне, а на собрании, ошельмуют в печати, отменят — уже объявленные заранее — выступления и концерты, лишат права участия в заграничных гастролях. А уж это последнее наказание пострашнее порки на конюшне!

Не примечательно ли, что пресловутые особые магазины, где товары продаются только на сертификаты, то есть, по сути, на иностранную валюту, и прославленный танцевальный ансамбль, который большую часть года проводит в гастролях за рубежом, носят одинаковое название — «Березка»!

А вслед за ансамблями и спортивными коллективами ездят особо проверенные и стойкие стукачи — во главе с «писателями» Анатолием Софроновым и Цезарем Солодарем — и вопят неистовыми голосами:

— Шай-бу!.. Шай-бу!.. Шай-бу!..

Сражаются наши хоккеисты:

— Шай-бу!..

Танцует Плисецкая:

— Шай-бу!

Играет Леонид Коган:

— Шай-бу!..

И тут я не могу удержаться, чтобы не сказать об удивительном явлении последних лет нашей жизни:

— Ратуйте, люди добрые! Могучее и стройное здание неравенства дало трещину!

И трещина эта образовалась в самом, казалось бы, надежном месте, в самом защищенном, бронированном. Незыблемейшее неравенство, восхитительный «пятый пункт» удралтаки штуку, выкинул коленце!

Оставаясь каиновой печатью, знаком качества второго сорта, он, проклятый, оказался притом еще и лазейкой: обладатели «пятого пункта» имеют право подавать заявления и добиваться разрешения на выезд за границу.

А при одних этих словах — заграница, капстрана, инвалюта — сладостно замирает и тревожно бьется сердце всех больших и малых чиновников.

И какой же русский не любит быстрой езды — всего три с половиной часа, и ты в Париже! А в Париж, это еще в старину говорили, приедешь — угоришь!

Ах, Елисейские поля, Пляс Пигаль, универсальные магазины «Призюник» и «Монопри»!

Мы прилетели в Париж, на аэродром Ля Бурже, пасмурным апрельским вечером.

«Мы» — это бывший, а в ту пору действительный директор киностудии «Ленфильм» Илья Николаевич Киселев и я.

Нас на две недели пригласила в Париж кинофирма «Алькам» в преддверии начала съемок совместного советско-французского фильма «Третья молодость» — о знаменитом танцовщице и балетмейстере Мариусе Петипа.

Я таинственно волею судьбы принимал участие в этой работе в качестве киносценариста с советской стороны и в Париже уже бывал: здесь с моим французским соавтором Полем Андрэста мы писали литературный сценарий.

А вот Киселев летел — не только в Париж, а вообще за границу — в самый первый раз. Грузный, мешковатый, темнолицый — он наполовину цыган, — Илья Николаевич обливался в самолете потом, непрерывно вытирал лицо и шею большим, как полотенце, носовым платком и жалобно повторял:

— Слушай, ты уж меня там не бросай одного, ладно? Ты же знаешь — по-французски я ни бум-бум и вообще... ориентируюсь слабовато!

О том, как Киселев «ориентируется», на Ленфильме рассказывали бесчисленные анекдоты. Злые языки утверждали, что если машина Ильи Николаевича высаживала его не у самого подъезда студии, а где-нибудь на другой стороне ули-

цы, то Киселев мог вполне свободно заблудиться и даже не прийти на работу. А по самой студии — в павильоны и цеха — Илья Николаевич неизменно ходил с провожатым.

Хмурый и чем-то явно раздосадованный молодой человек — представитель фирмы «Алькам» — встретил нас на аэродроме, взял наши чемоданы, посадил в такси.

Каким-то странным кружным путем, минуя центр, по окраинным парижским улочкам, мимо серых обшарпанных домов и пустырей, такси привезло нас к дверям тоже весьма неказистой гостиницы.

Молодой человек выгрузил наш багаж, внес его в холл, что-то негромко сказал портье и, поспешно распрощавшись с нами, ушел.

И только теперь, оглядевшись, я понял причину и его досады, и этой виноватой поспешности. Гостиница, в которую нас привезли, была третьеразрядным заведением того сомнительного пошиба, где вечно сонный портье не глядя — глядеть на гостей здесь не положено — дает посетителям ключи:

— Пожалуйста, медам-месье! На час? На ночь? На сутки?

По узкой винтовой лестнице мы поднялись с Киселевым в наши почти одинаковые номера — с кокетливыми ситцевыми занавесками в цветочках, с неизменной ширмой возле кровати и старинным педальным умывальником с ведерком воды и тазом под ним.

Телефонов в наших номерах, разумеется, не было.

— Ну, вот, — сказал я Киселеву, — мы здесь, Илья Николаевич, жить не будем. Это какое-то недоразумение. Сейчас я спущусь к портье и позвоню в фирму!

— Я тебя умоляю, — снова залепетал Киселев, хватая меня за руки, — ты не уходи... Я ж боюсь... Я ж потеряюсь...

— Не потеряетесь. Сидите в номере и ждите меня. Через пять минут я вернусь.

Но вернулся я не через пять минут, а значительно позже. Телефон у портье был испорчен, и я довольно долго плутал по горбатым переулкам и улочкам, пока не набрел на какое-то кафе, откуда я и позвонил наконец в фирму.

Глава фирмы Александр Каменка сказал мне в телефон скорбно-замогильным голосом, что это все ужасно, что он очень извиняется перед господином Киселевым и передо мною, что все они просто в отчаянии, что сегодня в Париже кончается какое-то идиотское международное авторалли, на которое съехались любители из всех стран, и что завтра рано утром он сам, лично, заедет за нами и перевезет нас в хороший отель, где нам уже заказаны номера.

— Еще раз, умоляю, — сказал в заключение Каменка, —

передайте господину Киселеву тысячи извинений и сердечный привет! Что он делает?

— Господин Киселев, — сурово сказал я, — сидит у себя в номере и очень сердится!..

И все это оказалось неправдой!

Господин Киселев не сидел у себя в номере и не сердился. Господин Киселев стоял у подъезда гостиницы, крепко — чтобы не потеряться и не заблудиться — держась одной рукой за ручку двери, и смотрел на пустырь, что находился напротив гостиницы.

По пустырю, уставленному в живописном беспорядке огромными металлическими корзинами для мусора, стаями нахально бродили сытые коты и кошки и рылись в отбросах две старухи.

Но небо над пустырем было сиреневым, в розовых разводах, и откуда-то доносились автомобильные гудки и музыка.

И господин Киселев даже не обернулся, когда я подошел к нему и сказал:

— Илья Николаевич, ничего не попишешь, приесться нам здесь переночевать! Одну ночь! Утром переедем в другой отель!

Он не ответил. Он продолжал, чуть приоткрыв рот, смотреть на пустырь. Он тяжело дышал, и в груди у него что-то булькало и хрипело.

— Илья Николаевич! — уже слегка обеспокоенный (не случилось ли чего?), окликнул я. — Что с вами, Илья Николаевич?!

И, все так же молитвенно и неотрывно глядя на пустырь, на мусорные корзины, на котов и старух, господин Киселев тихо проговорил:

— Париж!.. Какой город, а?!

Эту историю я вспоминаю всякий раз, когда кто-нибудь начинает при мне жаловаться на то, что из него тянут жилы с разрешением на выезд в Израиль.

А что же вы хотите, друзья мои?! А как же иначе?!

Обыкновенный рядовой советский человек имеет право один раз в три года поехать в туристическую поездку в какую-нибудь капиталистическую страну. Один раз в три года, всего на семь — девять дней гражданин из страны победившего социализма, где человек человеку друг, товарищ и брат, может мельком взглянуть на страшный мир, где человек человеку волк.

Но и на подобного рода поездку дают разрешение далеко не каждому. И всякий раз это многомесячная трепка нервов, это бессонные ночи и лихорадочное ожидание: пустят или

не пустят?! И если не пустили (а сообщать причину отказа не положено) — какие мучительные часы раздумий, какая невыносимая тревога снова на долгие месяцы и на бессонные ночи охватывает свободного и счастливого гражданина Страны Советов!

За что? Почему? Значит — не верят! Значит, где-то и на кого-то я не так поглядел, не то сказал? Значит, в той таинственной комнате, которая называется «Особый отдел» и куда посторонним вход запрещен строжайше, числятся за мною какие-то неведомые мне грехи?!

Ай-яй-яй, как плохо, как тревожно, какая беда! Ибо всякую поездку за границу, даже туристическую, принято у нас рассматривать прежде всего как неоспоримое выражение доверия и поощрения.

И вдруг — нá тебе! Эти самые, что с «пятым пунктом», эти неравнейшие среди неравных, эти граждане второго сорта хотят, чтоб им дали разрешение уехать в капиталистическую страну Израиль!

И не просто хотят — требуют! И не только требуют — уезжают! Сотни, тысячи! Что случилось?! Как могло такое произойти?! Ратуйте, люди добрые!

Неладно что-то в Датском королевстве!

И уже не по тексту Шекспира
(Я и помнить его не хочу!),
Гражданин полоумного мира,
Я одними губами кричу:
— Распалась связь времен!..

...Я шел на это свидание и совершенно искренне волновался.

С человеком, которого мне сейчас предстояло увидеть, мы не встречались ни много ни мало ровно сорок лет.

Еще одна из причудливых инверсий судьбы: все эти годы мы жили в одном городе, состояли — до моего исключения — в одной и той же писательской организации, у нас были общие друзья, мы посещали, вероятно, одни и те же вечера и просмотры в Центральном Доме литераторов и, вот поди ж ты — ни разу, ни единого раза не встретились.

А ровно сорок лет тому назад мы — мальчишки — непременно и обязательно встречались дважды в неделю на занятиях литературной бригады при газете «Пионерская правда».

В одной из комнат редакции, где так замечательно пахло табачным дымом, типографской краской, бумагой, чернилами, дважды в неделю мы читали свои новые стихи (а тогда мы все

писали стихи) и, как щенята, с веселой злостью набрасывались друг на друга, разносили друг друга в пух и прах за любую провинность: стертую или неточную рифму, неудачный размер, неуклюжее выражение.

И был среди нас какой-то сонно-подслеповатый, нескладный и медлительный мальчик по имени Володя, который тоже, разумеется, писал стихи, — кто же их не пишет в тринадцать — четырнадцать лет! Но иногда читал и свои рассказы — короткие, странные, вызывающие неизменное одобрение руководителя нашей бригады, молодого писателя Исая Рахтанова, автора прекрасной детской книжки «Чин-Чин-Чайнамен и Бонни Сидней».

Однажды Рахтанов сказал:

— С вами хочет познакомиться поэт Эдуард Багрицкий. Следующее занятие — в пятницу — мы проведем у него дома. Я рассказывал ему про нашу бригаду, и он просил, чтобы я вас к нему привел!

...Диковинное оружие висело на диковинном стенном ковре, диковинные рыбы плавали в диковинных аквариумах, диковинный человек с серо-зелеными глазами и седым чубом, спадавшим на молодой лоб, сидел, поджав по-турецки ноги, на продавленном диване, задыхался, кашлял, курил — от астмы — вонючий табак «Астматол» и, щурясь, слушал, как мы читаем стихи.

Всего в нашей бригаде было человек пятнадцать, и стихи мы читали по кругу, каждый по два стихотворения.

Багрицкий слушал очень внимательно, иногда — если строфа или строчка ему нравились — одобрительно кивал головой, но значительно чаще хмурился и смешно морщил нос.

Когда чтение кончилось, Багрицкий хлопнул ладонью по дивану и сказал, как нечто очевидное и давно решенное:

— Ладно, спасибо! В следующий раз — в пятницу — будем разбирать то, что вы сегодня читали! — Он хитро нам подмигнул: — Приготовьтесь! Будет не разбор, а разнос!..

Так неожиданно мы стали учениками Эдуарда Багрицкого. Это было и очень почетно, и совсем не так-то легко.

Эдуард Георгиевич был к нам, мальчишкам, совершенно беспощаден и не признавал никаких скидок на возраст.

Он так и говорил:

— Человек — или поэт, или не поэт! И если ты не умеешь писать стихи в тринадцать лет, ты их не научишься писать и в тридцать!..

Как-то раз я принес чрезвычайно дурацкие стихи. Написаны они были в форме письма моему якобы родственнику и крупному поэту, проживающему где-то в чужой стране.

В этом письме я негодовал по поводу того, что поэт не возвращается домой, и утверждал, что когда-нибудь буду сочинять стихи не хуже, чем он, а может быть, даже и лучше.

Багрицкий рассердился необыкновенно.

Он чуть не подпрыгнул на своем продавленном диване, замахал руками и закричал, кашляя и задыхаясь:

— Глупости! Чуть собачья! Ерунда на постном масле! Почему это я когда-нибудь буду писать не хуже, чем он?! Я уже и сейчас пишу в тысячу раз лучше!

— Так ведь это я не про вас, Эдуард Георгиевич, — попытался я оправдаться, — это же я про себя!

И тут Багрицкий сказал удивительные слова. И сказал их уже без крика, а серьезно и негромко:

— Ты поэт. Ты мой поэт. Всякий поэт, который находит своего читателя, — становится его поэтом. И все, что ты говоришь, ты говоришь и от моего, читателя, имени... Запомни это хорошенько!

Я запомнил, Эдуард Георгиевич, я не забыл!

На одном из занятий Володя прочел свой новый рассказ.

Багрицкий одобрительно кивнул:

— По-моему, хорошо! Я, правда, в прозе не очень-то, но, по-моему, хорошо!

В следующую пятницу, едва мы только расселись, раздался стук в дверь, и в комнату Багрицкого быстро и почему-то бочком вошел невысокий человек в очках, с широким и веселым лицом.

Багрицкий сказал:

— Познакомьтесь, ребята! Это Исаак Эммануилович Бабель!

Мы восторженно замерли.

Бабель очень уютно примостился на диване рядом с Багрицким, а Эдуард Георгиевич повелительно сказал Володе:

— Прочти, что ты нам в прошлый раз читал!

Пока Володя глухо и монотонно читал свой рассказ, Багрицкий и Рахтанов смотрели на Бабеля, а Бабель слушал, полускрыв глаза и не шевелясь.

Потом, когда занятия кончились, Бабель увел Володю к себе — они с Багрицким жили в одном доме.

С тех пор, уже отдельно от нас, Володя стал бывать у Бабеля.

Когда Багрицкий умер, наша бригада как-то сама собою распалась и мы разбрелись кто куда. В те годы многие видные поэты вели кружки молодых, и я перебивал в кружках Сельвинского, Луговского, Светлова, но так нигде толком не прижился.

А потом для меня начался театр, и стихи на долгие годы и вовсе ушли из моей жизни.

И вот ровно сорок лет спустя мы сидим с Володей на кухне у нашего общего друга, который, собственно, и задумал снова свести нас, — пьем, едим, беседуем.

Володя, все такой же сонно-подслеповатый, но сильно погрубевший, ставший кряжистее и квадратнее, тягучим и веским голосом, от которого у меня сразу же заболела голова, внушает мне:

— Ты же русский поэт, понимаешь?! Русский! Зачем же ты, особенно в последнее время — я слышал твои новые вещи, — занимаешься какой-то там еврейской темой? На кой она тебе сдалась?! Что за дурацкий комплекс неполноценности!

Уже понимая, что за этим последует, я вяло возражаю ему. Я говорю, что комплекс неполноценности тут решительно ни при чем, что сегодня, сейчас на наших глазах совершается новый Исход, уезжают навсегда тысячи людей — и среди них наши друзья и знакомые, милые нашему сердцу люди, — и что остаться к этому равнодушными мы просто не имеем права, что мы обязаны об этом писать.

— Пусть другие об этом пишут! — гудит Володя и тычет в меня очень толстым указательным пальцем. — А тебе об этом писать не надо!

— Почему мне именно, русскому — как ты говоришь — поэту, об этом писать не надо? — задаю я уже слегка провокационный вопрос.

Володя усмехается:

— Именно тебе не надо, понял?!

Я понял тебя, друг моего детства! Я тебя прекрасно понял!

Это все тот же заколдованный круг, сказка про белого бычка, кольцо, которое ни сомкнуть, ни разомкнуть!

Если я русский поэт, то какое мне дело до евреев, уезжающих в Израиль? А если мне все-таки до них дело, то это только потому, что я сам по происхождению еврей! А раз я еврей, то я тем более не должен интересоваться, думать и писать об уезжающих в Израиль! Пускай об этом пишут другие — со стороны еврея это бестактно!

Вот и поди вырвись из этого круга!

А Володя, уже слегка захмелев, все продолжает тягуче гудеть, как большой и злобный шмель:

— Что же, милые мои, получается? Сами во всем принимали участие: и в двадцатые годы, и в тридцать седьмом, и после — а теперь бежать?! Нет уж, вместе кашу варили,

вместе давайте ее и расклебывать! А то, понимаете, одни уезжают на свою — изволите ли видеть — историческую родину, а другие... А скажите мне: рязанскому парню, костромскому, ярославскому — им-то куда прикажете податься?!

Умри, Денис, лучше не скажешь!

Я встал и, сославшись на головную боль, ушел.

Прощай, друг моего детства! Больше нам с тобою видаться незачем! Ну разве что еще разок, снова сорок лет спустя! Впрочем, вряд ли мы с тобою проживем так долго, конечно, не проживем, так что — прощай!..

...По мокрому снегу, посыпанному крупной серой солью, мы возвращались с женой домой. Мы шли из театра. Мы шли с генеральной репетиции моей пьесы «Матросская тишина».

За генеральной репетицией обычно следует премьера, банкет.

Но на сей раз банкета не будет!

...Была — но съедена конфета,
Была — но съедена котлета,
На всем столе одна галета —
Привет участникам банкета!..

Банкета не будет. И цветов не будет, аплодисментов, вызовов на поклон, звонков от друзей с просьбой помочь достать билетик на спектакль — ничего этого не будет, потому что, прежде всего, не будет самого спектакля.

...Это, в конце концов, неплохо, что студиицы в учебном порядке поработали над таким чуждым для них материалом, а теперь, товарищи, надо искать свою, молодую, близкую по духу драматургию! Спасибо, товарищи! За работу, товарищи! Вперед и выше, товарищи!..

...Вы что же хотите, Александр Ар-ка-ди-е-вич, чтобы в центре Москвы, в молодом столичном театре шел спектакль, в котором рассказывается, как евреи войну выиграли?!

Нет, нет, упаси меня Бог, я этого, разумеется, не хочу!

Мы пришли домой, где нас у двери уже ждала наша собака Чапа. Это было удивительное создание. Собачий ангел — мы не знали этого точно, но догадывались, что это именно так. Обыкновенно, если нас долго не было дома,

Чапа при встрече закатывала нам скандал. Она вспрыгивала на диван и произносила монолог:

— Как же вам не стыдно? Где вы пропадали?! Это свинство! Вы же знаете, что я вас жду, а вы все не идете и не идете!..

Но в тот день Чапа нас встретила молча. Она взглянула на нас своими огромными печальными глазами и, в знак утешения, повильяла хвостом.

Я поднял ее на руки, и она лизнула меня в нос.

...Когда Чапа умерла, наша дочь похоронила ее за своим домом, в овраге, под деревьями. Хоронить пришлось ночью, тайком — иначе могла нагряться санитарная инспекция и оштрафовать.

В Москве вообще похоронить трудно.

А человека даже труднее, чем собаку. Особенно если человек верующий и не хочет, чтоб его сжигали в крематории.

Похоронить в Москве трудно.

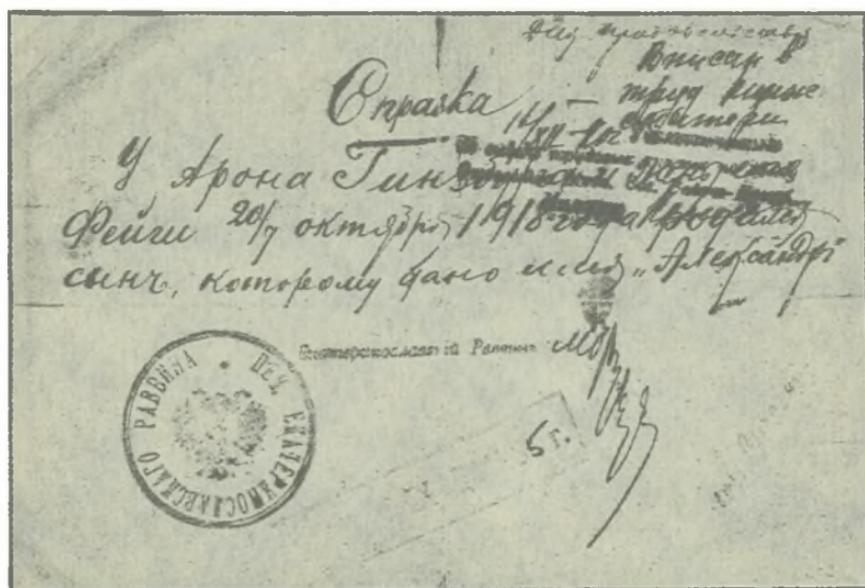
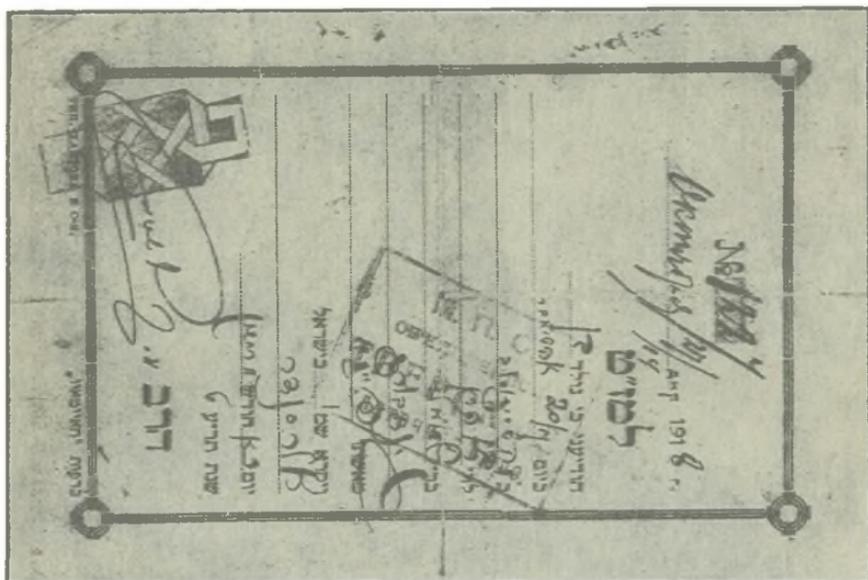
Убить — легко.

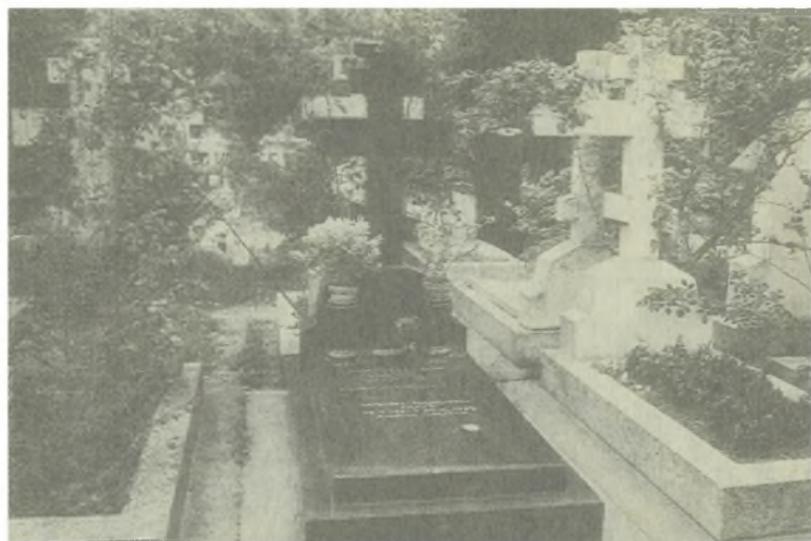
Серебряный Бор — Москва
29 мая 1973 года

Пристало ль одному — среди всеблагих
не в хоре петь, а заливаться соло?!



И не спеша.
 Еще так долг путь.
 Не в силах стать оружием — стань орудьем.
 Но докричись хоть до чего-нибудь,
 Хоть что-нибудь оставь на память людям!





Начало века.
Отец — Аркадий Гинзбург





Начало века.
Мать — Фейга Векслер



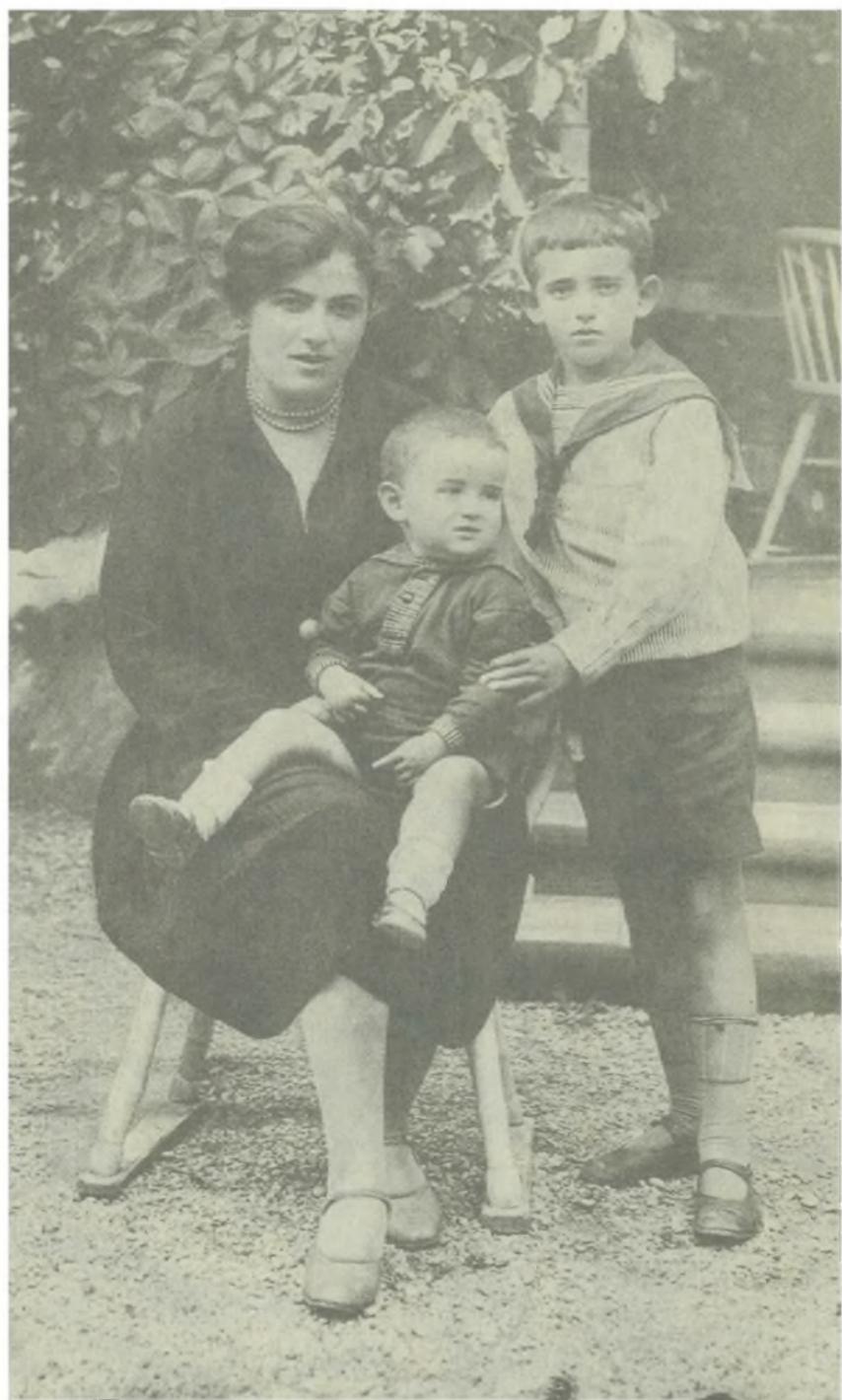


Продолжается детство без нас...











Ты не часто мне снишься, мой отчий дом,
Золотой мой, недолгий век.
Но все, что случится со мной потом,
Все отсюда берет разбег!



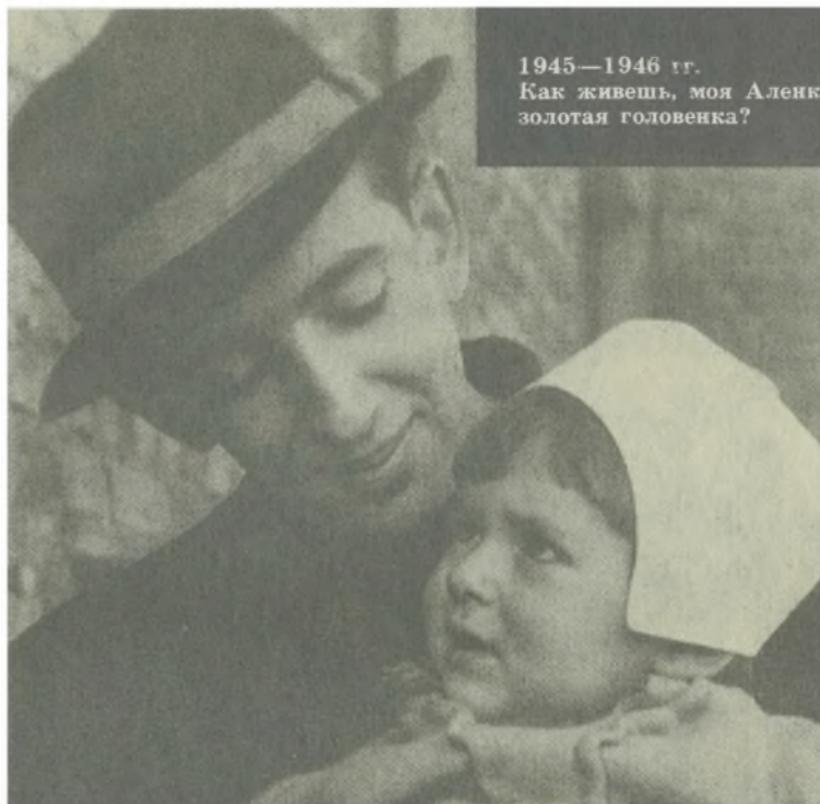


Последняя студия
К. С. Станиславского.
А. Галич — слева в углу



С первой женой — актрисой
Валентиной Архангельской

1945—1946 гг.
Как живешь, моя Аленка,
золотая головенка?





1948 г. Со второй женой
Ангелиной Прохоровой



С группой писателей
в Доме творчества
«Малеевка»



Министерство Связи СССР

ТЕЛЕГРАММА

ПРИЕМ: _____ ПЕРЕДАЧА: _____ Адрес: МОСКВА

Бланк № 4 _____ № серии: _____

Прислано: _____ Передача: Д.А. 19725402

Из МОСКВЫ 71/27 62 ЗИ 23 45 _____

Служба отправки _____

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГОЙ ДРУГ!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ. ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРОЙ УДАЧИ И РАДОСТИ
ВО ВСЕХ ВАШИХ ДЕЛАХ, УСПЕХА В ВАШЕМ ТРУДЕ, И ПУСТЬ ЗАЙМЕТ ОН СВОЕ
МЕСТО СРЕДИ ТВОРЧЕСКИХ СОВЕРШЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЕСЕТ НАШЕЙ РОДИНЕ
НОВЫЙ ГОД.

МЫ НЕУЩЕМНО БУДЕМ РАДИ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ ПИСАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ В
ЛЮБОЙ ДЕНЬ НОВОГО 1957 ГОДА.

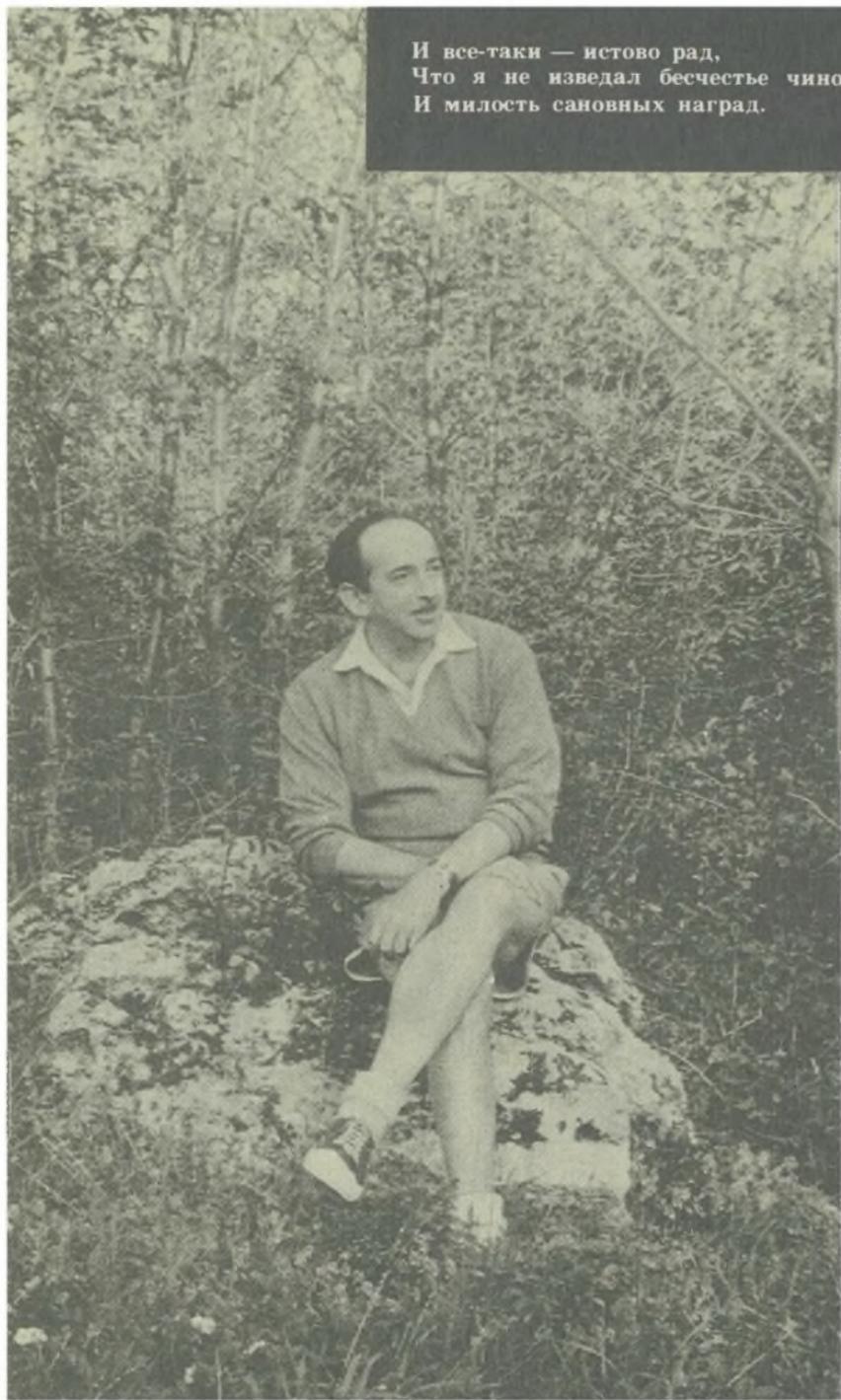
Совет Центрального Дома Литераторов

Варшав. тел. № 1-01 024. Зан. 76с

Съемки филма
«На семи ветрах»



И все-таки — истово рад,
Что я не изведаль бесчестье чинов
И милость сановных наград.

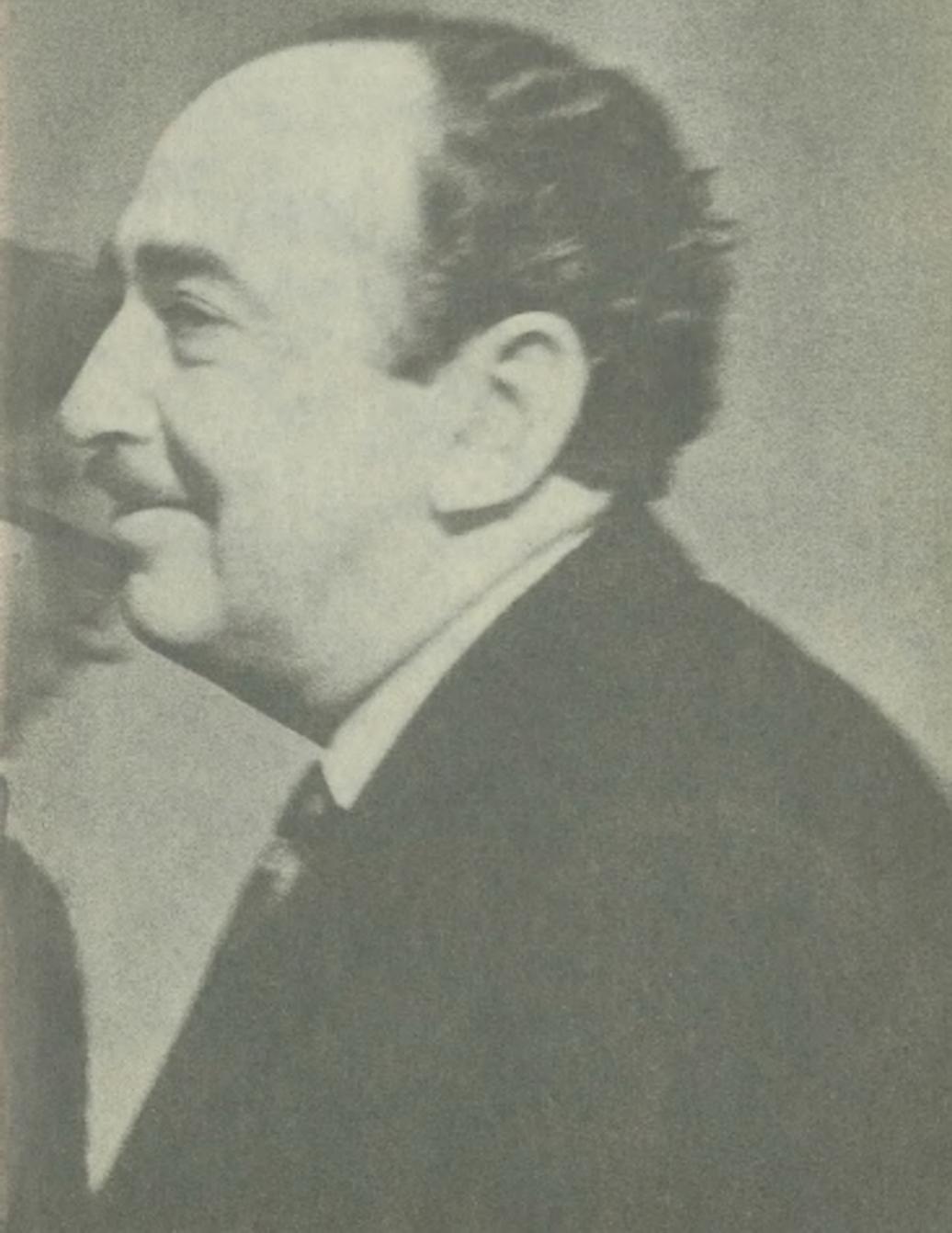


Вот — уходят статисты, и с залом
Остаюсь я один на один.





Не грусти — я всего лишь на век уезжаю.
От добра и из дома, которого нет.



22 декабря 1977 г.
В центре — В. Макси-
мов и В. Некрасов.
Церковь на рю Дарю

Внизу: Вторая же-
на — А. Прохорова



Союз писателей СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА
 № 28
 1988

СЛУШАЛИ:
 о А.А. Галгича (А. Галгича).

ПОСТАНОВИЛИ:
 Утвердить Секретариату Правления Союза писателей СССР от 14 января 1978 года об исключении А.А. Галгича (А. Галгича) из членства Союза писателей СССР с момента Архангельской Галгич А.А.
 Основание: заявление от 5.07.88 г.
 Выписка верна: *[подпись]*

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14/51
заседания Секретариата Правления
Союза кинематографистов СССР
 от 12.02.88 г. № 51

г. Москва
СЛУШАЛИ:
 3. Об отмене решения секретариата правления СК СССР (протокол № 3/14 от 7.02.72 г.)
 Сообщил Б.В. Павлов.

ПОСТАНОВИЛИ:
 Отменить решение секретариата правления СК СССР (протокол № 3/14 от 7.02.72 г.) об исключении из Союза кинематографистов СССР кинорежиссера Галгича Александра Архангельского.
 Основание: заявление А.А. Архангельской-Галгич от 12.02.88 г.

Л.В. С. Первого секретаря правления
 Союза кинематографистов СССР

ВЕРНО: *[подпись]*
 «Л. С. Шарков»

Союз писателей СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА
 № 37
 4 октября 1988 г.

СЛУШАЛИ:
 Об образовании комиссии по литературному наследию А.А. Галгича.

ПОСТАНОВИЛИ:
 1. Утвердить комиссию по литературному наследию А.А. Галгича в составе:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Окуджава Б. — председатель | Коротич В. |
| Лебедев В. — зам. председателя | Лажин В. |
| Шаталов А. — зам. председателя | Осипов В. |
| Архангельская-Галгич А. — секретарь | Рождественский Р. |
| | Рассалин С. |
| | Ровов В. |
| | Савельев В. |
| | Турков А. |

Члены комиссии:
 Андрианов Г.
 Верченко Е.
 Вознесенский А.
 Волган И.
 Деметьев А.
 Евдокимов Д.
 Егущенко Е.
 Куховицкий Л.
 Искандер Ф.

2. Провести в Большом зале ЦДЛ им. А. Сельсера в октябре месяце 1988 года литературный вечер А.А. Галгича — к 70-летию писателя.

Выписка верна: *[подпись]*

Членам комиссии, СК СП СССР, ЦДЛ, ИЗО, "Литературной России", "Литературной газете".



С Ю. Любимовым

С М. Строевой, А. Менакером, М. Мироновой, И. Прутом



С П. Капицей

С Г. Вишневской,
М. Барышниковым,
М. Ростроповичем,
И. Бродским



И все-таки я, рискуя прослыть
Шутом, дураком, паяцем,
И ночью, и днем твержу об одном:
Не надо, люди, бояться!







Но гремит — напетое впоголоса,
Но гудит прочитанное шепотом...

СТУДИЯМ
и ПЕСНИ



Содержание

В. Волин. Вспоминая и перечитывая Галича
3

КИНОПОВЕСТИ

«Верные друзья»
14

«На семи ветрах»
93

ПЬЕСЫ

«Вас вызывает Таймыр»
187

«Матросская тишина»
251

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

«Генеральная репетиция»
320

ГАЛИЧ
Александр Аркадьевич

«...Я вернусь...»

Редактор Н. И. Верлинская. Художник Н. В. Мельгунова.
Художественный редактор О. П. Богомолова.
Технический редактор Н. И. Новожилова.
Корректор Лебедева М. П.

ЛР № 010157 от 03.01.92.

Сдано в набор 26.01.93. Подписано в печ. 19.05.93. Формат издания 84×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 26,41. Уч.-изд. л. 25,95. Изд. № 15748. Тираж 25 000. Заказ 80. Издательство «Искусство», 103009, Москва, Собиновский пер., 3. Ярославский полиграфкомбинат Министерства печати и информации Российской Федерации. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

